

|| 2 ||

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

|| 1973 ||

2



1973

НОВОЫЙ МИР

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIX

№ 2

Февраль, 1973 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЕМИЛИАН БУКОВ — Стихи. Перевел с молдавского Валерий Краско	3
ФЕДОР АБРАМОВ — Пути-перепутья, роман. Окончание	5
СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ — Василий Буслаев, поэма	59
ГЕНРИХ БЕЛЬ — Групповой портрет с дамой, роман. Перевела с немецкого Л. Черная	87
ПУБЛИЦИСТИКА	
АРКАДИЙ САХНИН — Побег за границу	120
Х. Н. МОМДЖЯН — Философия ревегатства. Статья вторая	139
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ГЕНРИХ БОРОВИК — Как я был корреспондентом «Эсквайра»	165
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ — Летопись мужества. Публикация Л. Лазарева	186
МИХАИЛ ПРИШВИН — Из дневника охоты (К столетию со дня рождения). Публикация В. Д. Пришвиной	206
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ВИТАЛИЙ ОЗЕРОВ — Тревоги мира и сердце писателя	225
СЕРГЕЙ АНТОНОВ — От первого лица... (Рассказы о писателях, книгах и словах). Статья третья	243
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i> 265	
Владимир Соловьев. О поэте, о его стихах и о его читателях.— Л. Скорино. Живые традиции -- И. Роднянская. Два лица Станислава Лема.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	278
В. Маслов. Элтон Мэйо и другие.— А. Преображенский. О Русской Америке.— С. Троицкий. Лотия в книжном море.	278
КОРОТКО О КНИГАХ — К. Бродер. — Э. Цюрупа. С правдой вдвоем. ♦ Евгений Сидоров. — С. Фрейлих. Чувство экрана	286
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	288

ЕМИЛИАН БУКОВ

★

СТИХИ

С молдавского

«ИСКРА»

Век девятнадцатый закончил бег...
И ленинская «Искра» в Кишиневе
внезапно вспыхнула.
(Везде мороз и снег
империи...)
Как много в этом слове
тепла: «Из искры возгорится пламя!»—
и прорастали пламени ростки,
рабочие сжимались кулаки,
стонала Русь, звенела кандалами.
И буквы, за лучом вбирая луч
земного солнца,
пламенем бессонным
взрывались эпицентрами на склонах
высоких строф—окаменевших круч.

От «Искры» той, что в Кишиневе тайно
печаталась,
багряный водопад
стремился в Вильнюс, на просторы дайны.
И не было для пламени преград!
С тех пор, единой искрой зажжены,
сроднились города—рабочий Вильнюс
с рабочим Кишиневом,
пламень вынес
их на просторы огненной волны,
мятежной, очищающей волны—
просторной братской солнечной страны!

МОСТ ПЕСНИ

«Фрунзэ верде»¹— так начинает
сердце свой разговор—
то ли цветением нежным мая,
то ли лавиной с гор.
То ли волшебною льется песней,
то ли слезой из глаз—

¹ «Лист зеленый»—припев молдавской песни.

может заставить тебя воскреснуть
и умереть тотчас.
В час, когда иноходец вражий
топчет родимый двор,
«Фрунзе верде» тебе прикажет:
«В руки возьми топор!»
Только широкой и вольной песне
тесен родимый двор —
патриархальности лживой спесью
не затуманен взор.
Как мастерица, она возводит
меж племенами мост,
в трудную пору она приходит
братьям на помощь —
в любом народе
смысл ее ясен, прост.

В час любовной бессонной муки
с теми, кто чист и юн,
«Фрунзе верде» — мечты и звуки
сладкопоющих струн.

...Сокол в Киргизии остроглаз,
виден он нам вдали...
Фрунзе родом из той земли,
где сотни лет назад родилась
«Фрунзе верде» —
из песни той,
что стала для нас святой.

Фрунзе соединяет сердца
Молдовы с Киргизией до конца,
и «Фрунзе верде» — зеленый лист —
трепещет, свеж, прозрачен и чист.

Перевел ВАЛЕРИЙ КРАСКО.



ФЕДОР АБРАМОВ

★

ПУТИ-ПЕРЕПУТЬЯ*

Роман

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая

1

Подрезов вскочил на пароход в самую последнюю минуту. А пока забросил в каюту чемодан да вылетел на палубу, огромный белогрудый красавец еще старинной выделки уже развернулся.

Разбежавшимся глазом он прежде всего наткнулся в толпе провожающих, по-деревенски махавших белыми платочками, на своего зятя. Приметный! На голову выше всех. Просто как пугало огородное торчит, сверкая круглыми очками из-под какой-то дурацкой клетчатой кепки. Но Ольги рядом с ним не было.

Евдоким Поликарпович глянул в одну сторону, глянул в другую и вдруг увидел дочь на высоком крутом берегу, пониже пристани.

Слезы вскипели у него на глазах.

Ольга и всегда-то, с самого детства, походила на свою мать — легкой походкой, характером, светлыми пушистыми волосами, а сейчас, в эту минуту, в ней и вовсе, казалось, воскресла покойная Елена. Та, бывало, вот так же, провожая его, выбегала вперед от людей все равно где — в поле, в деревне или у реки — и долго стояла там одиноко и неподвижно, словно для того, чтобы он получше запомнил ее...

С дочерью Евдоким Поликарпович не виделся пять лет, с тех пор, как Ольга, не спросясь отца, вдруг вышла замуж и бросила институт.

— Ладно,— сказал он жене, когда та однажды осторожно сообщила ему эту новость,— баба с возу — кобыле легче.

И — все. Больше ни слова. Вычеркнул из своего сердца. Не мог простить такой обиды: не за пеленками виделось ему будущее дочери.

Круглая отличница, каждый год похвальные грамоты, из института даже присылали ему благодарности — да ей ли не учиться? Ей ли не закончить институт? По крайней мере, хоть один человек в роду Подрезовых был бы с высшим образованием. А то ведь и дальше могла махнуть. У Михайлова, первого секретаря Плесецкого райкома, дочь в аспирантуре учится, на ученого — тот об этом при каждой встрече хвастается,— а почему бы не могла учиться в этой самой аспирантуре его Ольга?

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

Одним словом, удар для него был страшный. Он даже запил было, да хорошо у первого секретаря дел всегда невпроворот, в делах забылся.

Три года Евдоким Поликарпович выдерживал карантин. Три года не читал от дочери писем. Вплоть до прошлогодней весны, когда у Ольги родился сын.

Нет, нет, он не заулюлюкал, не пошел вприсядку оттого, что стал дедом и что на свете появился еще один Евдоким. Наоборот, он самыми последними словами изругал дочь. Потому что кто же в наше время дает такое имя ребенку? Овдя, Овдюха, Овдейко... Да внук не только отца с матерью — деда будет проклинать всю жизнь! А потом вдруг что-то сдвинулось у него в груди, и он все чаще и чаще стал ловить себя на том, что думает о маленьком Овде...

В прошлом году ему не удалось выбраться к дочери: год был тяжелый, «перестроечный», он даже на курортном лечении не был, а нынче твердо решил: к внуку. Непременно к внуку!

И вот когда ему в конце августа дали отпуск, он первым делом и подался на Вычу — лесную глушь по Северной Двине, где учительствовали дочь и зять.

Встретили его цветами, шампанским. Будто к ним какой-то столичный артист приехал.

Ладно, против красоты возражений нет. Красоту принимаем. А что же это у вас с ребенком-то делается? Почему ребенок весь в чирьях?

— Врачи предполагают, что нарушен, по-видимому, обмен веществ, диатез, может быть. Скоро будем знать точно — еще на той неделе сдали кровь на анализ.

Так ему по-ученому ответили молодые родители. А то, что у них ребенок насквозь простужен, это им и в голову не приходит. А он, Евдоким Поликарпович, сразу все понял, как только легли спать, — без всякой медицины поставил диагноз. Из каждой щели дует, ветер по полу ходит — да как тут здоровым быть ребенку?

Он не стал много разговаривать с мамой и папой. Дочь у него всегда была слабаком по практической части, с детства не знала никакой работы по дому, все делала за нее сердобольная мачеха, ну, а ее ненаглядный Зиночка, или, как он сам представился ему попервости, Зиновий Зиновьевич, и вовсе оказался без рук. Гвоздя в стену не вбить, лучины не нащепать, а уж чтобы сколотить там какую-нибудь немудреную скамейку (на ящиках сидят!) — об этом и говорить нечего.

В общем, на другой день встал Евдоким Поликарпович, выпил стакан чаю и давай тепло в комнате наводить. Целый день конопатил углы и подгонял рамы. Это он-то, первый секретарь крупнейшего района в области, можно сказать, государства целого по своим размерам! А через два дня и того чище: топором начал махать. Да как махать! С раннего утра до позднего вечера. Как заправский плотник...

На реке ходили волны, тяжелые, размашистые, с белыми гребнями. Тоненькую фигурку Ольги, все еще стоявшей на крутояре, ниже пристани, выгибало, как пруттик. И золотом, солнцем вспыхивали ее светлые раскосмаченные волосы.

А что делалось тут, на палубе! Выли и свистели провода над головой, тучи ползали по его плечам и бух-бух волна снизу. До лица, до глаз долетали брызги. А он — ничего. Стоял. Стоял, один-единственный пассажир на всей палубе, и еще покрякивал, зубы скалил от удовольствия. Хорошо! По нему такая погодка!

И вообще он чувствовал себя сейчас так, будто молодость вернулась к нему, будто прежняя крутая сила бродит в нем. А главное,

прошли красные пятна на теле, прошел проклятый зуд. Вот что было удивительно.

За эти годы что только он не делал, к кому только не обращался, чтобы избавиться от своей изнуряющей, изматывающей хвори! К врачам разным ходил — к своим, районным, к областным, раз даже у одной столичной знаменитости на приеме побывал, когда на курорт ездил, к старухам травницам обращался — ничего! В лучшем случае на какое-то время отпускало. А тут сам вылечился. И чем? Топором. Да, да, самым обыкновенным мужицким топором.

А дело было так. Утеплил у дочери жилье, пошел в баню — смыть грязь. И боже ты мой — две версты по грязище, по пустырям, по вырубкам, да под дождем, под ветром.

В общем, он едва ноги приволок обратно, бутылку водки выдул, чтобы отогреться. Так ведь это его, здорового быка, так укачало, а что же сказать о годовалом ребенке? Ему-то как достается эта баня?

Евдоким Поликарпович глядел-гляддел на внука, с ног до макушки осыпанного злыми, малиновыми чирьями, и — к дьяволу отпуск! Баню буду строить.

Построил. За две недели построил. Один. Без посторонней помощи...

Подрезов приподнял мокрое, раскаленное ветром и брызгами лицо, привстал на носки — где-то там, в той стороне, за мысом, за крутояром, на котором еще недавно стояла его дочь, осталась построенная им банька. Небольшая, неказистая — из ерунды собирал, ни одного бревна стоящего не было, но живая — с жаркой, трескучей каменкой, со сладким березовым душком. И теперь каждую субботу, где бы он, Евдоким Поликарпович, ни был, обязательно будет вспоминаться ему эта крохотная, стоящая у самого озера банька. А вслед за банькой будет вспоминаться и вся его жизнь с топором в руках, да такая счастливая и полноводная, какая, возможно, только и была у него один раз — там, на родной Выре, когда он молодым, семнадцатилетним парнем строил школу. Для своей Елены...

Давно уже исчезла из виду Ольга, давно голые, безлесые берега сменились зверской, без единого просвета чащобой ельников, а он все стоял на верхней палубе, один, плотный, несокрушимый, и веселел духом — от радостных воспоминаний, от ощущения собственной силы в обновленном теле, от всего этого раздолья и необузданного шабаша на реке

2

Спать было еще рано, и Подрезов, спустившись с палубы, заглянул в ресторан — давно не баловался пивком.

Но в ресторане все столики были заняты, а о том, чтобы пробиться к стойке, нечего было и думать.

Ладно, решил Подрезов, зайду попозже, когда схлынет самая шумная и буйная людская пена. И вдруг, когда он уже повернул на выход, его окликнули:

— Евдоким Поликарпович, алё!

Оглянулся — Афанасий Брыкин. Сидит у окошечка, потягивает пиво. Розовый, прямо-таки малиновый от натуги, и улыбка во все рождество.

По его знаку словно из-под земли вырос раскосый жуликоватый официант в белой грязной куртке, напяленной поверх ватника — холодновато было в ресторане, — и будто метлой повымело из-за столика каких-то трех полупьяных работяг.

— Не знал, не знал за тобой таких талантов, Брыкин.
 — Да к ведь этой, чай, мое воеводство.
 — Что ты говоришь! Как же я этого не сообразил? — И тут Подрезов признался, что почти две недели жил у него, у Брыкина, в районе.

Как и следовало ожидать, Брыкин начал пенять и выговаривать ему чуть ли не со слезами на глазах: дескать, почему не брякнул, не дал знать о себе? Уж он бы для кого, для кого, а для него-то, Евдокима Поликарповича, постарался, встретил бы как самого дорогого гостя...

Подрезов терпеть не мог этих бабьих причитаний в мужских штанах, как любил говаривать у него председатель колхоза Худяков, и спросил:

— Куда путь держишь? В область?

— Ага.

— А чего? Не опять ли за новым назначением? — пошутил Подрезов.

Брыкин с озабоченным видом пожал кожаными плечами, и Подрезов понял, что у него опять завал в районе. По завалам Брыкин был просто мастер. Куда, на какой район ни посадят, конец один: покати-лась под гору телега. Зато кто проворнее, отзывчивее Афоня? Надо, скажем, взять обязательство сверх плана по хлебозаготовкам, по молоку, по мясу — а ну-ка, Брыкин, покажи пример. И Брыкин показывает: «Дорогие товарищи! Наш район, подсчитав свои возможности, обязуется... И призываю последовать нашему примеру...»

Ресторан начал пустеть: быстро выкачали православные бочку. В черное окошко, у которого сидел Подрезов, яростно, со всхлипами хлестал косой дождь.

Брыкин снова и снова подливал ему пива из эмалированного ведерка, которое недавно — уже третий раз — наполнил официант, пил сам и с волнением, взалхлеб рассказывал про своего необыкновенно умного сына, который в этом году поступил в торговый институт. Потом, видя, что собеседник не очень-то слушает его, опять заканючил-заныл насчет того, почему он, Подрезов, не заглянул к нему в хоромы, не отведал у него нынешних свежепросоленных рыжиков.

Рыжики у Брыкина, что и говорить, замечательные — тут у него талант. Да еще какой! Он сам их собирал в лесу, сам солил, сам делал специальные бочоночки — ладные такие еловые пузатики с тоненькими можжевеловыми обручами, литра на два, на два с половиной.

Отправляясь в область на совещание по вызову, Брыкин обычно прихватывал с собой парочку таких пузатиков и при случае кое-кому вручал эти дары природы, как он сам выражался. И Подрезов был уверен, что у него и сейчас в каюте наверняка найдется бочонок с рыжиками, а то даже и не один.

Снова взбурлила жизнь в ресторане, когда подошли к большой пристани, ярко освещенной вечерними огнями.

Тут, помимо новой партии любителей пивка, появилось еще ихнее — райкомовское — подкрепление. Сразу три секретаря: Павел Кондырев, Василий Сажин и Савва Поженский. Все с Северной Двины.

Савву Поженского, покажись тот в ресторане один, Подрезов, пожалуй, и не признал бы: в сером потрепанном макинтошике, в фуражке с мятым козырьком — что от первого хозяина района?

Зато Павел Кондырев и Василий Сажин — комиссары. В таких же хромовых, как он, Подрезов, регланах, туго затянутых в поясе и мокрых от дождя (только блеск пошел по ресторану), в полувоенных фуражках, горделиво посаженных на голову, ну, и в соответствен-

ных сапожках — щелк-щелк. Правда, Василий Сажин не совсем лицом вышел — желтое, сплошь оспой изрыто, как, скажи, овец пасли на нем, и оскал рта неприятный, хищный какой-то, а Павел Кондырев — хоть в кино. Красавец мужчина! И недаром буфетчица, еще довольно молодая бабенка с ярко накрашенными губами, сразу же начала вытягивать шею в ихнюю сторону.

Встреча была шумной, радостной. Пять перваков скрестили свои дороги — часто такое бывает?

Подрезова обнимали, тискали, лопатили по спине, и — что удивительно — даже старик Поженский не отставал от других. А уж он ли не отличался выдержкой, он ли не умел держать себя в узде! С тридцать третьего в райкомовской упряжке — ну-ко, какой надо иметь ум и сноровку, какую житейскую академию пройти?

Павел Кондырев, как только разместились за двумя сдвинутыми столиками — тут уж не было помех со стороны, все понимали, какая рыба заплывла в ресторан, — побежал к буфетчице насчет пива. Такой неписаный закон: чей район, тот и угощает (а они как раз ехали районом Павла Кондырева).

Пива у буфетчицы в заначке не оказалось — все, дура, распродала до литра, — но Павел Кондырев достал ведро — чуть ли не из запасов команды парохода.

Он же как хозяин и предложил первый тост:

— За Евдокима Поликарповича! За Подрезова, который всегда впереди!

Насчет всегда — это, пожалуй, крепковато сказано. Нынче Подрезов чуть ли не закрывает областную сводку по лесу. Но черт подери! С чего ему опускать голову? Разве всю войну и после войны не он шагал в передовиках? Ну-ко, плюсуем все кубики, что дал его район за все эти годы, — кого можно поставить рядом с ним? Назвать миллионщиком?

За это уважали его в области. Ну, и за смелость, за удаль уважали.

Удивительная штука жизнь! Уж, казалось бы, среди них-то, хозяев районов, какая может быть смелость да лихость против начальства. Сами начальство. Да и начальство немалое. Первые люди области.

А вот поди ты: везде по одним законам живут. И у них меж собой первая честь и хвала тому, кто перед начальством шею не гнет. А он, Подрезов, не гнул. И не сидел, как мышь, в углу, не делал вид, что его ко сну клонит, когда за товарища надо вступить или начальству правду в глаза сказать.

Нет, он, как говорится, и с места реплику подавал, так что последний глухой слышал, и на трибуну лез.

В сорок четвертом их, первых секретарей, вызвали на бюро обкома. Специально для того, чтобы дать накачку насчет экономного расходования хлебпродуктов.

С приморского секретаря райкома — это он, бедняга, стоял на ковре — просто пух летел: двести килограммов муки раздал районному активу. И когда? В какое время? В годину великой народной страды!

Секретари сидели — глаза поднять не смели, только бы грозой не задело их, потому что кто из них не делал то же самое у себя!

И вот Подрезов не выдержал:

— Разрешите задать вопрос Севастьянову. (Фамилия секретаря Приморского райкома.)

— Давай.

— Скажи, товарищ Севастьянов, сколько килограмм хлеба на

районного активиста досталось из этих двухсот килограмм, розданных тобой?

— От пяти до семи.

— И за какой период эту надбавку ты выдал?

— За год.

— За год пять килограмм на нос?! Ну дак я вот что тебе скажу, товарищ Севастьянов: плохой ты секретарь! Я свой актив чаще подкармливаю. Килограмма-то с три каждый месяц подбрасываю.

Шум поднялся такой, что Подрезов думал — тут ему и конец. Сам Лоскутов, второй секретарь обкома, начал утюжить его — он главный разнос Севастьянову делал:

— Безобразие!.. Судить будем!.. Мы покажем подкормку!!

Но Подрезов — терять нечего — сам кинулся на амбразуру:

— А вы знаете, товарищ Лоскутов, сколько районный служащий хлеба получает? Шестьсот грамм в день. А у этого служащего семья, ребятишки, а ребятишкам этим как иждивенцам двести грамм. Так что этот служащий свои шестьсот грамм никогда и не съедает. А ведь на нем, на районном активе, весь район держится. Они наши руки. У меня один инструктор раз пошел в колхоз. В командировку. Вперед-то добрался, все в порядке, а назад пошел вечером — всю ночь просидел под кустом на лугу. А из-за чего? А из-за того, что у него куриная слепота, ничего не видит.

Севастьянов отделался тогда простым выговором, а их, секретарей райкомов, бюро обкома специальным решением обязало обратить самое серьезное внимание на бытовое обслуживание районного актива. То есть обязало регулярно подкармливать актив, правда не выделив для этого никаких дополнительных лимитов.

Вот после этого случая фамилия Подрезова стала известна во всех районах области.

3

В двадцать три ноль-ноль из ресторана перешли в каюту к Афанасию Брыкину.

Во-первых, их стал упрашивать директор ресторана: дескать, к пристани большой подходим, пассажиры нахлынут — до утра не выжить, а во-вторых, из-за Тропникова, заместителя начальника лесотреста. Он песню испортил.

Вошел в пестром халате, как баба, на носу стекляшки с золотыми зажимами, и давай носом ворочать — неаппетитно, мол, не тем пахнет. А потом — мораль: какой пример подаете, хозяева районов?

Лично он, Подрезов, даже бровью не повел — с войны терпеть не мог этого залезанного и расфуфыренного ябедника, — но осторожный и благоразумный Савва Поженский, а вслед за ним и Афанасий Брыкин встали: большая шишка Тропников. И рука у него длинная!..

А впрочем, нет худа без добра. Именно в каюте-то у Брыкина они и почувствовали себя людьми. Никаких ограничителей в горле, никаких досмотрщиков со стороны. Своя братва! И уж, конечно, никаких величаний по имени-отчеству. Все — ровня!

Сперва навалились на еду — волчий аппетит разыгрался от пива. Все подорожники — рыбники, шаньги, колобки, ватрушки — все, чем заботливые супруги набили сумки и чемоданы, вывалили на стол, а расчувствовавшийся Афоня сверх того выставил еще пузатик с маюсенькими, копеечными, рыжиками.

Савва Поженский да Иван Терехин (еще один первак, подсевший на последней пристани) попытались ихнему застолью придать деловой характер, что-то вроде производственного совещания устроить —

оба так и вкогтились в Подрезова: дескать, как у тебя нынче с хлебом? как с помещениями для скота? что делаешь, чтобы удержать мужика в колхозе? Словом, для этих прежде всего дело. Серьезные мужики.

Но где там! Разве поговоришь о деле, когда Павел Кондырев в загуле!

Зыркнул своими цыганскими, топнул:

— К хренам дела! Завтра дела!

И как выдал-выдал дробь — всех на пляс потянуло. Подрезов топнул, Василий Сажин топнул, Поженский сыпанул горох по столу каким-то хитроумным перебором пальцев.

А дальше — больше. Посыпались соленые шутки-прибаутки, анекдоты, всякие житейские истории, и, конечно, начали строить догадки насчет внезапно исчезнувшего Павла Кондырева.

— К той буфетчице, наверно, подбирается, — высказал предположение Василий Сажин.

— Да, может, уж подобрался. Долго ли умеючи? — живо, с озорным блеском в глазах воскликнул Поженский. Савва по этой части тоже старатель был не из последних — в десять душ семью имел. Потом уже без всякой игривости, с неподдельным беспокойством за товарища: — Ты бы, Евдоким Поликарпович, приструнил его маленько. А то как бы он того... из хомута опять не вылез.

Но тут Кондырев сам влетел в каюту. Глаза горят, лицо бледное, потное — не иначе как шах и мат Клавочке, то есть буфетчице.

Покачался-покачался у дверей — артист не из последних — и выпалил:

— Братцы! Цирк на пароходе!

— Да ну?!!

— А что — двинули?

Но Савва Поженский — не зря на плаву двадцать лет — сразу совладал с собой, хотя было какое-то мгновенье — и у него угарным огоньком загорелся старый глаз:

— Бросьте! Не для нас эти забавы.

— А чего? — запальчиво возразил Павел Кондырев. — Подумаешь, с артистками цирка посидеть! Да там и не одни девчонки — такие лбы сидят, ой-ой! Целая бригада из поездки по колхозам да леспромхозам возвращается.

— Эх, Паша, Паша! Мало тебя мылили, вот что. Забыл, как давеча Тропников носом вертел? Дак ведь то в ресторане мы сидели, без паров в голове, а как прореагируют, когда мы середка ночи к этим самым артисточкам закатимся?

Вот это все и решило — Тропников да расчетливая осторожность Саввы.

— Пойдем, Пашка! Ко всем дьяволам этого Тропникова!

А что, в самом деле? Не люди они? Почему должны плясать под дудку какого-то кляузника и ябедника? А потом, он, Подрезов, в отпуске. Неужели и во время отпуска спрашивать, как жить, у Тропникова?

Глава вторая

1

Подрезов любил первые минуты своего водворения в гостиницу.

Все чисто, все свежо в номере: белоснежная кровать, кафельная ванна, приветливо улыбающаяся горничная в белом переднике — как в праздник приходишь. А потом, не успел еще раздеться, звонки. Один

секретарь райкома — привет, другой секретарь — привет, третий... Просто непонятно, как и углядели. По коридору шел — ни одна душа навстречу не попалась...

Сегодня звонков не было. Сегодня, едва он снял с себя кожанку да отпил холодняка из-под крана в ванной (июльская засуха стояла в горле), в номер к нему толпой вперлись перваки. И те, с которыми ехал на пароходе, и новые: Онега, Лешуконье, Приозерье, Няндомы, Коноша... Народ все крепкий, краснорожий, обдутый и продубленный всеми ветрами Севера. Одним словом, опорные столбы, на которых жизнь всей области держится.

На Евдокима Поликарповича навалились сразу трое — дух перехватило. Правда, и он в долгу не остался: Саватеева из Приозерья так приголубил, что у того слезы из глаз брызнули.

Кто-то из новичков завел речь насчет вечернего сабантуя.

У Евдокима Поликарповича, откровенно говоря, это радости не вызвало: у него еще вчерашние пары из головы не выветрились, да и дел на вечер был воз.

Но, с другой стороны, когда Подрезов портил песню своим товарищам? Когда шел против коллектива? Ведь ежели хорошенько разобратся, то первый секретарь и узду-то с себя может скинуть, только когда из района вырвется. А в районе ты всегда начеку, всегда по команде первой готовности — иначе как же ты с других спрашивать будешь?

Да дело, в конце концов, вовсе и не в том, чтобы разрядку себе дать.

Поговорить сердце в сердце, выложиться как на духу друг перед дружкой, ума-разума поднабраться — вот чем дороги были эти ночные, никем не планируемые совещания.

— Ладно, — сказал Подрезов (все выжидающе смотрели на него), — пейте кровь! Согласен.

— Братцы, братцы! — В номер вломился Павел Кондырев. — Последнее сообщение совинформбюро... Павла Логиновича в Москву забрали.

— Первого? Да ты что?

Сивер загулял по номеру. Перемены в руководстве области могли коснуться каждого из них. Это обычно: пересаживаются в области, а стулья трещат под ними, районщиками.

Все как по боевой тревоге начали затягивать ремни на скрипучих кожанках, поправлять фуражки.

— А ты чего, Евдоким Поликарпович? — Василий Сажин первый разморозил свой голос. — Одевайся. Пойдем послушаем тронную речь Лоскутова.

И Подрезов уж взялся было за пальто, да вдруг махнул рукой:

— Ладно, ребята, катайте. Хватит и того, что вы похлопаете.

2

— Ну и ну! Вот это рванул дак рванул!

— Да, «хватит и того, что вы похлопаете»...

— Натура!

— Посмотрим, посмотрим! У Лоскутова тоже не хрящики вместо пальцев...

Все эти голоса, восхищенные реплики, которыми сейчас по дороге в обком наверняка обменивались меж собой его товарищи, Подрезов хорошо представлял себе. Но сам-то он трезво, очень трезво оценивал свой поступок. Во-первых, в отпуске — какие могут быть претензии?

У человека на руках путевка, причем путевка горячая, с завтрашнего дня, — имеет он право кое-какие дела перед отъездом справиться? А второе — и это самое главное — с чем идти на совещание?

Тронная речь будет. Распишет Лоскутов свою программу, расставит вехи. А ежели наоборот? А ежели с ходу: доложить обстановку в районах?

Нет, нет, он, Евдоким Поликарпович, не привык: тык-мык — и язык присох к горлу. Он с подчиненных строго спрашивал, но и себе поблажки не давал: все цифры, все хозяйство района держал в голове. Хоть во сне спрашивай — без запинки выложит. А теперь, после двух-недельных разъездов, что он мог сказать по существу?

Ничего, ничего, успокаивал себя Подрезов, выхаживая по номеру, Фокин в грязь лицом не ударит. Язык подвешен, сообразит где что прибавить, а где что поубавить. Только почему его нет в гостинице? У теци остановился? Или район не на кого оставить?

И еще мучил ему сейчас голову Зарудный.

Две недели отдыхал от этого молодца, две недели, покада жил на Выре, не думал о Сотюге, а вот только приехал в город — и завертелась старая карусель.

Перед отъездом в отпуск Подрезов загнал-таки наконец Зарудного в свои оглобли — обязал решением райкома (конечно, с согласия области) до минимума сократить жилищное строительство и высвободившуюся рабочую силу бросить в лес, на ликвидацию прорыва.

Но как выполняется это решение? Не отмочит ли сотюжский директор какую-нибудь новую штуковину? Ведь заявил же он на бюро райкома: «Я с этим решением категорически не согласен и со своей стороны сделаю все, чтобы доказать, что оно идет вразрез с интересами дела».

Ладно, чего заранее отневать себя, решил Подрезов и взялся за телефонную трубку.

— Справочная? Дай-ко мне номер телефона ремесленного училища номер один...

Ответили быстро.

— Товарищ директор? Секретарь райкома с Пинегы говорит, Подрезов. Тут у вас есть два моих подшефных. Близнецы. Пряслины фамилия. Так вот интересуюсь. Как они там?..

— Есть, есть такие, — ответил директор — Очень хорошие ребята...

У Евдокима Поликарповича сразу посветлело на душе. Так уж, видно, он устроен: лучшее лекарство для него — дело. А пряслинские ребята его давний долг. Михаил просил насчет братьев чуть ли не месяц назад, когда они с Лукашиным заезжали к нему на Копанец. И он был очень доволен сейчас, что вдруг пали ему на ум эти ребятишки.

Труднее было звонить родному сыну.

Первенец от любимой жены, парень с образованием — техникум механический кончил — чего еще надо? А вот, поди ты, не лежала у него душа к Игорю, и все. Встретятся — посидят за столом, попьют чайку, а говорить и не о чем. Разные люди. У него, у Евдокима Поликарповича, голова кипит от забот о районе, он за всю страну думает, а Игорь, как крот, в нору свою носом уткнулся и нет ему дела ни до чего. В двадцать три года у человека первая дума — как бы отдельную квартирку сварганить да Капе своей шубу котиковую завести.

Ох эта Капа, Капа, провались она трижды сквозь землю! (У Евдокима Поликарповича при одной мысли о невестке в глазах темнело.) Худая, злющая, как оса, жадная. Вином уж не угостит, нет. Дескать, нельзя, дорогой папочка, для здоровья вашего вредно... И еще: на чистоте помещалась, стерва, — медсестрой работает.

То, что она сама всю зиму чесноком обвешана ходит, черт с ней, ее дело, и на хлорку ейную — у дверей в коридоре насыпана — наплевать. Да она и ему-то всю плешь с этой чистотой переела. Только он переступит к ним за порог, еще поздороваться не успел, а она уж тут как тут со своими тапочками. «Сапожки, сапожки, дорогой папочка, снимем. Дайте отдых своим ножкам. Очень медицина рекомендует...»

Евдоким Поликарпович не раз говаривал сыну: уходи ты, к чертям, от этой паскуды! Она из тебя все соки выпьет и голову назад повернет. Но где там! Разве с его Игорем сговоришь? Ума большого бог не дал, с первого класса выше троек не поднимался, а по части упрямства — рекорд поставит. По целым дням может не разговаривать.

Игоря на работе не было — в командировку уехал, — и Евдоким Поликарпович с превеликим облегчением вздохнул. Должен, обязан он повидать свою внучку — тут и разговоров быть не может, но раз сына дома нету, к невестке можно сейчас и не ходить. Да и внучка трехнедельная — чего поймаешь? Чего разглядишь? А вот на обратном пути завернет, тогда картина уже прояснится. Тогда видно будет, в кого пошла — в ихний, подрезовский, корень или в материн.

3

В войну и после войны райончики работали на износ. Выходных не знали по месяцам. Спали по три-четыре часа в сутки, а так — либо по колхозам и лесопунктам мотаешься, либо на посту в своем кабинете.

Подрезов с его богатырским здоровьем легко переносил этот режим, а уж если когда становилось неважно, сон начинал одолевать, ведро холодняка на себя (уборщица за этим строго следила) — и опять сидит себе за своим рабочим столом в одной синей трикотажной майке, весь красный, раскаленный, как самовар. И сразу за двумя делами: большое, по-охотничьи чуткое ухо телефонный звонок из области сторожит, а цепким ястребиным глазом в книжке — приходилось натаскивать себя, потому как с начальной академией сложный узел не развяжешь.

Но была, была и у Подрезова одна отдушина — баня. Раз в неделю обязательно ходил, всю усталость березовым веником выпаривал и из бани выходил как заново на свет рожденный, а в городе, в гостинице, всегда принимал ванну.

Горячую воду наливал — рука еле терпела. И лежал, лежал, весь распустившись и блаженно прикрыв глаза, а ежели удавалось выкроить свободный часок, то и приземлялся.

Сегодня Евдоким Поликарпович пять часов проспал после ванны.

Он живо, без малейшей раскочки вскочил на ноги, начал звонить одному секретарю, другому, третьему.

Никто не отозвался.

Долгоночко, долгоночко их накачивает Лоскутов. В охотку работка — новая.

А в общем-то, он не удивился бы, если б ребята запаздывали и не из-за Лоскутова. Это ведь в районе своем секретарь — первый человек и гроза, а тут, в области, он и попрошайка, и плакальщик, и еще черт-те кто...

Да, да, да! Все надо протолкнуть и выбить секретарю: и грузовики, и тракторы для колхозов, и технику для леспромхозов, и хлебные лимиты, которые каждый месяц урезают, отстоять. А пенсий? А учителей, которых из года в год не хватает в школах? Да ежели говорить откровенно, то это еще неизвестно, где у первого секретаря главная работа: в районе у себя или в области.

Во всяком случае, тут, в области, добывается смазка и горючее для машины, которая называется районом. Тут раскрываешь свои таланты сполна. Потому что от них, от этих твоих талантов, зависит судьба целого района, жизнь и благополучие десятков тысяч людей...

Подрезов беглым, наметанным глазом просмотрел областную газету (в ней еще ни слова не было о переменах в областном руководстве), подождал еще минут пять и пошел в ресторан: страшно хотелось есть. Утром на пароходе он, как всегда после кутежа накануне, выпил только стакан крепкого чая.

4

В ресторане играла музыка.

Маленький человечико, уже немолодой, лысый, с жаркими южными глазами, лихо притоптывая ногой, изо всех сил лупил деревянными скалками по барабану и медным тарелкам и был счастлив, как малый ребенок, когда тот доберется до любимой игрушки.

Подрезову он почему-то напомнил Ганичева, может быть, своим железным ртом, который как-то особенно дико было видеть на этом счастливом и улыбающемся лице.

Свободные места были чуть ли не за каждым столом, но он направился в дальний угол, где в полумраке и одиночестве восседал Покатов.

Очень приметная фигура этот Покатов — ни с кем не спутаешь. Сидит за столом, как барин, вразвалку, нога на ногу, белая крахмальная салфетка на груди (Подрезов в жизни своей ни разу не пользовался ею) и тонкая нервная рука с золотым кольцом. Ну, а голова у Покатова и вообще на всю область одна — крупная, продолговатая, всегда гладко выбритая, так что сейчас, присматриваясь к ней, Евдоким Поликарпович неожиданно для себя сравнил ее с головой святого на иконах — такой же свет вокруг.

Чего только не знала эта голова! Как-то на семинаре их, первых секретарей, стали гонять по четвертой главе «Краткого курса». Гегель... Кант... Фейербах... Имена такие, что не сразу и выговоришь. А до Покатова очередь дошла — как семечки начал щелкать. Все знает, все ему нипочем.

В тридцатые годы Виталий Витальевич гремел на всю область, в больших мужиках ходил, одно время даже заместителем председателя исполкома был. А потом круто покотился вниз. Из-за дружбы с зеленым змием. И сейчас, увидев его в ресторане, Подрезов нисколько не удивился. Чего с него возьмешь? У кого поднимется рука отчитывать такого человека по каждому пустяку?

— Здорово, Виталий Витальевич! — Подрезов пожал узкую интеллигентную руку с золотым кольцом, которую Покатов, как-то брезгливо поморщившись, подал. — Оказывается, не я один стороной топаю.

— То есть?

— Да чего то есть! Сознательные люди тронную речь сегодня слушают, а не по ресторанам сидят.

— Вы имеете в виду совещание в обкоме?

— А чего же больше.

— Вы ошибаетесь, — сказал Покатов. — Я был на совещании. А вторых, никакой тронной речи там не было.

— Вот как! А разве Павла Логиновича не переводят в Москву?

— Переводят. Но это еще не значит, что на его место сядет Лоскутов.

На минуту разговор у них оборвался — подошла официантка.

Подрезов заказал натуральный бифштекс, палтус и две бутылки

пива и снова стал допытываться у Покатова: почему он думает, что Лоскутов не станет первым?

— Потому что не станет,— процедил сквозь зубы Виталий Витальевич.— Позвоночник недостаточно развит...

Подрезов захохотал.

На них стали глядеть с соседних столиков, но Виталия Витальевича это нисколько не смущало. Он никогда не стеснялся в выражениях. Да его выражения не сразу и раскусишь. К примеру, как понимать вот это двусмысленное высказывание о Лоскутове? Как похвалу или как порицание?

— Ну, а что же там было, на этом совещании? — спросил Подрезов.

— Вас ругали.

— Меня? — Подрезов от смущения крикнул.— За что же? Тропникову, поди, не понравился?

С Тропниковым они не ладили давно, еще с той поры, как тот первый раз приезжал на Пинегу.

Со сплавом в том году было ужасно. Июнь месяц в разгаре, только что половодье отшумело, а река как летом после жары: весь лес по берегам.

И вот Тропников — он приехал в чине особого уполномоченного — рубанул: прекратить полевые работы в колхозах! Всех на сплав! До единого человека.

Подрезов и сам иногда прибегал к такой мере. Случалось, снимал людей с сева на день-два, но только в отдельных колхозах. А тут по всему району. В самый разгон полевых работ. Да это ведь все равно что заранее объявить голод в районе!

— Не прекращу,— сказал Подрезов.

— Как не прекратишь? Да я тебя под суд отдам!

— Хорошо,— решил Подрезов,— прекращу. Но только вы сперва дайте письменное распоряжение.

Письменного распоряжения Тропников, понятно, не дал, но с той поры и начал начал мотать ему нервы. По каждому пустяку. И даже то, что на Сотюгу прислали директором мальчишку-сосунка, Подрезов не сомневался: его, Тропникова, работа. Специально постарался, чтобы своего недруга допечь, чтобы каждодневно и каждочасно отравлять ему жизнь. Ну, а что касается сегодняшней стрижки на совещании, то иначе и быть не могло. Он сам дал козырь в руки Тропникову. Надо же было им с Кондыревым поднять пыль на пароходе!

Пашка Кондырев, как только попал к артистам цирка, сам начал всех смешить и забавлять, а потом разошелся — «Из-за острова на стрежень» рванул. Вот тут и вломился к ним Тропников в своем бабьем халате — оказывается, у него каюта рядом — и давай, и давай их отчитывать, как мальчишек. Это их-то, первых секретарей, при девчонках! Ну и Подрезов сразу вспылал, а когда Тропников снова, уже с капитаном парохода, заявился, просто выставил непрошенных гостей...

— А, дьявол с ним! — выругался Подрезов.— Чего себя раньше смерти отпевать!

Покатов неторопливо и тщательно вытер белой салфеткой бледные губы, взял из раскрытой пачки толстую, внушительную папиросину.

— Надо знать, где показывать свой нор. Устраивать дебош на пароходе...

Дальше должны были последовать наставления. Покатов, когда был в хорошем настроении, любил поучать молодежь (а он всех своих коллег, даже Савву Поженского, за молодежь считал), и Подрезов,

совсем не склонный сейчас к серьезному разговору, с беззаботным видом махнул рукой:

— Перемелется, Виталий Витальевич! То ли еще видали!

— Не скажите. Когда о пьянке первого секретаря райкома говорят с такой трибуны на всю область, можешь поверить мне, хорошо не кончается. А кроме того... — Покатов замолчал, сосредоточенно выпуская табачный дым углом рта, — а кроме того, тебя еще трясли за чепе.

— За чепе? Меня за чепе?

— Я полагаю, тебе лучше знать, что у тебя в районе делается.

— Да откуда? Я уж две недели как из района...

Покатов потер своей узкой и белой рукой наморщенный в гармошку лоб.

— Как же фамилия, дай бог памяти? Лапшин... Есть у тебя такой председатель колхоза?

— Лукашин, может?

— Да, кажется, Лукашин... Арестован. За разбазаривание колхозного хлеба в период хлебозаготовок...

Все это Покатов сказал прежним спокойным голосом, со своим неизменным выражением какой-то брезгливости на лице, а Подрезову показалось — из пушки бабахнули по нему.

Но он не вскочил, не заорал как зарезанный, хотя такое ЧП хуже всякого ножа режет первого секретаря. Он заставил себя небрежно махнуть рукой (а, ладно, мол, ерунда все это, не то видали), заставил себя выпить бутылку пива и даже поковырять сколько-то вилкой палтус, потом расплатился с официанткой и протянул руку Покатову.

Виталий Витальевич крепче обычного пожал ему руку, и когда немало удивленный Подрезов глянул ему в лицо, он прочитал в его мурых, все понимающих глазах сочувствие.

Глава третья

1

Был одиннадцатый час утра, когда Подрезов, раскрыв дверцу остановившегося перед райкомом «газика», поставил свою тяжелую ногу на землю.

Туча воробьев ошалело взмыла с черемухового куста, еще не просохшего от росы, в окнах забегали, замельтешили белые, перепуганные лица — всех врасплох застал неожиданный приезд хозяина.

— Кто дал санкцию на арест? Ты?

Фокин улыбался. Улыбался, стоя за столом и стиснув зубы, одними краешками черных прищуренных глаз. Такая уж у него привычка: пока не соберется с мыслями, ни одного звука наружу. И раньше Подрезову нравилась эта железная выдержка у своего подчиненного. Но только не сейчас. Сейчас, увидев эту глубоко запрятанную деланную улыбку, он заклокотал, как раскаленная каменка, на которую подбросили жару.

— Я спрашиваю, кто дал санкцию? Кто?

— По-моему, это и так ясно, поскольку я оставался за вас...

— Идиот! Сопляк! С мальчишками тебе мяч гонять, а не районом командовать. Ты понимаешь, нет, что натворил?

Смуговое, всегда румяное лицо Фокина побагровело, желваки под скулами закатались, как нули. Но Подрезов и не подумал щадить его самолюбие. Потому что за такую дурость мало ругать. За такую дурость надо штаны спускать. Да, да! Одна такая глупость — и все. Годами не вылезешь из дерьма...

— Где у тебя голова? Сколько раз я тебе говорил: держи ворота на запоре, не давай каждой собаке совать нос в свою подворотню. А ты что? Караул на всю область?.. Помогите?..

— Я думал, раз такое чепе в районе, то надо прежде всего отсечь его от райкома. А кроме того, есть закон...

— Ты думал!.. Думал, да все дело — каким местом. Как ты отсечешь его, это самое чепе, от райкома, когда оно в твоём районе?

Подрезов махнул рукой устало: бесполезно, видно, толковать. Вот тебе и Милька Фокин, вот тебе и смена. А он-то думал всегда: этот все понимает. С собачьим нюхом родился парень. Черта лысого! Деревянные мозги...

За окном разгоралось сентябрьское солнце. Медленно, с трудом, как костер из сырых дров.

Он подошел к окну, ткнулся горячим лбом в холодное запотелое стекло. Его поташнивало, хотя качки сегодня не было — большой самолет летел. Поташнивало всего скорее оттого, что с утра ничего не ел. Да и не спал. В час ночи приехал на аэродром на каком-то случайном катеришке и с тех пор ни на одну минуту не сомкнул глаз. До сна ли, когда у тебя ЧП в районе!

— Кто теперь в Пекашине?

— В смысле руководства? — уточнил вопрос Фокин.

— Да.

— Покамест Ганичев.

— Что? Ганичев? — Подрезов круто обернулся — в нем снова забурлил гнев.

— Там теперь, Евдоким Поликарпович, прежде всего нужна фигура политическая...

— Мужик там нужен с головой. Хозяйственник! Чтобы скотный двор достроить, а то зима начнется — весь скот околеет.

Подрезов сбросил с себя душивший его кожан. прошелся по кабинету.

— Сводки!

Фокин подал сперва сводку по хлебозаготовкам, но Подрезов даже не взглянул на нее. Лес, лес в первую очередь!

Три леспромхоза кое-как держались, а некоторые лесопункты — Туромский и Синь-гора — даже к заданию приближались. Но Сотюга!.. Что делать с Сотюгой? Тридцать семь процентов отвалили за последнюю декаду!

— А это еще что такое? — Подрезов потрянул какую-то бумагу, подколотую к сводке.

— Докладная записка директора Сотюжского леспромхоза.

— Зарудного? — Подрезов просто зарычал на Фокина. — Мне не докладные записки от него нужны, а лес. Понял?

— Записка адресована министру лесной промышленности, а это копия...

— Кому копия?

— Копия райкому, поскольку Зарудный считает, что последнее решение бюро райкома по Сотюжскому леспромхозу в корне ошибочно...

Подрезов взял себя в руки, пробежал глазами записку.

Ничего нового для него в записке не было.

Прوماхи проектных организаций в определении сырьевой базы леспромхоза, недопустимая халатность комиссии в приемке объекта, совершенно не готового к эксплуатации, необходимость всемерного форсирования строительства жилья, поскольку от этого прежде всего зависит прекращение текучести рабочей силы, и наконец самое главное — настоятельная просьба о пересмотре задания для леспромхоза,

по крайней мере перенесение летне-осенних лесозаготовок на зимний период... В общем, в записке излагались все те вопросы, которые Зарудный не раз ставил и перед районом и перед областью.

Новое для Подрезова было в другом. В том, что Зарудный через голову района и области обратился прямо в Москву, в столицу... Да такого, как Пинега стоит на свете, не бывало!

Что такое ихняя Пинега, ежели начистоту говорить? В области своей знают и в соседней Вологде слышали, а дальше кому она известна?

Знают у Подрезова на курорте зашел разговор о своей вотчине. Собеседник его — начальник главка из Москвы — захлопал глазами: дескать, это еще что такое?

А вот тут нашелся человек, который, недолго раздумывая, бах в Москву. Читайте! Сотюга — даже не Пинега! — считает... Сотюга настаивает...

От мальчишества это? От незнания жизни? Или это какой-то новый человек идет в жизнь — совершенно другой, нездешней выработки, который ничего не боится?

Подрезов так и не додумал до конца эту пришедшую на ум мысль — надо было немедля браться за дела, начинать свой замес жизни.

2

Райкомовская машина работала на полных оборотах.

Подрезов снова держал рычаги управления в своих руках. Он вызывал к себе людей, звонил по телефону, требовал, отдавал команды.

Хлеб — взял. Навалился на председателей колхозов, которые покрепче, и за каких-нибудь два-три часа хлебная сводка подскочила на пятьсот пудов.

А как взять лес? Лес с наскоку не возьмешь, хотя он-то и решает сейчас все. Лес, кубики — голова всему, а не какие-то там жалкие тысячи пудов зерна, да к тому же еще фуражного, которые дает государству Пинега.

Раньше было просто.

Задание получил, по леспромхозам, по лесопунктам, по колхозам раскидал, людей в лес отправил, а остальное уж от тебя зависит, от того, как ты сумеешь извернуться.

А что зависело от него на Сотюге?

Лес поблизости вырублен, надо тянуть железную дорогу, лежневки строить для лесовозов, а кой черт он понимает во всем этом? Возле трактора да лесовоза как пень стоит. Любой сопляк обжудить может.

А бывало?!

«Залупаев, Ступин, в чем дело? Почему график срываете?» — «Да с вывозкой затирает, Евдоким Поликарпович. Только и знаем что ремонтируем дорогу — две версты болотом».

В тот же день — на лесопункт. Взял стариков охотников, которые, как свою избу, все леса вокруг знают, все выбродил, ногами своими вымерил: «Кочан у вас на плечах! Почему дорогу в обход не сделать — болота не обойти?» — «А и верно, Евдоким Поликарпович. Оно хоша на версту и подальше будет, да зато никакая затайка не страшна. До последнего снега санный путь держаться будет».

И так всюду, во всех делах. Сам первый инженер. Во всем. А теперь — нет. Теперь стой сбоку, в сторонке, и жди, что тебе скажет ученый молокосос, потому как ты во всей этой железной механике и во всех этих проектах и графиках, вычерченных в Москве и Ленинграде, ни бум-бум.

— Что будем с Сотюгой делать? — в упор спросил Подрезов Фокина.

Фокин не сразу ответил. (Когда это первый спрашивает чье-либо мнение?)

— Вопрос слишком серьезный и без районного актива или пленума не обойтись.

— А что это даст? С каких пор на районных активах и пленумах стали лес рубить?

Да, надо немедленно сдвинуть с места сотюжский воз — в этом, только в этом выход. И самое разумное сейчас было бы самому махнуть на Сотюгу. Поостыть, поуспокоиться, там, на месте, с недельку полазять и подумать, но где она у него, неделька? Двух дней даже нет. Потому как пекашинское ЧП можно смыть только немедленным рапортом: государственное задание Сотюга выполнит.

А потом, что он мог возразить по существу Зарудному? Уж ежели прямь-напрямь говорить, то этот мальчишка не без мозгов — в самое яблочко лупит. Сырневая база нового леспромхоза определена ошибочно — факт, а это значит минимум на два лишних года затянется строительство железной дороги. Без жилья ни туды ни сюды — тоже факт. И прав Зарудный насчет ошибок, допущенных при приемке объекта...

Какой там, к чертям, механизированный леспромхоз, когда ни мастерской для ремонта тракторов и лесовозов, ни заправочных пунктов, ни подвочных дорог от лесных делянок к железной дороге! И ведь Подрезов (он сам возил приемочную комиссию на Сотюгу) понимал, видел все эти недоделки, даже председателю заявил, что предприятие не готово к эксплуатации. Да председатель — тертый калач, насквозь человека видит — покачал головой: «Ну, товарищ Подрезов, вот уж не ожидал, что ты такой мелочага! А мне-то про тебя былины в области пели». И товарищ Подрезов растаял...

А за этим ляпом, само собой, последовал и другой ляп — непосильное задание. Раз леспромхоз принят, вступил в строй, то какой же план? На всю катушку. И была, была у него возможность поправить дело — только бы скажи со всей прямотой и откровенностью на бюро обкома. Нет, не сказал. Озноб, мороз пошел по коже, когда задание для нового леспромхоза услышал, а духу возразить не хватило. Как же это так? Он, Подрезов, да будет канючить, отбой бить? Никогда!

— Ладно,— сказал Подрезов и шумно выдохнул из себя воздух,— совещание так совещание.

А что еще оставалось?

Фокин протянул лист исписанной бумаги.

— Это еще что?

Подрезов надел очки, начал читать:

«В бюро обкома ВКП(б)

Заявление

Ввиду того, что в последнее время у меня с первым секретарем райкома тов. Подрезовым Е. П. наметился ряд принципиальных расхождений в решении принципиальных вопросов, прошу от занимаемой должности...»

Подрезов, не спуская с Фокина своих пронзительных, замораживающих глаз, медленно сложил заявление пополам, потом еще раз пополам, надорвал и бросил в корзину.

— Иди. Будем считать, что я этой бумажки не видел.

— К вашему сведению, это не бумажка, а официальное заявление секретаря райкома...

— Ну, ну! Валяй. Еще что скажешь?

— Еще скажу, что я не мальчик на побегушках, а вы не хозяин, у которого я на службе. Это первое. А второе... От докладной записки

Зарудного нельзя так просто отмахнуться. Пора прямо правде взглянуть в глаза.

— Ты за решение бюро голосовал, нет?

На их счастье, тут с зажженной лампой вошел Василий Иванович, и Подрезов огромным усилием воли задал в себе гнев.

Он не слышал, как вышел из кабинета Фокин. Прикрыв глаза тяжелой, отливающей рыжим пухом рукой от непривычно яркого, режущего света, ходил по кабинету и не замечал стоявшего навтыжку своего помощника.

Взглянул, когда тот несмело кашлянул.

— Чего у тебя?

— Евдоким Поликарпович, там один человек к вам просится...

— Какой еще человек?

— Анфиса Петровна...

— Анфиса Петровна? — Подрезов как-то и не подумал, что к нему может явиться жена Лукашина, хотя сам Лукашин не выходил у него из головы.

Да, да! Лесозаготовки, хлебопоставки --- ради кого он сейчас всеми силами гнал? Разве не ради того, чтобы этого дурака поскорее из ямы вытащить? Потому что одно дело, когда ты разговариваешь с областью, опираясь на лесные кубики и хлебные пуды, и совершенно другое, когда ты, как нищий, протягиваешь пустую руку за милостыней...

— Скажи, что меня нету. Понятно? — Поморщился и устало махнул рукой. — Ладно, пушай заходит.

3

Сколько времени прошло с той поры, как он последний раз видел эту женщину? Дней двадцать, не больше. А не скажи ему помощник, что сейчас к нему войдет Анфиса Минина, он бы, ей-богу, не признал ее.

Тихо, каким-то бесплотным призраком переступила за порог, стала у дверей.

Подрезов, однако, не дал власти чувствам. Он в кулак зажал сердце.

— Пришла? Насчет мужа?

— Насчет...

— Ну и что? Отпусти, Евдоким Поликарпович, зря посадили... Так? Анфиса тяжело перевела дух.

— Ага, вздыхаешь! Понимаешь, значит, что натворил твой безмозглый муженек?

— Он не для себя взял...

— Не для себя? Вот как! Не для себя... А государству большая разница от того, кто и как к нему в карман залез? Ну! Чего язык прикусила?

Темная злоба вдруг накатила на Подрезова. Из-за кого, по чьей милости у него все эти неприятности, срывы, провалы? Кто виноват в том, что он сегодня сломя голову прискакал сюда среди своего отпуска? Разве не ее пекашинский болван? А она сама? Присмирела, богородицей сейчас смотрит на него, а может, она-то и есть всему вина? Может, она-то и науськала своего муженька? Он не забыл еще, как она напевала ему за столом, когда они с Лукашиным ездили на Сотюгу, черт бы ее побрал!

— Получит, получит, что заработал! И даже с довесом. Так трахнем, чтобы не только он сам, а и другие навеки запомнили...

В вечерних сумерках бледным пятном светилось лицо Анфисы, все так же безмолвно и покорно стоявшей у дверей, а он метался по кабинету, кричал, грозил...

Опомнился он, когда внизу хлопнула наружная дверь. Громко, на все здание, так, как она хлопает только в конце рабочего дня, когда пустеет райком...

Вечерняя густая синева заливала главную улицу райцентра, уже кое-где прорезались первые огоньки, уже висячий фонарь зажгли на широком крыльце сельповского магазина, но не от них, не от этих огней был сейчас свет на улице. От белого платка.

Первый раз сверкнул этот белый платок перед Подрезовым в сорок третьем году, когда, возвращаясь из верхних колхозов, он по пути привернул на Марьины луга — главные покосы пекашинцев.

Время было тяжелейшее — голод, непосильная работа, постоянные похоронки с фронта, ну и, конечно, как только он подъехал к избушке, бабы задавили его слезами и жалобами.

И вот тогда-то, отбиваясь от баб, он и увидел белый платок на черном лугу — яркий, чистейшего снежного накала.

— Кто это там у вас?

— Да председателюша. Зарод дометывает — боится, сено под дождь уйдет.

И, помнится, тогда Подрезову только от одного вида этого белого платка, так зазывно, так ярко, не по-военному горевшего на вечернем лугу, стало легче на душе.

И он схватил первые попавшиеся на глаза вилы — и к ней, к Анфисе, на помощь.

А вскоре к зароду подошли и бабы. И спасли сено — до дождя дометали зарод...

Белый платок полоскался в вечерней синеве, гас, снова вспыхивал, а Подрезов стоял у окна в своем кабинете и плакал...

С ней, с этой бабой из Пекашина, связаны у него самые дорогие, самые святыне воспоминания о войне, о той небывалой бабьей битве, которой командовал он на Пинеге.

И вот он криком, бранью встретил ее, по сути предал свою первую помощницу, своего безотказного командира колхозной роты под названием «Новая жизнь»...

И мало того. Опять, опять, как раньше, отплясывался на ней, срывал свой гнев, свои промахи и ошибки...

4

В приемной у Дорохова за секретарским столиком горбился какой-то молодой незнакомый лейтенант в голубой фуражке, должно быть из приезжих, и печатал на машинке. Подрезова это немало удивило: никогда в жизни не видал мужчину за пишущей машинкой.

Но, в свою очередь, немало удивился и лейтенант. И тут голову тоже не приходилось ломать. Не часто заглядывал в это заведение хозяин района. Может быть, раз или два за все девять лет своего секретарства.

Правда, Подрезов не мог пожаловаться на своих начальников — ни на старого, Таранина, которого три года назад перевели в другой район, ни на нынешнего, Дорохова. Нет, мужики что надо. Нос без толку не задирают и по первому зову, без задержки являются к нему.

А с нынешним, с Дороховым, он даже позволял себе шуточки при встречах:

— Ну как, безопасность? Все пишем? Много накатал на меня?

— Да накатал, не без того же! — в том же духе отвечал Дорохов.

И вот сейчас, когда Подрезов переступил за порог его кабинета, Дорохов, видно, вспомнил их всегдашнюю игру:

— Ба, какой гость у меня!

Живо, не чинясь, поднялся из-за стола, пошел ему навстречу со слегка приоткрытыми в улыбке передними золотыми зубами — будто горбушку солнца нес во рту. Да и вообще — красив Дорохов. Щеголь мужчина. Гибок, строен, всегда до синевы выбрит и всегда надушен, как городская барышня.

Единственно что, по мнению Подрезова, несколько портило его холеную красоту, это его всегдашняя бледность да болезненно-красные усталые глаза.

Но сейчас, присматриваясь к его кабинету с тяжелыми черными шторами, которыми наглухо были затянута окна, он, кажется, понял, отчего это. И еще он понял, почему по вечерам в этом доме всегда темно — в лучшем случае иногда видно узкую желтую полоску света в нижнем этаже.

— Так, так,— сказал Подрезов, не спеша, по-хозяйски вышагивая по кабинету.— Давим, говоришь, контру? Может советский народ жить и работать спокойно?

— Может,— улыбнулся Дорохов.

— Сухим держим порох в пороховницах?

— Сухим.

— То-то. В надежных, значит, руках карающий меч? — Подрезов кивнул на портрет Дзержинского на стене.

— В надежных.

В таком вот духе они и говорили. Он, Подрезов, задавал какие-то дурацкие, никому не нужные вопросы, а Дорохов с золотой улыбочкой отвечал. Коротко, его же словами.

В кабинете из-за того, что наглухо запечатаны окна, было жарко. Пот лил с Подрезова.

Он начинал злиться.

Его до глубины души возмущало собственное малодушие. Почему, почему он не рубанет прямо: так и так, мол, товарищ Дорохов, хватит. Проучил ты этого пекашинского дурака — и хватит, гони в шею. Нечего ему зря казенные хлебы переводить.

Но вот как раз этого-то самого простого и самого сейчас нужного он и не мог сказать. Струсил?..

Раньше, например, ему и в голову не пришло бы тащиться самому сюда. Я — райком! Подрезов. И никаких гвоздей. А то, что ты там кому-то будешь шлепать и названивать,— наплевать. Наплевать и растереть.

Наконец завелся внутри мотор. Былая сила вернулась к нему.

Он круто повернулся к Дорохову, даже голову вскинул, но опять эта золотая улыбочка... А кроме того, Дорохов услужливо протягивал ему раскрытую пачку «Казбека».

Пришлось взять толстую папиросину — не орать же на человека, который тебя угощает! И, в общем, началась та же самая ерундистика, от которой еще недавно тошнило его.

— Международная обстановка сейчас, по-моему, ничего, а? — сказал Подрезов.— Особенно после того, как у нас своя атомная бомба появилась.

— По-моему, тоже,— ответил Дорохов.

— По американцам это удар, верно? Вот тебе и русский Иван! Опять себя показал как надо, весь мир удивил...

— Да, удивил.

— А внутреннее у нас положение тоже на высоте. Читаешь газету? Вся страна рапортует о досрочном выполнении хлебопоставок...

Тут Подрезов внутренне весь напрягся: все-таки он подвел разговор прямо к Лукашину. Неужели Дорохов и на этот раз не пойдет ему навстречу?

Не пошел.

— Рапортует, — ответил.

Подрезов вмял недокуренную папиросу в пепельницу на столе, с напускной молодцеватостью расправил плечи.

— Ладно, товарищ Дорохов, мне пора. Будешь завтра на совещании? В общем-то, я насчет этого и зашел. Топал мимо — чего, думаю, не зайти?

— Постараюсь, — сказал Дорохов.

Улыбаясь, они пожали друг другу руки.

Дорохов до дверей приемной проводил почетного гостя. И даже лампу взял со стола лейтенанта, все так же уныло выстукивавшего на машинке, чтобы осветить ему в темном коридоре.

Подрезов генералом прошагал по коридору.

А потом, а потом...

Хорошо, что на свете есть осенняя темень! Она, как плащом, накрыла его. Черным, непроницаемым, словно шторы в кабинете у Дорохова. И он мог идти запросто, тяжело дыша, тяжело бухая своими чугуном налитыми сапожищами, нисколько не заботясь о том, что его увидят люди.

Глава четвертая

1

Холодный сиверко резвился на пустыре возле здания райисполкома. И в вышней темноте, над его крышей, шумно, с хлопаньем пласталось невидимое полотнище красного флага.

Но напрасно Анфиса искала глазами свет в окошках. Его не было. Кончился рабочий день в райисполкоме, а вечерняя служба еще не началась — только внизу, на первом этаже, где трудилась уборщица, время от времени то в одном, то в другом окне вспыхивала лампа.

— Анфиса, Анфиса...

Кто-то давно уже, еще с той минуты, как она вышла от прокурора, тащился за нею сзади, но разве могла она подумать, что это Варвара? А то была она, Варвара.

Со слезами, со всхлипами бросилась ей на шею.

— Я еще давеча тебя заприметила, когда ты от Дорохова вышла — я ведь там уборщицей, — да, думаю, ладно, не буду мешать, пушай сходит к прокурору. Сказал он тебе чего, нет?

— Чего скажет. По закону, говорит...

— По закону! Какой такой закон — самого честного-распрочестного человека сажать?

Крепко подхватив под руку, Варвара повела ее куда-то вверх по главной улице, и у нее не было сил сопротивляться.

Начала соображать Анфиса, когда они стали сворачивать в какой-то заулоч.

— Пойдем, пойдем, — зашептала Варвара на ухо, все так же крепко держа ее под руку. — С ума-то не сходи. Нету дома Григорья. А хоть бы и дома был — что с того? Невелика птица милиционер: куда пошлют, туда и пойдешь.

Вот так Анфиса и оказалась в маленькой боковушке у Варвары на втором этаже.

Варвара ухаживала за ней как за малым ребенком или за больной. Она разула, раздела ее, заставила натянуть на ноги теплые, с печи, валенки, а потом, когда поспел самовар, начала кормить и поить чаем.

— Ешь, пей. Ты ведь, наверно, еще и не ела сегодня?

— Да, пожалуй...— кивнула Анфиса и вдруг расплакалась.— Не думала, не думала я, Варвара, что у тебя найду пристанище...

— Да ты с ума сошла, Анфиса! К кому же тебе идти, как не ко мне! Господи, всю войну вместе, какие муки приняли, а теперь, на старости лет, счеты сводить... Пей, пей да не думай — он тоже не голоден.— Тут Варвара быстро привстала с табуретки, зашептала ей в лицо: — Я ему передачу сегодня передала.

— Кому? Ивану?

— Ладно, ладно, потише. Есть тут один милиционер — упростила...

— Ну и как он? — У Анфисы дыхание перехватило.

— Ну и ничего. Да ты не убивайся, бога ради. Сколько ни подержат — выпустят. За что его держать-то? Человека убил? Деньги казенные растратил?

Анфиса покачала головой:

— Нет, девка, дров-то он наломал немало. Сама знаешь, какой закон: ни килограмма хлеба на сторону, когда жатва.

— А колхозники-то что — сторона? Ну-ко, вспомни, когда еще ты бабам говорила: бабы, не жалейте себя, бабы, после войны досыта есть будем? Ей-богу, я иной раз подумаю: да что это у нас делается? Я не сею, не жну, а каждый день с буханкой, а в том же Пекашине люди на поле не разгибаются — и на-ко... Нет, нет,— еще с большей убежденностью заговорила Варвара,— этого и быть не может! Выпустят, вот увидишь. А ежели здесь не разберутся, то ведь и в область можно. Да и Москва не в чужом царстве...

Анфиса кивала, соглашалась с Варварой, а сама так и клевала носом: сон навалился — ничего не могла поделать с собою.

Наконец Варвара догадалась разобрать для нее постель. На полу — от кровати она сама наотрез отказалась. Тут у нее голова еще сработала. Зато уж когда почувствовала под боком мягкую перину, только что занесенную с холодного коридора, заснула моментально, намертво. Будто в воду нырнула.

2

Проснулась Анфиса посреди ночи — от песни.

Какие-то бабенки, должно быть возвращаясь с запоздалой гулянки, горланили на всю улицу. И горланили, как назло, ее любимую — о ней и об Иване.

Зачем, зачем ты снова повстречался,
Зачем нарушил мой покой?

И она слушала эту песню, глядела на бегающие по белому, крашенному известкой потолку отсветы от проезжавшей по заулку машины (на задворках был леспромхозовский гараж) и снова в который уже раз сегодня думала о своей вине перед Иваном.

Как должна вести себя хорошая жена, когда ночью уводят из дому мужа? А как угодно, наверно, но только не стоять истуканом посреди избы. А она стояла. Вросли в пол ноги, отнялся язык. Вот так оглушило ее появление нежданных ночных гостей в ихнем доме. И даже в ту минуту, когда Иван последний раз обернулся к ней от порога, она не двинулась с места, не бросилась к нему.

Но и это еще не все.

Самую-то страшную вину, вину непоправимую, она сделала накануне вечером, когда Иван пришел домой с работы.

Видела: на человеке лица нет. Не глупый же, понимает, какой бедой может обернуться этот хлеб. И не ей ли, жене, в такую мину-

ту было прийти на подмогу своему мужу? Не ей ли было утешить и приободрить его?

А она, едва он переступил за порог избы, начала калить да отчитывать его, как самая распоследняя деревенская дура. Дескать, с кем ты все это удумал? Почему не посоветовался? Враг тебе жена-то, да?

В общем, кричала, бесновалась — себя не помнила. А потом и того хуже: сына — на кровать, сама к сыну, а ты как хочешь. Даже ужинать не подала. И Иван в тот вечер так и не ужинал. Снял с вешалки свой ватник, в котором только что пришел с улицы, бросил на пол и лег.

А ночью к ним постучали...

Когда песня на улице стихла. Анфиса тихонько поднялась и решила дойти до милиции, постоять там: должен же Иван почувствовать, что она тут, рядом с ним.

Но Варвара — она тоже не спала — не пустила ее. Встала поперек горенки и — нет-нет, нечего расхаживать по ночам. Спи. Затем, обнимая ее за плечи, крепко прижимая к себе, она опять уложила ее в постель, а потом и сама залезла к ней под одеяло.

Анфиса истступленно, обеими руками обвила ее шею, и тут уж слезу пустила Варвара:

— Помнишь, как мы с тобой в войну жили? Как сестры родные, верно? Я иной раз подумаю: да у меня и роднее родни тебя нету. Кто же нас это развел? Пошто теперь-то мы не вместех?

— Жизнь, Варвара... Жизнь разводит людей...

— Жизнь-то жизнь... А мы-то, люди, зачем свою жизнь топчем, лишаем себя радости?

Нет, не прежняя, не лихая, никогда не унывающая бабенка говорила это, и тут Анфиса вдруг вспомнила, какое невеселое, потускневшее лицо было у Варвары за чаем.

— Я все о себе да с себе. Ты-то как живешь, Варвара?

Варвара — вот характер — мигом преобразилась.

— Живу! Чего мне не жить — на всем готовеньком? Ладно, — оборвала она себя круто, — обо мне чего говорить. Ты лучше про Пекашино расскажи, про сына своего. Большой стал у тебя Родион?

— Большой. Уж две недели как на своих ногах стоит.

— С кем оставила?

— Родьку-то? С Лизой Пряслиной. Сама прибежала ко мне: «Ты, говорит, Анфиса Петровна, ежели в район надо, Родьку к нам давай. Нам с мамой все равно что один, что двое... И Михаил, говорит, велел сказать...» Михаил, все ладно, скоро женится. Раечка бегаёт по деревне — ног под собой не чуёт. Ну да чего дивиться? За такого парня выходит... А вы-то с Григорьем записаны? — спросила Анфиса.

Варвара не ответила.

В заулочек с ревом въехал не то трактор, не то тяжелый грузовик. Рамы задрожали. Ослепительный свет скользнул по потолку, по диванам, по постели.

На миг Анфиса увидела сбоку от себя Варварино лицо, мертвенно-бледное, заплаканное, увидела крепко закушенные губы и с ужасом подумала: господи, да ведь она все еще любит Мишку. Столько-то лет...

— Варвара, Варвара... Что я наделала, что натворила... Да я ведь жизнь твою загубила...

Ни одного словечка в ответ. Только со всхлипом вздох. А потом умерла Варвара. Даже дыханье кончилось.

Анфиса заплакала.

— Господи, господи... Самому заклятому врагу так не делают, как я тебе сделала. Да простишь ли ты меня когда-нибудь?

Она долго ждала, когда заговорит Варвара. Но Варвара молчала. Все сделала для нее: приютила, накормила, напоила, с сердца камень сняла,—а вот заговорила о Михаиле — и конец ихней дружбе. Стена встала меж ними.

И Анфиса, вдруг вспомнив недавно сказанные Варварой слова, с горечью, с тоской спрашивала себя: ну почему, почему мы сами-то себя топчем, поедом едим? Почему мы сами-то не даем друг другу жить?..

Глава пятая

1

Подрезов отошел, отоспался за ночь. У него появились мысли насчет Сотюги — он решил наконец, что с ней делать, как вытащить сотюжский воз. А это самое главное. Основа основ всего. И поутру, когда он пришел в райком, ему уже не казалось, как вчера, все безнадёжным.

Пекашинское ЧП, конечно, есть ЧП — тут нечего делать вид, что ничего не случилось. Но нечего и биться головой о стенку, кричать караул.

Снова замотало у него душу, когда приехал Филичев, заведомо промышленности обкома партии. Приехал внезапно, неожиданно, без всякого предупреждения. Просто как снег на голову пал. Он уж, Евдоким Поликарпович, собрался было идти вниз, на первый этаж, где в просторном парткабинете ожидали его люди, приехавшие со всех концов района на совещание, он уж было за ручку двери взялся — и вдруг Филичев. Грудь в грудь, глаза в глаза.

Филичев в обкоме человек был новый, так, запросто, не спросишь: дескать, какая тебя нелегкая к нам принесла? Вот у Евдокима Поликарповича и пошел крутеж в голове — зачем приехал? Для знакомства с лесным делом на Пинеге (Филичев еще не бывал в районе)? Докладная записка Зарудного сработала? К нему, Евдокиму Поликарповичу, ключи подбирать?

В другое время Подрезов и не подумал бы ломать голову над всем этим: наметил себе дорогу — и при, а сегодня, когда у тебя такая ноша на горбу, приходилось все учитывать, каждую ложбиночку, каждое болотце, а уж тем более не лезть без нужды в трясины.

Взбодрила немного Подрезова встреча со своей лесной гвардией — директорами леспромхозов, начальниками лесопунктов, парторганами, рабочками, стахановцами. От их красных и темных обветренных лиц, от их тяжелых, шероховатых рук, которыми они неумело прикрывали рот, чтобы приглушить кашель, от всех их будто бытесанных топором коренастых фигур так и дохнуло на него лесной свежестью, дымом костров, запахом смолы. И он, который в парткабинет вошел с крепко сомкнутым ртом, тут невольно разжал губы, улыбнулся.

Филичев повел себя хозяином с первой минуты, как только Подрезов объявил порядок дня. Порядок самый обыкновенный, такой, какого придерживаются на любом совещании: сперва заслушать начальников передовых лесопунктов — Туромского и Синегорского, поскольку у них можно позаимствовать положительный опыт, а потом уже заняться Сотюгой.

— А почему не наоборот? — спросил Филичев. — Почему не сразу быка за рога?

Зал замер. Не привыкли к такому, чтобы их первого, как мальчишку, одергивали. Да и по существу: кто же это кобылу с хвоста запрягает?

Подрезов, однако, сдержался: зачем палить по воробьям, когда идешь в лес, где медведя встретишь? А потом, как-то и неловко было ему, здоровенному человеку, с первой минуты задирать инвалида войны — у Филичева вместо левой руки был протез с черной хромо-вой перчаткой.

— Хорошо,— сказал Подрезов,— начнем с Сотюжского леспромхоза.

Зарудный, как всегда, вылетел из задних рядов быстро, стремительно, как торпеда. Но Филичеву, судя по его хмурому лицу, он не очень понравился.

Все еще были в военных и полувоенных кителях, гимнастерках, все еще чувствовали себя солдатами (да восстановительный период мало чем и отличался от войны), а этот в белой рубашечке, с галстучком, в какой-то курточке со сверкающей молнией, и светлые волосы на голове с задором, с вызовом — как гребень у петуха.

— Ну, расписывать успехи мне нечего, поскольку таковых нет...

В задних рядах фонтаном брызнул смех, потому как кто же так начинает речь? Где политическая подкладка, связь с международным положением, с внутренней обстановкой в стране? И Филичев тут уже не на зал посмотрел, а на Подрезова: дескать, что такое? как прикажешь понимать?

В зале заворочались, завытягивали шеи, улыбками расцвели суровые лица.

Филичев начальственным взглядом обвел зал, но и это не помогло. Так всегда было: когда на трибуну выходил Зарудный, оживали люди.

— Сотюжский леспромхоз, как известно, в трясине,— еще более определенно выразился Зарудный.— В трясине, из которой не вылезает второй год. И если мы будем работать и дальше так, то не только не вылезем, а, наоборот, будем увязать все глубже и глубже. Это я вам точно говорю.

— Значит, надо работать иначе. Так? — подал реплику Филичев.

— Безусловно.

— Так в чем же дело?

— Дело во многом...— И тут Зарудный, загибая один палец за другим, начал лихо перечислять уже давно известные многим участникам совещания причины хронического отставания Сотюги: просчеты в определении сырьевой базы, недостроенность объекта и в связи с этим нереальность задания, отсутствие жилья и как прямой результат этого необеспеченность предприятия рабочей силой...

Восемь пальцев загнул Зарудный. Восемь.

— Но самая главная причина сотюжского кризиса, причина всех причин — это непонимание того, что происходит сейчас в лесном деле, непонимание, что в лесной промышленности наступила новая эпоха — по сути дела, эпоха технической революции...

Филичев опять прервал Зарудного:

— Кто этого не понимает?

— Кто? — Зарудный на мгновение по-мальчишески закусил верхнюю губу с чуть заметным золотистым пушком.— Этого, к сожалению, многие не понимают ни в районе, ни в области — я имею в виду прежде всего некоторых руководящих работников лесотреста. Сегодня совершенно очевидно, что старый, дедовский способ заготовки древесины и ведения лесного хозяйства изжил себя начисто...

И пошел, и пошел чесать. Сегодня нельзя больше полагаться на лошадку да на топор — этим инструментом не взять леса из глубинки. Сегодня надо строить железные дороги, автомобильные трассы — словом, внедрять технику. А чтобы внедрять технику, нужны квалифицированные рабочие, целая армия инженерно-технических работников.

А чтобы иметь последних, надо по-новому строить все бытовое и жилое хозяйство, надо сделать небывалое — воздвигнуть в тайге современные благоустроенные поселки, где была бы своя школа, свой клуб, своя больница...

Люди слушали Зарудного затаив дыхание — всех заворожил, сукин сын, сказками про райское житье, которое вот-вот наступит в пинежских суземах. А когда Зарудный с той же горячностью своим звонким молодым голосом начал говорить об отставании от требований времени руководства, о необходимости нового, более смелого и широкого взгляда на жизнь, Подрезов не узнал свою лесную гвардию: гул одобрения прошел по залу. А ведь в кого бил Зарудный, когда пушил руководство? В него, Подрезова, прежде всего.

— Да, да, — валдайским колоколом заливался Зарудный, — кое-кто у нас в методах руководства все еще едет на кобыле. И не просто на кобыле, а на старой кляче. (Дружный смех прокатился по залу.) Пора, пора с лошади пересесть на трактор, на автомобиль. И вот еще что скажу, — это уже прямо в его, Подрезова, адрес, — окрик да кнут трактор и автомобиль не понимают. Их маминым словом с места не сдвинешь...

Кто-то в задних рядах не удержался — захолопал, но тут опять в дело вступил Филичев:

— Популяризаторские данные у вас, товарищ Зарудный, несомненны. Но мы не лекцию собрались здесь слушать. — И уже совсем сухо, по-деловому: — Ваши конструктивные предложения?

— Предложения по выполнению плана?

— Да.

— Ну, я об этом с достаточной ясностью высказался в докладной записке.

— В какой докладной записке?

Шумный, торжествующий вздох облегчения вырвался из груди у Подрезова.

Все правильно, все так, как он думал. Лес, кубики дай стране — за этим приехал Филичев. Ну, а раз так — живем! Нет сейчас на Пинеге другого человека, который бы в нынешних условиях мог дать больше леса, чем он, Подрезов!

— Речь идет о докладной записке, которую товарищ Зарудный направил министру лесной промышленности.

— Как министру? — И Филичева поразила дерзость молодого директора. — У вас что, куда рак, куда щука? В чем существо дела?

— Существо дела в том, что строить на Сотюге. Бюро райкома считает, что на данный момент, поскольку мы два года недодаем родине древесину, можно строить здания барачного типа, а то и вовсе на время свернуть жилищное строительство. А товарищ Зарудный — нет. Не хочу черного, без булки и за стол не сяду. Мне светлицу да терем подай... — Подрезов взял лежавшую перед ним записку Зарудного, порылся в ней глазами и, нарочно косноязыча, произнес: — Ко-тед-жи...

В зале язвительно рассмеялись — наступал перелом.

Северьян Мерзлый, председатель захудалого колхозишка, явно подлаживаясь к первому, выкрикнул:

— Это что же за котожки, разрешите узнать? Это не те ли самые котожки, из которых мы в семнадцатом году кровь пуццали?

После немного затихшего хохота Подрезов сказал:

— Вот видишь, товарищ Зарудный, чего ты требуешь. Народ православный даже и слова-то такого не слышал...

— Я могу разъяснить этому православному народу, что такое котеджи. Это двухквартирные и четырехквартирные дома со всеми бы-

товыми удобствами, которые, надо полагать, заслуживает лесной рабочий — человек одной из самых тяжелых и трудных профессий...

Подрезов, сохраняя внешнее спокойствие, перебил:

— А скажи, товарищ Зарудный, на сколько можно увеличить заготовку древесины, ежели временно отказаться от строительства этих самых... — он не упустил случая, чтобы еще раз лягнуть своего противника, — коттеджей и высвободившуюся рабочую силу направить в лес?

Зарудный немного помялся, но ответил честно:

— Думаю, процентов на тридцать, на тридцать пять.

— Что? На тридцать пять? И вы, имея такой резерв, до сих пор не использовали его? — Филичев и в сторону Подрезова метнул гневный взгляд.

— Это фиктивный, кажущийся резерв, а попросту самообман.

— То есть?

— То есть!.. Можно прикрыть жилищное строительство, можно снова загнать людей в бараки. Все можно! Можно даже под елью жить. Жили же во время войны...

— Ты лучше войну не трожь, товарищ Зарудный, — с угрозой в голосе посоветовал Подрезов. Его при одном этом слове заколотило.

— А почему не трожь? Надо, обязательно надо трогать войну. И надо понять раз и навсегда: ударные месячники, штурмовщина, всякие авралы кончились. С ними теперь далеко не уедешь. — Тут Зарудный до того разошелся — перешел на визг: — Война, война! Голодали, умирали, жертвовали... До каких пор? До каких пор кивать на войну? Вы хотите увековечить состояние войны, а задача состоит в том, чтобы как можно скорее вычеркнуть ее из жизни народа...

— Вычеркнуть войну? Войну забыть предлагаешь? — Подрезов встал. — Да откуда ты явился такой, а? В какой семье вырос?

Тут Подрезов еще отдавал себе отчет, что перебирает. На самом деле он хорошо знал биографию Зарудного, не один раз листал его личное дело. Из рабочей семьи. Мать — посудомойка в столовой. Трое детей, причем Евгений старший, отец пропал без вести на фронте. Но дальше уже ни малейшего притворства, ни малейшего наигрыша. Дальше его понесло, как коня под гору. Красный туман заходил перед глазами.

— Вот тут сидит сколько человек? Сто? Сто двадцать? Встаньте, по кому война не проехала! Видишь, нет таких. Никто не встал. А ты — до каких пор, говоришь, на войну кивать? Вся жизнь! До самой смерти! И я тебе не советую, товарищ Зарудный, тыкать пальцем в раны, которые еще у всех кровоточат...

Зарудный пытался что-то возражать, оправдываться. Но его никто не слушал. Зал клокотал, зал лихорадило, а Филичев, тот сидел бледный-бледный, как бумага, и вокруг его серых выпуклых глаз отчетливо проступили синие пороховые пятна.

Подрезов, отдышавшись, закончил. Закончил уже как полный хозяин положения:

— Теперь насчет жилищного строительства на Сотюге. Будем строить. Придет время — в отдельных домах будем жить. — Он посмотрел в сторону дивана у стены, где своей белой рубашкой выделялся Зарудный среди сурового воинства, затянутого в армейские кителя и гимнастерки. — А теперь покамест придется немного потерпеть. Страна кричит, требует: дай лес, дай лес! Люди на разоренной врагом территории живут еще в землянках, мерзнут в хибарах, каждой доске, каждой жердине рады. А мы не можем год-два в бараках пожить? Да советские ли мы люди после этого? Братья и сестры мы? Или кто?

Зал ответил аплодисментами.

Победа!

Наконец-то Зарудный поставлен на свое место. Теперь он, Подрезов, будет командовать парадом. И у него есть что предложить совещанию или пленуму. Вполне можно так назвать: весь цвет района собран. Не зря он до четырех часов утра не смыкал глаз.

Первое, в чем он уже заручился поддержкой представителя обкома, — свернуть на время работы по жилищному строительству.

Второе — снять половину задания с Сотюжского леспромхоза (восемьдесят девять тысяч кубометров — годовой план) и разбросать по другим леспромхозам и колхозам. В порядке, так сказать, дополнительных обязательств. Колхозы, конечно, взвоят. Но что делать? Пора зорятся-поразорятся, а придется ремень затягивать еще на одну дырку.

Третье — это уже на самый крайний случай — «прочесать» слегка Красный бор. Люди, понятно, потом проклянут его за этот Красный бор, можно сказать, последний стоящий сосновый бор на Пинеге (остальные в войну свели), да когда человек ко дну идет, разве ему о том думать, за что ухватиться.

Расчеты Подрезова правильны — он в этом не сомневался. И это хорошо, что его сегодняшняя схватка с Зарудным происходит на глазах у всего районного актива и в присутствии такого умелого и влиятельного работника обкома, как Филичев. Сразу с двух сторон подпоры! И поди попробуй теперь сказать, что Подрезов зарвался, Подрезов своевольничает...

Филичев устал и был рад перерыву. Сразу же, как только вошли в кабинет, полез в карман за какими-то таблетками. Но вот характер! Отвернулся — не захотел, чтобы видели его слабость.

Подрезов, щадя самолюбие Филичева, подошел к окну.

Двери внизу визжали и ухали, крыльцо разламывалось от топота ног, а в райкомовский садик под окнами все вываливались и вываливались люди. На солнышко. На зеленую травку.

Возле турника, как всегда, сбились те, кто помоложе. Вася Каменный, низкорослый здоровяк из Юрги, так облапил своими ручищами железную перекладину, что Подрезов даже со второго этажа услышал, как жалобно завывали деревянные столбы, но где там — не смог оторвать от земли свой увесистый самовар.

Лучше получилось у Пашки Тюрина и Вани Дурьнина — эти без особого труда перевернулись, но по сравнению с Зарудным и они оказались неповоротливыми тюленями.

Черт-те что за человек! Только что били, только что колотили, все совещание восстановил против себя, а с него как с гуся вода. Подошел с улыбайкой — зла не помню — да как начал-начал выделывать номера — и колесом, и ласточкой, и медведем — все сбежалось к турнику.

Этот турник в райкомовском садике поставили какой-нибудь год назад, а потом турники за одну эту весну расплодились по всему району. И теперь на какой лесопункт ни приедешь, в какой колхоз ни заглянешь, даже самый захудалый, турник обязательно увидишь. Ну, а на Сотюге — это от Зарудного все пошло — был даже целый спортивный городок выстроен.

Да, вздохнул про себя Подрезов, ничего не скажешь — орел парень. Орел... И на какую-то секунду ему даже жалко стало, что они не сработались. Всех обламывал он или приручал к себе. А этого не сумел. Этот за два года даже Евдокимом Поликарповичем его ни разу не назвал — все «товарищ Подрезов»... Почему?

А в общем, чего теперь об этом гсрывать? Теперь им уж недолго

осталось мозолить глаза друг другу. И он, еще раз бросив взгляд на летающего в воздухе Зарудного, на заворуженную им толпу лесозаготовителей, со всех сторон окруживших турник, отошел от окна.

Филичев уже пил чай.

Подрезов тоже взял себе стакан чая с подноса, который минуту назад вместе со свежими газетами внес помощник, пошел на свое секретарское место — он любил попивать чаек, просматривая газеты.

— Посмотрим, посмотрим, чему нас учит товарищ Лоскутов,— пошутил он.

Пошутил в надежде, что Филичев немного прояснит ситуацию в области, но тот даже ухом не повел. Всего скорее не хотел откровенничать.

Ладно, думал не без ухмылки Подрезов, на лесе мы с тобой сошлись, а уж на Лоскутове-то тем более сойдемся, потому как Лоскутова, он знал это, аппаратчики не очень любили.

Передовая областной газеты была посвящена завершению уборки на полях — лягнули виноградовцев и лешуконцев, затем еще один материал на первой странице — письмо Сталину от трудящихся энской области, рапортующих о досрочном выполнении плана хлебозаготовок.

Вторую и третью страницы Подрезов даже и просматривать не стал — выступление Вышинского в ООН. Такие материалы он читает по центральной «Правде» и обычно дома перед сном, уже лежа в постели. А насчет того, чтобы дырять газеты глазами в рабочее время, у него закон твердый: ни себе ни малейшей поблажки, ни своим подчиненным.

Четвертая страница была, как всегда, дробной и пестрой. Первой зацепила глаз заметка с фотографией клоуна о последних, завершающих гастролях цирковой труппы, и он мысленно вздохнул — вспомнил смазливенькую черноглазую артисточку...

«Выше дисциплину на речном транспорте!»...

Эту статейку из двух столбцов в левом углу сверху он и просматривать не собирался — какое ему дело до речников? — да вдруг бог знает как в середине второго столбца увидел: Подрезов. Какой Подрезов? Однофамилец?

Нет, нет, нет. О нем шла речь.

«К сожалению, не всегда должный пример подают и коммунисты. Так, первый секретарь райкома т. Подрезов Е. П. на днях допустил непозволительную грубость и кичливость на пароходе, где капитаном тов. Савельев».

Всего один абзац в статейке на четвертой странице, маленький абзац, напечатанный каким-то тусклым, подслеповатым шрифтом, а Подрезова он оглушил. У Подрезова в глазах все заходило и закачалось...

Потом он поднял от стола голову вместе с газетой и, как бы прикрывая ею свое пылающее лицо, посмотрел поверх нее на Филичева.

Филичев блаженствовал.

Большой покаты́й лоб его бисером осыпал пот. Он даже китель расстегнул, чтобы вполне насладиться чаепитием, и Подрезов увидел на груди у него поверх белой нательной рубахи с солдатскими завязками желтый, совсем еще новенький ремешок, которым закреплялся протез...

До сорок пятого года у них в райкомовском доме было две общих уборных — одна внизу, на первом этаже, а другая на втором. Но в том сорок пятом году, вернувшись из города с банкета в честь Победы, Подрезов приказал уборную на втором этаже заново переоборудо-

вать — повесить зеркало на стену, завести умывальник, чистое полотенце, туалетное мыло — и гужом туда всем не переть.

По поводу этого своего нововведения Подрезов долго подтрунивал над собой, зато сейчас он оценил его как следует. Сейчас уборная была единственным местом во всем огромном двухэтажном здании, где он мог остаться наедине с собою.

Накинув крючок на дверь, он еще раз прочел злополучный абзац, затем прочел всю статейку.

Все ясно: Лоскутов решил поставить на нем крест. Да, да. Только одна его фамилия названа. Как будто с ним Кондырева не было...

Он не очень ломал голову, почему именно он попал в опалу. Всякие могли быть причины. И первое — прорыв на лесном фронте. Разве он сам, к примеру, стал бы держать в начальниках лесопункта человека, который два года подряд не выполняет задание? Могло быть и другое — Лоскутов решил подтянуть дисциплинку. С этого многие начинают, когда приходят к власти. И на ком же учить районщиков? На Афоне Брыкине? А могло у Лоскутова разыграться и честолюбие. Все люди. И там, наверху, с нервами, с самолюбием. А Подрезов не больно-то считался со вторым секретарем — всегда по каждому вопросу шел к Павлу Логиновичу.

Э-э, да что теперь гадать, почему ты загремел. Что это меняет? Теперь надо думать о другом.

Подрезов аккуратно свернул газету в трубку, положил на подоконник. Потом снял с себя гимнастерку, старательно умылся холодной водой, растерся вафельным полотенцем, глядя на себя в зеркало, и зачем-то с особым тщанием, щеря рот, осмотрел свои зубы — крупные, крепкие и довольно чистые, никогда не знавшие никотина.

Когда он вошел в свой кабинет, Филичев уже знал про статейку. Он стоял у стола хмурый, озабоченный, снова застегнутый на все пуговицы, и областная газета со знакомой фотографией циркового клоуна лежала возле него.

— Ну что ж, товарищ Филичев, пойдем, — сказал Подрезов своим обычным голосом и кивнул в сторону приоткрытых дверей, откуда валом накатывал гул: участники совещания уже были в курсе дела.

Глава шестая

1

Ему не могло почудиться. Он хорошо слышал ребячий смех и визг в кухне. Слышал, когда поднимался на крыльцо, слышал в сенях, берясь за скобу, а открыл двери — и вибрирование оборвалось. Онемели, к полу приросли дети, будто стужей крещенской дохнуло на них. И Софья тоже немой истуканом уставилась на него.

Он прошел в переднюю комнату, постоял немного, как бы прислушиваясь — в кухне по-прежнему ни звука, — и прошел к себе.

Бог знает когда подоспевшая Софья начала помогать ему снимать кожаный реглан, он оттолкнул ее от себя.

— Мать называется! Отец домой приходит, а дети от него как от чумы шарахаются.

— Мы, вишь, не ждали, что ты через кухню пойдешь...

— Не ждали! Что же, я должен заранее объявлять, когда на кухню зайду?

Софья, как всегда, не выдержав его взгляда, покорно опустила глаза, потом, спохватившись, спросила:

— Исть ставить?

Он ничего не ответил. Заложив руки за спину, прошелся по комнате.

— Слышала, что говорят обо мне?

Что-то вроде испуга метнулось в больших темных глазах, румянец на секунду отхлынул от крепкого скуластого лица, но ответа он не услышал.

Да, вот так. Весь район ходуном ходит, везде только и говорят сейчас что о нем, а жена его как с неба свалилась...

— Ладно, иди. С тобой говорить — легче воз дров нарубить.

Софья вышла, тихонько закрыв за собой дверь.

Он прошелся еще раз по комнате, глянул в окно на улицу, по которой в это время с грохотом пронесся порожний грузовик, и прилег на койку — прямо в гимнастерке, в сапогах.

За окном вечерело. В темном углу за койкой, там, куда не попадали лучи солнца, уже невозможно было разобрать буквы на плакате с разгневанной матерью-родиной, зато все остальные плакаты времен войны — а их в комнате было множество, каждый вновь попадавший в район плакат садил он у себя на стену — пылали как факелы, как живые костры.

В прошлом году, когда он из города привез обои, жена хотела было оклеить ими и его комнату, но он запретил. Всю войну прошел плечо к плечу с этими богатырями воинами — с красноармейцами, партизанами, маршалами, всю войну заряжался от них силой-ненавистью, а теперь долой? В утильсырье за ненадобностью?

Он расстегнул офицерский ремень с медной звездой, стащил с себя гимнастерку — все тело горело от зуда, который вдруг неожиданно со страшной силой обрушился на него во время этого судилища. Можно сказать даже, публичной казни — вот чем обернулось для него созванное им районное совещание.

2

...У него хватило силы воли — в парткабинет вошел с улыбкой, и это так всех изумило, так всех ошарашило, что не то что люди — газеты замерли в руках.

— Начнем, товарищи! Газетками, я вижу, вы подзапаслись, так что повеселее пойдут прения, а?

И опять ни звука. Опять ни единого шороха в зале.

И тогда он вдруг почувствовал в себе такую силу, что, кажется, только крикни он этим людям: «За мной, ребята!» — и они бросятся за ним в огонь и в воду.

И был, был соблазн у него трахнуть напоследок дверью на всю область: вот, дескать, запомните, кто такой Подрезов, — но он сказал:

— Я думаю, товарищи, поскольку в работе нашего совещания принимает участие заведующий отделом обкома, то лучше будет, ежели председательствовать будет он.

Вот после этого и началось.

Видал, немало на своем веку он повидал весенних разливов в половодье — и на малых реках и на больших. И что всегда поражало его? Муть, нечисть, мусор, которые кипят и крутятся на воде.

Вот так же и сейчас.

Вся грязь, весь хлам, вся погань всплыли наверх. Северьяха Мерзлый, тот самый Северьяха, который еще сегодня утром дозорил его у входа в райком — дескать, какие указания будут? в каком разрезе выступать? — Митрофан Кузовлев, Санников, Фетюков...

Все орали, горланили, размахивали руками, лезли на трибуну: Подрезов... Подрезов!.. Подрезов — тормоз... Подрезов житья не дает,

Подрезов — воевода, который всех подмял под себя... А в колхозах который год трудодень пустой — кто виноват? Подрезов... А из-за кого в магазинах ни чаю, ни сахару? Из-за Подрезова...

Все из-за Подрезова! Во всем Подрезов виноват!

А война у нас была тоже из-за Подрезова? — хотелось рявкнуть ему на весь зал.

Но он не рявкнул. На кого рявкать? На эту нероботь и шушеру?

Боже мой, боже мой! Подрезов для них тормоз, Подрезов им житья не давал... Да в том-то и беда, в том-то и вина его страшная — перед народом, перед партией, — что он терпел их, пригрел у себя под боком.

Северьяху Мерзлого, к примеру, взять. Пять колхозов завалил, сукин сын! Пять! А Митрофан Кузовлев... Ну кого тупее его в районе сыщешь?! А он, Подрезов, пригрел. Ребятишек пожалел. Пятеро. Не в детдом же при живом отце отдавать!

И такие, как эти — не лучше! — Фетюков, Санников, заместитель председателя райисполкома Лазарев... Всех, всех давно в шею надо было гнать. А он их держал. Почему? Да потому, что хорошо кадили, славословили, в ладоши хлопали... Да каким же судом судить его за это? Какой карой карать?

Два человека — Исаков да Лешаков — вступились за него.

Исаков напомнил, как он, Подрезов, весной сорок третьего года спас скот района от падежа — всех поголовно белый мох из-под снега выкапывать выгнал. Даже школы на неделю закрыл. А Лешаков подал голос с места: дескать, чего за строгость хозяина корить? С нашим братом распустишь — что будет?

Заступничество Исакова и Лешакова Подрезов оценил после, когда снова и снова прокручивал в своей памяти ленту совещания. А в тот момент, когда они говорили, даже поморщился от досады. Ну какая это заступа? Молчали бы уж лучше. Один — председатель колхоза, который давно уже на ладан дышит, а другой тоже не кадр: начальник самого захудалого лесопункта, которого он же сам, Подрезов, разносил везде и всюду при первом случае.

Судьбу решала большая вода. Она в разлив выворачивает с корнями столетние сосны и ели, сносит постройки, размывает и рушит каменные берега.

А большая вода — это директора леспромхозов, начальники ведущих лесопунктов, председатели крупных колхозов, руководящий аппарат района.

И вот первый вал — Афиноген Каракин.

Дружба с арестованным Лукашиным, бабья заваруха у колхозного склада в Пекашине, факты незаконного разбазаривания хлеба в колхозах, то есть выдача его колхозникам в период хлебозаготовок, и даже... поощрение частнособственнических тенденций в колхозах — дескать, с ведома первого секретаря у Худякова и еще кое у кого заведены тайные поля, которые не облагаются налогом...

Под корень рубка!

Но и этого мало. Напоследок Афиноген выгащил из грудного кармана записную книжку, раскрыл не спеша и давай, как бухгалтер, перечислять все прегрешения первого. По числам. С указанием свидетелей.

«13 июня 1948 г. т. Подрезов в нарушение устава сельхозартели вывез из колхоза, где председателем Худяков, 5 кг. свежих огурцов и употребил их по личному назначению.

10 мая 1949 г. т. Подрезов, попирая партийную этику, распилил вместе с арестованным ныне Лукашиным бутылку водки в своем ка-

бинете. Водку из магазина сельпо доставил специально посланный для этой цели помощник первого секретаря.

5 октября 1949 г. т. Подрезов организовал бригаду браконьеров и в течение 2 дней незаконно ловил в реке семгу. На предупреждение рыбнадзора т. Коровина прекратить это безобразие ответил выстрелом из ружья в воздух, а затем пригрозил утопить т. Коровина в реке...»

Все перечислил, ничего не забыл. Грубое обращение с людьми, мат по телефону, покупка продуктов в колхозах по заниженным ценам, незаконное увольнение людей с работы... И так далее и тому подобное.

Зал клокотал, бурлил, как вода в разъяренном пороге.

Никто, никто не ждал такой прыти от Афиногена Каракина. Заведующий отделом райкома, выдвигенец Подрезова, и не просто выдвигенец — любимчик, можно сказать, и вдруг такой крутеж на глазах у всех...

А сам Подрезов глаз не поднимал. Зажал себя. Как сплавщик, который плыл на бревне по осатаневшей реке в половодье, и все силы, все уменье и сноровка его были направлены на одно — устоять на этом бревне.

— Кто следующий? — Филичев по-военному резко обратился к залу.

Зал молчал.

Чего, чего они ждут? Какого дьявола сидит набравши в рот воды Зарудный? Бей! Лупи в хвост и в гриву! Пришел твой час.

Но еще больше удивлял его председательствующий.

Ведь ясно же: синим огнем горит человек. По существу, на поводу у секретаря райкома пошел...

Правильно: не знал мнения обкома (как выяснилось потом, Филичев прилетел на Пинегу не из Архангельска, а из Лешуконья, где был в командировке), да вот же перед тобой газета — черным по белому сказано: Подрезову крышка. Выправляй линию! Кто осудит тебя? Да и выправлять-то проще простого: только поддакивай, только раздувай помаленьку сам собой вспыхнувший в зале огонь.

Филичев закаменел — не по нему, видно, такая работа. А когда Северьян Мерзлый снова полез на трибуну, просто срезал того:

— Я думаю, кроме болтовни, мы все равно от вас ничего не услышим.

— Верно! Правильно! — раздалось сразу несколько голосов, и среди них — или это показалось ему? — звонкий, решительный голос Зарудного.

3

Последним выступал Фокин.

Ну, Милька, покажи себя. Прыгай прямо с трибуны в мое кресло!

Лихо, с разудалой беззаботностью глянул Подрезов на поднявшегося из-за стола румянощекого молодого своего помощника, а на самом-то деле озноб пробрал его. Что скажет Фокин?

В течение всего совещания Фокин ни разу не подал своего голоса. Все кипели, кричали, выходили из себя, Филичев сколько раз менялся в лице, его, Подрезова, бросало то в жар, то в холод, но Фокин — ни-ни. Сидел неподвижно, с поджатыми губами, не улыбался, не хмурился, только время от времени перекатывал под скулами тугие, как пули, желваки да делал какие-то пометки карандашом в блокноте.

— Товарищи, это хорошо, что у нас такая большая активность, такое желание высказаться по наболевшим вопросам, но плохо то,

что мы забыли с вами, ради чего здесь собрались. О лесе забыли, товарищи...

У Подрезова дух перехватило.

Все что угодно ожидал сейчас от Фокина, но только не такого вот разворота. И ему стыдно, просто по-человечески стыдно стало за себя. Как он сам-то, он, Евдоким Подрезов, мог забыть про дело?! Все, все можно сказать о нем, самое тяжкое обвинение припасть, но только не шкурничество, только не корысть, только не трусость.

Он так жил: головой рискуя, сам ко дну идя, но дело, прежде всего дело!

В сорок шестом прислали к нему Мильку Фокина из области. Мальчишка! По существу, ходить еще не умел по-взрослому — все бегом, все вприпрыжку. Когда со второго этажа по лестнице спускается, на весь райком гром. Но комсомол в районе этот мальчишка поставил на ноги. За один год.

А ну-ко, парень, попробуем тебя в лесном деле. Вертеть-то языком да глазки закатывать перед девками невелика хитрость, а лесопункт потянешь?

Лесопункт Кочушский — страхи божьи. Рабочие — всякий сброд, отовсюду навербованы, как говорится, с бору по сосенке. Начальники не приживаются — трое за полгода сменились. И все будто бы из-за какого-то Вани Рязанского, который мутит народ и никого не слушает. Ну, а насчет плана и говорить нечего — забыли, когда и выполнялся.

И вот в этот-то вертеп Подрезов и бросил своего любимца: тони сразу или выплывай.

Неделя проходит — ни звука, две проходит — ни звука, три... Подрезов уже начал было подумывать: а не поехать ли самому? И вдруг телефонограмма:

«Докладываем, что Кочушский лесопункт месячный план по заготовке древесины выполнил на 94%. Недоимку за этот месяц обещаем ликвидировать в следующем месяце».

И подписи:

Начальник лесопункта Фокин

Парторг Калинин

Председатель месткома Рязанский.

...Да, да! Фокин поставил все на место. Лес, лес главное, товарищи! Лес ждет от нас родина. Ну, а раз так, временно от жилищного строительства на Сотюге, товарищ Зарудный, придется отказаться. Другого выхода у нас нет...

Подрезов не посвящал Фокина в свои планы. Даже словом не обмолвился — до того рассвирепел из-за ареста Лукашина, а когда вечер Фокин полез в бутылку — заявление об уходе подал, — он и вовсе его вычеркнул из своего сердца. Да и вообще, в голову начали закрадываться кое-какие сомнения и подозрения: уж не роет ли ему Милька яму, чтобы самому сесть на его место?

Нет, когда роют яму, так не говорят, а Фокин полным голосом на весь зал: не торопитесь ставить крест на Подрезове. Не одни ошибки да недостатки у Подрезова. Есть кое-что и другое...

— Ну, а что касается некоторых обвинений в адрес Подрезова, — сказал Фокин, — то, я думаю, они брошены сгоряча. Как, к примеру, можно говорить, что первый секретарь райкома поощрял частнособственнические тенденции в колхозах, что он знал о так называемых тайных полях у Худякова? Думаю, что нет никаких оснований связывать с первым секретарем и разбазаривание хлеба в Пекашине...

Вот в это самое время в Евдокима Поликарповича и вконтислся зуд.

Решающая минута! Минута, какой не было в его жизни за все сорок четыре года. И наверняка не будет. Ведь стоит ему только отрезать, отсесть от себя Худякова и Лукашина, как подсказывает Фокин,— и какие против него обвинения? Грубость, мат, не очень ласковое обхождение с рыбнадзором...

Да, да, да! Два серьезных политических обвинения против него --- тайные поля и дружба с арестованным Лукашиным, а все остальное чепуха, мусор, пена... И в зале уже кое-кто подавал голос: правильно! Правильно, мол, сказал Фокин. Нечего все валить на одного. И Зарудный и Филичев протягивали ему руку помощи. Во всяком случае, ни тот, ни другой не долбали его. В общем, хватайся обеими руками за протянутую веревку, вылезай из проруби.

Но что тогда будет с Лукашиным и Худяковым? Они-то уж тогда наверняка пойдут ко дну... Знал, не знал, ведал, не ведал... Должен был знать!

Подрезов собрал все свои силы, какие у него были, встал.

— Лукашин роздал хлеб с моего разрешения. Я приказал.

Постоял, помолчал немного, вглядываясь в ошеломленный зал, и забил последний гвоздь:

— Про худяковские поля здесь говорили. Знал. Все знал. Иначе какой я, к дьяволу, хозяин района, ежели не знал, что у меня под носом делается?..

4

Ему казалось, что он ни на минуту не сомкнул глаз — такой зуд разыгрался у него в теле на нынешний закат,— но на самом деле он спал. Вокруг было темно. Ни один плакат не светился на стенах, а в соседней комнате за неплотно прикрытыми дверями горела уже лампа.

Он надел на себя нательную рубаху, брюки — все сорвал в беспомысленстве,— тихонько встал. Босые, все еще разгоряченные зудом ноги с великим блаженством ощутили под собой прохладу заскрипевших половиц.

Софья встретила его у дверей с лампой в руке — она, как всегда, сидела на часах и ждала его пробуждения.

Он подошел к столу, посмотрел на тикающий будильник.

— Ого! Пол-одиннадцатого.— И тут, обернувшись к жене, он второй раз за вечер увидел испуг в ее темных, по-птичьи округленных глазах.

— Я не знала, как и быть. Ты ничего не сказал, будить тебя или нет...

Он сел к столу, запустил руки в свои мягкие, изрядно поредевшие волосы, а она продолжала стоять перед ним, большая, грузная, не сводя с него настороженного взгляда, и это взорвало его:

— Чего стоишь? В денщиках ты у меня, что ли?

— Я думала, на стол подавать...

— Думала! Сядь, говорю. Некуда больше торопиться.

Софья села. Села как-то неуверенно, на край стула, как будто не у себя дома, а в гостях или, еще вернее сказать, на приеме у большого начальства. И он глядел-глядел на ее большие работающие руки, покорно лежавшие на коленях, на ее полуопущенную голову в буйном курчавом волосе с проседью, на ее широкое, вечно залитое, как у молодки, густым румянцем лицо, и вдруг обручем перехватило ему горло.

Боже мой, боже мой! Кто только сегодня не шерстил его, в чем только его не обвиняли! Задавил, согнул, зажал в кулак... А что бы

могла сказать о нем вот эта женщина, его жена? Какой счет она могла предъявить ему?

После смерти Елены он дал себе слово: не жениться. И лет пять — ни-ни, ни на одну молодую женщину не посмотрел. Потом — он уже работал инструктором в райкоме — от него уехала в город к своей дочери старушонка, которая вела его хозяйство и ухаживала за детьми, и тут — хочешь не хочешь — пришлось обратиться за помощью к вдове-соседке.

Софья пришла. Все прибрала, все перемыла — ни квартиру, ни детей не узнать. А потом как-то он вернулся из командировки да увидел ее — пол на кухне моет, — большая, сильная, с высоко подоткнутым подолом баба вся в жарком, малиновом цвету, и прахом пошли зарок...

Вот так он и стал жить с женщиной, которая была старше его на семь лет.

Каждый месяц он приносил домой зарплату, выкладывал на стол — распорядись как знаешь, корми семью, — иногда, возвращаясь из поездки по колхозам, привозил какие-нибудь продуктики: мясо, масло, свежие овощи... А еще что? Еще какое внимание оказывал жене? Был ли он хоть раз с женой в клубе — в кино, на торжественном вечере в честь Октября или Первого мая? Служащие райцентра в праздники ходят друг к другу в гости — с женами, с детьми. Он с Софьей вместе — никогда. А чтобы забежать в магазин да купить какой-нибудь подарок или привезти покупку из города — нет, это ему и в голову никогда не приходило.

Да, с усмешкой подумал Подрезов, вот о чем забыл упомянуть в своем кондуите Афиноген Каракин — о жене. «Сколько лет прожили, сколько детей наплодили, а кто она тебе, товарищ Подрезов? Прислуга? Батрачка?»

— Софья... — сказал он медленно, не совсем обычным голосом.

Она сразу подняла полуопущенную голову — что делать?

Он взял ее за чем-то за руку, спросил:

— Соня, тебе очень тяжело со мной было?

Она сперва не поняла его. Когда он разговаривал с ней так? Когда называл ласковым словом? А потом, ему показалось, дрожь прошла по всему ее крупному телу. Но ответила она спокойно.

— Чего теперь об этом говорить. Сама знала, какую ношу на себя брала...

Затем она с непривычной для него решительностью вдруг встала и уже сама, не дожидаясь его слова, начала накрывать на стол.

Да, думал Подрезов, лошадей знал. Лес знал. Коровники в колхозах знал. А вот что такое человек, душа человеческая... Э, да что там говорить! Жену свою, с которой прожил чуть ли не двадцать лет, не знал...

Глава седьмая

Последний раз по ночному райцентру, последний раз первым по своей деревянной столице...

Он даже шинель надел специально, которую года два уже не снимал с вешалки.

Шинель он завел сразу после войны. Длинную, чуть ли не до пят, с огромными отворотами на рукавах — единственную в своем роде во всем районе. Такую, какие носили еще в двадцатые годы и какие нет-нет да и мелькнут изредка в кино.

Несерьезно, ребячество это... Понимал, ежели говорить начистоту, чувствовал. Да после тех победных, ликующих маршей, которые

с утра до ночи гремели по радио, так кружило голову, такая гордость распирала грудь, что хотелось всем существом своим, делами, даже видом своим утвердить богатырскую мощь родной партии. Тут, на месте, в далекой лесной глуши. Чтобы всяк — и старый и малый — узнавал тебя за версту...

Ночь, глухая осенняя ночь стояла над райцентром. Ни единого огонька. Даже в недреманном ведомстве Дорохова ни одной светлой щелки, ни одного просвета.

Он любил эти ночные обходы своей районной столицы, любил торжественный гул деревянных мостков под ногами, любил ночную прохладу, которая так приятно освежает разгоряченную работой голову.

А еще любил он, шагая по райцентру, глядеть в южную сторону, туда, где за тысячи верст от Пинеги громадным костром в ночи пылает красноезвездный Кремль и где в одном из кабинетов мягко, бесшумно расхаживает человек, который держит в руках весь мир.

В позапрошлом году, когда он ездил на курорт, он всю ночь выхаживал по Красной площади, мысленно разговаривая с любимым вождем. И вообще, увидеть Сталина было мечтой его жизни. И эта мечта, казалось, не так уж далека была от исполнения. Во всяком случае, Павел Логинович не раз намекал ему, что как только созовут съезд — а его ждали с часу на час, — его, Подрезова, непременно пошлют делегатом.

И вот — все. Ничего больше нет. Все перечеркнуто, все втоптанно в грязь: и его жизнь и его мечта. И он, который за ужином начал было вроде бы отходить, успокаиваться, тут снова разошелся.

За что? За какие такие преступления его гвоздили и поливали грязью? Их, видите ли, Подрезов гнул, ломал, жить им не давал... А себя Подрезов не ломал? Сам Подрезов в раю жил?

Он с ужасом думал о завтрашнем дне, о том, что жизнь района — всех этих леспромхозов, лесопунктов, колхозов, самого райкома — пойдет без него, Подрезова.

А как он встретится завтра с простыми людьми? Что скажет им в свое оправдание? В годы войны ребятишки целыми часами дежурили на дорогах, чтобы посмотреть, какой он, Подрезов, а как теперь? Как теперь посмотрят на него ребятишки?

Выйдя на окраину села, к полевым воротам, он подошел к изгороди, тяжело навалился на нее грудью.

Какое-то время он стоял недвижно, с закрытыми глазами, потом начал рыться в карманах — может, от курева полегчает? Но папирос, которые он обычно носил с собой, на этот раз не оказалось.

На реке, где-то прямо под горой, за наволоком, звучно выговаривая плицами колес, шлепал, весь в огнях, пароход, а за ним тянулось еще пароход и еще...

Буксиры с грузами. Для Сотюги, для других леспромхозов...

Но не он, не он завтра будет отдавать команды насчет разгрузки, не он сломя голову полетит в Пекашино, чтобы на месте принять необходимые меры. Мимо, мимо него пойдет жизнь с завтрашнего дня. Так же мимо, как идут сейчас по реке вот эти буксиры...

Какие-то непонятные зарницы время от времени вспыхивали в ночном воздухе, какой-то сладкий дымок щекотал ему ноздри.

Что бы это такое? Не от пароходов же этот свет и этот дым?

Он протер ладонью мокрые от слез глаза, глянул в одну сторону, в другую и вдруг прямо перед собой в поле увидел красный мигающий огонек, а вслед за этим огоньком увидел другой, третий...

Да ведь это же ребячьи костры на картофельниках!

Боже, как давно не видал он эти костры! Где же он был все эти

годы? Ведь ребята каждую осень, как только начинают копать картошку, зажигают костры. По всем картофельникам. И ни криком, ни руганью, никакой силой невозможно загнать их домой. Все вечера, а то и ночи сидят у огоничков, говоря по-местному, да пекут опалихи, то есть картошку.

Жадно, прямо-таки с наслаждением вдыхая в себя запах этих опалих, каким пропитан был весь воздух ночного поля, Подрезов подошел к костерку, вернее даже, к остаткам костерка, уже покинутого ребяташками, неумело опустился перед ним на корточки и вдруг почувствовал себя маленьким Овдей. И все, все — все обиды, все тяжелые переживания последних дней, ярость, ожесточение, — все отступило в сторону, и он вспомнил свое детство, свою Выру, на которой вот так же когда-то беззаботно сидел у костра.

Двадцать пять лет он не был на Выре. С тех пор, как уехал из дому с Еленой.

А почему не был? Почему каждый раз, когда подвертывался случай, уклонялся от поездки туда? Верно, дыра, глушь медвежья, зимой трое суток надо попадать на лошади... Да ведь ты же оттуда на свет вылетел...

Костерик благодаря его стараниям разгорелся заново. Алый свет мягко красил его склоненное над огнем успокоенное лицо, сложенные ковшом руки.

Да, да, думал он с облегчением, поеду на Выру, в родовое гнездо. Там с будущего года новый лесопункт открывается — сколько всякой столярной да плотницкой работы будет! Огляжусь, одумаюсь, а там посмотрим... Посмотрим...

И вдруг Подрезов резко выпрямился. А собственно, чего смотреть? Чего он раньше времени хоронит себя! Где решение обкома? Кто сказал, что ему конец? Северьяха Мерзлый, Митрофан Кузовлев, Санников, Фетюков... Да кто их когда принимал всерьез!

Он глубоко, всей грудью вдохнул в себя теплый ночной воздух, в котором все еще держался запах печеной картошки. И с этим запахом позабытого детства, с вернувшейся радостью простора и воли начал мало-помалу оживать в нем пошатнувшийся было подрезовский дух.

Глава восьмая

1

Анфиса Петровна пропадала в районе уже третий день. И третий день, подбегая в этот вечерний час к ее дому, Лиза надеялась увидеть ворота на крыльце без приставки. Больше того, ей даже представлялась такая картина: Иван Дмитриевич в обнимку с Анфисой Петровой встречает ее на крыльце. «Ну, спасибо, спасибо, Лиза, выручила. А меня вот, видишь, освободили...»

Но не спешили что-то с возвращением домой Лукашины. И как вчера и позавчера торчал в кольце ворот белый березовый колышек, который она сама втыкала по утрам, так он торчал и сегодня.

Лиза быстренько, за какие-нибудь полчаса, разделалась с Майкой, коровой Лукашиных, половину молока разлила по крынкам, а половину — в алюминиевое ведерко и забрала с собой.

Дома, конечно, стоял рев — с улицы слышно. Ревел Вася, ревел Родька, и сама нянька ревела.

Татьяна не маленькая кобыла — десятый год шел. Разве трудно после школы какой-то час с двумя ребятенками по полу поползать? Бывало, она, Лиза, в ее годы по целым дням за хозяйку оставалась — с

оравой, на голодное брюхо, а эту Михаил испотешил — только и знает что по улице бегать. «Ладно, пушай хоть у одного человека в пряслинской семье нормальное детство будет». Детство-то будет, а будет ли человек — это еще вопрос.

— Ты хоть бы огонь зажгла,— сердито сказала Лиза сестре.— Вот бы они и не ревели. А то в темноте-то и старик заплачет.

— Зажигала. Карасина в лампе нету.

— Карасин-то в сенях, за дверями. Отсохнут у тебя руки, ежели нальешь.

Засветив лучину, Лиза заправила в сенях лампу, а когда вернулась в избу, и след Татьяны простыл. Как, когда успела улизнуть? Через окошко? Так оно и есть. Через окошко. Крючок не в пробое — как овечий хвостик, болтается.

Ну и девка, ну и девка бессовестная, подивилась Лиза. Чего только из нее будет?

Ребята — Вася и Родька — с отчаянным воплем грабастались за ее подол.

— Сейчас, сейчас! Никуда не денусь.

Она торопливо сполоснула руки под рукомойником, села на прилавок к печи.

В протянутые руки первым ткнулся Вася, но она взяла на руки не его — Родьку.

Вася с размаху хлопнулся на пол, замолотил ножонками.

— Ну еще! Бесстыдник. У тебя-то отец дома, а у него где?

Сразу затихший Родька с жадностью — и зубами и ручонками — вонзился в ее грудь, а она устало, из-под опущенных век смотрела на бушующего у своих ног сына и невесело думала: а где же наш-то отец?

2

На другой день утром, после того как она всю ночь промучилась без сна в ожидании своего сбежавшего из дому мужа, Лиза сказала себе: хватит. Сколько еще ему надо мной измываться? Жить — так жить по-хорошему, по-честному, а смешить людей я и одна могу.

Но вот явился вскорости домой Егорша — тише воды, ниже травы — да начал-начал мелким бесом вокруг нее виться (за водой к колодцу сбежал, дров из сарая принес, растопки нащепал), и сердце не камень — оттаяло. Не могла она оставлять Васю безотцовщиной! Будет — помытарили вдоволь они, Пряслины.

Но только ли из-за сына она сменила гнев на милость?

Она любила своего беспутного Егоршу. Правда, в первые дни их брачной жизни она без ужаса подумать не могла о надвигающейся ночи — что же, она ведь зеленой девчушкой переступила Егоршин порог.

Почувствовала себя Лиза женщиной после того, как родила сына. По ночам ей снился Егорша, во сне она обнимала, ласкала его, шептала такие слова, от которых назавтра саму в жар бросало. Ну, а когда дождалась Егоршу, страсть с головой накрыла ее.

Егорше было забавно, Егорша похохатывал:

— Ну и ну! На горячем месте сварганили тебя папа и мама.

И она презирала, ненавидела себя — ведь понимала же: не утехам, не радостям надо предаваться, когда по дому еще покойник ходит, а все равно, где бы ни была, что бы ни делала, на уме было одно — Егорша.

Вот бог-то меня, может, и наказывает за это, в который раз сегодня подумала Лиза и взяла на руки совсем изревившегося сына (Родька, накормленный, уже посапывал на кровати).

— Ну чего орать-то? Чего? — начала она вразумлять сына. — Разве я тебя не люблю? Да всех пуще люблю. Только ведь нельзя обижать Родьку. Он и так обижен. Не привыкай, не привыкай, как отец, все загребать себе. Оставь чего и людям.

Где он сейчас шатается? Утром собирался в район ехать — пора бы уж к месту приставать. Сколько можно баклуши бить?

А может, опять где веселится? Поминали на днях — в верхнем конце видели. Неужто опять к Нюрке Яковлевой, своей старой любушке, тропу затарил? У той, бесстыжей, сроду ворота настезь для всех отворены...

Скрипнули воротца за избой — Лиза вся так и встрепенулась: Егорша!

Нет, не Егорша, а брат. Егорша прошмыгнет под окошками — и не услышишь: всегда крадучись, всегда потайкой. А Михаил идет — за версту слышно. Будто с землей разговаривает.

— Где тот?

— Откуда я знаю? — Лизу зло взяло: в кои-то поры зашел к сестре и хоть бы спросил: как поживаешь, сестра?

— Жене, между прочим, полезно знать, где муж, — с назидательностью сказал Михаил. — Есть у тебя четвертак?

— Деньги?

— А что? Не туда адресовался?

— Да хватит тебе выколупывать-то. У меня свой словечушка в простоте не скажет. Чего хочешь с четвертаком-то делать? Не для бутылки?

— Не твое дело.

Лиза уложила на кровать рядом со спящим Родькой сморенного к этому времени едой и плачем сына, сходила в чулан.

— На, — сказала она, подавая двадцатипятирублевку брату (тот с какой-то удивившей ее мрачностью стоял у кровати и вглядывался в пухлое румяное личико разогревшегося во сне Родьки). — Только теперь тебе и пить.

— А чего?

— Чего, чего... Человек ни за что ни про что посажен, а они — на-ко, мужики еще называются — на коровник залезли да знай хлопают весь день топорами...

Лиза была вне себя от обиды на односельчан. Раньше: «Нам уж с этим председателем пива не сварить. Чуж-чужанин». А теперь, когда председателя забрали, другую песню завели: «Нет, нет, такого председателя нам больше не видать. Сами человека уpekли, сами до тюрьмы довели. Ох, ох, мы дураки, дерево некоренное»...

— Да еще дураки-то какие! — сердито сказала вслух Лиза.

— Чего ты опять?

— Ничего. Все стараются, из кожи лезут. Вы на коровнике, бабы на поле. А раньше-то где были? Раньше надо было свое усердие показывать, а не сейчас.

— А чего, чего мы должны делать?

— Да уж всяко, думаю, не топорами с утра до ночи размахивать. С начальством бы поговорили, объяснили все как надо...

— Заткнись! — заорал Михаил. — У меня сегодня с этим начальством и так был разговор.

— С кем?

— С Ганичевым. Вызвал середка дни, прямо с коровника. Есть, говорит, предложение, Пряслин, написать письмо в районную газету... Так и так, дескать, осуждаем своего бывшего председателя...

— Ивана Дмитриевича? — страшно удивилась Лиза. — Да что он,

с ума сошел, Железные Зубы? Неужто Пряслины — уж и хуже их нету? Еще-то кого вызывали?

— Не знаю... Петр Житов, кажись, ходил. — Это Михаил сказал уже в дверях.

3

Развалюха Марины-стрелехи служила своего рода забегаловкой для пекашинских мужиков. От магазина близко, старуха — кремень, не надо бояться, что до твоей бабы дойдет, и — худо-бедно — всегда какая-нибудь закуска: то соленый гриб, то капуста. Потому-то Михаил, выйдя из магазина, и направился по накатанной лыжне.

Марина рубила в шайке капусту у переднего окошка, где было посветлее, но, увидев его, в три погибели согнувшегося под низкими полатами, сразу без всяких разговоров встала, принесла с надворья соленых, достала из старинного шкафчика граненый стакан.

— А себе? — буркнул Михаил, присаживаясь к дряхлому, перекошенному столу с белой щелястой столешней, в правом углу которой было вырезано три буквы, обведенных рамочкой: С. Н. И., Семьин Николай Иванович. Покойник при нем, при Михаиле, оставил эту памятку о себе в сорок втором в это же самое время, когда уходил на войну.

— Нет, нет, родимо мое, не буду, воздержанье сделаю, — сказала старуха.

— Что так? В староверки записалась? — Михаил слышал от кого-то, что Марину будто бы недавно крестила Марфа Репишная. Да как! Прямо в Пинеге на утренней заре.

— Записалась не записалась, а все больше, родимо, натешилась дьявола.

— Ну как хошь, — сказал Михаил. — Не заплачу.

— Про постояльца-то моего чего слышал, нет?

Михаил нахмурил брови: про какого еще постояльца? И вдруг вспомнил: так старуха зовет Лукашина, который в войну действительно сколько-то квартировал у нее.

Пробка от бутылки стеганула по стеклянной дверке шкафика — вот так он всадил свою ладонь в дно бутылки. А кой черт! За этим он сюда пришел? Затем, чтобы про постояльца выслушивать? Да он, дьявол ее задери, и так все эти дни как ошалелый ходит. Куда ни зайдет, с кем ни заговорит — Лукашин, Лукашин... Что Лукашину будет? Как будто Лукашина из-за него, Михаила, посадили. А Чугаретти, к примеру, тот так и думает. Вчера встретился у церкви пьяный: «Ну, Мишка, заварил же ты кашу!» — «Как я?» — «А кто же?» Оказывается, не надо было ему, Михаилу, шум из-за зерна поднимать, тогда бы все шито-крыто было. Вот так: тебе в поддыхало, да ты же и виноват.

Стакан водки, выпитый одним духом натошак после работы, весенним половодьем зашумел у него в крови, и вскоре Михаилу уже самому захотелось говорить.

— Марина, а ты знаешь, что мне сегодня один человек предлагал? — сказал он старухе, которая к тому времени опять начала потихоньку тюкать сечкой капусту. — Ох-хо! Чтобы я, значит, вот этой самой рукой приговор Лукашину подписал.

У старухи при этих словах подбородок с темной бородавкой отвалился — хоть на дрогах въезжай в рот.

Но Михаила это только подхлестнуло.

— Да! Так и сказал! А я ему, знаешь, что на это? На, выкуси! — И тут Михаил выбросил в сторону старухи свой огромный смуглый

кулак.— Да ты знаешь, говорю, чем для меня был этот бывший председатель? В сорок втором, говорю, кто меня в комсомол принимал, а? Ты? Да этот бывший председатель, говорю, ежели хочешь знать, второй мне отец. Понял?

— Так, так, родимо,— кивала старуха.

— А чего? — забирал все выше и выше Михаил.— Он меня и теперь еще иной раз крестником зовет. А, говорю, ты видал таких председателей, которые сами зимой в месячник к пню встают? Чтобы кузня в колхозе не потухла, чтобы Илья Нетесов мог дома жить. Видал, говорю, нет?

— Так, так, родимо.

— А насчет, говорю, этого самого хлеба, дак ты помалкивай. Куда, говорю, он девал хлеб-то? Себе взял? Нет, говорю, мужикам выдал. Чтобы скотный двор побыстрее строили. Он, говорю, за колхозную скотину страдает. Дак какое, говорю, ты имеешь право мне об твоем поганом письме говорить? Подпиши... Да я, говорю, скорее сдохну, чем подпишу. Ты что, говорю, Мишку Пряслина не знаешь, а?

Марина давно уже плакала, громко ширкая носом, и у Михаила тоже слезы подкатывали к горлу — до того было жалко Лукашина.

Он налил еще в стакан, выпил, потом закрючил двумя пальцами попригляднее сыроегу и посмотрел на свет — у старухи живо червяка слопаешь.

Вдруг неожиданная, прямо-таки сногшибательная идея пришла ему в голову: а что, ежели...

— Марина, у тебя найдется листок бумаги?

— Зачем тебе?

— Надо. Давай быстрее.

На него просто накатило — в один присест настрочил, не отрывая карандаша от бумаги.

— Ну-ко послушай,— сказал старухе.

«Заявление

В связи с данным текущим моментом, а также имея на строения колхозных масс, мы, колхозники «Новая жизнь», считаем, что т. Лукашин посажен неправильно.

Всяк знает, как председатели выворачиваются в части хлеба, чтобы люди в колхозе работали, а почему отвечает он один?

Кроме того, данный т. Лукашин по части руководства в колхозе имеет авторитет, а в войну не только насмерть бил фашистов, но, будучи ранен, конкретно подавал патриотический пример в тылу на наших глазах.

В части же хлеба категорически заявляем, что все поставки колхоз «Новая жизнь» выполнит в срок и с гаком, и никогда в хвосте плестись не будем.

К сему колхозники „Новая жизнь“».

— Ну как? Подходяще? Ничего бумаженция? — спросил у старухи Михаил и самодовольно улыбнулся: ничего. Забористо получилось. Можем, оказывается, не только топором махать.

Он четко, с сердитой закорючкой в конце расписался, затем подвинул заявление и карандаш старухе.

— Давай рисуй тоже.

Но Марина подписывать заявление наотрез отказалась.

— Чего так? — удивился Михаил.— Сама только что слезы насчет постояльца проливала...

— Нет, нет, родимо, не буду. Не мое это дело.

— Пошто не твое?

— Не мое, не мое. В колхозе не роблю — чего людей смешить. Ты хороших-то людей подпиши, пушай они слово скажут, а я — что? Кому я нужна?

— Ну как хошь,— сказал Михаил.— Не приневоливаю. Найдется охотников — не маленькая у нас деревня.

Глава девятая

1

Темень. Морось. И — гром.

Не небесный, домашний: чуть ли не в каждом доме крутят жернова — дождались новины на своих участках!

Михаил любил эту вечернюю музыку своей деревни, любил теплый и сладкий душок размолотого зерна, которым встречает тебя каждое крыльцо.

Но чтобы попасть в этот час в чужой дом... Мозоли набьешь на руках, пока достучишься!

Он начал сбор подписей со своей бригады — ближе люди.

К первой ввалился к Парасковье Пятнице, прозванной так за отменное благочестие и набожность.

— Председатель у нас, Парасковья, ничего, верно? — заговорил Михаил с ходу.

— Кто? Иван-то Митревич? Хороший, хороший председатель, дай ему бог здоровья.

— Надо выручать из беды мужика? Согласна?

— Надо, надо, Мишенька.

— Тогда подпишись вот здесь.

— Да я подписаться-то, золотце, сам знаешь, не варжаю.

— Это ничего. Валяй крест. Крест тоже сойдет.

Нет, и крест не поставила.

Полчаса, наверно, вдалбливал в темную башку, зачем надо подписывать письмо, зачитывал вслух, стыдил, ругал — не смог навязать карандаш.

Точно так же несолоно хлебавши ушел он от Василисы. Эта, видите ли, бумагу не хочет портить своими крюками. Пушай, дескать, грамотные люди такие дела делают, а я весь век с топором да с граблями — чего понимаю?

— Не приневоливай, не приневоливай, Михайло Иваныч, я и так богом обижена — всю жизнь одна маюсь...— И все в таком духе до самых ворот.

Но старухи — дьявол с ними. На то они и старухи, чтобы палки в колеса ставить. А как вам нравятся Игнаша Баев да Чугаретти?

Игнаша зубы скалить да людей подковыривать, особенно тех, которые не могут дать сдачи, первый, а тут едва Михаил заговорил про письмо, начал башкой вертеть — мух осенних на потолке пересчитывать.

— В чем дело? — поставил вопрос ребром Михаил.— Бумага не нравится? Давай конкретные предложения. Учтем.

Да, так и сказал. Официально, прямо, как на собрании. Потому как чего агитировать — и так все ясно.

Игнаша раза два перечитал бумагу, так повернул листок, эдак — за что бы уцепиться?

Наконец нашел лаз — Михаил по ухмылке понял. Все время сидел губа за губу, а тут сразу ящерицы вокруг рта заюркали — так ухмыляется.

— А кто это бумагу-то писал? Не ты?

— Допустим,— сказал Михаил.

— Ну тогда извини — подвинься... Эдак каждый выпьет да пойдет по деревне бумаги читать...

— Кто выпил? Я?

— Да уж не я же...

В общем, поговорили, обменялись мнениями. Михаил выложил все, что он думает об Игнаше и ему подобных.

Ну, а про то, как он у Чугаретти был, про это надо в «Крокодиле» рассказывать.

Полицка Бархатный Голосок, жена Чугаретти, как злая собачонка, набросилась на него, едва он раскрыл рот. Нет, нет! Не выдумывай лучше. Да я такое вам письмо, дьяволам, покажу, что волком у меня взвоете...

Ну а Чугаретти? Что делал в это время Чугаретти, который все эти дни, пьяный вдребезину, шлепал по деревне и каждому встречному-поперечному плакался: «Все. Последний нынешний денечек, как говорится... Раз уж хозяина заарканили, то и Чугаретти каюк. Потому как с сорок седьмого вместях на одной подушке...»

Чугаретти в это время сидел за столом и молча обливался слезами: Полицки своей он боялся больше всех на свете.

Наконец одну подпись он раздобыл — Александра Баева подписалась.

— Хорошо, хорошо придумал. Под лежач камень вода не бежит — не теперь сказано. Мы не поможем своему председателю — кто поможет?

Ободренный этими словами, Михаил толкнулся и к соседям Яковлевым: авось Нюрка не в расходе.

Нюрка была дома и страшно обрадовалась, когда увидела его в дверях.

— Заходи, заходи.

Старики были еще на ногах, старшая — золотушная — девочка, учившая уроки за столом, хмуро, недружелюбно посмотрела на него. Но Нюрка и не думала обращать на дочь внимание. У нее просто: огонь задула — и на кровать, а как там отец, мать, дети — плевать.

Михаил как-то раз закатился было к ней по пьянке и назавтра, когда встал, взглянуть от стыда на стариков и детей не мог, а самой Нюрке хоть бы что — песню на всю избу запела.

— Заходи, заходи,— приветливо, играя белозубым ртом, встретила его Нюрка, цыкнула на девочку — марш спать, и с готовностью усталилась на него.

Михаил, так и не сказав ни слова, выскочил из избы.

На улице разгулялся ветер — холодный, яростный, с подвывом, не иначе как зима свои силы пробует, и он, чтобы прикурить, вынужден был даже прислониться к стене старого нежилого дома.

Махорка в сигарке загорелась с треском. Крупные красные искры полетели в разные стороны, когда он шагнул против ветра...

У Лобановых в низкой боковой избе еще мигала копилка, но не приведи бог заходить к ним поздно вечером: изба от порога до окошек выстлана телами спящих. Как гумно снопами. Три семьи под одной крышей.

К Дунярке тоже, по существу, незачем было заходить — какое ей дело до Лукашина, до всех ихних забот и хлопот? Горожаха. Отрезанный ломоть.

И все-таки он пошагал. Не устоял. Потому что больно уж ярко и зазывно полыхали окошки с белыми занавесками.

Сердце у него загрохотало как водопад. Что такое? Неужели все оттого, что к дому Варвары подходит? Сколько еще это будет продолжаться?

В доме смеялись — Дунярка была не одна, и Михаил, сразу осмелев, резко толкнул воротца.

Егорша... В самом своем натуральном виде — у стола, на хозяйском месте, там, где когда-то сиживал он, Михаил.

В общем, положение — хуже некуда. Как говорится, ни туды и ни сюды.

— Извиняюсь, тут, кажись, третий не требуется.

Черта с два смутишь Егоршу! Завсегда ответ припасен:

— Да, не припомню, чтобы мы особенно шибко горевали о тебе.

Но тут, спасибо, врезала Егорше Дунярка:

— Не командовать, не командовать у меня. Я здесь хозяйка. Сходи лучше раздобудь бутылку.— Она кивнула на пустую поллитровку на столе.— Нету у тебя счастья. Мы с анекдотами-то, видишь, что сделали. До донышка добрались.

— Не,— мотнул головой Михаил,— не надо. Я так, на смех забежал. Больно весело живете.

— А чего нам не жить? Почему не вспомнить счастливое детство? — Дунярка громко захохотала.— Он, знаешь, на что меня подбивает? На измену. Третий раз уж с бутылкой приходит. А сейчас почему нейдет за вином? Бойтся, как бы мы тут не столковались без него...

— Но, но, секретов не выдавать!

— А иди-ко ты со своими секретами! Вот я сейчас один секрет покажу, дак это секрет!

Дунярка встала, пьяно качнулась и пошла за перегородку — высокая, красивая, как-то по-особому, не по-деревенски поигрывая бедрами.

— Ну, закройте глаза! Живо! — крикнула она из-за перегородки. Михаил и Егорша переглянулись с усмешкой, но подчинились.

Дуняркиным секретом оказалась непочатая бутылка водки, она поставила ее на стол — как печатью хлопнула.

Но главное-то, конечно, было не в бутылке, а в тех словах, которые сказала она при этом:

— Догадываешься, нет, что это за винцо, а?

Егорша вспыхнул, вскочил на ноги:

— Раз у вас такие секреты, то я, как говорится, делаю разворот на сто восемьдесят градусов.

А и делай! — хотелось крикнуть Михаилу. Какого дьявола не утереть нос этому прохвосту! А кроме того, зачем обманывать себя? Ему нравилась Дунярка. Такие уж, видно, эти иняхинские бабы — и тетка и племянница до костей прожигают. Эх, кабы тот же жар да от Раечки шел!

Михаил, однако, опередил Егоршу — первый выбежал из избы. Нельзя! Не время сейчас распускаться. Кто за него будет собирать подписи?

Он уже подходил к дому Марфы Репишной, когда его догнал Егорша.

— Слушай! Ты ничего не видел, ты ничего не слышал. Это для некоторых, ежели речь пойдет. У нас старшина Жупайло так, бывало, насчет этих дел говорил: «Самый большой грех на свете — выдавать мужскую тайну». Понял?

Михаил свернул в заулоч.

На Марфино крыльцо он уже поднимался раз сегодня — когда шел вперед, — но Марфы тогда дома не было. А сейчас она была дома — в избе стучал топор.

Плотницкий талант у Марфы прорезался к шестидесяти годам, после того, как выслали Евсея. Бабы тогда и в Пекашине и в соседних деревнях просто вой подняли: жалко старика. А потом — кто же их теперь будет вырывать деревянной посудой? Ведь в хозяйстве и ушат надо, и шайку, и санки за водой к колодцу сходить — да мало ли чего!

И вот напрасно, оказывается, разорялись из-за посуды: Марфа стала посуду колотить. Никогда в жизни ни одной доски не отесала, ни одного обруча не набила, а тут взяла топор в руки и почала шлепать. Да не только там ушаты, шайки, а и сани для колхоза. Правда, изделья Марфины не очень были складные, да зато крепкие, долговечные. Как сама она.

Заменила Марфа и еще в одном деле Евсея — в духовном.

Жуть что она вытворяла со своими старухами. На Слуде, рассказывают, одна староверка напилась в праздник допьяна и уснула на улице — так что сделала Марфа? Отвела старуху в кустарник за деревней, сняла с нее сарафан, рубаху, привязала к дереву: исправляйся! И старуха, голая, весь день выстояла под палящим солнцем, на оводах, так что к вечеру едва богу душу не отдала.

Дрожали перед Марфой и бабы, которые подходили к пятидесяти,— их она силой загоняла в свою веру. И непременно крестила: летом в реке на восходе, а зимой в кадке, в нетопленной избе.

Местные власти, конечно, пытались образумить осатаневшую старуху. Но с Марфой разве сговоришь? Что сделаешь с первой стахановкой района, которая всю войну не сходила с районной Доски почета? А кроме того, нельзя было не принять во внимание и то, что она вязала сани. Крепко выручала колхоз.

— Здорово, соседка, — сказал Михаил, прикрывая за собой тугую, шаркающую дверь. — Труд в пользу. Или как у вас говорят: бог на помощь.

— Как скажешь, так и ладно. Богу не слова нужны — помысел.

Марфа не Евсей. Это тот, бывало, когда ни зайдешь, ласковым словом встретит да сразу же работу бросит — любил поговорить, все ему любопытно да интересно, а Марфа даже и не встала. Сидела посреди избы на чураке, большущая, черная, как медведица, и хлопала обухом — обруч еловый на ушат наколачивала.

Свет был двойной — сверху, с грядки, от лампешки без стекла, и сзади, со спины, от красной лампадки перед божницей.

— Чего огонь-то из угла поближе не перенесешь? Лучше будет видно, — полушутя, полусерьезно посоветовал Михаил.

Марфа не словами ответила — топором. Так тяпнула по обручу, что другой раз подумаешь, прежде чем что-либо сказать.

Михаил присел на прилавок к теплой печи, с которой пахло нагретой лучиной, глянул на знакомый кумачовый крест на белом квадрате холста, висевшем на передней стене, на тяжеленные черные книги с дощатыми обложками, обтянутые телячьей кожей, — они, как ящички, были сложены в переднем углу на лавке, — на медные иконы в красных бликах.

— От Евсея слышно чего?

— Печи кладет людям.

— Какие печи? Ты поминала, на огороде работает.

— Печи разные бывают. Кирпичные и духовные.

— Понятно. Значит, и там свое дело не забывает. А я к тебе тоже, можно сказать, по духовному делу. Насчет Лукашина, знаешь, какое положение? Надо выручать мужика? Помнишь, как он в войну нам помогал?

Марфа кивнула.

— Я вот тут письмишко одно написал.— Михаил достал из кармана листок с заявлением.— Подписать надо. Когда там, наверху, увидят, народ требует — знаешь, как на это дело посмотрят...

— Не подпишусь,— сказала Марфа и опять застучала топором.

— Это почему же?

— В дела мирские не мешаюсь.

— Как это не мешаюсь? По вере по твоей. Бог-то помогать велит ближнему. Так?

— Нет, нет, не подпишусь.

— Да почему? — начал уже горячиться Михаил.

— А потому. Не бумагой — молитвой мы помогаем.

— Молись! Кто тебе запрещает. А раз тебя просят по-человечески, делай. Не подпишусь... Ты не подпишешься, да я не подпишусь, да он не подпишется, а кто же подпишется? Человек ведь, черт вас подери, пропадает!

Тут Марфа так на него посмотрела — в обморок в пору упасть: страсть это — при ней чертыхнуться и лешакнуться! Грех великий. Но Михаила уже ничем нельзя было остановить. Слова из него полетели, как картошка из мешка, опрокинутого в погреб. А чего, в самом деле! Тяжело ей три буквы поставить? Да и вообще — не будь она у старух за командующего, разве зашел бы он к ней? На кой она ему сдалась? Неужели он не понимает, как там, в райкоме, посмотрят на эти три буквы? Ага, скажут, хорошенькая защита у Лукашина — пекашинский поп!

Нет, он зашел к Марфе только потому, что за нее старухи держатся. Всех старушенок в кулак зажала, и он был уверен, что подпишешь Марфа под письмом — подпишутся и старухи. Вот для чего нужна была ему Марфина подпись.

Он ругал, пушил, лопатил Марфу — не мог своротить. И, эх, если бы дело тут было в страхе! А то ведь он знал: Марфа сроду ничего и никого на свете не боится.

А вот нашлась, нашлась, оказывается, такая сила, которая взнуздала ее.

3

Быстро отмигал избяными огоньками вечер. Пала ночь — то есть ни одного светлого окошка. Кромешная темнота.

Но на темноту, в конце концов, наплевать — он не в чужой деревне, любой дом на ощупь найдет. Хуже было другое. То, что какой-то гад пустил впереди его слух: Мишка, дескать, пьяный ходит. Не пушайте!

И вот так: стучишь, барабанишь в ворота, а тебе из сеней отвечают: нет, нет, Михаил, не открою. Утром приходи, тверезой.

Но плохо же вы, черт вас побери, знаете своего Михаила! Иван Дмитриевич из-за вас, сволочи, в тюрьге сидит, а вам и горя мало. Вы — храп на всю ночь? Открывайте! Сию минуту открывайте, а не то я все ворота разнесу!

Открывали, извивались ужом. И — не подписывались.

К Петру Житову Михаил ни за что не хотел заходить: предатель! За десять килограмм ячменя продал его, своего товарища и друга. Какие после этого могут быть с ним дела!

Но у Петра Житова на кухне был свет. Единственный на всю

деревню. А кроме того, кляни не кляни Петра Житова, а без него в Пекашине ни шагу. Он, Петр Житов, верховодит пекашинскими мужиками. Как Марфа Репишная — старухами.

Петр Житов был один. В руке карандаш, на столе — серая оберточная бумага. И полнейшая трезвость (у пьяного заревом рожа).

Его приходу не удивился. Неторопливо, деловито снял очки, ткнул толстым пальцем в бумагу:

— Кумекаю насчет поилок. Помнишь, Лукашин все хотел, чтобы у нас на новом коровнике автопоилки были?

Михаил зло хмыкнул: раньше надо было над автопоилками кумекать. А сейчас кого удивишь? Сейчас все, как говорит сестра, из кожи лезут, чтобы показать, какие они хорошие.

В общем, он достал письмо, положил на стол поверх серого листа с автопоилками: подписывайся.

Петр Житов снова надел очки, прочитал.

— Я думал, ты поумнее, Мишка.

— Насчет моего ума после поговорим. А сейчас — подпись ставь!

— Подпись поставить нетрудно. Все дело — зачем.

— А это уж не твоя забота. Без тебя разберемся — зачем.

— Эх, мальчик, мальчик! — сокрушенно вздохнул Петр Житов. — Мало тебя жизнь долбала, вот что. — На самом деле он выразился куда более энергично и популярно. — Ты подумал, что из этого письма будет?

— Я-то подумал, а вот ты, вижу, в штаны наклал. А еще: я, я... Со смертью обнимался...

— Не трогай войну, Пряслин, — тихо, почти шепотом заговорил Петр Житов. — Так лучше будет. — Он шумно выдохнул. — А теперь сказать, почему твое письмо — ерундистика?

— Давай попробуй.

— Во-первых, коллективка. Пришпандорят так, что костей не соберешь.

— Коллективка? Это еще что такое?

— Письмо твое — коллективка. Кабы ты один его, понимаешь, написал да отправил — ладно, слова не скажу, резвись, мальчик, а когда ты по всей деревне бегаешь да подписи собираешь...

— Так что же, по-твоему, и письма нельзя написать? Ну-ну! — Михаил громко расхохотался. — Давай, давай! Еще чего скажешь?

— Еще скажу, что ты болван. За это письмо, знаешь, под какую статью можно подвести? Под антисоветскую агитацию.

— Мое письмо под антисоветскую агитацию? Да куда я его пишу? Черчиллю, Трумэну? Брось! Скажи уж лучше прямо: струсил. За шкуру свою дрожишь.

Тут за стеной, в передней избе, поднялся страшный грохот. Словно там потолок обрушился. Это, конечно, разбуженная ими Олена. Не иначе как поленом сгоряча хватила: дескать, уймитесь, дьяволы! Сколько еще будете орать?

Петр Житов не вояка со своей женошкой, тем более когда трезвый, это всем известно, но что касается других — убьет словом. Наповал и сразу. А тут, как рыба, выброшенная на берег, захватал ртом воздух — в цель, в десятку самую попал Михаил.

Наконец справился с собой.

— В следующий раз воздержись в части характеристик, Пряслин. И запомни: Петр Житов никого не боится. Ясно? А ежели я твое письмо не одобряю, то только тебя жалеючи, дурака. В сорок втором нам выдали летние перчатки вместо зимних. А надо на фронт ехать, в снегу воевать. Ну, я и скажи ребятам во взводе: давай напишем начальству. Написали. Да меня за это письмо едва под трибунал не

упекли. Больше недели таскали. Вот что такое эта самая коллективка. Понял? Теперь насчет Лукашина. Ежели тебе непременно хочется в петлю голову сунуть, пес с тобой — суй. А зачем Лукашину на шею новый камень?

— Чего-чего?

— А вот то. Как, скажут, ты воспитал своих колхозников? Письма подрывающие писать?.. В сорсы третьем, когда мы стояли...

Михаил сгреб со стола письмо и вылетел вон.

Петр Житов совершенно запутал его, все поставил в нем с ног на голову. До сих пор для него было законом: надо выручать человека, попавшего в беду. А послушать Петра Житова, так ничего этого нельзя делать. Сиди в своей норе и не рыпайся. Потому что как ты ни бейся — все ерунда. Ничем не сможешь Лукашину. Наоборот, даже хуже сделаешь.

Нет, такие советы Михаил принять не мог, и он решил прочесать деревню до конца.

Прочесал.

Результат все тот же — ни единой новой подписи.

В темноте на ощупь он добрался до взвоза Ставровых — к Федору Капитоновичу не пошел, и так все ясно, — сел на отсыревшие за ночь бревна, закурил.

Сиверко разбушевался — кепку рвало с головы. А уж телеграфные столбы стонем стонали.

Ну и дьявол с ними. Пускай стонут. Пускай летит все в тартарары. И дома, и столбы телеграфные, и сами люди. Сука — народ. Самые что ни на есть самоеды. Мужик для них старался-старался, а в яму попал — кто пальцем ударил? Храпят, слюнявят от удовольствия подушки. И Райка, его невеста, тоже не лучше других...

Михаил с усмешкой посмотрел в темноту, туда, где стоял дом Федора Капитоновича, и вдруг отчетливо, как на картине, представил себе полнотелую, разогретую сном Раечку, блаженствующую в своих пуховиках. Он яростно вскипел.

Э-э, да кто сказал, что она его невеста? Хватит быть остолопом! Нравится тебе Дунярка? Тянет тебя к ней? Ну и на здоровье! Топай. А все эти твои переживанья насчет Варвары, Раечки — мать собачья. Один раз живем!

Вон Егоршу взять. От молодой жены бегаешь — и ничего. А ты как старуха старая: разве можно сегодня с теткой, а завтра с племянницей? Можно! В Заозерье Паша Фофанов и дочке брюхо навертел и маму не обидел — тоже вширь пошла. А ты как самый последний дурак. Свататься побежал. Чтобы дорогу к Дунярке отрезать...

Нет, все. С этим покончено. Был один запоздалый идиот в Пекашине, а сегодня и он кончился. Спасибо вам, землячки дорогие! Выручили. Просветили.

Михаил решительно встал.

И однако же не в верхний конец пошагал, а сперва к изгороди возле ставровского хлева. Что там такое отсвечивает — вроде как сполох в темноте играет? Все время, пока сидел на взвозе, косился глазом в ту сторону и не мог понять.

Загадка оказалась совсем простой: у Ставровых в избе был свет — от их окошек отблески. Они не спят, полуночичают.

Минуты не раздумывал Михаил, идти или не идти к Ставровым: что-то нехорошо у них в доме, раз ночью огонь палает.

Воротца, чтобы не скрипнули, приподнял, затем на носках, приги-

баясь к земле, вошел в ярко освещенный заулочек. Остановился, прислушался. В избе — крик. И вроде Лизка плачет.

Он юркнул к простенку сбоку, поверх белой занавески заглянул в окошко.

Так оно и есть. Лизка, как елушка в дождливый день, вся в слезах, а кто ей трепку задает, не надо спрашивать. Дорогой муженек — не иначе как, сукин сын, только чтоб с б.....а явился, даже фуражки еще не снял.

Больше Михаил не таился. На всю подошву ступил на землю, на крыльце протопал сапогами, кольцо в воротах повернул — едва не выломал.

В окошке резко раздвинулась занавеска — показалось Егоршино лицо, злое, колючее, — затем так же резко задернулась.

Раздался новый крик в избе, новая ругань, потом наконец закрипели двери, и в сени вышла Лиза — Михаил по ширканью носа узнал сестру.

Однако, когда они вошли в избу, Лиза уже не плакала. Глаза красные, губы распухли, но не плакала. Не хотела, из гордости не хотела показывать брату свое горе.

Егорша — он стоял посреди избы руки в брюки, фуражка на глаза — словно из автомата прострочил в него:

— У меня не постоянный двор, чтобы ломиться середка ночи. Можно, думаю, и до утра подождать.

— Извини, я думал, мы еще без докладов.

— А ты не думай!

— Да что ты, господи! — всплеснула руками Лиза. — Неуж брату родному спрашивать, когда к сестре приходиться? Что бы тебе сказал татя, кабы услышал это?

— Не услышит, поскольку мертвая природа и прочее... А потом, вы этому тате еще при жизни уши запечатали. Сволочи! — вдруг взвизгнул Егорша. — Родной внук в армии, священные рубежи... а вы дом у него вздумали оттяпать...

Михаил сделал шаг.

Но надо знать Егоршу! Закривлялся, заприплясывал — дескать, пьяный в дымину, ничего не соображаю, ни за что не отвечаю, а потом и вовсе начал валять ваньку — в пляс пустился.

Цапала, цапала,
Царапала, драла,
У самого Саратова
Я милому...

— Больно, больно баско, — сказала Лиза. — Может, еще сына разбудить? Пущай посмотрит, что отец пьяный вытворяет...

— А что! — петухом вскинул голову Егорша. — Буди. Чем плох у него отец?

Он новый номер выкинул — парадным шагом пропечатал к дверям.

— Порядочек! Ладнехонько идем. Пить выпивам, линию знам и в милицию не попадам...

— Ничего, попадешь. Так будешь делать, выведут на чисту воду. — Лиза все-таки не выдержала, всхлипнула. — Это ведь из-за чего у нас ночное собранье, — кивнула она брату. — Только что за порог родной перевалил.

— Ревность — родимое пятно и всякая тьма капитализма... — изрек Егорша.

— А по-моему, и при социализме за это по головке не гладят. Что-то я не читал в газетах, чтобы призывали: бегай от своей жены...

— А я в указчиках не нуждаюсь. Понятно? — отрезал Егорша.

— А я говорю, не надуйайся — лопнешь.

— По етому вопросу советую вспомнить кое-какие события у колхозного склада.

— Ты!.. Ты мне про склад? — Михаил озверел, двинулся на Егоршу, и тому, конечно, никакой бы бокс сейчас не помог, да спасибо Лизке — она привела его в чувство.

— Что вы, что вы, дьяволы! Образумьтесь! Уж двух слов сказать не можете, чтобы не на кулаки...

Егорша, как лезвием, резал его своими синими щелками из-под светлого лакированного козырька военной фуражки с красной звездой, и Михаил подивился — столько ненависти было в этих щелках. Из-за чего? Кажется, он в последние дни не давал ни малейшего повода. Даже наоборот: после той идиотской потасовки у склада сам первый пришел к Ставровым. С бутылкой. Потому что черт его знает, этого прохиндея: начнет еще на сестре отыгрываться. И вот ничего не помогло. Егорша как на заклятого врага смотрит на него.

А может, это из-за Дунярки? — вдруг пришло ему в голову. Из-за того, что та дала ему от ворот поворот? Да еще при нем, при Михаиле. Егорша такой: не пожалеет, кого угодно стопчет, ежели стать между ним и бабой, которую он облюбывал. А то, что у него зуб на Дунярку горит, это ясно.

— Вопросов больше ко мне не имеется? — спросил, чеканя каждое слово, Егорша. — Ну и у меня нет. А писем в этом доме не подписывают. Потому как в этом доме с советской властью живут. Ясно?

— А я что, не с советской?

— Да вы об чем это? Об каком письме?

— А это уж ты его спрашивай, своего дорогого братца. — Егорша с ухмылкой кивнул Лизе. — Он решил зимой в прорубь прыгать.

— И ничего я не решил. Кой черт, нельзя уж сказать, что белое — белое...

Лиза еще нетерпеливее спросила:

— Да чего ты натворил-то? Про какое письмо он говорит? Где оно?

Михаил отмахнулся:

— Так. Ерунда. — Не хватало еще, чтобы он сестру свою втащил в эту историю.

Но тут Егорша просто заулюлюкал: ага, дескать, что я говорил? Ничего себе письмецо, ежели даже родной сестре показать нельзя!

Михаил выхватил из кармана ватника скомканный листок, бросил на стол: читайте!

Лиза присела к столу, расправила листок, прочитала заявление вслух.

— Коль уж и дельно-то! Все, каждое словечушко правда. Да я бы того, кто писал, расцеловала прямо.

— Целуй! — усмехнулся Егорша. — Он тут, между прочим.

— Ты?

Лиза, конечно, хитрила — это было ясно Михаилу: не могла же она не узнать почерк своего брата! Но все равно было приятно. И приятно было видеть ее зеленые, по-весеннему загоревшиеся глаза. А потом еще больше: Лизка, которая за всю жизнь ни разу не поцеловала его, тут вдруг выскочила из-за стола, обняла его и, подскочив, звучно чмокнула в небритую щеку.

Егорша язвительно захохотал:

— Да ты, может, и письмо подпишешь?

— Подпишу! Где карандаш?

— Ладно, ладно, сестра, — сказал Михаил. — Брось. — Стоило бы,

конечно, проучить этого индюка, да уж ладно: с него достаточно и того, что сестра не струсила.

Но Лиза загорелась — не остановить. Сбегала в чулан, принесла карандаш.

— Где мне расписаться-то? Все равно?

— Не смей у меня! — гаркнул на всю избу Егорша. — Чуешь?

Лиза даже не взглянула на него. Быстро прочертила по бумаге карандашом, с пристуком положила его на стол.

В наступившей тишине стало слышно, как завывает и мечется под окошком ветер, уныло скрипит в заулке мачта.

Потом булыгами пали слова:

— Все! Ты не письмо подписала, а свой смертельный приговор. Счастливо оставаться! Раз тебе брат мужа дороже, с братом и живи.

Лиза не закричала, не заплакала. Ни тогда, когда захлопнулась за Егоршей дверь, ни потом, когда под окошками прошелестели его летучие шаги.

Она сидела за столом. Неподвижно. Белее недавно покрашенной известкой печи. И глядела на лежавшее перед ней письмо.

— Ну зачем ты, сестра, подписалась? Зачем? Да ты понимаешь, что ты наделала? Жизнь свою загубила...

Лиза долго не отвечала, потом, вздохнув, сказала:

— Пущай. Лучше уж совсем на свете не жить, чем без совести...

Глава десятая

1

Ночью, перед самым рассветом, на Пекашино налетел страшный ветер, или торох по-местному, и дров наломал — жуть! Где разметал зароды с соломой и сеном, где повалил изгородь, где сорвал крышу, а у маслозавода тополь не понравился — пополам разодрал.

И пришлось Михаилу, как всегда выбежавшему из дому ни свет ни заря, сворачивать с дороги да обходить зеленый завал стороной.

Больше всего, конечно, пострадали от тороха вдовьи хоромы, к которым бог знает сколько времени уже не притрагивалась по-хозяйски мужская рука.

Завидев Михаила, бабы протягивали к нему руки, упрашивали, умоляли:

— Михаил... Миша... Помоги...

Нет, дудки! Плевать я на вас хотел. Пальцем не пошевелю. Как бумагу подписать — вы в стороны, а прижало — Миша...

Он пушил, клял этих разнесчастных дурых на чем свет стоит и заодно клял себя, потому что знал: пройдет день-другой — и он снова подставит им свое плечо. Так уж повелось со времен войны: что бы ни случилось, что бы ни стряслось у девушек — так с легкой руки Петра Житова в Пекашине называют солдатских вдов, — к нему бегут. К Михаилу. И бесполезно говорить, что в деревне сейчас, помимо него, еще кое-какое мужское поголовье завелось. Не слышат...

На дороге возле сельпо, на всю улицу чертыхаясь, разбирала ночную баррикаду из пустых бочек и ящиков Улька-продавщица — и тут, оказывается, торох поработал.

Ульке пособить надо было в первую очередь — смотришь, скорее лишняя буханка и кусок сахара тебе перепадут, но, черт побери, мог ли он тут задерживаться, когда перед ним маячил растерзанный, растрепанный дом председателя!

Дом Лукашиных со сбитыми и содранными тесницами Михаил

увидел еще от клуба — так и выпирали в утрешнем небе голые, непривычно светлые балки и стропила, и вот, хотя Улька-продавщица сразу же начала зазывать его к себе, он протопал мимо на полном ходу, даже не взглянув на нее. И вообще, сейчас, в эти минуты, сам дьявол не мог бы остановить его.

На дом, на крышу к Лукашиным! Назло всем, всей деревне!

Вбежав в заулок, сплошь закрешенный тесницами, Михаил первым делом поднял их с земли, поставил на попа возле крыльца, чтобы легче, без задержки было поднимать на дом, затем кинулся искать топор.

Заглянул на крыльцо, заглянул в дровяник — нету. Должно быть, Лизка, хозяйничавшая в эти дни у Лукашиных, убрала подальше.

— Помощников не надо?

Михаил, в раздумье топтавшийся подле крыльца (не хотелось идти к соседям за топором), повернул голову и увидел Раечку. Стоит у раскрытой калитки со стороны дороги и улыбается. Хорошо вылежалась на своих мягких пуховиках!

Злость закипела в нем.

— Иди, иди! Помощница... Уж коли ты такая смелая да охочая, ночью надо было помогать, а не сейчас.

Сказал и еще пуще закипел. Ведь что подумала Райка? На чей счет приняла его слова? На свой. Дескать, чего сейчас толковать, какое у парня с девкой дело днем, при белом свете, на виду у всех?

— Да не выдумывай ты чего не надо! До тебя мне сегодня было, когда я всю ночь по деревне с письмом шлепал!

— С каким письмом?

— Здрате! Да ты, может, и насчет Лукашина не слыхала? — Михаил глянул прямо в глаза Раечке и врубил: — Письмо насчет того, чтобы председателя нашего освободили, поскольку, сама знаешь, не за что такого мужика...

Раечка кивнула.

— Ну ладно, чего там растабарывать,— уже без всякого запала сказал Михаил.— Сама знаешь, какой у нас народец. Три человека под писались...— И он, порывшись в карманах, неизвестно для чего вытащил мятое-перемятое письмо.

Раечка взяла письмо в руки, разостлала на столбике калитки, старательно разгладила... А дальше — черт знает что! Вытащила откуда-то химический карандаш и прямо по белому свою подпись.

— Да ты что? — только и мог сказать Михаил.— Не читавши, не знаяши, прямо с закрытыми глазами...

А еще какую-то минуту спустя он глядел вслед бойко взбегавшей на угорышек Раечке, ловил глазами ярко горевший в ее тяжелой светлорусой косе бант и говорил себе: да, вот и все. Вот и кончилось твое холостяцкое житье...

Долго, годами канителился он с Райкой. Долго не прошибала она его сердце. Даже тогда, когда сватался к ней, ни секунды не горевал, что ничего не вышло. А вот сейчас за какие-то пять минут все решилось.

Надолго. Навсегда.

2

Первые тесницы Михаил поднимал на дом один, а потом подошла с коровника Лиза, и работа у них закипела.

Под конец к нему пожаловал еще один помощник — Петр Житов.

— Так, так, мальчик! — одобрительно закричал, задрав кверху голову.— Это мы можем. Это по нам — махать топором...

Михаил взглядом не удостоил Петра Житова. Пускай, пускай пожарится на собственных угольках, потому как малому ребенку было ясно, зачем пожаловал сюда Петр Житов. Затем, чтобы совесть свою успокоить. После их ночного объяснения.

Петр Житов напоследок даже к Ульке-продавщице не поленился скататься — дескать, давай, Пряслин, мирными средствами разрешим вчерашний конфликт, — но Михаил, спустившись с крыши, неторопливо и деловито отряхнулся, закурил и — на дорогу, а Петр Житов так и остался стоять в заулке с бутылкой в руке.

До медпункта Михаил шел как напоказ — знал, что Петр Житов сзади смотрит, — а от медпункта полетел сломя голову. С быстротой человека, бегущего на пожар. Да у Ильи Нетесова, похоже, и в самом деле было что-то вроде пожара — все боковое окошко пылало заревом.

Надо сказать, что дым над нетесовским домом Михаил видел еще с крыши Лукашиных, но ему и в голову не приходила мысль о беде. Ведь рядом, по верхней сторону Нетесовых, — сельповская пекарня и чего-чего, а дыму от нее хватает.

Его опасения, слава богу, оказались напрасными.

В доме был сам хозяин и, ни мало ни много, топил печь.

Запыхавшийся Михаил нетерпеливо махнул рукой в сторону ребятишек — уймись, дьяволята! (те беззаботно, на все голоса переговариваясь с пустой, еще не захлавленной избой, носились по кругу друг за дружкой), — подсел к столу.

Илья тоже вскоре оседлал табуретку.

— В отпуск приехал всем табором? — спросил Михаил, кивая на ребят.

Илья по глухоте своей не понял сразу, и пришлось дать звук на полную мощность:

— В отпуск, говорю, приехал? Как рабочий класс?

— Не. Насовсем.

— Как насовсем? — оторопел Михаил.

— А ближе к своим...

— К могилам?

— Аха.

— К могилам-то ближе, а как их-то кормить будешь? — Михаил, морщась от ребячьего крика, сердито повел глазами на избу.

— Как-нибудь... Я думаю, жизнь теперь к лучшему повернет.

— С чего? — Михаил тут просто заорал: после смерти дочери и жены Илья совсем малахольным стал. — А председателя нашего тоже к лучшему закатали?

— Ну, это дело поправимо, — сказал Илья. Но сказал уже потише, с некоторой заминкой.

И все-таки Михаил не пощадил его, а снова ударил по черепу — до того в нем все вдруг вздыбилось да ошетинилось.

— А кто, кто будет поправлять-то? — заорал он вне себя. — Мы, колхозники, да? Наш ведь председатель-то, правильно? Правильно я говорю, нет?

Илья согласно кивнул. Ребята, перестав бегать, усталились на них.

— Ну дак вот, полюбуйся! — Михаил выхватил из кармана письмо, прихлопнул его своей тяжелой лапой к столу. — Полюбуйся, как поправили колхознички!..

Илья не спеша, с обычной своей обстоятельностью развернул бумагу, надел очки.

Читал долго, хмурился, вздыхал — в общем, искал зацеп, чтобы самому увернуться.

Наконец нашел:

— Тут, по-моему, знаешь, чего не хватает? Самокритической ли-

нии. В части того, что Лукашин нарушил закон. Есть такой закон — в хлебопоставки никакой раздачи хлеба. Так что арестовали его по закону. Но учитывая, что данный председатель нарушение сделал, исходя не из личных интересов...

Михаил, недослушав, отвернулся. Нет ничего хуже — смотреть на человека, который на твоих глазах начинает крутить восьмерки!

А в общем-то, ежели говорить начистоту, претензий к Илье у него не было. Человек в колхозе не жил. Партийный... Характер, известно, не матросовский. Всю жизнь Марьи боялся...

Э-э, да чего на пристяжных отыгрываться, когда коренники не тянут!

Михаил протер рукой заплаканное, запотелое окошко.

По дороге вышагивали Петр Житов и Егорша. Петр Житов тянул протез пуще обычного, так что можно было не сомневаться, что с бутылкой он уже справился. Может быть, даже не без помощи Егорши.

Михаил встал:

— Ладно, обживайся помаленьку, а мне пора...— И вдруг, пораженный внезапно наступившей в избе тишиной, обернулся к Илье.

Илья подписывал письмо.

Четко, со старательностью школьника выводил свою фамилию. Буква к букве и без всяких закорючек, так что самый малограмотный человек прочитает.

Потом подумал-подумал и добавил:

Член ВКП(б) с 1941 года.

3

В небе летели журавли.

Тоскливо, жалобно курлыкали, как бы извиняясь: мы-то, дескать, в теплые края улетаем, а тебе-то тут куковать. И день был серенький-серенький — всегда почему-то журавли отчаливают в такие дни.

Но всегдашней тоски на душе у Михаила не было.

Он стоял на нетесовском крыльце, широко расставив свои крепкие, сильные ноги, по-крестьянски, из-под ладони, глядел на удаляющийся журавлиный клин, и перед глазами его вставала родная страна. Громадная, вся в зеленой опуши молодых озимей.

И это он, он все эти тяжкие годы вместе с пекашинскими бабами поднимал ее из развалин, отстраивал, поил и кормил города. И новое, горделивое чувство хозяина росло и крепло в нем.

1968—1972.



СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ

*

ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ

Поэма

ОТ АВТОРА

У этой поэмы долгий путь. Окончив поэму в начале 60-х годов, я отнес ее Твардовскому. Суть проблемы — столкновение личности и общества — заинтересовала его остро, но возникли замечания по характеру героя. В Буслаеве не принимались Твардовским жесткие черты, которые в начальном варианте были прочерчены с излишней резкостью. Затем он обратил внимание на вызов Васьки Новгороду, заметив, что былина дает ему более простое обоснование, и посоветовал обратиться к народному толкованию. По стиху у него замечаний не было, и, стремясь, по его выражению, «сохранить поэму для журнала», он заключил со мной договор.

Договора я не выполнил. Согласившись было на переделку, я вдруг почувствовал, что просто устал от поэмы и никаких изменений внести в нее не смогу. Махнув рукой на свои обещания, я опубликовал отрывки из поэмы. Твардовский при встречах посмеивался: «Ну, как Буслаев?» Я угрюмо отвечал, что сперва Васька сломал голову, а теперь над ним ломает голову автор.

Время шло. Роясь в старых книгах, я внезапно обнаружил, что Василий Буслаев именуется в списках новгородских посадников конца XII века. То есть он живой современник автора «Слова о полку» у нас на Руси, а за рубежом — Ричарда Львиное Сердце и Фридриха Барбароссы. До того Буслаев мне представлялся целиком созданием народного воображения вроде Ивана-царевича. Толчок для переосмысления образа был получен.

Мало-помалу стала вырисовываться новая поэма, в которую вошли, разумеется, и прежние главы, но частично переписанные в связи с данными обещаниями. Смерть Твардовского превратила память о договоренности с ним в ощущение долга.

Под поэмой стоит дата: 1957—1972 годы. Не все это время, естественно, я занимался только «Василием Буслаевым». Но все время он занимал мои мысли, я уходил от него, возвращался к нему, и это длилось пятнадцать лет. Наконец нынешним летом поэма была окончена. И, повторяя слова Твардовского, хоть и с великим опозданием, «сохранена для журнала».

Часть первая

Напополам раздвоится
Хрустальная скала,
Звонит над Русью звонница,
Звенят колокола.

Новгород и Киев,
Ростов и Суздаль
Соизволяют
Тешиться всласть.

Молодости — буйство,
 Молодости — удаля,
 Молодости — воля,
 Старости — власть.

Чернигов и Галич,
 Смоленск и Любеч —
 Разному возрасту
 Розную страсть.
 Молодость мятется,
 Тоскует и любит,
 Целует и плачет.
 Старости — власть.

Владимир и Полоцк,
 Рязань и Муром
 Давний обычай
 Не станут клясть.
 Глупая юность
 Дерзким утром
 Небу грозитя.
 Старости — власть.

Путивль и Звенигород,
 Псков и Ладога
 Корням и ветвям
 Не дадут пропасть.
 Молодости — брага,
 Молодости — радуга,
 Молодости — радость.
 Старости — власть.

Посадничий дом — собор над собором,
 Крыльцо — паперть, покои — алтарь.
 Встал он над гомоном, шумом и спором —
 Пастырь, владыка и государь.

Город над городом, ряд над рядами,
 Стены в сажень — тараном тарань,
 А в стенах дары завалили дарами
 Киев, Суздаль, Гмутаракань.

Вся Русь от Корчева до Онеги,
 От Волги до Ильменя, от Югры до Карпат
 Раскинулась в праздности, холе и неге
 Среди посадничьих крепких палат.

Заморские доли, леса и недра
 Прислали сюда гостинцы свои:
 Лари, столы и ложа из кедра,
 Из кипариса резные скамьи.

По стенам сирины и алконосты
 На мягкой коже свивают узор,
 Мимо них подвигаются гости
 Неслышным ковром под хозяйский взор.

Являя конец земных устремлений
И к вечной жизни последний шаг,
На том ковре голубых оленей
Златыми стрелами бьет падишах.

И впрямь падишах под посадничью кровлю
Прислал дары из полуденных мест,
Скрепляя гостинцем союз и торговлю,
Над коими светит софийский крест.

Меч в полтора человеческих роста,
Воюющий веси и города,
С хмурым гонцом прислал Барбаросса,
Кесарь Рыжая Борода.

И, с настороженным принят вниманьем,
В угол поставлен кесарев меч
Первых угроз напominаньем,
Первой зарницей грядущих сеч.

Но, озабочен инакой судьбою,
Доставил умный ганзейский купец
Покрытый диковинною резьбою
Мирный трехъярусный поставец.

Он изготовлен из красного клена,
А клен взрастило в далекой дали,
В теплом Винланде, щедрое лоно
Счастливым Лейфом открытой земли.

Ту землю через протяжные годы,
До коих ничей не достигнет взгляд,
Забыв прапращуровы походы,
Люди в Америку перекрестят.

С винландским кленом морская дева
Направила в Скандию темный вал,
Опытным оком взглянув на древо,
Вольный Любек его сторговал.

Потом нюрнбергские мастеровые
Год мастерили сей поставец,
Своим усердьем добыв впервые
Столярному цеху почетный венец.

А в поставце по полкам стеклянным,
Привезенный из-за Небесных гор,
Рисунком затейливым, чудным, странным
Взгляд забирает синский фарфор.

С великим он послан был береженьем
Через Великий шелковый путь
Скрытым и злобным предупреждением,
В чью не сразу проникнешь суть.

Ибо в рисунке на тонких чашках
С настойчивым тщанием изображен

В стремлениях трудных, в усилиях тяжких
Глотающий солнце желтый дракон.

А в красном углу золотые оклады
Зовут отдать смиренный поклон
Пред ровным сияньем вечной лампы,
Пред строгими ликами черных икон.

Посреди родни своей многоликой,
Под защиту взявший посадничий кров,
Высится сам Василий Великий,
Сокрушитель отступников и еретиков.

И ограждающая от преисподней
В трех перстях праха Святая земля,
А в ней частица Гроба Господня,
Дар крестоносного короля.

Чуть поодаль на полках плотных
Собрание чудес, удивляющих мир,—
Книги в пергаментных переплетах,
Библия, Аристотель, Омир.

Пииты, философы и богословы,
Говорящие на семи языках,
Срывающие покровы, одевающие покровы,
Стоящие от истины в двух шагах.

А посреди просторной палаты
Два старца в креслах просторных сидят,
Мудры и властны, сильны и богаты,
Обоим далеко за шестьдесят.

Надежда черни, опора хозяев,
Православной церкви жесткий оплот —
Новгородский посадник Василий Буслаев
И архиепископ — владыка Петр.

Оба горластым избраны вечем,
Друзьям в оберёг, врагам на страх,
Ими блюдется, нов и вечен,
Порядок в городе и в волостях.

Блюдется порядок трудный и славный,
Где в тяжкий кулак сжаты персты,
Утвержденный вольницей своенравной
От Невы до Мезени, от Шелони до Мсты.

Перед вечем за все и про все отвечая,
Власть встает, крута и строга.
Кипит и бурлит река вечевая,
Посадник с владыкой — ее берега.

Василий Буслаев грузен и кряжист,
Но каждым жестом к деянью готов
Ему легка непомерная тяжесть
Долгих дум и долгих годов.

Владыка Петр медлен в движеньях,
 Ломотой простудною занемог,
 В неторопливых его вопрошеньях
 Видный посаднику светит намек.

Возносят наверх, свергают наземь
 Посадник с владыкой в вечерний час.
 — Что будем делать с ненужным князем?
 — Бездельника взашей гнать от нас.

— Немцы роятся в двинском устье,
 Ливов крестит латинский поп.
 — Потолковать с приграничной Русью,
 Густые заставы поставили чтоб...

— Дряхлая старость вступила в колени.
 Грехи молодые отмолим ли мы?
 — Юной продерзости во искупленье
 Заложим храм Уверенья Фомы.

На нас ли чудо теперь не явлено,
 В какой мы, отче, с тобой чести...
 Смолоду много бито-граблено,
 Надо на старости душу спасти.

— А в нынешней юности силы-отваги
 Опять переполнено через край...
 — Давно пора сколотить ватаги,
 Соколов вольных в полет выпускай.

Вперед за Камень
 Уходят струги,
 Ушкуйным ветром
 Несет челны,
 В погоню вышли
 За счастьем други,
 Авось у крайней
 Найдут черты.

К богатой Ганзе
 Лады уходят,
 Разбег их девам
 Следить во сне.
 Ведь снова юность
 Там верховодит,
 Удачу ищет
 В чужой волне.

Да смотрит старость
 Недремным оком
 За грубой дружбой
 Пяти концов,
 Чтоб возвращенье
 В краю далеком
 Сулило радость
 Гурьбе юнцов.

Дерзанье внуков
И мудрость дедов
Сумеет старость
Соткать и спрясть.
Все испытав,
Все исповедав,
Старость над городом
Правит
Власть.

Буслаев трижды хлопнул в ладони,
Делу время, потехе час.
Зашелестело в посадничьем доме,
И входят в палату, стыдясь и дичась,

Красные девицы —
Пирожные мастерицы,
Блинные пагубницы,
Сметанные лакомицы.

Красавицы пригожие
На самый строгий суд...
Калики перехожие
За ними вслед идут.

Путь слова только начат.
Пройдет за веком век —
Калик переиначат
И превратят в калек.

Но в том забытом веке,
В исчезшие года,
Калики — не калеки,
А парни хоть куда.

Оставив за плечами
Заботу и нужду,
Они следят ночами
Бездомную звезду.

Уходят в путь, бросая
Богатство и почет,
Зовет их синь морская,
Степная ширь влечет.

В паломники уходят
Княжата и купцы,
Над ними верховодят
Лихие молодцы...

Поклон на красный угол,
На тихие огни.
Широким полукругом
Становятся они.

Взлетает быстрый сокол,
Заводит речь старшой:

— В твоём доме высоком
Не покривим душой.

Про солнце в поднебесье,
Про Хорсову ладью
Споём, посадник, песню,
Про молодость твою.

Народ с тобой в расчёте
И в былях не забыл,
Не в славе и в почёте
Тебя он возлюбил.

В безвластье и в безбожье,
В отбив от зримых вех,
Стоял на раздорожье
Упрямый человек.

Под ним тогда раздался
Из преисподней гул,
Он в полный рост поднялся,
Дерзнул и посягнул.

В своём посягновенье
Из самых крайних сил
Не только дерзновенье —
Себя он преломил.

Что с ним поделать песне?
Молчание и тишь...
А ты сегодня в кресле
Посадничьем сидишь.

И только юность брезжит
Среди седых ночей,
Ты снова слышишь скрежет
Наточенных мечей.

Те битвы, сечи, схватки
Теперь не перечесть...
Ах, удаль без оглядки,
Ах, воинская честь.

А вечером ватага
Зажжет степной костер.
Разымчивая брага,
Бессонный разговор.

И юное веселье
Живым горит огнем.
Далекое, весеннее
Осенним вспомнишь днем.

Припомнишь ночь купальную,
Июньскую грозу

И девичью печальную
Прощальную слезу.

Пусть на твои дороги
В забытый вертоград
Языческие боги
С улыбкой поглядят.—

Нахмурился посадник:
— Язык твой — острый нож,
От слов твоих досадных
Оскомину набьешь.

Вся речь твоя неистова,
Хулу на нас творишь,
И правда та не истинна,
И ложь ты говоришь.

С чужою знаться славой
Не будешь вдругорядь,
Тебя с твоей оравой
Велю с крыльца прогнать.—

Но тут архиепископ
Смирил хозяйский гнев:
— Ты сам в речах неистов,
Яришься, аки лев.

О молодой отваге
Послушал бы и я,
Ушкуйники в ватаге
Была одна семья.

В миру тогда я звался
Не Петр, а Питирим.
О людях, с кем я знался,
Молитву сотворим.

Но грешных не осудим,
Зане и мы грешны.
Взаправду старым судьям
Младые снятся сны.

Я был, как вы, отчаян,
Класть не любил поклон...
Отходчив наш хозяин,
Смеется, вижу, он.

Гостеприимство крова
Хранит, беспутных, вас.
Мы выслушаем слово,
Послушаем рассказ

Про счастье и злосчастье,
Про давний непокой...—
Посадник в знак согласия
Легко махнул рукой.

Часть вторая

1

Кто кого? Чья взяла?
 Чей почин? Чьи дела?
 Господин Великий Новгород
 Бьет во все колокола...

Хоть бы голь одна,
 Что пьяным-пьяна,
 Хоть бы сотни две удалцов-молодцов,
 Хоть бы два конца, но все пять концов,
 Но от бражников до степенных купцов
 Все на улице.
 Все лютуются —
 Кто с кольем,
 Кто с дубьем,
 Кто с орясиной,
 Кто с бревном,
 Кто с доской,
 Кто с хвалой,
 Кто с хулой,
 С наговоркою и напраслиной,
 Поминают сегодня весь день-деньской
 Имя звонкое Васьки Буслаева!..

Он с ватагой своей пришел с пятины
 Из-под Заволочья, залешанской страны,
 Непроезженной, непрохоженной,
 Где он с совестью своей жил один на один,
 Сам себе холоп, сам себе господин,
 Новгородской молвой не встревоженный.
 Ну, а Новгороду что до Васькиных дел?
 Был бы смел, да умел, да во всем успел,
 Лишь бы рухлядью мягкой полным-полны
 Посылал бы Василий на Волхов челны;
 Дорогая казна, соболиный мех
 Поприкроют вину, позолотят грех.
 А коль нет греха? А коль нет вины?
 ...Перед богом и Новгородом все грешны!
 В чем же Васька повинен? В чем грешен он?
 В том, что старцам градским из далеких сторон
 Дорогих даров не сылал в поклон,
 Божьей церкви не слал он десятую часть,
 И земную забыл он и вышнюю власть..
 Ветер стяги взметнул над раздольем речным,
 Над привольем речной своевольной волны,
 И один за одним и один за другим
 Чалки к прочным причалам бросают челны,
 Быстрокрылые, острогрудые,
 Где от верха до самого дна
 Соболя лежат черной грудюю,
 Золотая под ними тускнеет казна.
 Растекалась молва во все пять концов,
 Доходила молва до седых купцов,

Ухмылялись купцы себе в бороду:
 — Ой, скупенек сын у вдовы честной,
 Видно, пил, да кутил, да тряс мошной
 Он лишь с зелену, с буйну-молоду.
 Он ни старцам честным,
 Ни церквам святым
 Ничего не шлет,
 Все себе гребет.
 Что же, Васенька, сын посадничий,
 Больше скряжничай, больше жадничай,
 Не играй в кабаках ни в зерно, ни в кость,
 Ты на возрасте, ты богатый гость! —

В день сентябрьский, в день новогодний
 Красный бархат брошен у сходней,
 И тяжелая всходит на сходни стопа,
 И вступает Буслаев на берег крутой,
 Где густая его ожидает толпа,
 Где он девушкой будет привечен
 простой.

Ах, девушка-чернавушка,
 Печальница моя,
 Пришла лихая славушка,
 Пришла в твои края!

Ты стон легчайший выстони
 Всех тише и грустней...
 Лады подплыли к пристани,
 Стоят у пристаней.

Ушкуйник? Нет, побасенки!
 Разбойник? Как не так!
 Давно зовется Васенькой
 Он в девичьих мечтах.

Для всех он лихо... Лишенько!
 Его ты назовешь...
 Под вишней? Нет, под вишенкой
 Ты Васю обймешь.

И весело и гневно
 Приняв поклон земной,
 Мамелфа Тимофевна
 Вас впустит в дом родной.

И, наградив смирение,
 Подарит вам двоим
 Свое благословение
 Пред образом святым.

И громом грянет гридница,
 И пир пойдет горой...
 Свое лицо, бесстыдница,
 Хоть рукавом закрой!

Ах, эти муки пыточные,
 Желания несбыточные!..

Зачем ты принесла его,
Гулливая волна,
Зачем ты не снесла его,
Не сбросила с челна,
Ты почему Буслаева,
Взметнувшись у весла,
К себе не унесла?

Ведь ты, волна изменчивая,
Неверная волна,
Одна ему невенчанная,
Но милая жена.

Ах, девушка-чернавушка,
Красавица моя,
Пришла лихая славушка,
Пришла в твои края!

2

Туча низко над бором нависла,
На ветру разметалась волглом.
Не расцветенное коромысло —
Радуга черпала Волхов.

И под радугой многоцветовой,
Прямо в небо крестами вколот,
Старовечный и вечно новый
Над рекой поднимается город.

Словно волны, толпятся кровли,
И, как птиц красноперых стаи,
Цвета яркой и буйной крови
Рвутся в небо червлёные стяги.

А по стенам ходит дозором
Больше сотни сильных и рослых.
Иноземец пытливым взором
Не сочтет их кафтанов пестрых.

Не ветра овевают, но ветры.
Не снега заносят, но снега
Этот город, грозный и светлый,
На высоком срубленный бреге.

А вокруг яснеют озера,
Темный бор переходит в рощи.
Нету в мире такого узора,
Нет красивей и нету проще.

Иглы сосен зимой полыхают,
А когда зеленеть березе,
Парни суженым посылают
Письма, писанные на бересте.

Тяжко дышат в престольный праздник
Деревянные мостовые,
Всех встречает — дельных и праздных —
Белокаменная София.

Горд Софией город могучий,
Красотой ее несказанной,
Тем, что здесь вот стоял над кручей
Сам апостол Андрей Первозванный.

Горд он колоколом недремным,
Медь гремит его гулко и веще,
Часто скопищем светлым и темным
Вкруг него собирается вече.

Здесь порой прощенья у голи
Просит набольший и богатый.
Вековой новгородской воли
Грозный колокол — громкий глашатай.

Горд торговыми город рядами.
Ой, богато живут новгородцы!
Завалили лавки дарами
Иноверцы да инородцы.

Толпа любому рада —
Все веселит толпу! —
Ходже ли из Багдада,
Афонскому ль попу.

От холода заиндевав,
В декабрь, в солнцеворот,
Здесь зябкий гость из Индии
С ганзейцем торг ведет.

Склонив с досадой голову,
Надменный Альбион
Бруски меняет олова
На наш смиренный лен.

Здесь все моря и реки,
Здесь вся земная суть,
Путь из варяг во греки,
В грехи открытый путь.

Никто здесь зря не носитя
С непокупным добром,
Торгуют крестonosцы
Святейшим серебром.

А честные арабы —
Возьмись кто покупать! —
И камень из Каабы
Решились бы продать.

И как во время оно,
В убогости своей .

Богатства Соломона
Здесь множит иудей.

Забыв о муке крестной,
Забыв господень гроб,
Здесь продает наперсный
Свой крест наш грешный поп.

Обычаям старинным
Переменяя лик,
Сиделец к фряжским винам
И к пряностям привык.

А женам их обнови
Носить сам черт велит,
Везут им из Кордовы
И шелк и аксамит.

Недешево обходится
Мужьям заморский лоск,
За семь морей увозятся
Пушнина, мед и воск,

И сосны корабельные,
И крепкая пенька...
Ах, тридевятземельные
Блага издалека!

Коли в поясе есть чем славиться,
В дом чужой, в дом любой без чинов приходи.
На пороге тебя встретит здравица,
Все исполнятся твои прихоти.

А коль денег нет — не прогневайся
И с бедой своей сам разделявайся.

Гордый Новгород преславен,
Превелик и пребогат...
Почему ж болты у ставен?
Почему ж гремит набат
Беспокойными ночами
С беспокойными речами?
Почему ж гремит набат
И у каменных палат
Псы хозяйские скулят?
А за крепкими замками
Их хозяева не спят
И дрожащими руками
Мелко крестят малых чад
У спасительных лампад?
По одному, по одному,
На кистень сменив суму,
Прямо в темь, прямо в тьму
Неизвестно отколь,
Из каких таких щелей,
Чем позднее, тем смелей,
Тем отчаянней и злей
Выползает голь.

Прячьтесь за стены, обидчики,
 Лихоимцы и повытчики,
 Разорители, погубители:
 Больно многих вы днем обидели.
 Ну, а ночью, незрячей ночью
 Зрячий страх узрите воочью.
 Он с ножом в руке, с кистенем в руке,
 С Васькиным именем на языке.

Сам-то Вася в том не повинен,
 Да язык-то молвы как длинен,
 Ох, как сладок язык надежды,
 Не смыкает надежда вежды!
 Говорят о Буслаеве многое:
 Что идет он своей дорогою,
 Ни пред кем он не хочет склоняться ниц,
 Обращает недолю в долю,
 Осушая слезы сирот и вдовиц,
 Смердам дарит вольную волю.

Вот каким бы стал он в стоустой молве,
 Вот каким бы он стал у людей во главе,
 А ведь это-то дело поболе
 Дела бранного в ратном поле.
 Для него оно самое славное,
 Да для нас-то не самое главное.
 Как ушкуйника знал его город,
 Васька вовсе тогда был молод,
 Все мы в молодости славолубьем грешны.
 А каким же сейчас он пришел с пятины?

3

Вот Буслаев стоит на широком дворе,
 По колено стоит в злате-серебре,
 А поверх меха, шубы новые,
 Соболиные и бобровые.
 Все не трачены, все не ношены,
 Как рогожи, лежат, поразброшены.
 Скатный жемчуг и бисер, как сор дрянной,
 По углам сметены под дубовой стеной.

С одного плеча он спустил кафтан,
 Шапку козырем заломил набекрень,
 Не хмельным вином — он весельем пьян,
 Он таким не бывал и в загульный день.
 Хоть он вежеству с малых лет учен,
 Видно, все забыл в буйной вольнице,
 Людям добрым он не кладет поклон,
 На святую Софью не молится.
 Без почета-зачина он держит речь,
 За такую речь только б голову с плеч!

— Вот стою я, Василий Буслаев сын,
 Сам себе холоп, сам себе господин,
 На край света ходил я, и в том далеке
 Искупался я, Васька, в Иордань-реке,

Где допрежь меня так же наг и бос
 Окунался лишь Спас Исус Христос.
 Полземи исходил я и впрямь и вкось,
 На пути мне легла человечья кость,
 Обходить я не стал мертву голову,
 А ногою пнул по лбу голому.
 Посулил мне череп и мытарств и зол.
 Только сплюнул в ответ я да прочь пошел.
 По себе я хорош, по себе и плох,
 И не верю я, Васька, ни в сон, ни в чох,
 Ни в змеиный шип, ни в вороний грай,
 Ни в кромешный ад, ни в господень рай.—

Тут Василий вздохнул и на миг умолк,
 Посмотрел вокруг, речь пошла ли в толк:
 Люди тише воды, люди ниже травы,
 От предрезостных слов ни живы ни мертвы.

— Я не ангел, не ангел, я живой человек,
 Как хочу, так живу, так и кончу свой век.
 Тридцать лет и три года я жил как хотел,
 На чужих людей не оглядывался,
 Только мало я, Васька, пожить успел,
 Мало в жизни своей я порадовался.
 Мало попил вина, мало девок любил,
 Мало дрянных голов кистенем поразбил.
 Но и то сказать, не моя вина,
 Что всего вина не испить до дна,
 Девки красные как грибы растут,
 А суд кистенем — больно милостлив суд.
 Насобрал я богатства со всей земли,
 Я на трех морях разбивал корабли,
 Брал я пошлину у богатых гостей,
 У высоких господ, у могучих князей,
 И во всем-то мне, Ваське, всегда везло,
 Только рано ли, поздно взяло меня зло,
 Стал я, молодец, призадумываться...
 И раскинул умом я да решил без затей:
 Поделюсь-ка с людьми я удачей своей,
 Ведь на вас поглядишь, просто сплунешь с тоски.
 Не умеете вы, люди, жить по-людски,
 И в глазах-то страх, и в сердцах-то страх,
 Перед властью вы как подножный прах.
 Голодны, как псы, и трусливы, как псы.
 Поразмыслишь — одно сокрушение...
 Человек — венец поднебесной красоты,
 Нашей светлой земли украшение.
 Вы недаром на двор мой ко мне пришли,
 Здесь сегодня не ждет вас ни кнут, ни плеть,
 Насобрал я богатства со всей земли,
 Не запрячу я их ни в подвал, ни в клеть.
 Все берите! Распоряжайтесь!
 В платья царские наряжайтесь,
 На весь век набирайте добра про запас.
 Разбивайте бочки заморских вин,
 С сего часа да будет любой из вас
 Сам себе холоп, сам себе господин! —

Вновь Василий вздохнул и на миг замолк,
 Поглядел вокруг, речь пошла ли в толк:
 Люди тише воды, люди ниже травы,
 От неслыханных слов ни живы ни мертвы.

— Неужели вы, люди, страшитесь меня?
 Разве хворост сухой пострахится огня?
 Ярким пламенем вместе гореть им,
 Все на свете и сметь и посметь им.
 Верно, речь не доходит сегодня моя
 В ваши головы бестолковые...
 Попонятливей вас ватага моя.
 Вы ушкуйники — братья крестовые!
 Вы слышали речь, что держал я к ним?
 Все дарите-раздайте гостям дорогим.
 Все и всем раздарите у всех на виду,
 А покуда я, Васька, спать пойду!

4

Перед господом не склоняй головы,
 Перед кесарем не роняй головы,
 А с врагами речь: — Я иду на вы!
 А с друзьями речь: — Только я да вы!

Василий спит без просыпу,
 И снится Ваське сон,
 Что к самой звездной россыпи
 Во сне он унесен.

Пылают выси звездные,
 И среди тех высот
 Смиренные и грозные
 Он лики узнает.

Крестом сложивши рученьки,
 Вкусив небесный хлеб,
 На Ваську смотрят мученики
 Борис и Глеб.

По тверди, ровно посланной,
 Идет к нему, светясь,
 Грядет равноапостольный
 Владимир — стольный князь.

Бросает голос в дрожь его:
 — Василий, гой еси!
 Мы у престола божьего
 Заступники Руси.

Устои вековые
 Ты подопри плечом,
 Ты должен стать России
 Щитом или мечом.

Но щит и меч народа,
 Народа своего,

Познай: глагол «свобода» —
Погибель для него.—

Безверен взгляд был синих,
С безуминкою глаз:
— Я щит и меч России,
Но вы мне не указ.

Да и Христос не вечен
В своих словах навек,
Он — богочеловечен,
Пусть бог, но — человек.

Я смысл его ученья
Отбросил, возлюбя,
Не нужно мне спасенья
От самого себя.

Хочу сейчас по чину
С открытым встать лицом
Не в поклоненье сыну,
А в рост с его отцом.—

Распались выси звездные,
И опустились ниц
Смиренные и грозные
Сиянья вышних лиц.

И Васька в грешной оторопи
Рукой по лбу провел:
— Неужто правда, господи,
Ты въявь ко мне пришел?!

Нет, я тебя не вижу,
Твоя неясна плоть,
С рожденья ненавижу
Бесплотность я, господь.

Ведь на твоём бы месте —
Ох, звездное крыльцо! —
Земле бы, как невесте,
Я подарил кольцо.

Кольцо безгрешных брашен,
Кольцо людских сердец,
Без тюрем, войск и башен,
Церквей твоих, творец! —

...Услышалось молчанье
Незримого лица,
Послышалось звучанье:
— Тебе не дам кольца! —

Перед господом не склоняй головы,
Перед кесарем не роняй головы,
А с врагами речь: — Я иду на вы!
А с друзьями речь: — Только я да вы!

Василий спит без просыпу,
И снится Ваське сон,
Что он под звездной россыпью
На землю унесен.

Дол встает в соловьиных гимнах,
Предстает перед Ваською схимник.
В темнооком буслаевском сне
Он стоит, прислонившись к сосне.

Он стоит в домотканой одежде,
Рядом ласковый дремлет медведь.
Знает схимник, что было прежде,
Знает он, что случится впредь.

Тихо дышат робкие травы,
А деревья склоняются ниц,
Грозным отсверком бранной славы
Блещет свет далеких зарниц.

Земля в рассветных росах,
Цветы горят во мхах,
В руках у старца посох
И книга книг в руках.

— Я огненным прозрением
Пишу свою строку:
Да станет откровением
«Слово о полку»!..

Грядут века глухие,
Грядет и глад и мор,
Повергнется Россия
В неслыханный разор.

Неумолимо грозно
Взглянул нам в очи век.
Пока еще не поздно,
Опомнись, человек!

Так подними же вежды,
Раскрой их ввысь и вширь,
Последняя надежда,
Последний богатырь! —

Песня б неприкаянная выгорела
Одинокой рощей на юру,
Но в его лишь слове «Слово Игорево»
Заревом взметнется на ветру.

А в Ваське колобродит
Хмельное озорство,
В нем выход свой находит
Земное естество.

— Грустна твоя прибаска,
Но веселее Русь...

Пожалуй-ка, я, Васька,
Возьму да и проснусь! —

Перед господом не склоняй головы,
Перед кесарем не роняй головы,
А с врагами речь: — Я иду на вы!
А с друзьями речь: — Только я да вы!

5

Василий просыпается
Средь дома своего,
Стоит над ним красавица,
Печальница его.

Ох, оченьки несчастные!
Прекрасна и чиста,
Она лобзает страстные,
Прегрешные уста,
Глядит не наглядится,
Себя не устыдится,
Покорна и проста.
А Ваське давно все равным-равно,
У него с похмелья в глазах темно.

Говорит ему девушка-чернавушка:
— Велика твоя, Вася, славушка,
Но я уж сегодня язык развяжу
И тебе, господину, все скажу.
Не ищи царевен за морем!
Вот стою я перед тобою
Светлой радостью, светлым горем,
Неизбывной твоей судьбою.

Я навек у тебя невольница,
Ты и крепость моя, ты и вольница.
Перед миром и богом жив и един,
Сам себе холоп, сам себе господин.
Но, душу живую твою сторожа,
Я твоя раба и твоя госпожа.—

Похмелье злое осилив,
На локтях приподнялся Василий.

— Как рана ножевая,
Смысл твоих речей,
Моя душа живая
Живет без сторожей.—

А вокруг живые души
Боятся встать с колен,
Петля на них все туже,
Все уже тесный плен.

Тащись, надежда, волоком,
Входи со злости в раж,

Наш новгородский колокол,
Наш первый страж.

Да тут еще грозится —
Живи, мол, не греша,—
Столикая божница,
Святые сторожа.

Среди трудов и брашен
Всегда мне мил и люб,
Но все же грозным стражем
Встал новгородский люд.

Уж, кажется, как брага,
В ватаге жизнь бежит,
Но ведь сама ватага
Ту брагу сторожит.

А тут еще, разгневанно
Маня к себе в покой,
Мамелфа Тимофевна
В дверях стоит с клюкой.

Вот таково начало,
Да и конец таков,
Тебя лишь не хватало
С ключами у замков.

Девушка-чернавушка бледным-бледна,
Ваське кланяется в пояс она:

— Хоть и речи мои развязаны,
Но пути мне отсюда заказаны,
Твоя матушка — наша жизнь и смерть —
Приказала мне тебя запереть.

Ах, не веришь ты, Вася, в слезы ничьи,
На тебе, Вася, вот эти ключи.
Отпирай! Отпирай! Отпирай!
Дверь открыта! Иди в свой край,
Ненавистный мне, злой и буйный
Край ватаги твоей ушкуйной.—

Закрывает она от стыда лицо,
А Василий выходит без стыда на крыльцо.
В нем кровь колобродит, как брага,
Ожидает его вся ватага.

Пришли, как званые гости,
И Буслаеву молвит Костя
По прозвищу Новоторжанин,
По званию княжий крестьянин:

— Мы не хвастаем, что нам все нипочем,
Но затронут нас, так толкнем плечом,
Что весь Новгород закачается,
Волхов с Волгою повстречается.—

Такого привета не чаяв,
 Рассмеялся в ответ Буслаев:
 — Вы свободно силой богаты,
 Я набата слышу раскаты,
 Колокол звонит среди белого дня,
 Медь гремит и грохочет.
 Кто хочет сегодня хвалит меня,
 Бранит и хулит как хочет.

Питирим-трубач, протруби трубой
 Колоколам городским вперебой:
 Великий Новгород кличу на бой!
 Испытать судьбу, потряхнуть судьбой!
 Вызываю, Василий Буслаев сын,
 Сам себе холоп, сам себе господин,
 Всю, Новеграде, силу твою,
 Друг против друга встанем в строю.

Твой строй — порядок, а мой — без,
 За тебя господь, за меня бес,
 А впрочем, и беса не нужно мне,
 Пускай в бою торчит в стороне.

Твой строй — да, а мой — нет,
 За мной вопрос, за тобой ответ,
 И даже ответа не нужно мне,
 Ответа ни набело, ни вчерне.

Твой строй — середка, а мой — края,
 У тебя — стрежень, у меня — струя,
 А даже струей плыть не по мне,
 Режу саженками встречу волне.

Твой строй — века, а мой — день,
 У тебя — луч, у меня — тень,
 И даже в тени не вольготно мне,
 Свежему пламени в жарком огне.

Твой строй — камень, а мой — прыжок,
 Ты, Новеграде, мне душу возжег,
 Твою вековую тишь да гладь
 Хочу я, Васенька, перемешать.

Перемешать да раскачать.
 Против отцов поднимется чадь.
 Против отмеренных скучных слов,
 Против устоев, против основ,

Против бояр восстанет голь,
 Отымет у знатных хлеб да соль,
 Выгонит знатных из крепких палат,
 Единою бедностью каждый богат.

Встанет безверье против Христа,
 Станет душа пуста и чиста,
 Безвестная правда на ней одна
 Напишет незнаемые письма.

Не хочу пред тобою склонить чело,
Противлюсь тебе силою сил.
— Ради чего? Ради чего? —
Колокол яростно спросил.

— С тобой, Новеграде, выбора неть.
Идти за тобой — великая честь,
Другим по нраву дорога твоя,
Куда, мол, ты, туда, мол, и я.

А мне охота легко вздохнуть,
Легко вздохнуть да пуститься в путь,
Пуститься в смех да пуститься в грех
Мимо твоих означенных вех.

Ты ведь земной, а не вышний град,
А каждый тобою поставлен в ряд,
Вершишь раньше времени Страшный суд,
Ан люди себя без тебя спасут.—

Колокол рывкает с высоты:
— Разбив у нас от таких, как ты.
Пора кончать разбив-разброд,
А ну, удалец, выходи вперед.—

Выходит Буслаев на средину моста,
Вверху красота, внизу красота,
Над синей рекой синий покой,
Синий покой над синей рекой.

Впереди толпа толпится,
Каждый сват, каждый друг,
Начинай с родными биться,
Не жалея плеч и рук.

Как с роднею разобратся,
Прежде чем покажет тыл?
И двоюродного братца
Васька за ноги схватил.

Был дубиной, стал дубиной.
И, крутя вопящим им,
Вася грохает детиной
По знакомым и родным.

Дядя, что ли, смотрит волком,
Но схлестнулся с молодцом —
И ныряет дядя в Волхов
Старым псом, мокрым псом.

Шапка сбита, порван ворот,
Сброшен походя кафтан.
Он с моста прорвался в город,
Забубенный атаман.

Взяв орясины и колья,
Вместе с ним, рядом с ним

Все веселое застолье —
Костя, Фомка, Питирим.

В глазах у Василия темным-темно,
В руках у Василия не меч, а бревно.
Как рукой махнет — станет улица,
Двинет пальцем одним — переулочек.

По острастке жестокой знают его,
Разбегаются все от Буслаева:
Ноги в руки, а плечи сутулятся,
Хоть купец, хоть сапожник, хоть булочник.

А Буслаев вслух похваляется:
— Не помог мне, Ваське, ни дьявол, ни бог,
Я без них весь город сам перевозмог.
Это в жизни не с каждым случается.

Никакой мне не нужно иной судьбы,
С деревянными лбами стукнул я лбы,
Лбы не только что деревянные,
А железные и оловянные.—

Рано Васька хвалился! Пятьсот удалцов
Валом валят с городских концов,
А к ним на подмогу, злостью горя,
Вся братия Юрьева монастыря.

Причитает девичья красота:
— Такого страху не видали доднесь,
Зашатри, батюшка, шатром ворота,
Терем камкою, матушка, занавесь.—

А сами из-под камки, сами из-под шатра,
Простодушные глазоньки округлив,
Смотрят, как сшиблась с горою гора,
Глядят, как с разливом схлестнулся разлив.

Голов проломленных не сосчитать,
Вышибленных плеч не перечесть.
Тузят друг друга деверь и зять,
Колотят друг друга свекор и тесть.

Две силы сошлись... Да полно, две ли?
Бурлит на улице сила одна,
Одна она в деле, одна в безделье,
Нет этой силе ни края, ни дна.

Сам с собой схлестнулся Буслаев,
Плотью пошел на свою же плоть,
Свой образ в толпе нещадно излаяв,
Не может себя он пребороть.

Две половины, две равных части
Столкнулись здесь на позор и срам,
В обеих со счастьем смешалось несчастье,
Радость и горе в них пополам.

Искать обиду не на ком,
 Одна и та же рать,
 Некому и не над кем
 Верх
 Братъ.

Напрасное горенье,
 Напрасное боренье.

Раздается голос с кремлевских круч,
 Сходит к бойцам веселый бирюч —
 Новая шуба, шелковый кушак,
 Широкая грудь и широкий шаг.

— Смири гордыню, коли упрям,
 Охлади обиду, коли горяча,
 Правый и виноватый,
 Разойдись по домам.
 Ничья!

Ваську этот исход не устраивает,
 Он принять ничью не достаивает,
 На бирюча он глядит в упор,
 Не так, так эдак решится спор.

Со бровей его соболю бежит,
 Со очей его сокол летит,
 Говорит он так, осердясь, бирючу:
 — Твою ничью я принять не хочу.

Ты неправду сказываешь, все ложь говоришь,
 Свое сердце тешишь, а мое гневишь.

Я всю жизнь, бирюч, хожу
 Все по острому ножу,
 А теперь мое житье,
 Знать, возшло на острие.

Говорить с вами нечего! Вот мой сказ:
 Вы к Софье святой пойдете сейчас,
 В день конечный и в день начальный,
 В день печальный послепасхальный.

Или мало сегодня бил я всех
 Со своею верной ватагою,
 Мне ведь эти побои не в смех и не в грех.
 Я своей не хвалюсь отвагою.

Нет, на паперти сам собой похваюсь,
 Хоть уж знаю, что будет со мной, наизусть.
 Потому что не стерпит родная Русь
 Мою злую печаль, безысходную грусть.

Идите со мной на вече,
 Где слово звучит человечье,
 К святой приходите Софье,

Где слова написаны кровью
Над резной многовечной дверью,
В которую я, Васька, не верю.—

Пошли!

Только звон колокольный идет издали,
Еле внятн пока, еле слышен,
То ли с неба звон, то ли с земли,
Все равно этот звон всевышен.

Дорога у Буслаева — как по скатерти,
Вот стоит он сейчас на паперти.

Против церкви его приходской —
Тяжкий колокол новгородский,
С серебром в нем слита гулкая медь,
Не устанет она на всю Русь греть.

А красуется колокол между белых столбов,
Речи выгучен он человечьей,
Перед ним сотней тысяч упрямых голов
Городское склоняется вече.

В первый раз Василий смутился,
Он смутился, поколебался,
Тут-то колокол раззвонился,
В сто пудов своих раскачался:
— Я-то, колокол, здесь важнее всех,
Я-то, колокол, вам не в грусть и не в смех.
Я не девица, не родная мать,
Попробуй со мной, колоколом, ты совладать!.. —

Злое Васька принял решение
В это светлое воскресение:
— Что ты, колокол, болтаешь, гремя и звеня,
Неужели ты, колокол, испугаешь меня?
Буду делать я только то, что хочу,
Я сейчас через тебя при всех перескачу! —

Даже у колокола отнялся язык,
К речам этим колокол не привык.
А Василий Буслаев со зла, сгоряча
Срывает кафтан с крутого плеча,
Он к разбегу своему примеривается,
Он в себе еще крепче уверивается.

В глазах у Буслаева смертная тьма.
Тут-то выходит вперед толстый Фома:

— Мы, разбойники и погромники,
Греховодники и скромники,
Мы тебе при всех низко кланяемся,
От тебя при всех отрекаемся.

Не разлучила нас твоя удаль,
Ни Новгород, ни Киев, ни Суздаль,

Ни синее море, ни темный лес,
 Ни светлое небо, ни бог, ни бес.
 Много нам с тобой было дадено —
 Два столба, а меж них перекладина.
 За тобой мы пошли б хоть на виселицу.
 Но ведь колокол над нами висится.
 Есть у чарки дно, есть у моря край,
 Спасибо за все и прости-прощай! —

Он поклон до пояса отдал
 И с ватагою встал поодаль.

Колокол! Колокол! Колокол!
 Молчит новгородское вече,
 Но в громе слово звучит человечье
 Горькой правдою, гордой речью.

Гром перекрывает простые слова,
 Мамелфа Тимофевна во всем права.
 Поднимает Вася черно-голубые
 Глаза живые и уже неживые:
 Пред ним не мать, а сама Россия!

— На кого же ты руку решил поднять?
 На Русь, что ли? На родимую мать?
 Нет, не колокол — я тебе вещаю,
 Страшный конец я тебе обещаю,
 От себя отлучаю! —

Колокола зазвучал язык,
 Колокол к этим речам не привык.
 А Василий еще разминается,
 Он расстегивается и разбегается.

Вся душа его нараспашку,
 Вдруг хватают его за рубашку,
 Дорогую рубашку, шелковую,
 От портняжки, почти что новую.

А Васе до колокола лишь один скачок,
 Кричит он девчонке-чернавушке:
 — Ты смотри, сукна не вырви кусок,
 Не мешай моей буйной славушке! —

Колени целует ему Ксения
 Ради светлого воскресения.
 Буслаев ее швыряет прочь,
 В глазах у него темная ночь,
 Свою смерть он хочет настигнуть,
 Через колокол перепрыгнуть.

Разбегается он с каменных плит,
 В ответ ему колокол чуть слышно звенит.
 Набрался Буслаев последних сил
 И впрямь через колокол перескочил.
 Да жаль — не остался Вася живой,
 Расшибся о землю он головой.

Кровью он облился густой,
 Поцеловался с зеленой травой,
 С зеленой травой на камнях мостовой...
 Все случилось в одно мгновение
 В пасхальное воскресение.

И тут-то Буслаеву конец пришел.

Только колокол не звенит, а гремит
 У соломенных крыш, у каменных плит.

Часть третья

Вечерний Хорс за рекой погас.
 Песня пропета. Окончен сказ.

Посадник седой встряхнул головой:
 — Тянется юность за трын-травой,
 А она обернется разрыв-травой.—

Вечеру владыка на речи скуп,
 Сошел приговор с подсохших губ:
 — Людям не старостью стал ты люб.—

Выступает вперед старшой из калик:
 — Посадник грозен, посадник велик,
 Но дорог песне грешный ушкуйник
 В мечтаньях, делах и продерзостях буйных.

В нем все естество и мечтание наше,
 Нету для нас его лучше и краше.

Ночи темные, не месячные,
 Реки быстрые, перевозу нет,
 Леса частые, караулов нет.

В пору такую Васино имя
 Бубенцом звенит над краями глухими
 Я по ним хожу, без опаски гляжу,
 Васино имя, как божье, твержу.

Мы ходим, калики, по подоконью,
 Собираем, бедные, куски ломаные,
 Куски ломаные, ломти резаные.

Но мало покажется тихим днем,
 Мы громкое имя произнесем —
 И в нашу суму пироги полетят,
 А те пироги вином подсластят.
 У каждого здесь родня да семья,
 Матушка моя, ты — нега моя,
 А сестрица моя — трубчата коса,
 Трубчата коса, суровые глаза.
 А жена — дом, жена — стан,
 Жена в дому — наказной атаман.
 Все хороши, а из-под них смотреть —
 Молодцу гибель, молодцу смерть.

Как нам прекрасный плен превозмочь?
А Ваську помянешь да из дому прочь.

Раскрепоститель Васенька наш,
Спаситель наш, украститель наш.

А кого только Васина сила
На конь не садила?!

Один — в пояс, другой — ниц,
Все мы кланяемся у божниц,
А Вася не верил ни в сон, ни в чох,
Сам себе бог, сам себе черт.

Славим Ваську!
За Василия Буслаева положим живот,
Ведь Васькина слава нас переживет.
Ивашки, Петьки, Митрохи,
Калики, бездомники, скоморохи,
Ну, а под конец как нам Ваську расчесть,
Васькину доблесть, Васькину честь?
Загубил буйну голову Васенька —
Вот о том-то наша побасенка.

В скоморошьях наших дудках грусть-печаль,
Ох, как жалко Ваську! Очень Ваську жаль!
Он же наш верховодец, наш крестовый брат,
Но ведь он же сам во всем виноват.

Слишком многое ему было дадено,
Два столба, а меж них перекладина.
Нет, не виселица, а по смерти около,
Вечевой новгородский колокол.

Нельзя через колокол перескакивать,
Отзвонит он тебе погребальный звон,
Не будем мы Ваську оплакивать,
Пожалеем Васькин посмертный сон.

Славим Ваську!
Во славу его споем и спляшем,
Но что за беда головушкам нашим? —

Колокол! Колокол! Колокол!
Гремит новгородское вече,
В нем слово звенит человечье
Гордой совестью, гордой речью
На славянском нашем наречье.
Кто кого? Чья взяла?
Чей почин? Чьи дела?
Господин Великий Новгород
Бьет во все колокола.

Посадник себя, молодого, прощает,
Каликам милость обещает,
Колоколу поклон отдает.

1957—1972.



ГЕНРИХ БЁЛЬ

★

ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ С ДАМОЙ

Роман

I

Главное действующее лицо в первой части — женщина сорока восьми лет, немка, рост — 1,71 м, вес — 68,8 кг (в домашней одежде); тем самым ей не хватает каких-нибудь 300—400 г до идеального веса; глаза у нее переменчивые — то темно-синие, то черные, волосы светлые, с проседью; очень густые, прямые и довольно длинные, они обрамляют ее лицо словно гладкий шлем. Женщину зовут Лени Пфейфер, девичья фамилия Груйтен; целых тридцать два года, хоть и с перерывами, она участвовала в том диковинном процессе, который именуется трудовым процессом; пять лет числилась подсобной рабочей силой в конторе отца и двадцать семь лет работала помощницей садовника, хотя и не получила специального образования. Опрометчиво отказавшись в годы частичной инфляции от весьма значительного недвижимого имущества — от солидного доходного дома в хорошем районе, который стоил бы сейчас по меньшей мере четырехста тысяч марок, — Лени Пфейфер попала в разряд людей необеспеченных; к тому же она без всякой уважительной причины — не по болезни и не по старости — бросила работу. Но поскольку в 1941 году Лени Пфейфер была три дня женой кадрового унтер-офицера немецкого вермахта, она и по сей день получает вдвойне пенсию, к которой в будущем еще прибавится пенсия государственная. Следует сказать, однако, что Лени в данный момент живет довольно скверно — и не только в материальном отношении. Особенно скверно ей стало с того времени, когда ее обожаемого сына посадили в тюрьму.

Если бы Лени подстриглась покороче и покрасила волосы «под седину», ей можно было бы дать лет сорок и она казалась бы хорошо сохранившейся женщиной; но теперешняя ее стрижка — чересчур «молодежная», и контраст между этой стрижкой и уже совсем не «молодежным» лицом настолько велик, что Лени на вид около пятидесяти. Таков, впрочем, ее настоящий возраст. Несмотря на это, внешность Лени, несколько увядшей блондинки, дает ей еще один шанс, который, наверное, следовало бы использовать: шанс казаться женщиной, ведущей или стремящейся вести разгульную жизнь, что, увы, не соответствует действительности.

Лени принадлежит к тем чрезвычайно редким в ее возрасте особам, которым идут мини-юбки; на ее ногах не появилось ни расширенных вен, ни каких-либо иных признаков старости. Но Лени упрямо носит юбки той длины, какая была в моде примерно в сорок втором году, главным образом потому, что она донашивает старые юбки, а также столь любимые ею кофты и блузки, считая (и не без основания), что при такой груди, как у нее, джемпера выглядели бы слишком вызывающе. Что касается пальто и туфель, то и тут она пользуется старыми запасами, весьма обширными и хорошо сохранившимися; запасы эти она сделала в юности, когда ее родители, хоть и недолго, были состоятельными людьми. Лени ходит в

костюмах из толстого букле — серо-розового, зелено-синего, черно-белого или небесно-голубого (одноцветного), — а когда ей хочется надеть что-нибудь на голову, надевает платочек. Такие туфли, как у Лени, люди при деньгах покупали в 1935—1939 годах; тогда говорили, что им «не будет сносу».

Ввиду того, что у Лени нет сейчас постоянного спутника и советчика — мужчины, она пребывает в некоем хроническом заблуждении, в чем мы уже могли убедиться на примере ее прически; всему виной старое зеркало, купленное еще в 1894 году и, к несчастью для Лени, пережившее две мировые войны. Лени не ходит в дорогие парикмахерские и огромные, щедро украшенные зеркалами универмаги; свои покупки она делает в маленьком магазинчике, который не сегодня-завтра поглотит какая-нибудь мощная фирма. Таким образом, Лени полностью доверилась своему зеркалу, о котором еще бабушка Герта Баркель, урожд. Холм, говорила: «Уж очень оно лстит». Что касается Лени, то она часто смотрится в это зеркало и весьма тщательно заботится о своей прическе, не ведая, что длинные волосы ей не идут.

Зато Лени в полной мере сознает, что отношение к ней окружающих как в собственном доме, так и в соседних ухудшается с каждым днем.

В эти месяцы к Лени приходило много мужчин: служащие кредитных обществ — они передавали ей последние и самые наипоследние предупреждения, так как на письменные повестки она не реагировала, — а также судебные исполнители, посыльные от адвокатов, наконец, помощники судебных исполнителей, которые забирали вещи после описи; кроме того, поскольку Лени сдает три меблированных комнаты и у нее время от времени меняются квартиранты, к ней ходят молодые люди, желающие снять комнату. Некоторые из этих многочисленных посетителей пытались ухаживать за ней, разумеется безуспешно. Но ведь каждому понятно, что те, кто ухаживает безуспешно, чаще всего хвастаются своими успехами. Еще немного — и репутация Лени будет окончательно загублена.

* * *

Автор, конечно, не может проникнуть в тайны физиологической, духовной и интимной жизни Лени, но он использовал все возможности и пути, буквально все возможности, чтобы получить то, что называется объективной информацией (лица, снабдившие его этой информацией, названы в соответствующих местах поименно); словом, все сказанное здесь о Лени может почти с полной гарантией считаться достоверным. Сама Лени женщина скрытная и молчаливая, и раз уж зашла речь о чертах ее характера, следует указать еще на две черты. Лени не озлоблена, но она совершенно не способна к раскаянию; она не раскаивается даже в том, что никогда не оплакивала своего первого мужа; неумение, или, если хотите, нежелание, раскаиваться столь неистребимо в Лени, что в применении к этому ее качеству нельзя говорить о «большем раскаянии» или о «меньшем раскаянии»; Лени, видимо, просто не знакома с этим чувством; в вопросе о раскаянии — в других, впрочем, тоже — ее религиозное воспитание оказалось несостоятельным или сама Лени оказалась несостоятельной, что пошло ей, наверное, на пользу.

Из высказываний информированных лиц ясно следует вот что: Лени больше не понимает этот мир и сомневается, понимала ли его раньше; Лени не понимает причины враждебности окружающих, не понимает, почему люди злы на нее и вымещают на ней зло, ведь она никому не причинила зла, своим соседям в том числе; в последнее время, когда Лени по необходимости выходит из дому, чтобы сделать нужные покупки, над ней открыто насмеваются; выкрики вроде «дрянь» или «старая подстилка» можно, пожалуй, считать самыми безобидными. Иногда ее награждают ругательствами, повод к которым она дала лет тридцать назад. Ей кричат — «красная шлюха» или «русская полубовница»...

Лени не отвечает на оскорбления. А к тому, что за ее спиной люди шепчут «неряха», она и вовсе привыкла. Поэтому ее считают бесчувственной, просто каменной; но ни то, ни другое не соответствует действительности; согласно вполне авторитетным свидетельским показаниям (свидетельница — Мария ван Доорн), Лени часами плачет у себя дома; ее конъюнктивальный мешок и слезные желе-

зы работают беспрерывно. Даже соседских детей, с которыми она до сих пор жила в дружбе, и тех науськивают на нее; теперь и дети кричат ей вслед слова, смысл которых ни они, ни Лени толком не понимают.

И при всем том в итоге подробных и исчерпывающих показаний, собранных буквально из всех источников, можно почти с математической точностью установить, что Лени за всю предыдущую жизнь была близка с мужчиной примерно раз двадцать пять; дважды она была близка со своим бывшим законным супругом Алоисом Пфейфером (один раз до брака и один раз во время брака, в общей сложности длившегося три дня), а остальные двадцать три раза — с другим мужчиной, за которого она бы с радостью вышла замуж, если бы позволили тогдашние обстоятельства.

Через несколько минут после того, как мы разрешим Лени появиться на страницах этой книги собственной персоной (к сожалению, придется еще немного подождать), она впервые совершит то, что можно назвать ложным шагом: уступит турецкому рабочему, который, стоя на коленях, будет молить ее о любви на своем непонятном для Лени турецком языке; однако оговоримся заранее: она уступит ему только потому, что не выносит, когда перед ней стоят на коленях (надо ли говорить, что сама Лени не способна стоять на коленях ни перед кем?).

И еще одна деталь: Лени — круглая сирота, у нее несколько очень неприятных родственников по мужу и несколько менее неприятных деревенских родственников уже не по мужу, а прямых, кроме того, у нее есть сын двадцати пяти лет от роду, который носит девичью фамилию матери и находится в данное время в тюрьме. Кстати, успех у мужчин объясняется, быть может, еще одной немаловажной особенностью фигуры Лени — она обладательница прямо-таки классической груди; женщин с такой грудью нежно любят и воспевают в стихах.

Однако многие ее сограждане предпочли бы вовсе не видеть Лени, они с наслаждением изгнали бы ее навек. Иногда ей вдогонку кричат — «убирайся» или «выметайся»; доказано также, что порою возникает идея уничтожить Лени в газовой камере; наличие этой идеи точно установлено, а вот о возможностях ее осуществления автор судить не берется; он может лишь засвидетельствовать, что высказывается эта идея весьма энергично.

А теперь перейдем к некоторым постоянным привычкам Лени: ест она с удовольствием, хотя в еде умеренна; самая ее любимая трапеза — завтрак, и тут Лени должна во что бы то ни стало иметь две свежих поджаристых булочки, свежее яйцо всмятку, немного масла, одну-две ложки джема (точнее говоря, сливового пюре, которое в одной чужеземной стране называют повидлом), а также крепкий кофе, который она пьет с горячим молоком и почти без сахара; к трапезе, именуемой обедом, Лени относится совершенно равнодушно: она ест суп и немного второго — вот и все; ужин у Лени без горячего: хлеб — два-три ломтика, — горстка салата и, если средства позволяют, колбаса и холодное мясо. Но больше всего Лени любит свежие булочки; ей никогда не приносят их на дом, булочки Лени выбирает собственноручно; это не значит, однако, что она трогает их руками; качество булочек Лени узнает по виду; ничто не вызывает у нее такой ненависти — речь идет, конечно, о еде, — как черствый, не первой свежести хлеб. Из-за булочек и из-за того, что завтрак для Лени самая парадная трапеза, она выходит по утрам в общественные места, соглашаясь терпеть ругань, оскорбления и пошлые замечания.

К вопросу о курении можно сказать следующее: Лени курит с семнадцати лет, обычно восемь сигарет в день, не больше; чаще всего даже меньше; во время войны она на некоторое время вообще бросила курить, дабы потихоньку совать сигареты человеку, которого любила (не мужу!); Лени принадлежит к числу людей, которые при случае охотно пропустят рюмочку вина и которые пьют не более полбутылки зараз; при соответствующей погоде она позволяет себе также выпить рюмку шнапса, а при соответствующем настроении и состоянии финансов — бокал шерри.

Прочие приметы: Лени имеет водительские права с 1939 года (получила их по специальному разрешению при обстоятельствах, о коих будет сообщено ниже),

но уже с 1943 года у нее нет машины. Машину она водила с удовольствием, можно сказать, со страстью.

Лени до сих пор живет в доме, где она родилась. Благодаря не поддающимся учету случайностям эта часть города мало пострадала от бомб, во всяком случае сравнительно мало; разрушено было всего тридцать пять процентов зданий; словом, судьба оказалась милостивой к этому району.

Недавно с Лени произошла любопытная история, которая заставила даже ее разговориться; при первом удобном случае она поведала об этой истории своей лучшей подруге и главной наперснице, являющейся одновременно главной свидетельницей автора (в дальнейшем сокращенно именуемого авт.); поведала под свежим впечатлением, взволнованным голосом. История эта заключается вот в чем: утром, отправившись за хлебом, Лени переходила улицу, и правая нога ее ощутила небольшую неровность мостовой, ту самую, которую она — правая нога — ощутила в последний раз лет сорок назад, когда Лени вместе с другими девочками прыгала через веревочку; неровность эта была крохотной трещиной на камне брусчатки, трещиной, которая возникла, видимо, по вине каменщика, мостившего улицу примерно в 1894 году. Нога Лени сигнализировала о трещине ее мозговому стволу, а тот немедленно передал информацию всем органам чувств и нервным центрам; ну, а поскольку Лени человек необычайно чувственный, сублимирующий все эмоции в эмоции эротические, она за одну секунду пережила целую гамму чувств: восторг, тоску по прошлому, тотальное возбуждение — словом, то, что на теологическом языке носит название «абсолютной самоотдачи» (хотя церковь имеет в виду под этим нечто другое), а на языке хамоватых сексологов и теологов-догматиков, специалистов по эротике, упрощающих все до крайности, именуется оргазмом.

* * *

Дабы не возникло впечатления, что Лени очень одинока, необходимо перечислить ее друзей, большинство которых прошли с Лени огонь и воду, а двое — огонь, воду и медные трубы. Лени скорее можно назвать замкнутой — так она молчалива и скрытна; она очень редко размыкает свою душу перед другими людьми, даже перед самыми старыми приятельницами — Маргарет Шломер, урожд. Цейст, и Лоттой Хойзер, урожд. Бернтген, которые дружили с Лени, когда она, можно сказать, находилась в самых что ни на есть медных трубах.

Маргарет того же возраста, что и Лени, и тоже вдова, впрочем, здесь может возникнуть недоразумение. Дело в том, что Маргарет путалась со многими мужчинами по причинам, которые будут названы позднее; причины были разные, только не расчет; впрочем, когда ей приходилось очень уж туго, она брала деньги. И все же чтобы правильно охарактеризовать Маргарет, надо отметить, что ее единственной любовной связью по расчету была связь с человеком, за которого она вышла замуж в восемнадцать лет; именно в ту пору (это случилось в 1940 году) она сделала единственное в своей жизни документально подтвержденное безнравственное заявление, сказав Лени: «Я подцепила богача Кноппа, и ему приспичило вести меня под венец».

В данное время Маргарет лежит в больнице, в изоляторе, у нее очень тяжелое, очевидно, неизлечимое венерическое заболевание. Сама она говорит, что «ее песенка спета», вся ее эндокринная система разрушена; общаться с ней разрешается только через стеклянное окошко; Маргарет благодарна за каждую пачку сигарет, за каждый глоток спиртного; она скажет спасибо даже за самую маленькую бутылочку самой дешевой сивухи, какая только есть в продаже; эндокринная система Маргарет пришла в такое расстройство, что она не удивится, если у нее «из глаз потечет моча вместо слез»; Маргарет рада любым обезболивающим средствам; она с удовольствием приняла бы в подарок опиум, морфий и гашиш.

Больница Маргарет находится за городом, на свежем воздухе, — эдакое бунгало. Чтобы получить доступ к Маргарет, авт. пришлось прибегнуть к различным предосудительным средствам: к подкупу и мошенничеству в совокупности с незаконным присвоением функций должностного лица (он выдавал себя за доцента по кафедре социологии и психологии проституции!).

Предварив дальнейшее описание Маргарет, следует отметить также, что «по сути» она гораздо менее чувственная, нежели Лени; Маргарет погубила не ее собственная жажда любовных ласк, а тот факт, что другие жаждали ее ласк и что по натуре своей она была способна щедро расточать их. Но об этом еще будет сказано ниже. Главное в том, что страдают обе — и Лени и Маргарет.

* * *

Не страдает «по сути», а страдает лишь из-за страданий Лени, к которой она по-настоящему привязана, уже упомянутый ранее персонаж женского пола по имени Мария ван Доорн, семидесяти лет, в прошлом прислуга родителей Лени—Груйтенов; сейчас ван Доорн живет одна, в деревне; пенсия по инвалидности, собственный огород, несколько фруктовых деревьев и десяток кур, а также доля в каждах свинье и теленке, которых она помогает откармливать, обеспечивают ей до некоторой степени спокойную старость.

Мария прошла с Лени только огонь и воду. Когда впереди замаячили медные трубы, у нее появились сомнения, но не морального порядка, что неопровержимо доказано, а, как ни странно, национального. Еще лет пятнадцать—двадцать назад у Марии, что называется, была «душа нараспашку», но за это время сей сильно переоцениваемый орган у нее как бы слегка «запахнул», если вообще не исчез окончательно. Правда, нельзя сказать, что у Марии «душа в пятки ушла», она никогда не была человеком робкого десятка. Теперь ван Доорн возмущена тем, что делают с ее Лени, ведь она и впрямь хорошо знает Лени, во всяком случае куда лучше, чем знал человек, чью фамилию та носит; как-никак Мария ван Доорн проработала в доме Груйтенов с 1920 по 1960 год; Лени родилась при ней, на ее глазах прошла вся жизнь Лени, все ее перипетии. Не исключено, что Мария вернется к Лени, но пока она прилагает всю свою энергию (и весьма немалую) к тому, чтобы переманить Лени к себе в деревню. Она возмущена случившимся с Лени и тем, что ей угрожает, и готова даже поверить в безызвестные зверства своих соотечественников в прошлом, которые до сих пор хоть и не отрицала вовсе, но считала не столь типическими.

* * *

Особое место среди персонажей, снабжающих авт. информацией, занимает музыкальный критик доктор Гервэг Ширтенштейн; сорок лет он живет в дальних комнатах квартиры, которая лет восемьдесят назад считалась невероятно шикарной, но уже после первой мировой войны утерьяла свой блеск и была поделена пополам: часть квартиры Ширтенштейна в бельэтаже, выходящая окнами во двор, соприкасается с частью квартиры Лени, которая также выходит окнами во двор; благодаря этому Ширтенштейн мог в течение десятилетий систематически следить за упражнениями и успехами Лени в игре на рояле, а в дальнейшем и за ее мастерским исполнением некоторых музыкальных пьес; при этом он так и не узнал, что Лени — это Лени, хотя безусловно уже лет сорок встречается с ней на улице; вполне вероятно даже, что когда Лени еще прыгала через веревочку, он наблюдал за ней, так как живо интересуется детскими играми — его диссертация называлась «Музыка и детские игры». А поскольку доктор Ширтенштейн неравнодушен к женским прелестям, он все прошедшие годы наверняка внимательно следил за Лени и, очевидно, время от времени одобрительно кивал головой; возможно, даже в голове у него мелькали грешные мысли, но при этом следует отметить, что он, как видно, никогда всерьез не помышлял о Лени, ибо по сравнению со всеми теми женщинами, с которыми Ширтенштейн был до сих пор близок, Лени «чутьочку вульгарна». Впрочем, если бы он догадался, что эта Лени — та самая девица, которая долгое время играла довольно-таки беспомощно, а потом научилась прекрасно исполнять некоторые вещи — точнее, две вещи Шуберта для фортепиано, — исполнять так мастерски, что Ширтенштейну не надоедает слушать их все вновь и вновь уже много лет подряд, он бы, возможно, изменил свое мнение о Лени; а ведь строгий критик Ширтенштейн вгонял в дрожь даже такую

виртуозку, как Моника Хаас¹, более того — его почитала такая виртуозка, как Моника Хаас.

Однако мы еще вернемся к Ширтенштейну, который, сам того не желая, вступит позже с Лени в любовные отношения, но не столько телепатического, сколько телечувственного свойства. Справедливости ради надо сказать, что он прошел бы с Лени и сквозь медные трубы, но такой возможности судьба ему не предоставила.

* * *

Восьмидесятилетний Отто Хойзер, главный бухгалтер, который вот уже двадцать лет как ушел на пенсию и живет в комфортабельном Доме для престарелых, совмещающем удобства первоклассной гостиницы с обслуживанием первоклассного санатория, мог бы рассказать нам очень много о родителях Лени, очень немного о внутренней жизни Лени и почти все о внешних обстоятельствах этой жизни. Он посещает Лени довольно регулярно, а иногда и она посещает его.

Весьма надежной свидетельницей является его невестка Лотта Хойзер, урожд. Бернтген; менее надежны ее сыновья Вернер и Курт — тридцати пяти и тридцати лет. Лотта Хойзер надежна, хотя и ожесточена; правда, ее ожесточение никогда не распространяется на Лени. Лотте пятьдесят семь лет, она, как и Лени, вдова фронтовика, служащая.

Без всяких околичностей, не обращая внимания на узы крови, Лотта Хойзер говорит о своем свекре (см. выше) и о своем младшем сыне Курте как о гангстерах; большую часть вины за нынешнее плачевное положение Лени она возлагает на них; недавно Лотта узнала «некоторые факты», о которых она не решилась рассказать Лени, «потому что сама еще не решилась их осознать — это просто непостижимо».

Лотта снимает двухкомнатную квартиру со всеми удобствами в центре города, на которую тратит почти треть своего жалованья, но прямо-таки одержима идеей опять переехать в квартиру к Лени отчасти из симпатии к той, отчасти же, как она добавляет, и притом с угрозой (кому она грозит, пока еще скрыто от нас во мраке неизвестности), «чтобы посмотреть, посмеют ли они выселить и меня в принудительном порядке. Впрочем, боюсь, что посмеют».

Лотта служит в каком-то профсоюзе; «хоть я и не верю во все эти союзы (добавляет она, несмотря на то, что ее никто не спрашивает), но ведь надо же человеку что-нибудь жрать и как-нибудь жить».

* * *

А теперь перечислим других лиц, поставляющих авт. информацию, первостепенных и второстепенных: Шолсдорф, славист с ученой степенью, вошел в жизнь Лени по причине весьма сложных стечений и переплетений обстоятельств; в свое время они будут разъяснены, несмотря на их запутанность. Вследствие самых разнообразных случайностей, которые авт., в свою очередь, разъяснит в надлежащем месте, Шолсдорф попал в высшие финансовые органы; свою карьеру он, впрочем, намерен в скором времени закончить, досрочно уйдя на пенсию.

Еще один славист с ученой степенью, доктор Хенгенс, занимает среди наших свидетелей не столь важное место; как свидетель он сомнителен и вряд ли беспристрастен; Хенгенс не только сознает свою «сомнительность», но даже подчеркивает ее и, можно сказать, упивается ею. Он сам определяет себя как человека «окончательно опустившегося», но именно потому, что это определение исходит от самого Хенгенса, не хотелось бы его использовать. Хенгенс признал, хотя его никто об этом не просил, что, находясь на службе в России у дияломата, по происхождению графа (позднее он был убит), и «вербуя» рабочую силу для немецкой военной промышленности, он предал свое знание русского языка («Я предал мой великолепный русский язык»). Материальное положение Хенгенса «не такое уж плачевное» (Хенгенс о Хенгенсе). Он живет под Бонном и переводит всякую всячину для так называемых восточно-политических журналов и организаций.

¹ Известная французская пианистка. Родилась в 1909 году.

* * *

Если бы мы уже сейчас подробно рассказали о всех тех, к кому мы обращаемся за информацией, это завело бы нас очень далеко. В свое время они будут представлены в типических обстоятельствах и подробно охарактеризованы. Здесь же надо упомянуть лишь об одном человеке — бывшем букинисте, который считает, что его личность достаточно представить инициалами Б. Х. Т.; правда, он проинформирует нас не о самой Лени, а об одном персонаже, сыгравшем очень важную роль в ее жизни, — о некой католической монахине.

* * *

Не очень надежным, но зато и поныне здравствующим свидетелем является деверь Лени — Генрих Пфейфер, показания которого следует, увы, отметить, лишь только речь заходит о нем самом; ему сорок четыре года, он женат на некой Хетти, урожд. Ирмс, имеет двух сыновей восемнадцати и четырнадцати лет, Вильгельма и Карла.

* * *

В свое время с той или иной обстоятельностью, соответствующей занимаемому ими месту в данном повествовании, будут представлены также следующие лица: три высокопоставленные персоны мужского пола — во-первых, муниципальный деятель, во-вторых, деятель тяжелой промышленности, в-третьих, крупнейший чиновник министерства вооружения. Далее: две работницы — обе пенсионерки; перемещенное лицо — русский; владелица нескольких цветочных магазинов; старый садовник; бывший владелец садоводства — не такой уж старый, — теперь он целиком посвятил себя «управлению собственной недвижимостью» (его подлинные слова!); и еще несколько других персонажей. Представляя особенно в а ж н ы х свидетелей, авт. сообщит их точный рост, вес и т. д.

* * *

Обстановка квартиры Лени после многочисленных описей имущества состоит из мебели, сделанной в 1885 году, и мебели 1920—1925 годов; благодаря тому, что родители Лени не раз получали наследство, у нее в квартире оказалось несколько вещей в стиле модерн конца XIX века, а именно: комод, книжный шкаф и два стула; антикварная их ценность до сих пор ускользала от внимания судебных исполнителей, эти вещи определяли как «старый хлам», на который не стоит накладывать арест. Зато судебные исполнители описали и вывезли из квартиры Лени восемнадцать картин кисти современных художников сугубо местного масштаба. Картины относятся к периоду от 1918 до 1935 года, большей частью они религиозного содержания; эти холсты, поскольку они оригиналы, судебные исполнители, наоборот, сильно переоценили, зато их потеря ни в малейшей степени не огорчила Лени. Стены ее жилища украшают теперь четкие цветные фото — изображения различных органов человеческого тела; этими фотографиями обеспечивает Лени ее деверь Генрих Пфейфер, служащий ведомства здравоохранения, наряду с прочим ведающий учебными материалами и пособиями по наглядной пропаганде медицинских знаний. Он снабжает ее также фотоплакатами, которые отслужили свой век и были списаны за негодностью («Хотя моя совесть не очень это одобряет». Г. Пфейфер). Чтобы провести их, как положено, по бухгалтерским книгам, Пфейфер приобретает списанные фото за минимальную цену. Лени удается также время от времени заполучить через Пфейфера новые фото: их она приобретает непосредственно у фирмы-поставщика и, разумеется, оплачивает из собственного (весьма тощего) кошелька. Старые фотоплакаты Лени сама реставрирует: тщательно протирает раствором щелока или бензином, обводит все линии черным карандашом, вновь освежает краски с помощью дешевого набора акварели, который остался в доме еще со времен детства сына Лени. Любимый плакат Лени — очень четкое анатомическое изображение человеческого глаза, увеличенного во много раз; плакат этот висит у нее над роялем. (Для того, чтобы спасти уже много раз описанный рояль и предотвратить его увоз судебными исполните-

лями, Лени унижается как может: выклянчивает подачки у старых знакомых покойных родителей, требует задаток у квартирантов, занимает деньги у своего деверя Генриха, а главное, наносит визиты старику Хойзеру, отеческие нежности которого не внушают ей доверия; согласно показаниям трех самых надежных свидетельниц — Маргарет, Марии и Лотты, — она даже как-то сказала, что ради роля готова «пойти на панель»: чрезвычайно смелое заявление в устах Лени.)

Стены ее квартиры украшают и другие изображения, не столь приятные на вид, например, изображения человеческих кишок; даже половые органы с точным описанием всех их функций и те нашли себе место на завешанных огромными фото стенах квартиры; причем эти фотографии появились у Лени задолго до того, как порнотеология ввела их в моду. В свое время между Лени и Марией происходили из-за них даже стычки. Мария считала фото неприличными, но Лени упрямо и упорно стояла на своем.

Рано или поздно авт. все равно придется поведать об отношении Лени к метафизике, поэтому сообщаем заблаговременно: Лени не знает никаких трудностей в этом вопросе. С девой Марией она на короткой ноге, почти ежедневно общается с ней, когда смотрит телевизор, и каждый раз приходит в изумление: оказывается, дева Мария блондинка и далеко не такая юная, какой ее хотелось бы видеть; встречи с девой Марией проходят при обоюдном молчании, обычно поздно ночью, когда соседи спят и во всех телевизионных программах, включая Голландию, уже произнесена прощальная фраза. Лени и дева Мария просто-напросто улыбаются друг другу. Ни больше ни меньше. Лени не удивится и тем более не испугается, если в один прекрасный день после окончания передач на телевизионном экране появится сын девы Марии. Правда, составителю этой книги неизвестно, ждет ли она его появления. Однако после всего услышанного о Лени авт. отнюдь не удивил бы этот факт. Лени помнит от начала до конца две молитвы, которые время от времени бормочет: «Отче наш» и «Богородицу». Кроме того, она знает — не так твердо — еще несколько общеизвестных молитв. Молитвенника у Лени нет, в церковь она не ходит и верит в то, что во вселенной живут еще и другие «разумные существа» (Лени).

* * *

Прежде чем сообщить кое-какие сведения об образовании Лени, бросим взгляд на ее книжный шкаф; большую часть бесславно пылящихся в нем фолиантов приобрел еще отец Лени, купив однажды оптом целую библиотеку. Библиотека под стать холстам, о которых речь шла выше, но она избегла описи; у Лени хранятся также несколько комплектов старого иллюстрированного ежемесячника церковного (католического) направления, и время от времени она заглядывает в него; этот журнал — букинистическая редкость, и он сохранился у Лени после всех описей имущества только благодаря невежеству судебных исполнителей, обманутых его невзрачностью. К сожалению, от внимания судебных исполнителей не ускользнули комплекты другого журнала, «Нагорье» за 1916—1940 годы, равно как и стихи Уильяма Батлера Йитса², которые принадлежали еще матери Лени.

Впрочем, внимательные наблюдатели, к примеру Мария ван Доорн, долго занимавшаяся книгами Лени, поскольку она вытирала с них пыль, или Лотта Хойзер, которая продолжительное время была близкой подругой Лени, обнаружили в этом шкафу стилиа модерн семь-восемь весьма неожиданных сочинений: стихи Брехта, Гёльдерлина и Тракля, прозу Кафки и Клейста, два тома Толстого («Воскресение» и «Анну Каренину»); эти семь-восемь книг зачитаны буквально до дыр, что несомненно польстило бы их авторам, и довольно-таки неумело подклеены самыми разнообразными видами клея и полосками скотча, а некоторые настолько растрепаны, что скреплены резинкой. При этом Лени с почти оскорбительной твердостью отказывается от всех предложений подарить ей новые издания ее любимых книг (на рождество, ко дню рождения, на именины и т. д.).

² Йитс Уильям Батлер (1865—1939) — крупнейший ирландский поэт.

Здесь авт. позволяет себе сделать одно замечание, выходящее за пределы его компетенции: он почти уверен, что Лени имела бы в шкафу несколько томиков Беккета, если бы в те годы, когда у нее был литературный советчик, этого писателя уже издавали и советчик мог бы с ним познакомиться.

* * *

А теперь о слабостях Лени — здесь надо отметить не только восемь сигарет, выкуриваемых ею ежедневно, не только ярко выраженное гурманство, умеряемое, впрочем, привычкой к воздержанию, не только исполнение одних и тех же фортепианных пьес Шуберта и восторженную любовь к фото, изображающим органы человеческого тела, в том числе и кишки; наконец, не только сердечную тоску по сыну Льву, который в данное время сидит в тюрьме, но и страсть к танцам. Лени обожает танцевать и всегда была завзятой танцоркой (однажды эта страсть привела к роковым последствиям — из-за нее к Лени навек прилипла малосимпатичная фамилия Пфейфер).

Но даже же танцевать одинокой женщине сорока восьми лет, которой окружающие прочат смерть в газовой камере? Неужели в кабаках, где отплясывает бесноватая молодежь? Ведь там ее примут за секс-бабушку, засмеют и заключат. Участие в приходских празднествах с танцами ей также заказано, с четырнадцати лет Лени не ходит в церковь. А если бы она разыскала подруг юности, кроме Маргарет, которой уже не придется, наверное, танцевать до конца ее дней, то безусловно попала бы в компанию, где занимаются стриптизом и обменом партнерами. А ведь у самой Лени партнера нет. И в тех компаниях она, наверно, покраснела бы в четвертый раз в жизни. До сего дня Лени краснела всего три раза...

Итак, как же ей быть? Лени танцует в одиночестве; иногда танцует у себя в комнате полуодетая, а в ванной и вовсе голая перед бабушкиным зеркалом, которое всем льстит. Время от времени за Лени наблюдают, порой застают за этим странным занятием, что, конечно, не укрепляет ее репутацию. Однажды она потанцевала немного со своим квартирантом Эрихом Кепплером, рано польсевичим ассессором; при этом Лени чуть было не покраснела, ухаживания ассессора — он дал волю рукам — были чересчур уж пошлые. А потом ей пришлось отказать ему от квартиры, поскольку этот господин — безусловно интеллигентный и смекалистый — распознал в Лени невероятную чувственность. Со времени «рискованного танца» (Лени) — в тот день ассессор хотел заплатить за квартиру и застал Лени за слушаньем танцевальной музыки, — словом, со времени этого танца Кепплер начал ежевечерне скулить у нее под дверь. Лени не пожелала уступить ему, потому что не любила его. Но с тех пор Кепплер, снявший комнату поблизости, стал одним из самых злобных преследователей Лени; доверительно беседа с хозяйкой маленькой лавки, которую вот-вот поглотит крупная фирма, ассессор хвалится разными подробностями своей мнимой победы над Лени; и эти подробности приводят хозяйку, холодную, как лед, красавицу, в такое возбуждение, что, пользуясь отсутствием мужа (он работает на автомобильном заводе и уходит на весь день), сия дама заталкивает лысого ассессора, ставшего за это время советником юстиции, в заднюю комнату, где яростно отдается ему. Эта двадцативосьмилетняя особа — ее зовут Кэта Першт — также принадлежит к числу людей, которые наиболее усердно клеветуют на Лени, понося ее за безнравственность. А между тем когда город наводняют богомольцы сильного пола, красавица по протекции собственного мужа за большие деньги нанимается в ночное кабаре и участвует в «спецстриптизе для посетителей мессы», более того — перед ее выходом конференсье с масляными глазками объявляет, что она готова полностью удовлетворить все те мужские желания, какие вызовет ее номер.

Недавно, впрочем, у Лени все же появилась возможность изредка потанцевать. Основываясь на своем печальном опыте, она стала брать только семейных квартирантов или же иностранных рабочих; две комнаты Лени сдала по льготной цене — при ее-то финансах! — одной милой парочке, молодым людям, которых мы удобства ради назовем Гансом и Гретой; и вот Ганс и Грета, слушая вместе с Лени танцевальную музыку, правильно истолковали ее видимые и невидимые

ритмические подергивания. Таким образом, Лени может теперь иногда «потанцевать законно». Ганс и Грета пытаются даже осторожно разъяснить Лени ее промахи, советуют одеться по моде, изменить прическу, завести любовника. «Не закисай, Лени, надень классное розовое платье, классные чулки на твои потрясные ноги — и ты сразу поймешь, какая ты клевая баба». Но Лени качает головой: люди нанесли ей слишком много обид. Теперь она не переступает порога той лавочки, все покупки взяла на себя Грета, а Ганс освободил Лени от ежедневного утреннего хождения в булочную: перед работой (он работает техником в управлении дорожного строительства, а Грета — косметичка и уже не раз, но до сих пор безуспешно, предлагала Лени свои услуги, и притом бесплатно), — итак, перед работой Ганс забегает в булочную и приносит Лени две неизменные поджаристые булочки, которые для нее важнее, чем для других людей «святые дары».

* * *

Разумеется, стены жилища Лени украшены не только учебными пособиями по физиологии человека — на стенах у нее висят и обычные снимки, снимки покойных: вот ее мать, умершая в 1943 году в возрасте сорока одного года. Она сфотографирована незадолго до смерти; эта женщина отмечена печатью страдания, у нее негустые седые волосы и большие глаза; она сидит, закутавшись в плед, на скамейке на берегу Рейна, в Гарзале, недалеко от причала, на котором как раз и можно прочесть название места, а позади нее высятся монастырские стены; видно, что мать Лени познабливает, на ее лице, скорее слабым, приковывают внимание усталые глаза и на удивление твердый рот; и еще: взглянув на нее, каждый понимает, что эта женщина не цеплялась за жизнь; возраст матери на карточке определить чрезвычайно трудно: ее можно принять и за женщину лет тридцати, неестественно рано постаревшую от какого-то тайного горя, и за шестидесятилетнюю даму хрупкого сложения, сохранившую известную молодость. Мать Лени улыбается не то чтобы с трудом, но с некоторым напряжением.

Отец Лени также сфотографирован незадолго до смерти, в 1949 году, в возрасте сорока девяти лет. Это плохонькая любительская фотография того времени, он улыбается, и, надо сказать, без малейшего напряжения; одет он в спцовку каменичника, во многих местах аккуратно заштопанную; на заднем плане виден подуразрушенный дом; отец Лени держит в левой руке ломик (посвященные зовут его зубилом), в правой — молот (известный под именем кувалды); перед ним, за ним, по левую и по правую сторону от него лежат различной величины стальные балки, этим балкам, возможно, и предназначается его улыбка, так же как улыбка удильщика всегда предназначается его улову. Действительно, на снимке изображен дневной улов отца Лени — в чем тут дело, в дальнейшем будет подробно объяснено; сейчас скажем лишь, что в ту пору он работал у вышеупомянутого хозяина садоводства, который заблаговременно учуял, что «на металлоломе можно будет делать большие дела» (из показаний Лотты). Отец Лени снят с непокрытой головой, у него очень густые волосы, слегка тронутые сединой; социальное положение этого высокого стройного человека, который с такой непринужденностью держит в руках свой лом, очень трудно обозначить каким-либо одним определенным словом. Похож ли он на пролетария? Или на аристократа? Похож ли на человека, который занялся вдруг непривычным трудом, или эта тяжелая работа ему знакома с детства? Авт. склоняется к мнению, что правильно и то и другое, правильны оба эти варианта. Комментарии Лотты Х. укрепили авт. в его первоначальном убеждении; Лотта Х. называет отца Лени на этой карточке «господином пролетарием». По его виду никак не скажешь, что отец Лени потерял вкус к жизни. И выглядит он ни моложе, ни старше своих лет; отец Лени — типичный «хорошо сохранившийся мужчина под пятьдесят», в брачном объявлении он вполне мог бы обещать «счастливую совместную жизнь» будущей «жизнерадостной снутнице, желательнее не старше сорока».

Четыре других фотографии изображают молодых людей мужского пола; каждому примерно лет двадцать, не больше; трое из них умерли, четвертый (сын Лени) жив.

Двое из этих молодых людей имеют крупный недостаток, касающийся, правда, лишь их одежды: хотя портреты поясные, ясно видно, что молодые люди одеты в форму немецкого вермахта, украшенную державным орлом и свастикой; кстати, люди знающие называют эту двойную эмблему «обанкротившимся стервятником». Один из двух молодых людей — Генрих Груйтен, родной брат Лени, другой — ее двоюродный брат Эрхард Швейгерт; их обоих, а также третьего покойника на третьей фотографии, следует причислить к жертвам второй мировой войны.

И Генрих и Эрхард в некотором смысле выглядят как «истинные немцы» (авт.), и в некотором смысле оба они напоминают все существующие портреты немецких интеллигентных мальчиков. Может быть, здесь следует еще раз процитировать для ясности Лотту Х., которая утверждает, что и тот и другой как две капли воды похожи на бамбергского всадника³, причем, как выяснится позднее, это сравнение ни в коем случае нельзя считать за лесть.

Ну, а если перейти к более существенным приметам юношей, то надо сказать, что Э. — блондин, а Г. — шатен, что оба они улыбаются: Э. — «задушевно и простодушно» (авт.), улыбка у него милая и веселая; улыбка Г. не совсем такая задушевная, в уголках рта у него уже гнездятся следы того самого нигилизма, который иногда досадно путают с цинизмом; принимая во внимание то, что обе фотографии сделаны в 1939 году, следует считать этот нигилизм весьма рано выявившимся и, стало быть, почти прогрессивным.

Третья фотография покойника изображает русского по имени Борис Львович Колтовский, он не улыбается. Этот снимок — сильно увеличенная фотокарточка паспортного формата, которая была сделана в Москве в 1941 году; она кажется почти гравюрой. Б. Л. на портрете — молодой человек с серьезным лицом и таким высоким лбом, что в первый момент кажется, будто он рано облысел, но потом, разглядев его густые светлые вьющиеся волосы, понимаешь, что высокий лоб — просто отличительная особенность Б. Л. Глаза у Б. Л. темные и довольно большие, из-за очков в простой оправе световые рефлексy в них могут быть приняты за графические излишества. По карточке сразу видно, что Б. Л., несмотря на свою серьезность, несмотря на худобу и на неестественно высокий лоб, был в то время очень молод. Одет он в штатское, на нем рубашка с отложным воротничком (так называемым «шиллеровским воротом»), он без пиджака, из чего можно заключить, что снимок сделан летом.

Четвертая фотография изображает человека ныне здравствующего — сына Лени. И хотя в то время, когда юношу снимали, ему было столько же лет, сколько Э., Г. и Б. Л., он все равно кажется самым молодым из них; возможно, это объясняется тем, что техника фотографирования ушла далеко вперед по сравнению с 1939 и 1941 годами; нельзя не отметить, что Лев на этой фотографии 1965 года не просто улыбается, а смеется во весь рот; его не колеблясь можно назвать «веселым парнем», между ним, отцом Лени и его собственным отцом Борисом существует совершенно явное сходство. Кроме того, у Льва «волосы Груйтенов» и «глаза Баркелей» (мать Лени — урожд. Баркель. Авт.). И благодаря этому он похож еще и на Эрхарда. Взглянув на смеющееся лицо этого молодого человека и на его глаза, вы сразу поймете, что он никак не унаследовал от матери двух ее черт: молчаливости и скрытности.

* * *

А теперь следует рассказать об одном предмете туалета, который дорог Лени так же, как фамильные фотографии, как изображения органов человека, как рояль и свежие булочки. Мы имеем в виду ее купальный халат, который она упрямо и совершенно ошибочно называет капотом. Эта хламида из «хлопчатобумажной махровой ткани довоенного качества» (Лотта Х.) была, если судить по изнанке отворотов и карманов, вишневого цвета, но за истекший период — за тридцать лет! — изрядно выцвела и приобрела цвет довольно-таки жиденького малинового сока. Во многих местах халат заштопан оранжевыми нитками, и, надо признать,

³ Знаменитая скульптура в соборе в Бамберге (ок. 1230—1240 гг.), символ благородного и истинно немецкого юноши.

весьма умело. Лени очень привязана к этому капоту, она с ним почти не расстается, говорят, она даже заявила как-то, что, «когда настанет срок, хотела бы быть похороненной в нем» (Ганс и Грета Хельцены, снабжающие авт. информацией по всем бытовым вопросам).

Здесь следует, возможно, сказать еще несколько слов о жильцах в квартире Лени: две комнаты она сдала Гансу и Грете Хельценам; две другие — португальской семье Пинто, которая состоит из родителей Йокима и Анны-Марии и их детей — Этелвины, Мануэлы и Жозе; наконец, последнюю комнату она сдала трем уже не очень молодым рабочим из Турции, которых зовут Кайя Тунч, Аме Кылыч и Мехмед Шахин.

II

Разумеется, Лени не всегда было сорок восемь лет, и поэтому небезынтересно оглянуться назад.

Судя по старым фотографиям, всякий назвал бы Лени без каких-либо натяжек хорошенькой девочкой. Тринадцатилетняя, четырнадцатилетняя и пятнадцатилетняя Лени выглядят очень мило даже в форме нацистской организации для девушек. Эксперты мужского пола, высказывая свое мнение о физических данных Лени, наверно, сказали бы в один голос: «Эта девочка, черт возьми, очень даже недурна!»

Первооснова стремления людей жить парами — это любовь с первого взгляда, то есть стихийное желание обладать существом другого пола, просто обладать, не связывая себя надолго. Но беспокойной натуре человека свойственно трансформировать это стремление в страсть — глубокую и всепоглощающую, страсть во всех ее разновидностях, столь же незакономерную, сколь и непонятную; и каждую из разновидностей страсти, начиная от самой мимолетной, кончая самой глубокой, способна была внушить и внушала Лени. Когда ей стукнуло семнадцать, она совершила решающий скачок: из хорошенькой девушки стала красавицей, что, вообще говоря, дается легче блондинкам с темными глазами, нежели блондинкам со светлыми глазами. На этой стадии ни один мужчина не дал бы ей оценки ниже чем «достойна всяческого внимания».

* * *

Настала пора рассказать подробнее о молодых годах Лени. В шестнадцать лет она поступила в контору к отцу, который сразу заметил, что Лени совершила скачок, превратившись из хорошенькой девчонки в красавицу, а главное, заметил, какое впечатление она производит на мужчин; он начал привлекать ее к важным деловым переговорам, во время которых Лени сидела с карандашом и с блокнотом на коленях и время от времени заносила в блокнот несколько слов. Стенографировать Лени не умела и ни за что не стала бы учиться этому делу. Правда, абстрактные категории и абстракции были ей не столь уж недоступны, но эту скоропись «закорючками» Лени не жаловала.

Годы учения Лени сопровождалась немалыми страданиями, впрочем, в основном страдала не сама Лени, а ее учителя. Она закончила восьмилетнюю школу, но предварительно дважды не то чтобы «просидела» в одном классе, а «по собственному желанию осталась на второй год», в итоге она получила сильно интерполированное свидетельство. Авт. удалось раскопать за городом в доме для престарелых одного из поныне здравствующих членов педсовета восьмилетней школы, шестидесятипятилетнего ректора Шлокса, ныне пенсионера, и он сообщил, что Лени — вот до чего доходило дело! — собирались даже спровадить в какую-нибудь «школу для отсталых», но каждый раз ее спасали два обстоятельства: во-первых, богатство отца (не прямо, а косвенно, как настоятельно подчеркивал Шлокс), во-вторых, тот факт, что специальная комиссия по расовым вопросам, инспектировавшая школы, избирала Лени два года подряд — в возрасте одиннадцати и двенадцати лет — «самой истинно немецкой девочкой в школе». Однажды Лени даже участвовала в конкурсе на звание «самой истинно немецкой девуш-

ки в городе», но заняла только второе место, уступив первое дочери протестантского пастора, чьи глаза оказались светлее, чем у Лени, — тогда у Лени глаза были уже не такие голубые. Но все равно не подобало отсылать в школу для «отсталых» «самую немецкую девочку».

В двенадцать лет Лени поступила в старшие классы монастырского лицея, но в четырнадцать ее пришлось оттуда забрать. За эти два года она ухитрилась один раз с треском провалиться на экзаменах и остаться на второй год, а второй раз перешла в следующий класс только потому, что ее родители дали торжественное обещание ни о чем больше не просить, ни на чем не настаивать. Свое обещание они выполнили.

* * *

Во избежание недоразумений следует дать фактическую справку о причине неприятностей, какие пришлось претерпеть Лени на стезе образования, на которую она вступила, вернее, на которую ее толкнули. В данном контексте не может быть и речи о вине; ни в восьмилетней школе, ни в лицее Лени не совершила ничего скандального, ее уличали лишь в мелких погрешениях. Более того, Лени определенно тянулась к знаниям, она, можно сказать, страдала от голода, жаждала знаний, и все заинтересованные лица стремились утолить этот голод, эту жажду. Жаль, что предлагаемые блюда и напитки никак не соответствовали интеллигентности Лени, ее способностям и вкусам. В большинстве, пожалуй даже во всех случаях, в учебном материале, предлагаемом Лени, отсутствовала та чувственная основа, без которой она вообще ничего не воспринимала. Письмо, например, она освоила без всякого труда, хотя следовало ожидать как раз обратного, памятуя о сугубой абстрактности этого процесса. Но письмо было связано у Лени с различными зрительными, осязательными и даже обонятельными ощущениями (сравни запахи различных чернил, карандашей, сортов бумаги); благодаря этому Лени не боялась никаких самых сложных письменных упражнений и грамматических тонкостей. Почерк у нее — к сожалению, он давно пропадает втуне — был и остался четким и приятным; ректор Шлокс, ныне пенсионер (это лицо консультирует авт. по всем принципальным педагогическим вопросам), утверждает даже, что почерк Лени «прямо-таки возбуждал эротические и прочие чувственные эмоции».

Особенно не везло Лени с двумя очень родственными предметами: законом божьим и арифметикой, соотв. математикой. Если бы хоть один учитель или учительница догадались объяснить Лени где-то в возрасте шести-семи лет, что математика и физика могут приблизить к ней звездное небо, столь любимое ею, Лени наверняка не стала бы противиться счету до десяти, а потом и таблице умножения, которая была ей так же ненавистна, как некоторым людям пауки. Орехи, яблоки, коровы и бобы из задачника, с помощью которых пытаются добиться реализма в арифметике, ничего не говорили ее сердцу. Конечно, Лени не была природным математиком, но способности к естественным наукам у нее были; поэтому, если бы кроме белых и розовых цветков миндаля, неизменно изображавшихся во всех учебниках и на всех классных досках, Лени познакомили бы с несколькими более сложными явлениями генетики, она бы, выражаясь высоким стилем, «со всем пылом юности» включилась в эту науку. Но ввиду скудости школьной программы по биологии ей так и не удалось вкушать многих радостей; со сложными органическими процессами она познакомилась уже женщиной не первой молодости, заново раскрашивая старые таблицы дешевыми акварельными красками. Согласно заслуживающему доверия свидетельству ван Доорн, одна история из дошкольных лет ее питомицы врезалась ей в память, и до сих пор Лени кажется столь же «дикой», ни с чем несообразной, как и пресловутые таблицы с половыми органами. Уже ребенком Лени живо интересовалась неотвратимостью выделения фекалий и все время — к сожалению, безуспешно — требовала разъяснений, обращаясь ко взрослым с вопросом: «Что это, черт возьми, из меня выходит?» Но ни мать Лени, ни ван Доорн не давали ей на этот счет никаких разъяснений.

Лишь одному из тех двух мужчин, с которыми Лени была близка до сего дня, и, как нарочно, иностранцу, к тому же русскому, удалось открыть, что Лени обладает просто поразительной восприимчивостью и интеллектом. Ему первому она рассказала то, что повторила позже Маргарет — где-то с конца сорок третьего и до середины сорок пятого Лени вообще была гораздо менее молчаливой, чем сейчас, — так вот, ему она рассказала, что испытала миг «полного удовлетворения» уже шестнадцатилетней девчонкой, только-только покинувшей лицейский интернат; в тот июньский вечер она соскочила с велосипеда и бросилась на вереск; лежа на спине и растянувшись во весь рост, она замерла (рассказ Лени Маргарет), вперив взгляд в небеса, где уже появились первые звезды, но еще горели отблески вечерней зари, замерла и достигла той высшей точки блаженства, какой современные молодые люди сейчас слишком часто домогаются. Лени рассказала Борису, а потом и Маргарет, что в тот июньский вечер, лежа на теплом вереске, «полная любви», она чувствовала себя так, словно «ее берут», а она «отдается», и потому ее ничуть не удивило бы, как она позже призналась Маргарет, если бы она с того вечера забеременела. Ну конечно же, Лени вовсе не кажется непостижимым тот факт, что непорочная дева родила младенца.

Табель, который получила Лени, покинув лицей, был весьма неприглядным. По закону божьему и математике ей поставили «неудовлетворительно». После этого она два с половиной года пробыла в пансионе, где ее обучали домоводству, немецкому, закону божьему и начаткам истории (до Реформации), а также музыке (фортепиано).

* * *

Прежде чем поставят памятник одной покойной монахини, сыгравшей столь же большую роль в формировании Лени, сколь и упомянутый русский, о котором речь пойдет еще не раз, следует упомянуть о трех и поныне здравствующих монахинях. Эти три свидетельницы, несмотря на то, что они встречались с Лени тридцать четыре и, соотв., тридцать два года назад, до сих пор живо помнят ее; все три монахини, найденные авт. в совершенно различных населенных пунктах, при первом же упоминании имени Лени воскликнули: «Ах да, Груйтен!» Однородность их восклицаний показала авт., который уже приготовил блокнот и карандаш, знаменательным фактом, поскольку она доказывает, что Лени производила на людей сильное впечатление.

А поскольку трех монахинь объединяет не только вышеупомянутый возглас, но и некоторые физические свойства, то в целях экономии места мы, так сказать, объединяем их описание. Все три монахини обладали кожей, которую можно назвать пергаментной. Нежная кожа эта, обтягивающая их худые скулы, имела желтоватый оттенок и казалась гофрированной; все три монахини подали (или велели подать) авт. чай. И не из чувства неблагодарности, а исключительно из любви к истине следует отметить, что чай у всех трех был не очень крепкий. Все монахини также подали (или велели подать) засохшие пирожные; все три начали кашлять, когда авт. закурил (он поступил невежливо, не испросив на это разрешения, так как боялся, что ему ответят отказом); все три монахини встретили его в почти одинаковых приемных, каждая из которых была украшена гравюрами религиозного содержания, расписанием, равно как и портретами правящего папы и местного кардинала; столы в трех разных приемных были покрыты плюшевыми скатертями, стулья все как на подбор неудобные; наконец, описываемым монахиням было от семидесяти до семидесяти двух лет.

Первая из монахинь, сестра Колумбана, возглавляла лицей, в котором Лени, проучившись два года, так слабо успевала. Директриса оказалась авт. эфирным созданием с уставлыми и очень умными глазами; на протяжении почти всего интервью она покачивала головой; это покачивание объяснялось тем, что сестра Колумбана упрекала себя за неумение выявить заложенные в Лени возможности. Она все время повторяла: «В ней было что-то заложено, даже своего рода сила, но мы так и не сумели ее выявить».

Сестра Колумбана — она еще и сейчас читает специальную литературу

(с лупой!) — представляет собой законченный тип женщины тех старых добрых времен, когда слабый пол стремился к эмансипации и к знаниям; к сожалению, этот женский тип, будучи облачен в монашескую рясу, не добился признания, а тем паче высокой оценки. В ответ на вежливо заданный вопрос о некоторых подробностях ее биографии сестра Колумбана рассказала следующее: уже в восемнадцатом году она разгуливала в дерюге и подвергалась насмешкам, поношениям и похвалам даже в большей степени, чем в наши дни некоторые хиппи. Когда бывшая директриса узнала от авт. о некоторых эпизодах из жизни Лени, ее усталые глаза слегка заблестели, и она сказала, глубоко вздохнув, но довольным голосом: «Радикально, да, радикально... так она и должна была поступать». Замечание это озадачило авт. Откланиваясь, он сконфуженно взглянул на четыре нагло-вульгарных окурка, утопленных в пепле, и на пепельницу в форме виноградного листа, которой, очевидно, редко пользовались, разве что время от времени в нее опускал потухшую сигару какой-нибудь прелат.

Вторая монахиня, сестра Пруденция, обучала Лени немецкому языку; она показалась авт. чуть менее благородной, нежели сестра Колумбана, и чуть-чуть более румяной; это, впрочем, не означает, что на щеках у нее играл румянец, просто ее прежний румянец иногда слегка проступал сквозь нынешнюю бледность, в то время как цвет лица сестры Колумбаны явственно показывал, что она и в юности была прозрачной. Сестра Пруденция (см. выше ее возглас при упоминании имени Лени) также внесла свою лепту, сообщив несколько примечательных подробностей. «Я,— сказала она,— приложила все силы, чтобы удержать ее в школе, но сделать ничего не могла, хотя поставила ей по немецкому языку «хорошо», поставила с полным правом; она, между прочим, написала просто-таки замечательное сочинение о новелле «Маркиза О...»⁴. Новеллу эту, видите ли, у нас не разрешали читать, даже преследовали, потому что в ней затрагиваются разные, так сказать, щекотливые вопросы, но я и тогда считала и сейчас считаю, что ее можно спокойно давать четырнадцатилетним девочкам, пусть задумаются кое о чем... И вот Груйтен написала об этой новелле совершенно замечательное сочинение; она, между прочим, выступила с пламенной защитой графа Ф., показала поразившую меня способность проникать в мир, ну, скажем, в мир... мужской сексуальности... Замечательное сочинение, почти на «отлично», но ей уже поставили «неудовлетворительно» по закону божьему, собственно, даже интерполированную единицу, потому что ни у кого не поднималась рука поставить девочке единицу по закону божьему, а затем Лени получила жирную, наверняка вполне заслуженную двойку по математике; двойку пришлось выставить сестре Колумбанае, пролившей по этому поводу потоки горячих слез, однако справедливость была для нее превыше всего... И вот Груйтен забрали от нас... Она ушла, должна была уйти».

Теперь авт. осталось лишь разыскать третью из представленных здесь монахинь — преподавательницу интерната, в котором Лени проучилась от четырнадцати почти до семнадцати лет, а именно сестру Цецилию. Сестра Цецилия два с половиной года давала Лени частные уроки музыки; сразу же почувствовав музыкальность Лени, она поразилась, можно даже сказать, возмутилась полной неспособностью девочки читать ноты и узнавать в прочитанной ноте соответствующий звук; поэтому сестра Цецилия первые шесть месяцев занималась исключительно тем, что проигрывала своей ученице пластинки и заставляла ее повторять услышанное; по словам сестры Цецилии, то был сомнительный, но в данном случае удавшийся эксперимент, он доказал даже (цитируем сестру Цецилию), «что Лени разбиралась не только в мелодии и ритме, но и в структуре музыкальных произведений». Как, однако, научить Лени абсолютно необходимому чтению нот? (Тут последовала целая серия вздохов сестры Цецилии!) И вот сестре пришла в голову почти гениальная идея: использовать для этой цели... географию. Преподавание географии стояло в пансионе на довольно низком уровне; на уроках в основном назывались, показывались и без конца зазубривались протоки Рейна, а так-

⁴ Новелла Клейста.

же граничащие с этими притоками возвышенности и низменности. Тем не менее географическую карту Лени научилась читать; например, чрезвычайно извилистую черную линию между Хунсрюком и Эйфелем, то есть линию Мозеля, она воспринимала отнюдь не только как черную извилистую линию, но и как условное обозначение реально существующей реки. Ну вот. Эксперимент удался: Лени научилась читать ноты! Правда, с трудом, нехотя, плача от ярости, но все же научилась. А поскольку сестра Цецилия получала от отца Лени щедрую плату за уроки, которая шла в монастырскую казну, она чувствовала себя обязанной добиться «каких-то успехов», что ей и удалось. «Но больше всего восхищало меня в Лени то, что она сразу поняла: Шуберт — ее потолок, все наши старания пробить этот потолок кончались настолько плачевно, что я сама посоветовала ей считаться со своими возможностями, играть не дальше Шуберта, хотя отец Лени настаивал на Моцарте, Бетховене и так далее».

И еще одно замечание насчет кожи сестры Цецилии: местами она была еще совсем белая, молочно-белая, мягкая и не такая сухая, как у двух других монахинь; авт. чистосердечно признает, что у него появилось весьма фривольное желание увидеть кожу этой исключительно любезной старушки, давшей обет безбрачия, так сказать, на большей площади, пусть даже с риском навлечь на себя подозрение в геронтофилии. Жаль, что когда авт. спросил сестру Цецилию о некой монахини того же ордена, сыгравшей чрезвычайно важную роль в судьбе Лени, она ответила на это ледяным молчанием, почти граничащим с грубостью.

* * *

Здесь следует упомянуть еще об одном факте, который, надо надеяться, будет подтвержден в ходе нашего повествования: Лени — непризнанный гений чувственности. К сожалению, ее долгое время считали просто «глупой гусыней»; это определение настолько удобно, что на него никогда не скупятся. Старый Хойзер сознался даже, что он и сейчас причисляет Лени к категории «глупых гусынь».

Свою жизнь Лени любила поесть, и потому естественно предположить, что она отлично успевала на уроках кулинарии и что домоводство было ее любимым предметом. Ни в коей мере! Несмотря на то, что науке приготовления вкусной и здоровой пищи Лени обучали прямо у кухонной плиты и у стола, несмотря на то, что на уроках употребляли различные обоняемые, осязаемые, зримые и различаемые на вкус продукты, наука эта показалась Лени еще более абстрактной, нежели математика (если авт. правильно истолковал беглые замечания сестры Цецилии), и еще более платонической, нежели закон божий.

Трудно установить сейчас, не погибла ли в Лени выдающаяся повариха, еще труднее установить, не привел ли почти метафизический страх монахинь перед специями к тому, что Лени начала считать все блюда, приготовленные на уроках кулинарии, «безвкусными». К сожалению, неопровержимо установлено лишь одно: Лени не стала хорошей кулинарой, ей удаются только супы, да и то изредка, а также десерты; кроме того, она варит вкусный кофе — что явно не закономерно, — и, наконец, Лени была бы хорошей детской диетсестрой (свидетельство ван Доорн), но она так и не научилась стряпать нормальный обед.

К тому же Лени не могла постичь, почему судьба любого соуса зависит от одного неуловимого, единственно верного движения, каким повар вносит в этот соус соответствующий ингредиент. Точно так же она проявила полную неспособность к религиозным знаниям (вернее, они ей, к счастью, не давались). Когда речь шла о хлебе и воде, о коленопреклонениях и о благословениях путем возложения рук на голову — словом, о сугубо земных материях, у Лени не возникало никаких трудностей. До сего дня она свято верит, что человека можно исцелить, помазав его слюной. Но разве такое слюнопомазание вообще существует? Лени исцеляла с помощью слюны своего русского друга и своего сына; более того, возложив руки, она приводила русского в состояние блаженства и успокаивала сына (свидетельство Лотты и Маргарет). Но кто сейчас возлагает руки? И что за хлеб дали вкусить Лени, когда она пришла на свое первое причастие (последний церковный

обряд, который Лени исполнила)? И куда, черт возьми, подевалось вино? Почему Лени не дали его попробовать? Рассказы о падшей женщине и о довольно-таки большом числе женщин, с которыми якшался сын девы Марии, ужасно нравились Лени; они могли привести ее в экстаз с тем же успехом, что и зрелище звездного неба.

Разумеется, Лени, которая всю жизнь любила свежие булочки к завтраку так самозабвенно, что готова была из-за них терпеть насмешки соседей, страстно стремилась к первому причастию. Так вот сообщаем: в лице Лени не допустили к конфирмации, потому что во время подготовительных занятий с конфирмуящимися ее одолевало нетерпение и она просто-таки выводила из себя учителя закона божьего, уже тогда человека пожилого, с почтенными сединами, аскета по натуре, к сожалению, уже почившего в бозе двадцать лет назад. Да и после уроков она с детским упрямством донимала его просьбами: «Ну пожалуйста, пожалуйста, дайте мне этот хлеб жизни! Почему я должна так долго ждать?» Упомянутый учитель закона божьего, от которого до наших дней дошло только имя — Эрих Бринге — и несколько опубликованных работ, счел стихийные проявления ее страстности «преступными». Он был в ужасе от этих взрывов нетерпения, которые тут же окрестил «взрывами чувственности». И конечно, он резко пресекал наглые выходки Лени. Ее конфирмацию сей муж отложил на два года из-за «проявленной незрелости и неспособности понять суть святого причастия».

События эти могут засвидетельствовать два человека: старик Хойзер, который все помнит и сообщает, что «тогда с большим трудом удалось предотвратить скандал». Только благодаря тому, что монахини находились в ту пору в тяжелой внутриполитической ситуации (1934 год), о которой Лени понятия не имела, было решено «не предавать эту историю широкой огласке». Второй свидетель — сам учитель закона божьего, чьим коньком была «теория крох»; учитель мог месяцами, а если надо, то и годами рассуждать о «крохах» облаток. Учитывая все мыслимые казуистические комбинации, он предсказывал, что может и что должно случиться с «крохами», что могло бы и что должно было бы с ними случиться. И вот этот-то господин, то есть специалист по «крохам», имя которого все еще пользуется известным уважением, опубликовал позднее в одном церковно-литературном журнале «Очерки моей жизни». В них он, между прочим, поведал и об истории с Лени; как человек без стыда и без воображения, он вывел ее под инициалами «небезызвестная Л. Г., тогда 12 л. от роду». Сей господин описал «горящие глаза» Лени, ее «чувственный рот», пренебрежительно отметил ее «простонародное произношение», охарактеризовал родителей Лени как «нуворишей», а их дом как «вульгарный» и закончил свой рассказ следующей сентенцией: «Я должен был, разумеется, пресечь это желание вкушать святые дары, выраженное столь простецки-материалистически, запретив ей вкушение оных».

Родители Лени были не слишком религиозные люди и не очень-то ревностные прихожане, тем не менее как представители определенных кругов и определенной среды они считали большим упущением и даже позором то, что «Лени не причащалась, как все», в четырнадцать с половиной лет. Они заставили ее «причаститься», когда Лени уже училась в пансионе, а поскольку Лени к той поре, согласно достоверной информации Марии ван Доорн, уже созрела как женщина, церковное празднество, а также мирское совершенно не удалась. Лени так страстно желала вкушать эту кроху хлеба, она буквально готова была прийти в экстаз, и «вдруг (как она рассказала тогда ван Доорн), — и вдруг на язык мне положили какую-то белесую крохотную сухую штуку, совершенно безвкусную. Я чуть было не выплюнула ее». От страха Мария начала креститься, она не могла себе представить, почему все это церковное великолепие, такое земное, — свечи, запах ладана, органная музыка и хоровое пение — не помогло Лени преодолеть разочарование. Даже традиционная праздничная трапеза со спаржей, ветчиной, ванильным мороженым и сливками и та ничего не поправила. Наконец, отметим, что сама Лени является последовательницей «теории крох», она доказывает это ежедневно, собирая с тарелки хлебные крошки и отправляя их в рот (свидетели — Ганс и Грета).

* * *

Хотя мы и стараемся по возможности избежать в этом труде непристойностей, ради полноты картины надо сказать, что учитель закона божьего в пансионе, который лишь благодаря нажиму директрисы допустил Лени к первому причастию, молодой человек по имени Хорн, аскет, как и его старший собрат, проводил с выпускниками, то есть с девушками от шестнадцати лет (самая младшая) до двадцати одного года (самая старшая), специальные занятия по разъяснению вопросов секса. Свои беседы он вел кротким голосом и пользовался исключительно кулинарными терминами; так, например, он почему-то сравнивал половой акт, который он называл «актом, необходимым для продолжения рода», то со «сливками», то с «клубникой»; далее, увлекшись и импровизируя, он говорил о дозволенных и недозволенных поцелуях, причем неясную для девушек роль здесь играли «сдобные булочки». Установлено лишь, что пока учитель распространялся своим кротким голосом о поцелуях и половом акте, придумывая различные немыслимые сравнения из области кулинарии для описания немыслимых подробностей, Лени первый раз в жизни покраснела (Маргарет). Вообще, Лени была человеком, не склонным к раскаянию; благодаря этому, кстати сказать, исповедь являлась для нее пустой формальностью, и она отбарабанивала все, что ей приходило в голову, но разъяснения учителя затронули, очевидно, какие-то нервные центры в ее организме, которые до сих пор неизвестны науке.

Пытаясь более или менее правдоподобно описать естественную, простую, почти гениальную чувственность Лени, мы в то же время должны отметить, что она никогда не была циничной. И все же тот факт, что она покраснела, надо считать сенсационным. Во всяком случае, сама Лени восприняла почти багровую краску на своем лице как нечто сенсационное, мучительное, ужасное и неподвластное рассудку.

Не будем еще раз повторять, что в этой девушке, как видно, дремало необычайно сильное ожидание эроса и секса. Поэтому когда учитель закона божьего объяснил Лени таким странным образом явления, которые казались ей одновременно и святым причастием и святыми дарами, ее возмущение и смущение достигли небывалых размеров, она покраснела, хотя до сих пор не знала, что такое краснеть. Заикаясь от гнева, красная как рак, она попросту убежала с урока закона божьего, после чего получила двойку по этому предмету в выпускном свидетельстве.

Кроме того, на уроках закона божьего Лени без конца вдалбливали названия трех гор «западного мира» — Голгофы, Акрополя и Капитолия, что не вызывало у нее никакого воодушевления. Голгофа, впрочем, вызывала в ней любопытство, хотя из библии она знала, что это не гора, а холм и что этот холм расположен отнюдь не на Западе. Если учесть после всего вышесказанного, что Лени не только запомнила «Отче наш» и «Богородицу», но иногда даже читает эти молитвы, что она знает наизусть еще несколько молитв, хотя и не так твердо, и что она находится в самых дружеских отношениях с девой Марией, то надо признать: Лени обладала, наверное, религиозным дарованием и оно осталось столь же непризнанным, как и ее чувственность; быть может, в Лени был заложен мистицизм и она могла бы стать незаурядным мистиком.

* * *

Ну, а теперь попробуем наконец набросать проект памятника одной особе женского пола, которую, к сожалению, нельзя разыскать, чтобы призвать в качестве свидетельницы: особа эта умерла в конце 1942 года при не выясненных до сих пор обстоятельствах, но не в результате прямого насилия, а скорее в результате угрозы прямого насилия и халатности окружающих.

Уже упомянутый Б. Х. Т. и Лени были, наверное, единственными людьми, которые любили покойную; ее мирское имя, равно как место рождения и социальное происхождение, не удалось установить. Известно только ее монашеское имя — сестра Рахель. Все дальнейшее авт. передает со слов многочисленных свидетелей: Лени, Маргарет, Марии и уже упомянутого ученика букиниста, пожелав-

шего скрыться за инициалами Б. Х. Т. Кроме того, известно прозвище сей особы: Гаруспика⁵. Сестре Рахели в то время, когда она встречалась с Лени и с Б. Х. Т. (1937—1938 годы), минуло примерно лет сорок пять. Роста она была небольшого, сложения крепкого (из рассказа Б. Х. Т. нам известно то, о чем не знала даже Лени: когда-то сестра Рахель была рекордсменкой Германии среди девушек по барьерному бегу на 80 м). В 1937—1938 годах сестра Рахель имела достаточно причин не упоминать никаких подробностей о своем происхождении и образовании. Ясно одно: она была, как говорили в те годы, «высокообразованной женщиной», что не помешало ей, впрочем, получить докторское или даже профессорское звание. Рост сестры Рахели может быть установлен, к сожалению, лишь по свидетельским показаниям: приблизительно в ней было 1 м 60 см, вес ее равнялся примерно 50 кг; цвет волос был черный с проседью, цвет глаз — светло-голубой, что указывало на кельтское происхождение, но не исключало и иудейского. Б. Х. Т. — ныне библиотекарь без университетского диплома, работающий в городской библиотеке средней величины над каталогом букинистических книг и оказывающий некоторое влияние на пополнение библиотечных фондов, человек для своего возраста относительно плохо сохранившийся, но милый, хотя не обладающий ни инициативой, ни темпераментом. — был, видимо, влюблен в указанную монахиню, несмотря на разницу в возрасте по меньшей мере лет в двадцать.

Тот факт, что до 1944 года ему удавалось уклоняться от военной службы, благодаря чему он является теперь своего рода missing link — то есть «звеном» — между Лени и сестрой Рахелью, которого так недоставало авт., свидетельствует о его упорном и целенаправленном интеллекте (когда Б. Х. Т. взяли в армию, ему как-никак было уже почти двадцать шесть лет и он, по собственному признанию, отличался завидным здоровьем).

Во всяком случае, стоит заговорить с Б. Х. Т. о сестре Рахели, как он оживляется и чуть ли не воодушевляется. Б. Х. Т. — некурящий, холост и, если судить по запахам в его двухкомнатной квартире, прекрасный кулинар. Настоящей книгой он считает только букинистическую книгу, новые издания презирает. «Новая книга — не книга» (Б. Х. Т.). Б. Х. Т. рано облысел, его организм, по-видимому обильно, но односторонне питаемый, склонен к образованию подкожного жира, об этой склонности свидетельствуют пористый нос и небольшие припухлости за ушами, которые авт. довелось наблюдать во время его (авт.) частых визитов к Б. Х. Т. По натуре Б. Х. Т. человек не очень разговорчивый, однако, когда речь заходит о Рахели Гаруспике, у него появляется потребность излить душу. К Лени он питает юношески-восторженное чувство. Он знает ее по рассказам сестры Рахели как «исключительно красивую белокурую девушку», она говорила ему также, что Лени «предстоит пережить много радостей и много горя». Не будь авт. сам влюблен в Лени, он, видя увлечение Б. Х. Т., наверняка поддался бы соблазну и свел этих двух людей, правда почти с тридцатичетырехлетним опозданием. Какими бы странностями (скрытыми и явными) ни обладал этот самый Б. Х. Т., одно совершенно очевидно: он человек верный. Видимо, он верен и самому себе тоже.

Про Б. Х. Т. можно сказать еще многое, но в данном случае это представляется излишним, так как непосредственно он почти не связан с Лени; авт. использует его лишь как объект, дающий отраженный свет.

Было бы ошибочным считать, что Лени страдала в упомянутом пансионате-интернате; наоборот, там ее постигло чудо, она оказалась баловнем судьбы, так как попала в хорошие руки. Правда, то, что девушке говорили на занятиях, было неинтересно. Только частные уроки у спокойной и приветливой сестры Цецилии сыграли свою роль и принесли определенные плоды. Решающим в жизни Лени, во всяком случае не менее решающим, чем последующая случайная встреча с русским другом, была встреча с Рахелью, которую уже не допускали тогда (1936 год) к преподаванию; Рахель исполняла самую, так сказать, низшую работу — работу коридорной сестры, как ее называли воспитанницы; по социальному ста-

⁵ Гаруспики — у древних римлян прорицательницы, предсказывавшие по внутренностям жертвенных животных.

туту это соответствовало примерно должности уборщицы. Коридорной сестре надлежало вовремя будить девиц, следить за их утренним туалетом, объяснять им то, что упорно отказывалась объяснять преподавательница биологии, то есть объяснять, что происходило в них и с ними, когда у них вдруг начиналось то самое, что у всех других женщин; кроме того, у Рахели была еще одна обязанность, которую все остальные сестры считали отвратительной и несовместимой с их достоинством, а сестра Рахель выполняла охотно и даже с интересом и вниманием, а именно экспертиза конечных продуктов девичьего организма (как в твердом, так и в жидком виде). Девицам было запрещено спускать воду до тех пор, пока их стул не проинспектирует сестра Рахель. И Рахель проводила эту операцию с такой медицинской невозмутимостью и ответственностью, что ее подопечные, четырнадцатилетние девочки, просто диву давались. Надо ли говорить, что Лени, чей живой интерес к процессу пищеварения до сего времени никто не хотел утолить, стала прямо-таки пламенной последовательницей Рахели.

В большинстве случаев Рахели было достаточно беглого взгляда — и она уже точно знала физические кондиции и прочие особенности вышеупомянутых продуктов. А поскольку она умела предсказывать по ним все вплоть до школьных успехов, девицы буквально осаждали ее перед контрольными работами, и прозвище Гаруслика передавалось из года в год (начиная с 1933 года); прозвище это дала Рахели ее бывшая воспитанница, подвизавшаяся позже на ниве журналистики. Считалось (впоследствии Лени, ставшая доверенным лицом Рахели, подтвердила это), — считалось, что сестра вела журнал, где все точно записывала. Свое прозвище она воспринимала чуть ли не как комплимент. Если учесть, что под присмотром сестры Рахели находилось двенадцать девочек и что она пять лет проработала коридорной сестрой (то есть своего рода монастырским унтер-офицером на действительной службе), то нетрудно вычислить, что в своем журнале сестра Рахель отметила и коротко охарактеризовала двадцать восемь тысяч восьмьсот результатов действия мочеточников и прямой кишки; журнал этот представлял собой уникальный свод документов, который, вероятно, был бы неоценимым пособием для соответствующих специалистов. Но его, видимо, уничтожили самым беспощадным образом.

Проанализировав жесты и выражения Рахели, почерпнутые из сообщений Б. Х. Т., непосредственно связанного с Рахелью, из сообщений Лени (полученных авт. из вторых рук, через Марию), а также от Маргарет, опять-таки лично общавшейся с Рахелью, авт. позволяет себе высказать предположение, что сестра Рахель обладала знаниями в трех различных областях — в медицине, биологии и философии и что знания эти были сдобрены теологией, исключительно, впрочем, мистического характера.

Сестра Рахель вмешивалась также и в те области, за которые она не несла ответственности: в частности, в косметологию, в уход за волосами, кожей, глазами, ушами и во все, что касалось причесок, обуви, белья. Установив, что Рахель советовала черноволосой Маргарет носить бутылочно-зеленый цвет, а блондинке Лени — спокойный красный, что она рекомендовала Лени по случаю совместного вечера пансиона с мужским католическим студенческим интернатом надеть туфли цвета киноvari, что она, наконец, разрешила той же Лени пользоваться миндальными отрубями для смягчения кожи и что она не считала обязательной при умывании ледяную воду, наоборот, считала ее необязательной, то надо признать, что сестра Рахель отнюдь не была синим чулком. А эта краткая и скорее негативная характеристика о многом свидетельствует. Добавим еще, что Рахель не только не отговаривала, но, напротив, уговаривала девушек употреблять помаду, хотя, разумеется, в меру и со вкусом, в соответствии с типом лица. Все это показывает, что сестра Рахель шла впереди своего времени и уж наверняка впереди своей среды. К тому же она просто-таки настаивала на уходе за волосами — массаже головы жесткой щеткой, особенно по вечерам.

Положение ее в монастырском пансионе было самое неопределенное. Большинство монахинь рассматривали ее функции как нечто среднее между функциями уборщицы в туалете и просто уборщицы, что уже было с их стороны подло,

тем более что это не соответствовало действительности. И все же: некоторые монахини питали к ней уважение, некоторые — страх; отношения директрисы с Рахелью можно назвать «перманентно напряженными, хотя и уважительными» (Б. Х. Т.). Впрочем, и директриса, суровая интеллигентная красавица с пепельными волосами — через год после того, как Лени покинула школу, она сбросила с себя монашескую рясу и поступила в нацистскую женскую организацию, — не отвергала советов Рахели касательно косметики, хоть они и противоречили монашескому духу. Если учесть, что директрисе дали прозвище Тигреса, что ее основным предметом была математика, а дополнительными французский и география, то нетрудно понять, что «фекальная мистика» Гаруспики казалась ей просто смешной и уж никак не опасной. Разумеется, она считала ниже своего достоинства бросить хотя бы взгляд на выделяемые ею экскременты (Б. Х. Т.), все это было для нее «язычеством», хотя именно «языческое начало» (цитирую опять Б. Х. Т.) привело ее позднее в женскую нацистскую организацию. Справедливости ради надо отметить, что директриса не предала Рахель даже после ухода из монастыря Лени, Маргарет и Б. Х. Т. характеризуют ее как «человека гордого». Все свидетели утверждают, что она была очень красивой женщиной и «явно сексопильной» (Маргарет), несмотря на это, после низложения сана она так и осталась незамужней, наверное, из гордости: не хотела ни перед кем проявить слабость, обнаружить свои уязвимые стороны. В конце войны директриса пропала без вести где-то между Львовом и Черновицами; ей не было и пятидесяти, но она уже занимала высокий пост, имела чин обер-регирунгсрата и ведала политикой в области культуры. Если бы она не погибла, авт. с удовольствием «допросил бы ее по делу» сестры Рахели.

В сущности, Рахель не допускали в интернате ни к педагогике, ни к медицине, однако она занималась и тем и другим; от нее требовали сведений лишь в серьезных случаях, например при ярко выраженном поносе и угрозе инфекционного заболевания. Кроме того, ей вменялось в обязанность сообщать о ЧП, то есть о явной нечистоплотности при отправлении естественных надобностей или о проступках против общепринятых правил нравственности. Этого она, впрочем, никогда не делала. Большое значение придавала Рахель тому, чтобы уже в первый день прочесть девочкам маленькую лекцию о гигиенических мероприятиях после стула. Подчеркивая необходимость сохранить гибкость и крепость всех мышц нижней части живота и советуя своим воспитанницам заниматься с этой целью легкой атлетикой и гимнастикой, Рахель убедительно объясняла, что здоровому, а главное, как она подчеркивала, интеллигентному человеку при известных обстоятельствах не требуется ни клочка бумаги. Но поскольку это был всего лишь недостижимый или редко достижимый идеал, она подробно рассказывала, как и когда надо пользоваться туалетной бумагой.

Как показывает Б. Х. Т. — в данном случае незаменимый свидетель, — Рахель много читала по этим вопросам, она глубоко изучила литературу о каторге и тюрьмах, проштудировала почти все мемуары заключенных (как уголовников, так и политических). К глупым выходкам и хихиканью девочек во время своей лекции она относилась с завидным спокойствием.

А теперь пора сказать, что при первом взгляде на первый стул Лени, который сестра Рахель должна была обследовать, она впала в своего рода экстаз, что удостоверено самой Лени и Маргарет. При этом Рахель сказала Лени, не привыкшей к такого рода конфронтациям: «Милая девочка, ты счастливица, как, впрочем, и я».

Спустя несколько дней, когда Лени достигла статуса «безбумажников», потому что ей «это мускульное усилие доставляло удовольствие» (Лени в разговоре с Марией, удостоверено Маргарет), между нею и сестрой Рахелью завязалась нерушимая дружба, которая неизменно утешала девочку во всех ее учебных неудачах.

Неправильно было бы, однако, думать, что сестра Рахель проявила свою гениальность исключительно в сфере экскрементов. Освоив сложный комплекс наук, она стала сперва биологом, потом врачом, наконец философом, приняла

католичество и ушла в монастырь, чтобы «наставлять молодежь», прививая ей биолого-медицинско-философски-теологические знания. Но уже в первый год Главный совет в Риме, заподозрив сестру Рахель в биологизме и мистическом материализме, запретил ей преподавательскую деятельность и разжаловал в «коридорную сестру»; цель этого наказания заключалась, собственно, в том, чтобы отбить у Рахели охоту к монашеской жизни; ее были готовы «с честью» вернуть в мир (из разговора Рахели с Б. Х. Т.). Однако понижение в должности она восприняла как повышение, и не только восприняла, но и соответствующим образом повела себя. Сестра Рахель считала, что, став «коридорной сестрой», она получила куда больше возможностей применять свои знания, нежели проводя классные занятия. Трения между Рахелью и ее орденом произошли как раз в тридцать третьем году, именно потому было решено не выгонять Рахель, и она пробыла еще пять лет «уборщицей в туалете» (Рахель о Рахели в разговоре с Б. Х. Т.).

Чтобы обеспечить своих подопечных предметами гигиены, туалетной бумагой, дезинфицирующими средствами, а также постельным бельем и т. п., Рахели приходилось ездить время от времени на велосипеде в близлежащий университетский город; в этом средней величины городе Рахель проводила долгие часы в университетской библиотеке, а позже целые дни в большом букинистическом магазине, где между ней и упомянутым Б. Х. Т. возникла платоническая и в то же время страстная любовь; Б. Х. Т. разрешал ей вволю рыться в фондах своего хозяина, предоставил в ее распоряжение подсобный каталог, предназначенный для внутреннего пользования, что запрещалось инструкцией; наконец, позволял читать во всех уголках и закоулках; он даже угощал ее кофе из своего термоса, а когда она слишком долго засиживалась, насильно совал бутерброд. Особенно пристально занималась сестра Рахель в это время фармакологией, мистицизмом, теологией и травами; за два года она стала также специалисткой в весьма щекотливой области — в области скатологических ⁶ аномалий; их она изучала по мистической литературе, богато представленной у букиниста.

Было сделано все, буквально все, чтобы узнать происхождение и прочие анкетные данные сестры Рахели. Тем не менее авт. не сумел добыть никаких других сведений, кроме сведений, которые дали ему Б. Х. Т., Лени и Маргарет. Ни второй, ни третий визит к сестре Цецилии не увенчался успехом; упорство авт. привело лишь к одному — сестра Цецилия покраснела, причем авт. чистосердечно признает, что красна на лице старушки семидесяти с лишним лет с островками молочной кожи не представляла собой безрадостного зрелища. Авт. и далее проявил упорство, но пятая попытка добиться нужной информации потерпела фиаско уже у монастырских ворот — его вовсе не пустили к сестре Цецилии. Удастся ли ему узнать больше из орденского архива и именной картотеки, зависит от того, сумеет ли авт. изыскать время и средства для поездки в Рим, а главное, получит ли он допуск к секретным материалам ордена.

А теперь наш долг нарисовать картину, относящуюся к 1937—1938 годам; маленькая прилежная монашка, мистикоманка и биоманка, подозреваемая в скатологической ереси, обвиняемая в биологизме и в материалистическом мистицизме, сидит в темном углу букинистического магазина и берет у молодого человека, тогда еще без всяких признаков лысины, но уже угреватого, кофе и хлеб с маслом. Эта жанровая сценка, достойная кисти нидерландского художника масштаба Вермеера, требует, однако, ярко-красного фона, дабы оттенить как внутри-, так и внешнеполитическое положение тех лет; на картине рекомендуется изобразить багрово-красные облака, учитывая, что где-то все время отбивали шаг штурмовики и что угроза войны казалась в тридцать восьмом году более реальной, нежели в тридцать девятом, когда война действительно разразилась...

Каким бы мистическим ни выглядело увлечение Рахели процессами пищеварения, какими бы нелепыми ни представлялись ее занятия железами внутренней секреции (Рахель зашла так далеко, что прямо-таки страстно мечтала узнать точ-

⁶ От слова «skatos» (греч. и лат.) — химическое соединение, содержащееся в экскрементах.

ный состав субстанции, именуемой спермой), одно надо признать: именно эта монахиня, основываясь на своих личных (недозволенных) опытах с мочой, дала молодому букинисту рекомендации, которые позволили ему какое-то время уклоняться от службы в немецком вермахте. Попивая кофе (Рахель проливала его даже на библиографические редкости; к внешнему виду книг она была весьма равнодушна), Рахель подробно разъяснила букинисту, что ему надо есть и пить и какие микстуры и пилюли принимать, дабы его анализ мочи на медосмотре дал не просто отсрочку по состоянию здоровья, а белый билет. Познания сестры Рахели и результаты изысканий дали ей возможность разработать для мочи ее юного друга определенный «поэтапный план» (дословная цитата из советов Рахели, заведительствованная Б. Х. Т.), который обеспечивал его моче достаточное количество белка при самых различных анализах даже в случае одного-, двух- и трехдневного пребывания в госпитале. Мы приводим здесь сей факт для успокоения всех тех, кому в этом труде не хватает политики. К сожалению, Б. Х. Т. был слишком робок, чтобы подробно пересказать «поэтапный план» Рахели всем другим молодым людям, подлежащим призыву. Будучи служащим, он боялся навлечь на себя недовольство вышестоящих инстанций.

Наверное, Рахель была бы очень рада (гипотеза авт.), если бы ей разрешили хотя бы одну неделю провести в интернате для юношей и ознакомиться с тем же материалом, с каким она знакомилась у девочек. Ввиду того, что литература о разнице между пищеварением мужчины и женщины была в ту пору невелика, Рахели приходилось довольствоваться предположениями, которые в конце концов перешли в уверенность: всех мужчин она априори зачисляла в группу «склонных к запору». Если бы желание Рахели насчет мужского интерната стало известным в Риме или еще где-нибудь, ее наверняка отлучили бы от церкви и выдворили из монастыря.

С той же серьезностью, с какой Рахель инспектировала утренний стул девушек, она вглядывалась по утрам в глаза своих подопечных, прописывала им глазные примочки, для которых всегда имела наготове соответствующие ванночки и кувшин родниковой воды; она быстро обнаруживала первые признаки воспаления или конъюнктивита. Сестра Рахель приходила в восторг каждый раз — несравнимо чаще, чем при описании пищеварительного процесса, — каждый раз, когда объясняла девочкам, что сетчатка имеет приблизительно ту же толщину, или ту же «ужину», что и папиросная бумага, и что сверх того в ней находится еще три рода клеток (пигментные, биполярные и нервные клетки — ганглии), а также что на поверхности сетчатки, то есть в слое толщины, или «ужины», примерно в одну треть папиросной бумаги, расположено свыше шести миллионов колбочек и свыше ста миллионов палочек, причем не равномерно, а как раз наоборот. «Глаза, — внушала она девочкам, — представляют собой необычайное и незаменяемое сокровище; сетчатка, основная оболочка глаза, состоит из четырнадцати слоев, причем каждый из них отделен от другого». А когда сестра Рахель начинала распространяться о реснитчатом теле и его отростках, о нервных волоконцах и связках, то кто-нибудь из учениц нет-нет да и произносил шепотком второе ее прозвище: «монахиня с реснитчатым телом» или «реснитчатая монахиня».

Не надо забывать, однако, что Рахель могла только от случая к случаю, да и то недолго, беседовать с девицами; распорядок дня воспитанниц был распisan по минутам, кроме того, большинство из них и впрямь считали, что Рахель ни за что не отвечает, кроме как за туалетную бумагу. Разумеется, она рассказывала девочкам о поте и о гное, о менструациях и довольно подробно о слюне. Излишне упоминать, что она была рьяной противницей чересчур рьяной чистки зубов; во всяком случае, если она и позволяла девочкам что есть силы чистить зубы по утрам, то лишь поступаясь своими убеждениями и учитывая категорические требования родителей. Рахель осматривала не только глаза воспитанниц, но и их кожу, к сожалению, не кожу на груди и на животе — родители несколько раз жаловались, что она, мол, бесстыдно ощупывает девиц, — а лишь кожу на руках и плечах.

Позднее Рахель начала объяснять девочкам, что при известном знании сво-

ей природы беглый взгляд на экскременты должен, собственно, лишь подтвердить то, что человек ощущает при пробуждении — свое самочувствие; имея соответствующий опыт, излишне разглядывать фекалии; это необходимо, только если человек не знает своего состояния и хочет его установить (показания Маргарет и Б. Х. Т.).

Когда Лени прогуливала уроки «по болезни», что бывало нередко, сестра Рахель разрешала ей выкурить сигарету у нее в комнатке. При этом Рахель объясняла Лени, что курить больше трех — пяти сигарет в день женщине ее возраста вредно. А также что, став взрослой, она может курить не больше десяти сигарет в день, лучше всего сигарет семь-восемь. Кто усомнится в пользе воспитания, если мы скажем, что сорокавосемилетняя Лени по-прежнему придерживается этих правил? И что она завела сейчас лист коричневой оберточной бумаги размером полтора метра на полтора (при нынешнем состоянии ее финансов лист ватмана той же величины Лени не по карману), чтобы осуществить голубую мечту своей юности; раньше она не могла этого сделать из-за отсутствия времени. На коричневой бумаге Лени тщательно изображает один и один слой сетчатки; она твердо решила нарисовать шесть миллионов колбочек и сто миллионов палочек с помощью старой коробки акварели, принадлежавшей сыну, к которой она время от времени подкупает разрозненные краски. Допустим, что за день Лени изобразит на бумаге пятьсот колбочек или палочек (в лучшем случае), а за год — приблизительно двести тысяч, стало быть, этого занятия ей с лихвой хватит на пять лет. Тут мы, возможно, поймем, что Лени не зря бросила работу цветочницы. Да, она предпочитает малевать колбочки и палочки; свою будущую картину Лени назвала «Часть сетчатки левого глаза девы Марии, которую звали Рахель».

* * *

Кого может удивить тот факт, что, рисуя, Лени охотно поет? К разным стихам она недолго думая подбирает мелодии либо из Шуберта, либо из народных песен, в ход идут также пластинки, которые она слышит «дома и на улице» (Ганс). В свою очередь, эти мелодии Лени перемежает музыкальными фразами, которые «привлекают внимание» даже такого ценителя, как Ширтенштейн, вызывая его «умиление и признание» (Ширтенштейн). Песенный репертуар Лени куда обширнее, нежели фортепианный. Авт. является обладателем магнитофонной ленты с ее песнями, которые записала для него Грета Хельцен; когда он прослушивает эту ленту, по щекам его катятся слезы (авт.). Лени поет довольно бесстрастно, но сильным голосом, который звучит приглушенно только из-за ее застенчивости. Кажется, будто голос Лени доносится из темницы. Вот что она поет:

Отражало зеркало
В сумерках черты.
Опустело зеркало —
Страшно пустоты,

Распутство и бедность — вот наши обеты,
Распутством невинность мы можем смягчить,
Под солнцем господним свершенные беды
Господней земле мы должны искупить.

То голос благороднейшей из рек — рожденного свободным Рейна, но кто и где пребудет всю жизнь свободным и осуществит души порывы, подобно Рейну, спускаясь с прекрасной высоты, как он, рожденный на священном лоне?

И поскольку в начальное лето войны
Перспективы на мир никакой,
Выводы делаться были должны,
И пал солдат как герой.

Тебя все же лучше
Я знал, чем кого-либо знал.
Понимал тишину я эфира,
Но людские слова никогда...
А любви у цветов я учился.

Приведенные выше пять строф Лени поет довольно часто. На магнитофонной ленте они записаны в четырех различных вариантах, один раз даже в ритме битников.

Мы видим, что Лени весьма вольно обращается с текстами, которые обычно считаются каноническими, иногда она присочиняет к ним не только музыку, но и слова.

Голос свободно рожденного Рейна. Господи помилуй.
А любви у цветов я учился. Господи помилуй.
Духом окрепнем в борьбе. Господи помилуй.
Распутство и бедность — вот наши обеты. Господи помилуй.

Я девою с небом вступила в союз. Господи помилуй.
Чудесно, лилово, оно любит мужскою любовью меня. Господи помилуй.
И мрамор предков одряхлел. Господи помилуй.
Останется души моей секретом, покуда я не расскажу об этом. Господи помилуй¹.

Таким образом, мы можем убедиться, что Лени не просто занята, — ее занятия весьма плодотворны.

* * *

Не впадая в неуместную символику, Рахель со всеми подробностями объяснила Лени, которая пугалась каждый раз, когда у нее начиналось «то самое», что такое половой акт; при этом ни Лени, ни ей самой совершенно не пришлось краснеть; понятно, такого рода объяснения надо было держать в тайне, ведь Рахель явно превысила свои полномочия. Быть может, этот факт разъясняет, почему Лени так отчаянно и так сердито покраснела полтора года спустя, когда во время официальной беседы о том же акте его сравнивали то с «клубничкой» то со «сливками».

В первый же месяц в пансионе Лени нашла себе подружку на всю жизнь, а именно Маргарет Цейст, которая уже была представлена авт. ранее как «шлюха». Маргарет была трудновоспитуемой дочерью чрезмерно набожных родителей, которые «не могли с ней справиться», впрочем, так же как и все ее учителя; она постоянно пребывала в отличном настроении и считалась «веселой девчонкой»; по сравнению с Лени эта темноволосая маленькая особа казалась прямо-таки болтушкой.

Именно Рахель, осмотрев кожу Маргарет (на плечах и на руках), установила недели через две, что та водится с мужчинами. Правда, здесь надо проявить сугубую осторожность, поскольку Маргарет является единственным свидетелем этого происшествия; впрочем, авт. находит, что Маргарет заслуживает полного доверия. По словам Маргарет, Рахель все угадала не только благодаря своему «безошибочному химическому инстинкту», но и благодаря физическим особенностям ее, Маргарет, кожи, о которой Рахель сказала позже в доверительном разговоре с самой Маргарет: «Твоя кожа как бы излучает ласки, которые тебе дали и которые расточала ты». После этих слов Маргарет покраснела уже не в первый и далеко не в последний раз; сообщаем это — к ее чести. Маргарет призналась Рахели, что по ночам она убегает из монастыря — каким образом, она так и не сказала — и встречается с деревенскими мальчишками, но не со взрослыми мужчинами, мужчин она терпеть не может, от них воняет; Маргарет поняла это после одной истории со взрослым мужчиной, как раз с тем учителем, который утверждал, будто не в силах с ней справиться. «Да, — заметила она своим хрипловатым голосом с рейнским выговором, — он очень даже хорошо со мной справился. — А потом сказала: — Иметь дело стоит только с мальчишками того же возраста, а от мужчин воняет. — И, разоткровенничавшись, добавила: — Когда мальчишки радуются, это просто чудесно, некоторые даже кричат от радости, и тогда я тоже кричу, ведь нехорошо, если делают всякие пакости». К тому же ей доставляет радость доставлять им радость... А теперь отметим, что на этом месте рассказа

¹ Лени поет отрывки стихов разных поэтов: Тракля, Брехта, Гёльдерлина, строку из песни «Смело, товарищи, в ногу». Здесь и далее стихи даны в переводе Б. Слуцкого.

Рахель начала лить горячие слезы. «Она ужасно плакала, я даже испугалась. И вот сейчас, когда я лежу в этой больнице, и мне уже целых сорок восемь, и я заразилась сифилисом и еще бог знает чем, только сейчас я наконец поняла, почему она так горько плакала» (Маргарет в больнице).

После того как Рахель осушила слезы, что, по словам Маргарет, произошло не скоро, она посмотрела на нее задумчиво. хотя отнюдь не сердито, и сказала: «Да ты девица легкого поведения». «Выражение это я тогда не совсем поняла» (Маргарет). А потом Рахель заставила ее пообещать — торжественно поклясться, — что она не увлечет Лени на ту же стезю, даже не расскажет ей, каким путем удирает из монастыря; мужчинам, сказала Рахель, будет очень легко с Лени, но Лени не девица легкого поведения. И Маргарет поклялась Рахели и сдержала слово. «Впрочем, Лени эта опасность никогда не грозила, она точно знала, что ей нужно». Да и Рахель оказалась права: все дело было в ее коже, которую так нежно любили и так страстно желали, особенно кожу на груди; трудно даже представить себе, как домогались Маргарет мальчишки. Когда Рахель спросила, делает ли она это с одним мальчиком или со многими, Маргарет покраснела во второй раз за какие-нибудь двадцать минут и ответила опять же своим ровным хриловатым голосом с рейнским выговором: «В один вечер всегда только с одним». И Рахель снова заплакала и пробормотала, что Маргарет занимается скверными делами, очень скверными, и что все это плохо кончится.

После этого разговора Маргарет недолго пробыла в пансионе, ее дела с деревенскими мальчишками выплыли наружу (большинство этих мальчишек была усердными церковными служками); у пансиона начались неприятности с родителями мальчиков, с приходским священником, с родителями девочки; состоялось следствие. Но и Маргарет и мальчики отказались говорить. В конце концов Маргарет пришлось покинуть пансион, не проучившись в нем даже года. Зато у Лени осталась подруга на всю жизнь, подруга, которой еще часто приходилось попадать в разные щекотливые, а то и опасные ситуации.

* * *

Уже через год, отнюдь не озлобившись, но и не утолив своей любознательности, Лени включилась в трудовой процесс — она начала работать в отцовской конторе в качестве ученицы (официальное название профессии — канцелярская служащая) и по настоянию отца вступила в ту нацистскую организацию для девушек, в форме которой ухитрилась (боже правый!) довольно мило выглядеть.

Сообщае заранее, что Лени неохотно участвовала в сборищах этой организации. Во избежание недоразумений следует сказать также, что она ни в малейшей степени не сознавала политического смысла нацизма; конечно, ей совсем не нравились коричневые формы, особенно противны ей были мундиры СА.

Однако прохладное отношение Лени к сборищам, на которые она потом вообще перестала ходить, так как в сентябре 1939 года начала работать на заводе отца «на нужды обороны», объяснялось другой причиной: на этих сборищах слишком пахло елеем и монашеской кельей; дело в том, что группу Лени захватила в свои руки одна энергичная молодая католичка, решившая взорвать изнутри «этот нацистский шабаш»; убедившись в надежности своих двенадцати подчиненных — увы, она обманулась! — девица решила переиначить все по-своему — теперь на нацистских сборищах девушки пели духовные песнопения о деве Марии, бормотали молитвы и т. д.; нетрудно догадаться, что Лени не имела ничего против духовных песнопений, молитв и т. д., но в тот период жизни — ей тогда минуло семнадцать и она только-только распрощалась с невыносимо постной жизнью в монастырском пансионе, протрубив там два с половиной года, — такого рода занятия казались ей бесплодными и нудными. И, как ни странно, не только нудными. Разумеется, попытки молодой католички переиначить все по-своему не остались незамеченными, на нее донесла одна девушка, некая Паула Шмитц; Лени привлекли в качестве свидетельницы. Однако, обработанная соответствующим образом отцом Греты Марейке — той самой рьяной католички, — она держалась твердо и не моргнув глазом наотрез отрицала факт исполнения песен (так же,

впрочем, как еще десять девушек из двенадцати); в результате Грета избегла серьезной опасности, не избегла она лишь двухмесячной отсидки в гестаповской тюрьме и допросов, чего ей «хватило с избытком на всю жизнь»; больше Грета не сказала ни слова обо всей этой истории (краткий обзор сделан авт. на основе многих бесед с ван Доорн).

* * *

Тем временем мы вступили в лето 1939 года. Для Лени начался самый «разговорчивый» период ее жизни, который тянулся примерно год и девять месяцев. В этот период ее считали красавицей, по специальному разрешению она получила водительские права, с наслаждением гоняла на машине, играла в теннис, сопровождала отца на всякого рода конференции и во всякого рода деловые поездки. В ту пору Лени ожидала человека, которого она полюбит и которому «отдаст всю себя», она даже придумывала разные «смелые ласки» и говорила: «Хочу, чтобы он радовался моей любви, а я — его» (Маргарет). Лени пользовалась тогда каждой возможностью, чтобы потанцевать, и часто сидела на открытой веранде кафе, тянула кофе с мороженым, иногда даже разыгрывала из себя «светскую даму». Сохранились сногшибательные фотографии Лени того периода; судя по ним, она все еще могла претендовать на звание «самой немецкой девушки города», даже, пожалуй, целого гау или целой земли, а может быть, и всего политически-исторически-географического образования, которое получило известность под именем германского рейха.

Лени могла бы сыграть в ту пору деву Марию (и Магдалину тоже) в какой-нибудь мистерии, ее могли использовать для рекламы смягчающего кожу крема или снять в кинофильме; свои густые светлые голоса она причесывала тем манером, какой был описан на стр. 87; даже допрос в гестапо и раздумья о том, что вышеупомянутая Грета Марейке просидела два месяца в тюрьме, не очень-то мешали ей ощущать радость бытия.

Как видно, Лени казалось, что Рахель недостаточно подробно объяснила ей физиологическую разницу между мужчиной и женщиной, теперь она всеми силами стремилась узнать о ней побольше. Лени довольно-таки безрезультатно изучала толстые справочники, рылась в книгах отца, в книгах матери — тоже безрезультатно; по воскресеньям она отправлялась иногда к Рахели, и они совершали длинные прогулки по необъятным монастырским садам, во время которых Лени умоляла просветить ее. После некоторых колебаний Рахель смягчилась и выложила Лени те сведения, о которых она два года назад умолчала, причем и на этот раз ни одной из них не пришлось краснеть; Лени жаждала увидеть, соотв., иллюстративный материал, но Рахель не вняла ее просьбам, утверждая, что такого рода картинки не следует рассматривать. Поэтому Лени по совету одного книгопродавца (с которым она говорила по телефону, изменив голос, что было совершенно излишне) явилась в городской музей Охраны здоровья, где ее вниманию предложили не столько экспонаты по разделу «Половая жизнь», сколько по разделу «Мочеполовые болезни», начиная от обыкновенного триппера, мягкого шанкра и парафимоза (удавки), кончая всеми стадиями люэса. Все это было показано на редкость натуралистически на гипсовых моделях, соответственным образом раскрашенных. Познакомившись с этим скорбным миром, Лени возмутилась, а ведь ее нельзя было назвать жеманной девицей; ярость Лени вызвало то обстоятельство, что в музее Охраны здоровья не видели никакой разницы между вопросами пола и мочеполовыми болезнями; пессимистический натурализм музея возмутил Лени не меньше, нежели символизм ее учителя закона божьего. Музей Охраны здоровья показался Лени одним из вариантов «клубники и сливок» (свидетельство Маргарет, которая снова покраснела и отказалась добавить что-либо к словам Лени).

Здесь может создаться впечатление, будто Лени жила в здоровом и цельном мире. Ни в коем случае. Стремление к материалистически чувственной конкретике зашло у нее так далеко, что она стала значительно меньше сопротивляться всем тем многочисленным домогательствам, каким подвергалась; скоро она усту-

пила страстным мольбам одного юного архитектора из конторы отца, показавшего ей симпатичным, и назначила ему свидание... Лето. шикарная гостиница на берегу Рейна, субботний вечер, танцы на открытой веранде. Она — белокурая, он — тоже; ей — семнадцать, ему — двадцать три; оба пышут здоровьем. Так и ждешь, что все придет к «happy end» или, по крайней мере, к «happy night»⁸. Но ничего из всей этой истории не вышло. Уже после второго танца Лени покинула гостиницу, заплатив за неиспользованный номер (одинарный), где она лишилась всего-навсего халатика (купального) и туалетных принадлежностей, которые там оставила; из гостиницы Лени поехала к Маргарет и рассказала ей, что уже при первом танце все поняла: «У этого парня неласковые руки». Ее мигомлетная влюбленность сразу улетучилась.

* * *

А теперь нетрудно догадаться, что, в общем-то, терпеливый читатель потерял всякое терпение и задает себе вопрос: неужели эта Лени, черт возьми, само совершенство? Ответ: почти. Другой читатель — в зависимости от другой идеологической исходной точки — сформулирует вопрос иначе: черт возьми, может, эта Лени просто рыба? Ответ: нет и еще раз нет, она ждет «настоящего», а тот не появляется. К ней опять будут приставать, назначая свидания и приглашая провести вместе «week-end»⁹, но все это будет казаться ей если не отвратительным, то просто докучливым; ее не возмутят даже самые бесцеремонно выраженные просьбы «жить вместе», произнесенные часто шепотом и в самой пошлой форме; в ответ она будет качать головой, и только.

Да, в ту пору Лени с радостью носила красивые платья, плавала, занималась греблей, играла в теннис; при этом сон у нее был спокойный, а «глядеть на нее за завтраком было одно удовольствие — с таким аппетитом она ела; ей-богу, одно удовольствие; за завтраком она уминала две свежих булочки, два ломтика черного хлеба, яйцо всмятку, немного меда, иногда еще ломтик ветчины... Кофе она пила очень горячий, с горячим молоком и с сахаром... Жаль, что вы всего этого не видели. Одно удовольствие было на нее смотреть. Одно удовольствие... И так каждый день. У этой девочки всегда был отличный аппетит» (ван Доорн).

Кроме того, Лени любила ходить в кино, чтобы «немного поплакать в темноте» (цитата из ван Доорн). После фильма «Свободные руки», например, два ее носовых платка были такие мокрые, что Мария ван Доорн решила даже, что Лени схватила насморк. Правда, фильм «Распутин — демон-искуситель» не вызвал у нее ни малейших эмоций, равно как и фильмы «Хорал» и «Горячая кровь». «После этих фильмов носовые платки у нее не были мокрые, наоборот, казалось, что они только что вышли из-под утюга. Зато фильм «Девушка с Фане» заставил ее плакать, хотя и не так сильно, как «Свободные руки» (ван Доорн).

* * *

В эту пору Лени ближе познакомилась со своим братом, которого видела до сих пор редко; он был на два года старше ее, и в восемь лет его уже отдали в интернат, где он пробыл одиннадцать лет. Даже каникулы он в большинстве случаев должен был проводить «с пользой», в путешествиях — его увозили то в Италию, то во Францию, то в Англию, то в Австрию, то в Испанию, ибо у родителей Генриха была одна цель: сделать из него то, что они из него и впрямь сделали, — «по-настоящему образованного молодого человека». Как утверждает ван Доорн, мать юного Генриха Груйтена считала «собственное окружение слишком мещанским»; воспитанная и обученная на Франции монахинями, она на всю жизнь сохранила «чувствительность, временами даже чрезмерную», и желала, по-видимому, привить это качество своему сыну, в чем, насколько нам известно, вполне преуспела. И вот теперь авт. предстоит на короткое время заняться этим самым Генрихом Груйтеном, который целых одиннадцать лет существовал вдали от семьи, был для нее кумиром, почти божеством, эдаким гибридом моло-

⁸ Счастливый конец, счастливая ночь (англ.).

⁹ Субботний вечер (англ.).

дого Гёте и молодого Винкельмана с примесью Новалиса: лишь изредка он посещал отчий дом — за одиннадцать лет всего раза четыре, — так что Лени почти ничего о нем не знала, знала только, что он «милый, ужасно милый и добрый». Характеристику эту не назовешь исчерпывающей, к тому же она весьма пресная, почти как святое причастие; да, и ван Доорн может рассказать о Генрихе немногим больше («Очень образованный мальчик, очень тонкий, но совсем не гордый, совсем»); в результате из-за неразговорчивости Лени и малой осведомленности ван Доорн единственным не принадлежащим к духовному сословию очевидцем жизни Генриха надо считать Маргарет, которая на протяжении 1939 года видела его лишь дважды легально — два раза она пила кофе у Груйтенгов — и один раз нелегально: в 1940 году, в довольно холодную апрельскую ночь накануне того дня, когда Генриха, в ту пору танкиста, послали завоевывать Данию для вышеупомянутого германского рейха.

Авт. признает, что он с некоторым смущением рассказывает о всех обстоятельствах беседы с Маргарет, женщиной под пятьдесят, венерической больной, беседы, из которой он почерпнул сведения о Генрихе. Доподлинные слова Маргарет перепечатывались с магнитофонной ленты, а не воспроизводились по памяти. К этому следует добавить, что Маргарет прямо-таки пришла в экстаз и что на ее лице (уже сильно обезображенном) появилось выражение детского умиления, когда она сразу в начале беседы сказала: «Да, его я любила. Я его любила». На вопрос, любил ли он ее, она покачала головой, но не в знак отрицания, а скорее в знак сомнения и уж точно без всякой обиды, что авт. готов подтвердить под присягой. «У него были, знаете ли, темные волосы и светлые глаза, и он был... ну, да не знаю уж как выразиться... он был благородный, вот именно — благородный. Он сам не подозревал, сколько в нем обаяния, ради него я буквально пошла бы на панель, буквально, только бы дать ему возможность читать свои книжки и заниматься, уж не знаю, чем он хотел заниматься, читать книжки, любоваться церквями, слушать хоралы, слушать музыку... учить латынь, греческий и все, что касается архитектуры; ну да, он был копия Лени. Но только другой масти, и я его любила. Два раза я пила у них кофе и видела его, это было в августе тридцать девятого, а седьмого апреля сорокового он мне позвонил... Я была уже замужем, тогда я как раз подцепила этого богача Кноппа, но он мне позвонил, и я тут же помчалась к нему во Фленсбург, а когда я приехала, оказалось, что увольнительные запрещены и на улице холод собачий, я приехала туда восьмого, да, восьмого. Их разместили в школьном здании, все было уже наготове, в ту же ночь они должны были выступить, впрочем, может, их перебрасывали по воздуху или по воде, понятия не имею... Во всяком случае, увольнительные были запрещены. Никто не подозревал и никто до сих пор не знает, что я у него была. Ни Лени, ни его родители, вообще ни одна живая душа. Он вышел ко мне без всяких увольнительных, спустился из женского туалета по стене на школьный двор. Номера в гостинице не оказалось и свободной комнаты тоже. Все было закрыто, кроме какого-то бара; мы вошли туда, и одна потаскушка уступила нам комнату. Я отдала ей всю свою наличность — двести марок — и свое колечко с рубином, и он тоже отдал все свои деньги и свой золотой портсигар. Он меня любил, и я его любила, и нам было наплевать, что вокруг форменный бардак. Мне на это наплевать, в высшей степени наплевать. (Пленка дважды внимательно прослушивалась, дабы удостовериться, что Маргарет действительно сказала: «Мне наплевать, в высшей степени наплевать», то есть употребила настоящее время. Точно установлено, что она употребила настоящее время.) Ну вот, а потом он вскоре погиб. Какое безумное, безумное расточительство!» На вопрос о том, почему она избрала столь странное в этом контексте слово — «расточительство», Маргарет ответила нижеследующее (цитируем по записи, сделанной с магнитофонной ленты): «Посудите сами, вся его образованность, вся его красота, вся его мужская сила... ему ведь было всего двадцать; как мы любили бы друг друга, как могли бы любить друг друга!.. и не в таком бардаке, а на лоне природы, когда потеплело бы... И вот он погиб, совершенно бессмысленно, я считаю это расточительством».

* * *

Ввиду того, что Маргарет, Лени и в. Д. в равной мере относились к Генриху Груйтену как к иконе, авт. и на сей раз захотел получить объективную информацию; эту информацию предоставили ему два иезуитских патера с пергаментной кожей, оба семидесяти с лишним лет, оба приняли авт. в своих кабинетах окутанные густыми клубами табачного дыма, оба редактировали рукописи на одинаковые темы, правда, для двух разных журналов («Открыть клапаны слева или справа?»); один — француз, другой — немец (возможно, впрочем, швейцарец); первый — поседевший блондин, второй — поседевший брюнет; оба мудрые, приятные, хитрые, человечные; оба ответили на вопрос авт. одним и тем же восклицанием: «Ах, Генрих Груйтен, тот самый Груйтен!» (то есть совершенно одинаковой фразой как по словарному составу, так и по синтаксису, казалось, даже знаки препинания в ней были расставлены одинаково, ведь француз говорил тоже по-немецки); после этого оба патера отложили в стороны свои трубки, откинулись на спинки кресел, отодвинули рукописи, сперва покачали головами, а потом задумчиво склонили головы и, глубоко вздохнув, заговорили; на этом этапе полное тождество кончается и начинается тождество частичное, тем более что одного из патеров авт. разыскал в Риме, другого недалеко от Фрейбурга. Разумеется, потребовались предварительные телефонные разговоры, чтобы условиться о времени встречи, разговоры по высокому тарифу, что привело к большим расходам, в конечном счете, надо сказать, себя не оправдавшим, если не считать «общечеловеческой ценности» таких встреч, что достижимо, однако, и без столь значительных издержек. Все это мы говорим потому, что оба патера создали еще более иконописный портрет покойного Генриха Груйтена; патер-француз сказал: «Он был истинный немец, истинный и такой благородный». Другой сказал: «Он был такой благородный, такой благородный и такой истинный немец».

Чтобы упростить показания обоих этих свидетелей, авт. обозначил их на то время, что они здесь будут фигурировать, как И. I (иезуит) I и И. II.

И. I: «Второго такого интеллигентного и способного ученика мы не имели на протяжении двадцати пяти лет». И. II: «На протяжении двадцати восьми лет мы не имели второго такого способного и интеллигентного питомца». И. I: «Из него мог бы получиться Клейст». И. II: «Из него мог бы получиться Гёльдерлин». И. I: «Мы никогда не пытались сделать из него духовное лицо». И. II: «Никаких попыток привлечь его в наш орден не предпринималось». И. I: «Да, просто жаль было это делать». И. II: «Сами братья нашего ордена не хотели этого».

На вопрос о школьных успехах Генриха Груйтена патеры ответили следующим образом. И. I сказал: «Ну да, просто у него по всем предметам были самые высокие оценки, даже по физкультуре, но он не производил впечатления зубрильщика. И каждый учитель, буквально каждый, со страхом ждал того дня, когда он окончательно выберет себе профессию». И. II: «Ну разумеется, у него в табелях были одни «очень хорошо». Позже специально для него придумали даже новую отметку — «отлично», но кем бы он мог стать? Это всех нас пугало». И. I: «Кем бы он ни стал — дипломатом, министром, архитектором или ученым-правоведом, — во всех случаях он был бы поэтом». И. II: «Он мог бы стать знаменитым учителем, знаменитым художником или еще какой-то знаменитостью... но во всех случаях он остался бы поэтом». И. I: «Только для одного занятия он явно не годился, для этого занятия его было слишком жаль, — он не годился для солдатчины». И. II: «Он мог быть всем, только не солдатом, ни в коем случае». И. I: «Но он им стал». И. II: «Но они из него сделали солдата».

Доподлинно известно, что этот самый Генрих, получив справку об образовании, называемую аттестатом зрелости, не мог в полной мере да, по-видимому, и не хотел воспользоваться плодами своей учености в означенный период — между апрелем 1939 года и августом того же года. Как и его двоюродный брат, он отбывал тогда повинность под эгидой организации, носившей ясное и четкое название «Имперский трудовой фронт»; начиная с мая 1939 года его иногда отпускали на побывку домой с субботы (11.00) до воскресенья (22.00); из этих пода-

ренных ему тридцати пяти часов в неделю он в общей сложности проводил восемь часов в поезде, а оставшиеся двадцать семь часов использовал на то, чтобы сходить с сестрой и с двоюродным братом на танцы, поиграть немножко в теннис, пообедать в кругу семьи и поспать часа четыре-пять; часа два-три он спорил с отцом, который хотел сделать для сына абсолютно все — и, безусловно, сделал бы, — чтобы спасти этого самого Генриха от предстоящего ему испытания, называвшегося в Германии воинской повинностью... Но Генрих этого не пожелал.

По свидетельству очевидцев, за плотно закрытыми дверями столовой между отцом и сыном разыгрывались нешуточные баталии; в это время госпожа Груйтен тихонько плакала, а Лени вообще не допускалась к отцу; и вот однажды, как показала в. Д., до нее явственно донеслись слова Генриха: «И раз все вокруг дерьмо, я тоже хочу стать дерьмом, дерьмом и еще раз дерьмом». Поскольку Маргарет твердо знает, что она дважды пила с Генрихом воскресный послеобеденный кофе в августе, и поскольку Лени (в виде исключения) сообщила, что впервые Генрих явился на побывку в конце мая, можно спокойно предположить, что в общей сложности он посетил отчий дом семь раз, стало быть, в общей сложности провел в кругу семьи примерно сто восемьдесят девять часов, из коих двадцать четыре ушли на сон, а четырнадцать на ссоры с отцом. Мы предоставляем самому читателю решить, можно ли счесть Генриха баловнем судьбы. Как-никак он дважды пил кофе с Маргарет, а через несколько месяцев провел с ней целую ночь. К сожалению, никаких других его высказываний, кроме слов: «А раз все вокруг дерьмо, я тоже хочу стать дерьмом, дерьмом и еще раз дерьмом», до нас не дошло. Но неужели этот юноша, у которого и по латыни, и по греческому, и по риторике, и по истории искусства была одна отметка — «оч. хор.», не писал писем? Писал. После долгих почтительных просьб, обращенных к в. Д., и многократных подношений — подносился в основном кофе и несколько раз сигареты «Виргиния» без фильтра (сия особа втянулась в курение шестидесяти восьми лет от роду и считает это занятие «восхитительным») — в. Д. согласилась наконец изъять на время три письма Генриха из ящика семейного комода, в который Лени редко заглядывает; с этих писем были немедленно изготовлены фотокопии.

* * *

Первое письмо помечено 10. X. 1939 года, то есть написано через два дня после окончания войны в Польше; в нем отсутствует как обращение, так и всякого рода ничего не значащие приветия в конце; письмо написано латинскими буквами, ясным, удобочитаемым, необычайно приятным и интеллигентным почерком, который был бы, так сказать, достоин лучшего применения. Письмо гласит:

«Основное положение: врагу не следует приносить больше вреда, чем это требуется для достижения военных целей.

З а п р е щ е н о:

1. Применение ядов и отравленного оружия.
2. Убийство из-за угла.
3. Убийство или нанесение ран военнопленным.
4. Отказ при просьбе о пощаде.
5. Огнестрельное и прочее оружие, которое приносит излишний вред. Например, пули дум-дум.
6. Злоупотребление белыми флагами (равно как и национальными флагами), военными знаками различия, военной формой врага, опознавательными знаками Красного Креста. (Но сами будьте бдительны! Не попадайтесь на уловки врага!)
7. Самовольное уничтожение или конфискация имущества врага.
8. Принуждение граждан — вражеских подданных — к борьбе против своей страны (например, немцев во «Французском легионе»).

Письмо второе, от 13. XII. 1939 года. «Исправный солдат ведет себя по отношению к своему начальнику непринужденно, услужливо, предупредительно и

внимательно. Не принужденное обращение выражается в естественности, расторопности и выказываемом удовольствии при исполнении служебных обязанностей. Как понимать услужливое, предупредительное и внимательное поведение, поясним на конкретных примерах. Если начальник входит в помещение и спрашивает о лице, которое в данный момент отсутствует, подчиненный не ограничивается отрицательным ответом; а отправляется на поиски искомого лица. Если начальник роняет какой-либо предмет, то подчиненный его поднимает (находясь в строю, лишь по прямому требованию). Если подчиненный видит, что начальник хочет закурить сигару, он подносит ему горящую спичку. Если начальник хочет выйти из помещения, подчиненный открывает перед ним дверь и без шума закрывает ее. Когда начальник надевает шинель или португую, когда он садится в машину или на лошадь, выходит из машины или спешивается, предупредительный и внимательный солдат приходит ему на помощь. Превеличайшая предупредительность и услужливость являются несолдатскими качествами (угодничество). Солдату это не к лицу. Он не должен также становиться на ложный путь, предлагая начальнику подарки или приглашая его в гости».

Письмо третье, от 14.I.1940 года. «Во время умывания верхняя часть туловища обнажается. Солдат моется холодной водой. Потребление мыла — показатель чистоплотности. Ежедневно следует мыть руки (неоднократно), лицо, шею, уши, грудь и подмышки. Ногти рук чистят ногтечистой (не ножом). Волосы стригутся по возможности коротко. Их причесывают на пробор. Кудлатые прически не подобают солдату (см. рисунок). (Рисунок к письму не приложен. Прим. авт.) В случае необходимости солдат обязан бриться ежедневно. Солдат должен являться свежевыбритым: для несения караульной службы, для осмотров, для рапорта начальнику и в особых случаях.

После каждого мытья следует незамедлительно растереться полотенцем (тереть кожу до покраснения), ибо в противном случае солдату грозит простуда, а если воздух слишком холодный, то растрескивание кожи. Следует иметь отдельные полотенца для лица и для рук».

* * *

Лени редко упоминает о своем брате; очень уж плохо она его знала и никогда не могла сказать о нем ничего существенного, она говорила только, что «испытывала страх перед ним, такой он был образованный», а потом «прямо поразила, какой он милый, просто ужасно милый» (засвидетельствовано в. Д.).

Сама в. Д. признает, что и она робела перед Генрихом, хотя он и с ней был «ужасно милый». Он даже помогал ей носить из подвала уголь и картошку и не стеснялся мыть посуду и т. д. И «все же... в нем было что-то такое... знаете ли, что-то такое... да, вот именно, что-то такое благородное... что-то очень благородное... и притом он был даже похож на Лени». Это «даже» требует, собственно говоря, подробных комментариев, которые авт. опускает.

«Благородный», «настоящий немец», «ужасно милый» — разве все это о чем-нибудь говорит? Ответ может быть только один: нет. Перед нами моментальный снимок, а не картина. И если бы не ночь с Маргарет в каморке на верхотуре во фленсбургском баре, не единственная достоверная цитата («дерьмо» и т. д.), если бы не письма и не заключительный эпизод жизни — когда этому юноше минул всего лишь двадцать один год, он был казнен вместе со своим двоюродным братом, казнен за дезертирство, за измену родине (связь с датчанами) и попытку продажи армейского имущества: боевых средств (противотанкового орудия), — если бы не это, нам не осталось бы ничего, кроме воспоминаний его учителей, двух попыхивающих трубками старичков-незудитов с желтой пергаментной кожей; не осталось бы ничего, кроме «цветка, цветка, который все еще цветет в сердце» Маргарет, да еще этого ужасного скорбного года — 1940/41. Итак, давайте считать слова Маргарет основным свидетельским показанием (магнитофонная лента): «Я ему говорила, чтобы он бежал, бежал со мной... Мы бы как-нибудь

перебились, я готова была на все, даже пойти на панель... Но он не захотел оставить своего двоюродного брата, тот бы без него пропал, да и куда бы мы могли бежать? А как там было отвратительно, настоящий бардак, эти кошмарные красные фонарики, плюш, и какая-то розовая дребедень, и еще похабные фотографии и прочее, да, это все-таки было противно. И он не плакал... И как это все случилось? Ах, это по-прежнему цветет во мне, цветет!.. И если бы ему даже стукнуло семьдесят или восемьдесят, я бы и тогда его нежно любила, а вместо этого они взвалили на него черт знает что... целый абендланд. Он и помер с этой гирей на шее — с Голгофой, с Акрополем, с Капитолийским холмом (безумный смех)... да еще с этим бамбергским всадником в придачу. Выходит, этот замечательный юноша жил ради сущей чепухи!»

* * *

Когда Лени спрашивают о ее брате, особенно заметив фотографию Генриха на стене, она обычно становится подчеркнуто сдержанной, эдакой важной дамой, а потом произносит странную фразу: «Вот уже тридцать лет, как он покоится в земле Дании».

Разумеется, мы сохранили тайну Маргарет, никто о ней так и не узнал: ни иезуиты, ни Лени, ни в. Д.; однако авт. считает, что на Маргарет надо воздействовать: пусть откроет свою тайну Лени; для Лени будет утешением знать, что ее брат незадолго до смерти провел ночь с восемнадцатилетней Маргарет. Лени, наверное, улыбнется, а улыбка ей отнюдь не помешает.

У авт. нет никаких данных, свидетельствующих о поэтическом даре Генриха, не считая вышеприведенных писем, которые, быть может, следует рассматривать как первые образчики «конкретной прозы».

(Продолжение следует)

Перевела с немецкого Л. ЧЕРНАЯ.



ПУБЛИЦИСТИКА

АРКАДИЙ САХНИН

★

ПОБЕГ ЗА ГРАНИЦУ

Из не очень солидных органов западной печати я узнал в 1964 году о том, что некий молодой человек Виктор Иванович Шишелякин сбежал в Японию для того, чтобы бороться против советского строя.

Второй раз его имя всплыло года три назад в связи с шумным судебным процессом во Франкфурте-на-Майне по какому-то уголовно-любовному делу, где он выступал в качестве главного героя. А в середине сентября 1972 года он сам рассказал мне в Бонне свою историю.

Говорил, на мой взгляд, откровенно, касаясь порой глубоко интимных вопросов, поэтому я спросил, не будет ли он возражать против опубликования нашей беседы. Он ответил: «Это можно, это пожалуйста», но только чтобы я не растолковывал его слов по-своему, а писал бы точно как он говорил. Так я и написал: точно как он говорил.

* * *

Я родился в тридцать шестом году в селе Каменка Тюменской области, Тюменского района. Меня часто били. Может, за то, что неохота было учиться, а скорее потому, что отец не просыхал. Правда, и в трезвом виде бил. Не везло мне в жизни с малолетства, потому что невезучим родился. Все-таки за шесть лет учебы до четвертого класса дотянул. Что же, думаю, так себя мучить. Бросил, к черту, школу и без малого два года жил свободно, без нагрузок. Но и на шею отца не сидел. В нашем колхозе бесхозяйственность тогда была полная, что хочешь, то и бери. Я и приносил каждый день.. Ну, не так, как другие,— целыми мешками, а чтобы вполне пропитание обеспечить. Вроде бы получается, удалось невезение стряхнуть. Да не тут-то было. В колхозе дела пошли на поправку, стало мне труднее. Ну, сам себе думаю, пора профессию понадежнее искать. Подался в Тюменское железнодорожное училище. А медицинская комиссия не пропустила, так как я не был развит ни физически, ни умом. А я так и думал, что опять не повезет. И тут стало внутри у меня все больше разгораться: зачем я родился? У каждого человека есть такое распределение заранее. Что ему положено, оно само выбьется наружу. И каждый сам в себе понимает, кем он должен стать и какие внутри у него силы. Учись не учись, а если ты, к примеру, не родился художником, ничем рисовать не будешь. А самые знаменитые художники без образования выходят. К примеру, Рубенс — это я уже потом, за границей, узнал — был совсем неграмотный. На своих картинах он вместо подписи белую лошадь ставил. Что ни нарисует, обязательно лошадку где-нибудь присобачит.

Вот так и я. Большую в себе силу чувствовал, только не художника или там музыканта. Меня путешествия с приключениями стали заманивать, как у разведчиков. Ездил бы из одной страны во вторую, в города с небоскребами и другой шикарностью, летал бы из края в край по всей земле и по морям-океанам, чтобы посмотреть все державы и государства. Вот в этом и была моя внутренняя тяга и сила, чтобы оторваться от невезения. Эх, будь я разведчиком, такое бы сделал... Ну, ясное дело, чуток подучиться надо, машины заграничные водить, фотографировать, шифры там разные по радио передавать...

На то и школы такие есть, где обучают всяким приемам. Обучат как следует, дадут заграничный адресок и пароль, которые в голове надо без записей помнить, и будьте любезны — на аэродром без провожатых. Задание, скажут, на месте получите. А там и начнется инкогнито. Едешь, вроде тебе ничего не интересно, а сам замечаешь, где какой завод, фабрика, аэродром и другие дела, которые по тайному заданию на месте дадут. Чтоб подозрения не вызвать, на ночевку в самые дорогие гостиницы заезжать, питание принимать в шикарных ресторанах и тоже не зевать, незаметно приглядывать — что к чему.

Ну, стал я расспрашивать, где находятся школы разведчиков, а сам время не терял, начал готовиться. Я и раньше любил кино про разведчиков смотреть, а теперь по второму кругу пошел. Не просто по любопытству, а примечать, где какие они ошибки делают, когда проваливаются. И все думал: как же здорово там, за границей, машины какие, а квартиры, когда цветные фильмы, хоть стой, хоть падай.

Расспрашивал людей про школы разведчиков, а они только улыбаются, никто не знает. А один говорит: «Чудак ты, парень, зря стараешься. В такие школы заявления не подают, надо, чтобы они сами тебя заметили и сами определили».

А как же они меня заметят? Может, их и нет здесь, может, они в Москве сидят... Безнадежное получается дело.

Вот так и произошло мое главное разочарование в жизни.

Не стал я больше спорить с отцом и устроился в Тюмени в ФЗО № 8, как он хотел. А какая может быть учеба, если по насилию пошел, да еще не в ту группу, куда сам хотел. Все-таки выучили меня на судоплотника и послали на Тюменский судостроительный завод.

Послали, а у меня раз оно внутри сидит, наружу все сильнее пробивается. Столько я про границу передумал, что отказываться от нее, вижу, нет расчета. Махну, думаю, туда, а смотришь, какой-нибудь случай и выведет в разведчики. И про эту мечту думал и днем и ночью, и не давала она мне покоя и разворачивала душу. Мечту свою от всех прятал, только один раз за столом сказал про нее, а мать ударила меня ложкой по лбу и сказала: «От тебя, дурака, ничего умного не дождешься». Ни мать, ни другие не понимали мою душу, и я стал молчком пробывать дальше свою жизнь.

Из Тюмени уехал во Владивосток и пристроился плотником на Дальзаводе. Поработал немного и перебазировался в Дальневосточное пароходство. Нет, думаю, не такой уж я дурак, если тайком сумел так быстро к цели приблизиться. Взяли меня матросом, значит, в плавание пойду за границу. Еще раз пожалел, что не стал разведчиком, — вот ведь как я сумел тайно действовать.

Отправился в рейс, а судно оказалось каботажным, дальше своих портов не ходит. Ну, сам себе думаю, не такой я дурак, чтобы сразу в загранку проситься. Стал терпеть, пока сами пошлют. А тут беда, про которую я и не подумал. Пришла осень — и забрали меня как мишенью в армию.

Пережил я тогда немало, вспоминать не буду. Всякие бродили мысли. И додумался до того, что, может, и хорошо это, что в армию. Отслужу, думаю, в ракетных войсках гвардейских, приеду домой, весь блестящий в знаках различия, выберу себе девушку из тех, что полюбят меня, женюсь и заглушу любовью свою мечту о границе.

В армии я попал в караульный взвод и охранял склад со старыми автоматами ППШ, и за плечами у меня был такой же старый ППШ. Старшине я почему-то не понравился, и все чаще посылал он меня на кухню мыть посуду. А там повар придирался: и то ему не так, и это не так, и вроде не все ему равно, в какие кастрюли наливать щи. Одним словом, сплавил меня в рабочий взвод, а там определили в котельную. Здесь уже особой чистоты не требовалось. Что они там про меня думали, не знаю, только комиссовали раньше времени, а чтобы вернее сказать, сократили из армии за год до срока.

После армии уехал в Таганрог, поработал месяца два и направился в Тюмень. Ни в Таганроге, ни в Тюмени никто меня не полюбил, а также я никого не полюбил. Хотя не знаю и утверждать не берусь, но, как мне показалось, счастья я не нашел, потому что невезение как клешнями в меня вцепилось, и чтобы оторваться от него раз и навсегда, один выход остался, какой я раньше наметил, — уехать за границу. Для

этой цели прибыл во Владивосток и поступил матросом в Дальневосточное пароходство.

Приняли меня без рассуждений, как-никак уже работал у них, от них в армию ушел, про то, как служил, им неизвестно, и полное мне доверие. Сразу на судно дальнего плавания назначили.

А дальше все как в сказке. Жизнь ко мне все задом стояла, а тут лицом обернулась. Выясняется, что в Японию идем. Ну, сам себе думаю, держись, Витя. Прибыли в Токио, и в первый же день стоянки отпустили в город на четыре часа. Правда, не одного, а пять человек, и старшего назначили. Так все кучкой и ходили.

И вот тут-то я окончательно удостоверился, что мечта моя была правильной. Бог ты мой, что в этом городе Токио! Глаза разбегаются, и не знаешь, куда смотреть. Машины — как волны в море. Колеблются по всей ширине и длине, магазины такие, что дух захватывает, хотя и день был, а огней разноцветных столько, будто радуги поразвесили. И девушки молоденькие, красивенькие, так ласково смотрят и знаки делают, зовут, улыбаются. И закружилось у меня в голове от этой шикарности, и иду я как контуженный, а сам себе думаю: только бы не выдать себя, чтобы старший ничего не учуял.

Заходили мы в разные магазины, но все кучкой, и затеряться от них не получалось. А я все сам себя успокаиваю, потому что хотя не трус я, а в дрожь меня все-таки бросало и очень потел. Для виду и я что-то стал покупать, а время уходило и старший сказал — пора возвращаться. Ну, думаю, завтра я уж по-другому буду действовать. А завтра не получилось. Под утро снялись в свой порт. И еще два рейса неудачных было, пока не перевели меня на «М. Урицкого». В Находке взяли иностранных туристов на Олимпиаду в Токио. Туда шло пять наших судов с пассажирами, которые останутся жить на судах, пока идет Олимпиада. Тоже и наш «Урицкий». Значит, стоять будем долго и момент высмотрю, спешить не буду.

В Токио на первую прогулку отправились четверо. Старшим назначили пятого помощника капитана. Это помощник по пожарной части. Он из новеньких, в Японии не был. И две девушки с нами были из судового ресторана, тоже новенькие. Я им и говорю: «Я город хорошо знаю, сто раз бывал тут. Я вам самые красивые места и самые дешевые магазины покажу».

Это я не просто говорил, а с полным сознанием. Как только посадили мы туристов, им планы Токио выдали. Где какие улицы, площади, стадионы — все помечено. А самой сильной краской все посольства всех стран выделили. И на каждом флажок нарисован. Вот такую карту я и раздобыл и все свободное от вахты время изучал ее в гальюне. У нас на судне плакат такой висел — флаги всех стран мира. Вот посижу, поизучаю флажки, потом с плакатом сверяю. Так я раскрыл, что самое близкое к порту это посольство Америки. Сто раз прошел по карте все улицы и переулки до него, где направо повернуть, где налево — все зарубил себе.

Вот в тот район я и решил, как Сусанин, завести группу. Ну, они пошли за мной, а все получалось не по карте. Там было ясно, а тут перекрестки какие-то, но все-таки где-то поблизости оно уже должно было появиться. И тут я говорю: «Давайте зайдём в этот маленький ресторанчик, тут посидим, перекусим, музыку послушаем». Дальше получилось, как я задумал. «Что ты, говорят, психованный, что ли? Что тебе, на судне мало еды или музыки, чтобы на это валюту тратить». На такой ответ я весь расчет и тактику строил. Ну, говорю, как хотите, а у меня желудок больной, мне надо по часам питание принимать, как раз сейчас время.

Договорились, что они пройдутся по улице и через полчаса встретимся у этого ресторанчика. Вот так я их и обвел вокруг пальца. Зашел, выпил стакан молока, выглянул, а они уже далеко были. Я и метнулся в другую сторону, свернул в переулок. Побегал с полчаса, совсем заблудился, и только сердце стучит. Что делать, не знаю, а тут смотрю — такси. Остановил его, сел, достал карту туристскую — я ее с собой брал — и ткнул пальцем в американское посольство. Сам молчу, чтобы не понял он, что я русский.

Шофер был старый, надел очки, стал смотреть, я еще раз ему пальцем показал. Он понял, тоже молча вернул мне карту и поехал. Оказалось, посольство совсем рядом, метров пятьсот. Я ему все-таки сто иен заплатил и вышел. Надежная ограда, два

японских полицейских у ворот, а во дворе вроде сада на здании громадный флаг — звезды и полосы, как на плакате судовом, только большой очень, больше наших знамен раза в четыре.

И тут что-то со мной стряслось. Нашел же, что искал, радоваться надо, а мне страшно стало. Ну, не так страшно, как если судно гибнет или там бандиты напали, этого я бы не испугался. А тут дух стало забивать, вроде дышать нечем. Будто не думал про это все время, не готовился, а только что такая мысль в голову ударила. И сил нету сразу идти туда. Быстро так в сторону направился, виду не подаю. Точно не скажу, не помню, но вроде вертелось в мозгах: «Что я, сдурел, что ли?» А вернее сказать, не было никаких мыслей окончательных. Перешибали они одна другую, и ни одна до конца не доходила.

Помню, когда первый раз попал в Токио, спустился по трапу, вышел на пирс — вот тебе и заграница. Судно мое советское, трап мой, а пирс уже по другим законам живет. Спустился на этот пирс и разницы никакой не почувствовал. А тут перед воротами — уже на чужой земле, а все-таки еще дома я, а один шаг за ворота сделаешь по той же самой земле — и уже на всю жизнь другая судьба-дорога. И судно на веки вечные чужое, и к трапу не подпустят.

Пошел, значит, в сторону, а далеко не уйду, круги возле посольства делаю. Сколько ходил — не знаю, может, пять минут, может, полчаса, о чем думал, тоже не знаю, только спохватился, что со спиной у меня что-то не так. Повел плечами и понял: она не то чтобы вспотела, а вся рубаха насквозь мокрая и прилипла к спине.

Тут и в голове прояснилось. Все-таки, думаю, невезение стало меня немного отпускать. Ребята на судне хорошие, дружные, меня уважают, девчата тоже, веселые, шумливые, их у нас много было — и в ресторане и в других службах. Самодеятельность хорошая, я в хоре пел, и тоже не на последнем месте. Друзьями обзавелся, в своем порту во Владивостоке в «Золотой рог» ходили вместе посидеть, потанцевать. Ну ее, думаю, к черту, эту Америку.

Думаю, а самого скребет. Зачем тогда мучился тайно, готовился? Почему отказываться от путешествий и приключений, если уже с таким трудом своего добился — вот они, все дороги, открылись. И опять про ребят подумал и в последний раз махнул — не пойду, вернусь на судно. Пошел было, но стал, как в стену уперся: а что мне теперь первый помощник капитана скажет, который пропуск в город выдавал? Это японские пропуска, их на всю команду дали. Может, не поверит, что я просто заблудился? Может, подумает, нарочно от группы отстал, чтобы сбежать с судна... И я повернул к воротам.

Полицейские остановили у входа, что-то спрашивают. Я им пропуск показал, они повертели его, посмотрели на меня и показали на дом: мол, можешь идти. Прошел по дорожке, поднялся на ступеньки, открыл дверь. Помещение большое. В коврах и люстрах, напротив широкая белая лестница. Справа солдат, слева за столиком девушка. Направился к лестнице, а девушка задержала, вопросы какие-то задает. Я ей тоже пропуск предъявил. Она смотрит и вдруг вся заулыбалась: «Русский, русский» — и побежала к шкафику. Она немного русский знала. Достает карту Токио и ноготком своим длинным в одно место тычет и объяснения дает наполовину по-русски, наполовину по-своему: ошиблись, говорит, вам вот куда надо, вот русское посольство, а вы вот куда попали — и все ноготком, ноготком красненьким тычет. А потом ведет свой ноготок по карте зигзагами, путь мне в наше посольство прокладывает.

Смотрю я, рот облизываю, а он сухой и шершавый, будто пленкой клеевой покрыт и она вся чисто потрескалась. Хочу глотнуть, а глотать нечего. Последняя, думаю, распоследняя надежда домой вернуться. Может, это моя судьба ноготком водит. Может, это не в посольство, а в жизнь мою дорога прокладывается. Может, и правда пойти туда и сказать: так, мол, и так, заблудился, помогите поскорее на «Урицкого» попасть, а то скоро на вахту заступать... А вдруг видел кто, как сюда заходил? На явку, подумают, являлся...

Пока стоял я как тупой, она переводчика вызвала, что-то пролепетала ему, а я так и выпалил: «Не ошибся я, сюда шел».

Повели меня куда-то, а я все стараюсь по бровке ковра без нажима ступать, чтобы не затоптать его. Посадили к столу, напротив — посол или консул, в точности

сказать не могу, не знаю. Переводчик рядом. И спрашивают меня, кто такой, откуда и зачем пришел. Я все объяснил как есть на самом деле: матрос, мол, но хочу жить и работать за границей, лучше всего в Западной Германии, но согласен во Франции или Италии.

Улыбнулись они и спрашивают, кем бы я хотел работать. Плотником, отвечаю, маляром или матросом. Они опять заулыбались: «А что, у вас такой работы нету или вы плохо жили?» Почему же нету, говорю, работы сколько хочешь, и жил в последнее время хорошо. «Тогда, мистер Шишелякин,— говорит этот посол или консул,— вам здесь делать нечего, и мы доставим вас на ваш пароход или вызовем сюда вашего капитана, объясним, зачем вы сюда являлись, и пусть сам забирает вас».

Сказал он эти слова, и теперь не спина, а все лицо, чувствую, потом покрылось. Вижу, будто поднимаемся мы с капитаном по трапу на «Урицкого», а весь экипаж, и коридорные, и буфетчицы — все высыпали на палубу и смотрят, как мы поднимаемся. А капитан говорит: «Вот он, полюбуйтесь, предатель и изменник родины». А они не любят, каждый будто в лицо хочет плюнуть или в морду дать.

Увидел этот посол или консул мое внутреннее сотрясение и говорит: «Чтобы остаться за границей, надо политическое убежище просить. Нужны объяснения серьезные и обоснования. Например, притеснения со стороны властей, гонение на вас или родителей, родственников, аресты, тюрьма, а главное, что вы не согласны с советским режимом и с коммунизмом».

Вот, выходит, как дело оборачивается. Ни назад хода нету, ни вперед. В дрейф ложиться надо, куда волна вынесет.

Все-таки собрался с силами и говорю: «Если иначе никак нельзя, делайте как надо, а мне уже все равно».

Потом за мной приехали японцы из министерства иностранных дел и других органов. Они увезли меня в отель и поставили в комнате штатскую охрану, чтобы меня не украли советские агенты или кто-нибудь другой.

Утром пришли другие люди и дали подписывать какие-то бумаги. Стоп, сам себе думаю, какие это такие еще бумаги, а сам иду, подписываю. Да стоп же, сам на себя кричу, куда ж меня водоворот закручивает? А они только подсовывают, а я все подписываю не глядя, как в кинохронике на международных договорах. После заполнял формуляр и отвечал на вопросы. Мне показывали разные графы и говорили: «Вот тут пиши «да», а тут пиши «нет». Я так и делал. А дальше я мало что помню. Каждый день меня куда-то возили и расспрашивали про заводы, фабрики, про Владивосток и Находку и особенно про службу в армии. Ну что я им мог сказать, когда я ничего не знал. Про старые ППШ сказал, не верят, про то, что ничего не знаю, тоже не верят.

На второй или третий день кто-то постучал в дверь не по-условному. Меня быстро затолкали в ванну, и со мной остался один из охраны. Выяснилось, что меня ищут журналисты, чтобы я подробнее рассказал про коммунистический ад, о чем было с моих как будто слов сообщено в печати. Часов в пять утра меня подняли, вывели черным ходом и увезли в другой отель.

Здесь за чашкой кофе текла у нас непринужденная беседа. Меня спросили, могу ли я перечислить фамилии всех членов экипажа и сказать, кто чем занимается. Я не мог, так как было много новеньких. Тогда мне дали судовую роль всех членов команды, и я отметил ребят, которых знал. Потом принесли целую гору фотографий. Здесь были карточки всех членов команд всех пяти советских судов, стоящих в Токио, а также спортсменов и туристов, живших на судах. Также были сфотографированы все японцы, посещавшие советские суда, — и гости, и чиновники, и все, кто ступал на борт этих судов. Мне велели отложить снимки тех, кого я знал. Я так и сделал. Они стали расспрашивать о каждом из них.

Потом мне сказали, что представители экипажа «Урицкого» хотят со мной поговорить, и велели подписать бумагу, что я отказываюсь. Хорошо, что велели отказаться. А вдруг заставили бы встретиться! Что говорить им? Куда глаза прятать? Может, первая то была бумага, какую я охотно подписал. Еще несколько дней допрашивали, им не верилось, думали, просто под дурака играю. Когда убедились, что толку от меня мало, передали западногерманским немцам. Перед этим переводчик по-дружески ска-

зал мне: «Американцам ты не нужен, в Японии тебя тоже не оставят, поэтому постарайся понравиться немцам. А они очень подозрительно отнесутся к тебе».

В немецком посольстве меня посадили за круглый стол, было много людей, и я думал, как мне отвечать на их вопросы. В это время быстро вошел их главный, все расступились, и он строго сверлил меня своими глазами и так быстро задавал вопросы, что я не успевал отвечать. Потом так близко наклонился ко мне и сказал резко, как приказ: «Тебе надо вернуться назад».

Я не ждал такого, но быстро сообразил, что это игра, которая входит в их политическую логику. Им теперь выгодно на весь мир шуметь, что советские моряки бегут в ФРГ. Не такой я дурак, чтобы не понять, чего они хотят. Поэтому вскочил и закричал: «Нет, не вернусь!» Они заулыбались, стали успокаивать, говорить, чтоб не боялся, никто меня коммунистам не отдаст. Что же я делаю, думаю... А, черт с ними! Они пятьдесят лет так шумят. А в моем-то положении еще думать о чем-то...

Тогда и наступил главный вопрос: почему хочу именно в ФРГ и что я о ней знаю. А что я знал о ней? Ничего хорошего, только плохое. И вдруг стоп, сам себе думаю. Вспомнил последнюю политинформацию на судне. По ней прямо и пошел. Правительство Эрхарда, говорю, ведет борьбу с коммунизмом не на словах, а на деле. Вот запретили компартию и другие их органы, многих коммунистов посадили в тюрьму. Это, говорю, хороший пример от Гитлера, он тоже так начинал и его поддерживал весь германский народ. Гитлер, говорю, каждому человеку дал хорошую работу, не стало безработицы, а проиграл войну только случайно... И тут один недоделок перебивает меня и спрашивает: «А ты нормальный? Ты один такой в Советском Союзе или еще есть?» Эти слова показались мне обидными, но я помнил предупреждение переводчика, обиды не показываю и говорю: «Вполне нормальный, и не я один такой».

Больше в тот день меня не трогали, зато за несколько дней потом всю душу выворотили своими вопросами. Снова отвезли к японцам и там сказали: «Сейчас у тебя будет встреча с советским консулом. Отказаться никак нельзя. Но ты не бойся, будут наши представители и охрана. Разговор будет ровно десять минут. Главная твоя задача вопросов не задавать и молчать. Десять минут как-нибудь потерпишь». Нарисовали план комнаты, вот с этой стороны стола, говорят, консул будет сидеть, вот здесь ты, а тут и тут охрана и другие представители. Потом долго объясняли, что, если поддамся на пропаганду консула, дома меня без суда расстреляют, вроде такой закон есть.

Когда вошли мы в ту комнату, человек десять, консул уже в назначенном стуле сидел. Совсем молодой, лет тридцать с чем-то. Вот, думаю, как везет людям. А он поздоровался со мной, развел руками и, улыбнувшись, говорит: «Что же так много народу, не подеремся же мы с ним, как думаете, Виктор Иванович?» Нет, говорю, не подеремся.

Ему объяснили, что все это официальные представители. Консул справился о моем здоровье и самочувствии, а также сказал, что вся команда за меня очень переживает и что они все меня ждут на судно.

Я чувствовал и понимал, что консул говорил правду. Я знал, вся команда относилась ко мне хорошо, а может быть, даже с уважением. Я еще не успел ответить, как заговорили разные представители, они вроде упрекали консула за пропаганду. Так в суматохе прошли десять минут, консул успел сказать мне еще одну фразу, которая мне запомнилась на всю жизнь и на каждый день. Я сейчас ее повторю, но когда прошло десять минут, все вскочили и со всех сторон оттеснили от консула и почти что вытолкали побыстрее за дверь.

На другой день — про это я не скоро узнал — всякие газеты и радио кричали, что бежавший от советского режима матрос оказался стойким борцом против коммунизма и дал решительный отпор советскому консулу.

Потом приезжали по очереди американский и немецкий консулы, чтобы попрощаться со мной и сказать напутствие. Американец объяснил, какая сильная, богатая и надежная страна Америка и как хорошо там живут люди. На прощание сказал: «Помни и знай: Америка всегда за твоей спиной, и что бы с тобой ни случилось, ты найдешь помощь, поддержку и содействие». На память он сфотографировался со мной. По-

том приехал немецкий консул доктор Шмидт и говорил то же самое про ФРГ и тоже пожелал иметь на память нашу с ним фотографию.

Я понял, что моя жизнь будет обеспечена.

Перед отъездом в ФРГ получаю инструктаж. Сказали, что меня будут провожать торжественно, даже фотографы придут. Должен быть бодрым, глубоко-мысленно-деловым, в меру веселым. На аэродроме к самолету должен идти быстро, но не бежать, ни с кем не вступать в разговоры, не отвечать на вопросы. Когда поднимусь на верхнюю площадку трапа, спокойно и величественно повернуться лицом к публике, снять шляпу — мне уже выдали ее, хотя на мою голову она не лезла, — помахать ею красиво над головой, потом решительно повернуться и исчезнуть в самолете.

Мне это здорово на душу легло. Так же только в кинохронике провожают важных лиц. Ну, думаю, с этим-то я справлюсь, важности напустить на себя сумею. Инструктаж давали американцы, хотя отправлялся я в ФРГ. Эта мысль промелькнула и не задержалась в голове: какая мне разница. Когда мы спустились, меня затолкали в машину в полном смысле, потому что я ослеп от вспышек фотографов. Со мной сели двое, а остальные разбежались по другим полицейским машинам, и на большой скорости, с воем сирен мы понеслись на аэродром. Там я увидел множество полицейских, а также толпу людей. Когда я вылез, меня снова ослепили вспышки, и я пошел не туда. Меня поймали за руку, повернули, подтолкнули в спину. Я торопился, спотыкался, как слепой, наткнулся на полицейских, которые направляли мое движение. А я держал на голове шляпу рукой, чтобы ее не сдуло с макушки. Возле трапа опять ослепили, и я побежал наверх, чуть не упал, но, как мне было велено, на площадке сделал разворот, размахнулся в воздухе шляпой и, не надевая ее, вошел в самолет. У входа стоял человек, который показал, где мне сесть.

Тогда я не понимал, почему такие проводы, почему столько машин, бешеная скорость, сирены, вспышки фотографов. Спустя много времени узнал, что это им надо было для печати, для выгоды своего политического акцента как важного борца против коммунизма.

С посадками на Аляске и в Амстердаме, с разными приключениями я прибыл во Франкфурт-на-Майне и был поселен в однокомнатной квартире необитаемого дома на Мендельсонштрассе. Это был конспиративный дом американской разведки. Среди встречавших меня был американец Линдон, говоривший по-русски. Он познакомил меня с американским разведчиком Вагнером, который будет обо мне заботиться. Кто такой Вагнер и что это за дом, я узнал позже, а пока мне запретили выходить из дома, не велели приближаться к окнам, так как русские агенты могут меня застрелить. Объяснили, на какие звонки и стуки отвечать, пожелали спокойной ночи и ушли.

За столько времени я остался один и хотя не верил, про что они говорят, но стало страшновато. Весь трехэтажный дом стоял как пустой. Так я определил в первые три минуты и так заключил через три месяца, что это только кажется. На самом деле во всех углах тихо сидели люди — или такие, как я, которых прятали, или которые сами прятались, следя за нами. Долгие дни, и ночи, и недели, и месяцы я никого не встретил в этом большом доме и не услышал шороха. Но в тот первый вечер мне показалось, что кто-то сидит за стенами, может, в этих стенах и на потолке устроены глазки и они поворачиваются за мной, куда бы я ни пошел.

Может, все это чепуха, но я рассказываю про это, чтобы вы поняли мое внутреннее содержание. Я подумал: возможно, сойду с ума или уже стал сумасшедший, — и нарочно стал громко ходить, пошел в ванну, на кухню, открыл холодильник и даже ахнул. Весь он был огромный и полный самыми любимыми продуктами питания и бутылками.

И тут я отвлекся от своих мыслей и подумал: вот бы ребята увидели, как я живу, как барин, с креслами, коврами, ванной и таким холодильником, что на весь экипаж хватило бы. А потом опять мне глазки чудились, я резко поворачивался, но ничего заметить не мог. Спал я, как осенний дождик: то идет, то перестает. То дремлет, то спохватываюсь, а то вижу, что лежу и давно не сплю. Когда на следующий день позвонил Линдон и справился о самочувствии, я обрадовался, как родному голосу. Он сказал, что, наверное, я скучаю, поэтому сейчас ко мне придет Вагнер. Он и приехал, вежливый, обходительный, веселый, и мне стало совсем хорошо. Он тоже говорил по-рус-

ски, мы сделали кофе, и потекла у нас задушевная беседа. Говорили мы на равных, я тоже старался и, как он, клал нога на ногу или разваливался в кресле с чашечкой кофе в руках. На столе было много закусок, и опять я подумал про ребят.

Основательно говорил только Вагнер, а я больше прислушивался и имел на его слова свое соображение. Получалось, что русские агенты стоят чуть ли не у дома и вообще повсюду расставлены и охотятся за такими, как я. А уж если человек сам вздумает вернуться в Россию, его обязательно признают шпионом и без всяких разговоров расстреляют.

Это я вам рассказываю сокращенно, а он про все это во всех мелочах часа три беседовал. Зря только он говорил, потому что я и сам кое-что понимал, а также выходить из квартиры намерения не имел и возвращаться не собирался. Я уже для себя решил без изменений: жилье хорошее, ешь, пей сколько хочешь, а там видно будет.

На другой день начались допросы. Нет, неверно, допросов не было. Допрос — это когда так строго, официально, с протоколами... А тут просто беседы. Про политику, экономику, литературу, комментарии на различные советские газеты, журналы, книги и членов Советского правительства. Сюда также входят различного рода рассказы, анекдоты, женщины, все это последовательно закрепляется пивом, виски, кофе — кто что любит. А потом завершается общим обедом за общим столом. Такие беседы растягиваются на много месяцев. Но тогда я еще этого не знал. Тогда я только в первый раз пожалел, что нет у меня образования. И когда заходил разговор о музыке или литературе, говорил, что больше всего люблю Чайковского и Пушкина. Когда же начинали разбираться досконально по отдельным стихам или по мелочам музыки, я выражался общими словами, но думаю, они подозревали, что в этих делах я компетентный неокончательно. Я старался все больше по частям анекдотов, и они всегда смеялись. В промежутках мне задавали много вопросов.

Иногда два-три человека сразу задавали один и тот же вопрос, только в разных вариантах, или один и тот же вопрос, но разные люди. Беседы были на квартире, но чаще всего в другом особняке, куда меня привозили на машине, и там нас обслуживала фрау Габбе.

Меня спрашивали про то же, что и в Токио, — о питании на судне, о тревогах на судне, о комсоставе на судне. Потом о Владивостоке и Находке. Какая глубина бухты Золотой Рог, заходят туда или нет подводные лодки, какие ворота бухты, как они охраняются, есть ли там ракетные корабли — и сто раз про одно и то же. Потом вели нарисовать по памяти бухту Золотой Рог. А я даже не знал, как приступить. Зря наболтал им, что у меня десятилетка и морское училище окончил. Они ушли, а я стал думать, как рисовать. Думал, думал и здраво и логически сделал полное заключение, что они меня испытывают. Бухта Золотой Рог на всех морских картах есть и, наверно, в разных атласах и учебниках, и они лучше меня знают про эту бухту. А вопросы задают, чтобы проверить, правду я говорю или обманываю. Поэтому на другой день виду не подаю, показываю, что я там нарисовал, и очень стараюсь хорошо отвечать на вопросы.

Они поняли, что я не ловчу и человек честный, и сразу перешли на вопросы, которые им были нужны, а именно про Тюмень. Спрашивали про места нахождения газа, нефти, о научных институтах, лабораториях, о которых я не имел понятия. Потом про заводы, фабрики Тюмени, какую продукцию какие фабрики выпускают, какие настроения и о чем говорят рабочие, о воинских частях, ракетах, училищах, радиостанциях. Не брезговали ничем, даже кинотеатрами, клубами, больницами. Даже глазная больница им зачем-то понадобилась. И где, на какой улице что находится, и какого цвета эти здания, и сколько этажей. Тюменью они интересовались так досконально и упорно, что каждый дурак уже мог понять, какую агентуру они собираются туда забрасывать. Про Тюмень они мучили меня не одну неделю, а я, как ни старался, толком ничего не мог сказать, потому что был там совсем давно. Они заставили меня чертить улицы, расположения улиц и площадей, реку Туру.

Под конец третьего месяца я уже не мог спокойно разговаривать, потому что они вымотали из меня всю душу и выжали, как сильная прачка выкручивает белье, а потом вытряхнули, намочили и опять стали выжимать.

Исходя из принципа своего возмущения, я пожаловался Вагнеру. Сказал, что скоро сойду с ума, а точно не знаю. может быть, я уже сумасшедший, и у меня не осталось ни внутренних, ни наружных сил. Сижу, как в тюрьме, дома, или увозят на закрытой машине, как арестованного, на допрос и опять сюда. Я выдавал не стесняясь, потому что долго терпел и знал, что Вагнер за меня заступится, поскольку с самого начала он обрисовал мне хорошую жизнь, про что я ему без утайки напомнил.

Вагнер слушал внимательно, сам молчал и только качал головой, также выражая сочувствие. Когда я ему все выдал как следует, он сказал, чтобы я перестал разыгрывать из себя дурачка и дурачить их. Они меня кормят, поят, одежи, обуви, им дорого обходится моя квартира с ванной, а взамен я ничего не даю. Таким сердитым я его не видел, тем более когда он говорил, что я их очень подвел. Они объявляли несколько раз в печати и по радио, что вот такие честные и умные люди, как я, не могут жить в советском режиме и бегут за границу, чтобы бороться против этого режима, и на весь мир напечатали мои заявления по этому поводу, которые я сам написал, а больше ничего не делаю и не борюсь, и тогда неизвестно, зачем я сюда приехал и почему они должны меня поить и кормить.

Я весь закипел, и внутри у меня до самого горла все закипело, но я понял, что переборщил, а выдержка у меня большая, поэтому виду не подал и молча притих.

Он заинтересованно, долго смотрел на меня, а я смотрел в землю, чтобы не повредить стратегию своего молчания. Стратегию я выбрал правильную, и хотя для слов он сказал, чтобы я не становился овсяной кашей, которую можно по тарелке размазывать, а для дела проявил полную капитуляцию. Сказал, что познакомит меня с двумя русскими парнями, такими, как я сам, разрешил ходить к ним в гости и предоставил самостоятельную работу.

Да, я забыл сказать, что у меня с первого дня все было завалено любого выбора антисоветской литературой — «Русская мысль», «Грани», «Посев» и всякие книги. Были вырезки и из советских газет, но только отрицательные. Один раз другой американец, Андерсон, который велел мне все читать, спрашивает, как мне понравился «Посев». Я честно сказал, что нет, не понравился, потому что они не умеют работать. Конечно, кое-что пишут похожее, а остальное придумывают нескладно или совсем глупо. Андерсону это было обидно слушать, потому что они вкладывают большие доллары. Все-таки, чтобы он не переживал, я добавил, что одно направление мне очень нравится как чистая правда. И на самом деле, я его в каждом номере газеты искал и полностью перечитывал, потому что в советских газетах такого ни за что не напечатают. Я себе даже кое-что на память вырезал. Вот почитайте, вот видите, сбор денег объявили. А кто объявил, посмотрите: «Союз Ревнителеев Памяти Императора Николая II и состоящий под Августейшим Покровительством Его Императорского Величества Главы Императорского Дома Комитет по сооружению Лампады у Креста-Памятника Государю Императору Николаю II в Православном соборе в Ницце». А самое интересное, когда они про свои собрания сообщают. Там таких собраний и всяких организаций тьма-тьмущая. Видите: «Объединение Императорской Конницы и Конной Артиллерии», «Объединение бывших чинов Собственного Его Величества Сводного Пехотного полка»... много таких. А то совсем чудные. Еще живы, оказывается, и тоже собираются, смотрите: «Фрейлины Их Императорских Величеств Государынь Императриц». Смех один, а интересно про это читать.

Про тот разговор с Андерсоном теперь вспомнил Вагнер. Сказал, как я тогда верно подметил, что главные статьи у них получаются придуманными. Они пишут по отрицательным вырезкам советских газет, а из России уехали давно и свои добавки и переделки выражают таким стилем, какой был в России десятки лет тому назад. Получается мешанина и чепуха. А то, что из головы придумывают сами, забывают, какая теперь Россия развитая, и выходит очень глупо. Потом хотят выкрутиться — и уже совсем ни на что не похоже.

Вагнер говорил, что хотя я не журналист, у меня должно хорошо получиться, потому что я только приехал. Направление надо держать, как у них, но из собственной жизни, с участием вырезок, и получится как правда. Если я с этим делом справлюсь, он устроит меня работать на их радиостанцию «Свобода» в Мюнхене. А там очень много платят и дают дешевую квартплату.

Я прикинул, что если он так идет мне навстречу, постараюсь всюю. Так ему и сказал. На другой день повел меня в одну квартиру, метрах в ста от моего дома, и познакомил с Женей и Иваном, которые там жили с одним американцем. Это были хорошие, грамотные ребята, после техникума и опытные механики. Они работали не то приемщиками, не то на какой-то стройке или заводе в ГДР, чего-то не поладили со своим же начальником, а оба гордые и сбежали сюда.

Ну, вместе с Вагнером мы закатили ужин на славу. Потом стали часто встречаться у меня или у них. Днем я читал антисоветскую литературу, а после двенадцати ночи ходили в ночной бар или на стриптиз. С нами еще был американец, который жил с ребятами, парень хороший, никогда нам не мешал, старался уйти в сторонку, чтобы мы не стеснясь разговаривали. А только каждый себе на уме, и разговаривали мы осторожно. Кто чем занимается, не интересовались. И фамилии не спрашивали. Если один скажет про американцев или немцев положительный пример, обязательно второй и третий его поддержат. Каждый думал: может быть, другой выдает себя не за того, кто он есть, а приставлен для выяснения настроения. Я даже не один раз произносил посевские антисоветские фразы. Так-то оно верней.

Дешевый стриптиз придавал мне отвращение, а на дорогой не было денег. Ночные бары тоже не завлекали, и я не принимал больше гуда приглашений. Всего раза три или четыре ходил. Вечером мы просто гуляли, уже без охраны американца.

А потом у меня появилось много новых знакомых, потому что Вагнер или кто-то еще посоветовал сходить в русскую церковь. Маленькая такая деревянная церквушка в районе Индустрихоф. Там собираются эмигранты антисоветской организации энтээсов. Вообще-то они не организация в смысле там партии, профсоюза или объединений, про которые я вам в газете показывал. Я потом с ними со всеми перезнакомился. Они просто состоят на службе по выпуску антисоветской литературы и других провокаций. Правда, получают за это много.

За границей такой способ часто применяется. К примеру, числится хозяином фирмы или магазина какой-нибудь чужак, а на самом деле он подставное лицо и только на службе состоит. Настоящий хозяин совсем другой, и по какой-то своей выгоде ему невыгодно раскрываться. Само собой, подставному не зарплату платят, а порядочные деньги.

Так вот и энтээс. Американцам выгодно, чтобы вроде не они хозяева, а энтээсы будто сами по себе существуют. А на какие шиши, спрашивается, им существовать? Всякая их литература, как «Посев» или другие, хотя цена на них проставлена, для торговли не подходят. Никто не купит. Они свою продукцию бесплатно раздают, а тем, кто раздает, комиссионные насчитывают. Одни по-честному советским туристам норовят всучить, или людям в почтовые ящики втискивают, или по почте отправляют. А другие с ходу на далекие свалки тащат, а говорят — роздали, чтобы комиссионные получить...

Ну, пошел я в первое воскресенье в церковь, смотрю, молебен служат. Он заключался в том, что вспоминали различных князей, поминали царя, «многострадальную Россию», перечислялись фамилии больных. Молебен служил священник граф Игнатъев, он же отец Леонид.

Потом подошла ко мне одна старая бабушка и говорит: «Вы Виктор?» Да, отвечаю, Виктор, а сам думаю: откуда она меня знает? «Ну, пойдемте,— говорит,— я о вас слышала». Это была бабушка Горачек, называли ее Петровной. Служба уже кончилась, она меня познакомила со своим сыном Владимиром Еромировичем. Он в «Посеве» самый главный или около этого, с его женой Ниной Викторовной — очень хорошая женщина. Потом, когда меня крестили — я расскажу про это.— она мне сама белую рубашу шила. С Артемовым познакомила, тоже шишка у пих большая, а потом эта бабушка подводит к графу Игнатъеву и говорит: «Батюшка, это новенький». И его жена графиня Алла Владимировна тут же была, ручку мне подает. Она тоже начальница в Толстовском фонде, так он называется.

И думаю я: как времена меняются. Раньше бы графы и князья близко к себе не подпустили, не то что ручку, а тут заслужил такой почет. Все-таки интересно мне за границей становилось.

В то воскресенье произошло самое главное. В церкви я молодежи не видел, а во дворе были и ребята и девушки — дети энтээсов. Меня со многими тогда познакомили. И вижу вдруг — стоит одна такая красивая, каких я еще не видел. И не то чтобы намазанная, а от природы такая. И фигурка такая же невозможная. И с ней меня познакомили. И так она на меня ласково смотрит своими глазами, что просто сердце захочется. Я думал, она русская, оказывается, немка. Родители в деревне, она студентка, все время жила в семье Мозговых — это тоже энтээсы — и подрабатывала на пропитание в «Посеве». Русский язык знает, как мы. Теперь живет отдельно, имеет квартиру.

Вижу, и ей со мной интересно. Мы стали гулять возле церкви, она мне свой телефон дала, просила звонить.

Я стал встречаться с Карин. Так звали ту девушку. Фамилия ее Локштедт. После третьей встречи я уже видел, что она в меня влюбилась окончательно. Пригласила к себе на квартиру. А там так уютненько, так тепло, как она сама. Приготовила ужин, виски поставила, хотя я не любитель пить, но и сам на всякий случай бутылочку прихватил. А она все хлопочет, все красиво расставляет, и свет в комнате голубой и тихий — верхний она выключила.

Эх, не знал я, какую она судьбу в моей жизни сыграет.

Тогда я первый раз остался у нее ночевать. А утром поспешил домой, потому что мог прийти мистер Вагнер. Он опять был недоволен, что долго пишу. Я честно старался, а никак не получалось. Тогда хитро придумал одну штуковину. На обратной стороне, где были две заметки и фотографии, оказалась статья Юрия Жукова про НАТО. Я ее переписал и там, где было «НАТО», ставил «Варшавский блок». Не подряд, само собой, а чтобы смысл выдержать. По-моему, хорошо получилось, что из-за этого блока весь мир будоражится. Сам бы я, конечно, не дошел до такого, но от посевцев научился. Они всегда с большой головы на здоровую перекраивали. Ну, а чем я хуже, думаю.

Вагнер забрал мое произведение, а дня через три вернул, говорит, написано складно, а лучше бы я про себя писал и про то, что сам видел — с помощью вырезок.

Прошло еще время, а у меня опять не получалось и некогда было. Меня очень приголубила семья Горачеков, они рядом жили, на Котенхофштрассе. Я приходил туда почти каждый день, или с Карин обедали там. Ее все хорошо знали. К Горачекам приходили часто его кореша по службе. Отец Леонид бывал, здоровый такой старик с белой бородой, а пил лихо, как офицер, и матерился здорово. Светланин приходил редактор «Посева». Фамилия ему Лихачев, а Светланин — это по какой-то его бабе, Светлана ее звали. Живот огромный, руки на живот положит и пальцами крутит то в одну сторону, то в другую. И хихикает. Он никогда не смеялся, только хихикал. Председателя энтээсов Поремского не раз видел у Горачеков. Этот все больше молчал. Поломает пополам сигаретку, одну половинку обратно в портсигарчик, а вторую в мундштучок. До самого конца докуривал. А потом булавочку вытащит — она у него всегда на уголке воротника между шовчиком и пиджак заколота — и выковыривает окурочек. Теперь его на задние роли Артемов перебрал. У них там все время потасовки за главные места. Мне Карин подробно рассказывала. Один раз до того подрались, что два энтээса получилось. И вместо того чтобы антисоветскую деятельность пропагандировать, они друг против дружки пошли. А без того там тьма эмигрантских разновидностей между собой схватывается. Американцы все-таки нашли выход. Той половине, что поменьше была, чтобы дешевле обошлось, отступного дали к условию поставили: пусть совсем уезжают и больше не вмешиваются. Ну, те не дураки, согласились. Должно быть, немалые доллары отхватили. К примеру, невелик был начальничек Андрей Тенсон. Я его тоже у Горачеков видел, а ему — десять тысяч как на тарелочке. Хитрый мужик, денешки протюрюкал и опять приполз. Правда, не то чтобы пропил или там на баб, он себе в Мюнхене бензиновую колонку купил, а сам к делу не приспособлен. Вот и прогорел. В начальники его, само собой, не пустили, а взять взяли. У них на американской радиостанции «Свобода» свой энтээс сидит — Гаранин, к нему в русский отдел и сунули. Теперь он там работает, а к энтээсам сюда за материалами и для связи ездит.

Ну, это я уже в сторону от своей жизни пошел. Скажу только, что немало я в том котле поварился. Они ведь меня сразу за своего признали. Должно быть, на мой

счет им протекцию Вагнер сделал. Для отвода глаз он мне не советовал с ними связываться, а сам же и направил туда. Они мне особых вопросов не задавали, но я видел, они без вопросов все про меня знали. А может, Карин какое ручательство дала, я ей все про себя рассказал. А про нее я все больше задумывался. Думал, ей меньше лет, а получилось, она уже лет десять студенткой числится. Учебников или тетрадей у нее не видел, а целый день с утра до ночи все какие-то дела, все торопится и дома не сидит. А если дома, так телефон звонит, хоть провод оторви.

Один раз обедал я с ней у Горачеков, и отзывают меня в другую комнату Артемов и Околович. Тертый мужик этот Околович. На все разведки мира работал и ни разу не попался. Перед войной, говорят, перешел границу в СССР, полстраны объездил и спокойно вернулся. А в войну в смоленском гестапо служил, и тоже не поймали. А приметный он здорово. Росточка совсем маленького, а лицо длинное, нос длинный, с горбиком, и сам сутулый. А вот выкрутился из всех оказий и прочно в энтээсе засел. Ему уже лет семьдесят, а все еще шебуршится.

Так вот он и Артемов предложили мне поработать в «Посеве». Нам, говорят, позарез молодежь нужна. Какую работу делать, не намекают, все больше на деньги удареение делают. Помогать, говорят, вам будет Трушнович, человек опытный, не одного уже в люди вывел. На другой день ко мне сам Трушнович пришел. Будем, говорит, с вами книгу вашего жизнеописания делать. С самого дня рождения простого русского парня, который сам перенес муштровку в советской школе, колхозные ужасы, рабский труд на пароходе, недовольство в армии и сам нашел выход — уехать за границу и ботряться.

Вон, значит, куда хватили. Сами-то энтээсы как подставная фирма у американцев работают, а меня хотят еще под себя подстелить, под моей маркой свою продукцию выпускать. А я уже этих жизнеописаний посевских читался. Такое пишу, что только плюнуть и растереть. И чтобы под таким моя фамилия стояла?

И не для того я приехал, чтобы бороться против своих. Я хотел посмотреть мир, попутешествовать, узнать, где лучше всего живут люди. Правда, наговорил уже с самого Токио немало, только одно дело говорить таким, как они, пусть уши развешивают, а другое — книгу враждебную выдумать. А вдруг она к ребятам на «Урицкого» попадет? Судно ведь по всему миру ходит и сюда очень просто может заявиться. Они ж меня живого или мертвого найдут и пришибут за любую ответственность. Трушновичу, конечно, про это молчу, а он видит, что я злюсь, и быстренько так прощается. А назавтра опять заявился.

Веселый такой. «Ну что,— говорит,— сегодня начинать будем»; вроде на мой отказ ему наплевать. Я молчу, слова подбираю. А он меня весело по плечу похлопал и говорит: «Давай, давай, Витя, хватит тебе от американцев подачки принимать да с их рук высматривать каждый пфенниг. Книгу напишем — вот тебе и машина, и квартира, и на девочек останется». Говорит, а сам смеется, вроде смешно ему. А у меня, верите, будто залпом из дробовика по всему телу дали. Ах ты гад ползучий, думаю. Ладно бы Вагнер или Линдон попрекали, а то эта... Извините, чуть не вырвалось.

«А ты,— говорю,— сам на чьи подачки кормишься? Из чьих рук все энтээсы высматривают?» «Мы,— отвечает он,— боремся за идею». «За идею? — спрашиваю.— А когда посты не поделили и неустойку от американцев взяли, тоже за идею? Тенсон ее за бензиновую колонку продал, а остальные за сколько? Сколько отступного Байдалакову дали за его пост председателя энтээсов и чтоб потом он не путался под ногами? Куда же,— говорю,— его идея подевалась, если он за нее денежки принял и молчит, как закопанный, до самой смерти?»

Трушнович все перебить меня норовил, но я не дал, все ему высказал. А он и выпустил свой главный козырный туз. Зачем, дескать, тогда сюда приехал, если ты такой коммунист, зачем бежал, если никто тебя не звал сюда, и прочее такое. Припер он меня так и ушел.

Я по комнате из угла в угол, не знаю, что делать. У меня и раньше закрадывалось в груди: может, я промахнулся на большую ошибку? Тогда плакала моя дальнейшая будущность. Но при встречах с американцами, с Иваном, Женей, да и с энтээсами держал себя таким антисоветским героем. Надеялся, обопрюсь на какой-нибудь случай, что судьбу мою выправит.

Бегаю по комнате, и, на радость, Карин звонит, сейчас, говорит, приеду. Она всегда за меня переживала, заботилась и понимала меня даже в том, что я от всех скрывал. Ей я все рассказывал — и хорошее, и плохое, и даже мечты, о чем думал и никому бы не доверил.

Приезжает она, только стал рассказывать, а она в слезы. Плачет, а сама лаской просит. Карин умела с кем угодно разговаривать и своими улыбками и глазами любого уговорить или сделать так, чтобы он ей в любви объяснялся. А тут слезами и лаской. «Какая,— говорит,— тебе разница, заработаешь хорошо, другая жизнь у нас пойдет».

Что, думаю, делать? Потом вспоминаю: я же не успел ей про все рассказать. Похоже, она без меня знает, что тут произошло. Мне бы тогда спохватиться, что она свою роль со мной играет. Свою или чужую, не знаю, только жизненно играла. И ни в чем я не догадывался. Я ей верил еще долго. И когда в Москву уехала, в гостиницу «Украина» звонил и переписывался с ней, и потом, пока до тюрьмы меня не довела. А в тот вечер как вожжа под хвост попала: не буду, говорю, никакой книги делать, и все тут. Обиделась она — первый раз ее не послушал — и рванула из комнаты.

И опять я из угла в угол. Думаю, думаю, и докатились мои думы до Владивостока. Вспомнил музыкальный салон на «Урицком», песни, танцы, человеческие отношения, вспомнил наш матросский хор, в котором и я пел, веселых матросов и девчат, друзей и родителей вспомнил, и покатались у меня слезы. Первые мои слезы в западном свободном мире. Сколько их еще потом пролилось... А ведь я упорный, никогда пощады не просил и слез не выдавливал. Отец бил, тоже не плакал. А тут нервы не сработали.

Еще день прошел, и вызывают меня в тот особняк, где беседы велись. И спяще встречает фрау Габбе. Мистер Андерсон навстречу выходит, приглашает садиться. «Жаль,— говорит,— что нам надо расстаться, но, к сожалению, мы не можем вас дольше оставлять у себя. Все, что было обещано, уже сделано, вас ждет хорошая работа. Мы передаем вас в другую организацию, тоже нашу, но ведающую устройством на работу. Вот вам телефон туда к мистеру Райли».

Что?... Устал, конечно, но не знаю, смогу или нет еще с вами встретиться. Давайте уж сегодня кончим, я дальше сокращенно буду.

Одним словом, послали меня на завод в местечко Нойс под Дюссельдорфом. Перед отъездом у меня ночевала Карин, которая обиду забыла. Она со мной до самого Нойса поехала. Завод американский, делают там всякие детали для тракторов и автомобилей. Рабочие были там со всего света: немцы, португальцы, югославы, испанцы, финны и другие. Поселили меня в общежитие вроде барака. Комнатка маленькая, там все такие, и в каждой немец и три иностранных рабочих. На этом заводе и Женя работал.

Да, забыл я вам сказать: когда еще он во Франкфурте был, позвонил он мне один раз ночью и говорит, что Иван убил себя. Сначала плакал, обзывал себя дураком и сволочью, кричал, что его обманули и больше он не может, и ударил себя ножом в грудь три раза, весь изрезался, нож у него выбили, а его отвезли куда-то.

Не сват мне Иван, не брат, а извещение это... как будто не Иван, а сам я себя ножом переполосовал. Вот она, подумал, и моя дальнейшая судьба — дорожка по этой жизни. Ходил опять от окна к двери туда-сюда, туда-сюда и не про Ивана думал: про себя думал. Часа два километра вышагивал, пока силы не кончились. Лег обратно в кровать, где там — не только спать, улежать не могу. Скорее бы утра дожждаться. Поднялся и заметался опять, как в зверинце. Все быстрее и быстрее хожу, вроде убежать куда можно. И такое в голове творилось — как бы в горячке, и на себя руки не наложить.

Разбужу, думаю, Женю, вдвоем полегче будет. Звоню ему, а он с полгудка трубку поднял, тоже, выходит, не спал. «Слушаю,— говорит,— слушаю, кто это?» Тревожно так говорит, а мне все равно полегче стало, голос его услышал. «Приходи,— говорю,— Женя, ко мне, или я приду». А он не своим голосом закричал: «Никуда не пойду, и ты не приходи!» — и трубку бросил, будто я виноват за Ивана.

Испугался я, и опять в голове — как насосом ее накачали и дальше подкачивают, вот-вот лопнет.

А ведь и верно, чего ходить? Он предатель, я предатель, и вокруг нас отстой подонков энтээсов, и мы туда потихоньку оседаем, скоро до самого дна спустимся. И дорога нам только туда, ко дну, и груз уже такой сами на себя наложили, что не выплыть больше. И как назло, откуда взялось — про первомайскую демонстрацию во Владивостоке вспомнил. И знамена красные, и пляски на ходу с оркестрами, и «Золотой рог», и забился я, как баба, в голос. Как до утра дотянул, один бог только знает. С тех пор про Ивана я ничего не слышал. Выжил он, нет ли, не знаю. А Женя через два дня уехал на завод работать. Здесь мы с ним теперь и встретились.

Работа у меня была простая. Большим крюком зацеплял огромную деталь трактора и волочил юзом по бетонному полу к стану. А там уже полная механизация. Нажимаю кнопку подъемника — деталь идет вверх, потом накрепко садится в гнездо. Поверну рычажок — и сверло пошло в тело. Тут уже делать больше нечего, сверло само свое дело сделает, а я с крюком за второй деталью. К концу сверловки надо ее успеть подтащить, потому что рядом второй станок для дальнейшей обработки ждет.

Вроде все просто, а была это в полной мере каторга. На механизацию пять — десять секунд уходило, а все остальное время тащил крюком непосильные детали. Вставляли в четыре, не позже полпятого утра, потому что в шесть уже надо браться за крюк. Обеденный перерыв в двенадцать тридцать, а кончали в пять. И целый проклятый день тащишь эти тяжелые, как наковальни, детали и под конец уже так изгибаешься, чуть мордой не тычешься в землю. Остановиться нельзя, никак нельзя, там целый большой ряд станков, и если на одном задержка, все враз встанут.

Домой приходил без рук, без ног. А свалиться на койку нельзя, ужина в столовке дожидаемся. Перед ужином — молитва. Надо руки сложить ладонями вместе и повторять за комендантом слова. Так верите, руки не держались, падали.

Я терпел, думал: с непривычки, обойдется, привыкну, человек ко всему привыкает. А только скажу вам: к каторге привыкнуть нет сил. Там на таких работах одни иностранцы, а немцы по всем цехам и участкам рассеяны, как и в комнатах общежития. Работа у них без крюков, только на кнопках, а за наблюдение над нами им еще одна зарплата идет. И за длинный рабочий день еще одна. Каждый немец втрое больше нашего получал. Хотя они старались, а все равно иностранцы не выдерживали и убегали. Но простоя не было, новых пригоняли.

Работал, света белого не видел. Какое там кино или еще чего-нибудь. Только в воскресенье полегче было, хоть отсыпались вволю. А встанешь, постираться надо, под душ надо, и так на весь день всякие мелочи набегали.

В одно воскресенье стал я жаловаться Жене — мы уже тогда не прятались друг от друга, откровенно разговаривали, — а он только рукой махнул. «Я, — говорит, — механик, а тоже крюк дали в руки. Надо бежать отсюда, к чертовой матери, пока не поздно». — «Куда ж бежать, — спрашиваю, — Женя?» — «Как куда, совсем бежать, домой». — «А там тебе сразу: предатель и изменник родины, получай тюрьму». — «Ну и черт с ней, отсидишь, хоть жить по-человечески станешь».

Тут я его и спросил, о чем давно хотел вопрос задать. «Женя, — говорю, — ну, ладно, я дурак неученый, а ты механик первой руки. Сам хвастался, что тебе почет и уважение отдавали. Ты-то почему бежал?» «А потому и бежал, — отвечает, — что тоже дурак, хотя техник. По дурусти и вообразил, что весь пуп земли — это мы с Иваном. На мне с Иваном целый участок держался, а отпуск за свой счет на десять дней начальник отказался дать. Почему же, говорю, другим можно, а нам нет, если мы лучше других работаем? Ну, и завязался спор. Я ему прямо сказал: «Любимчиков своих по два раза пускаете, а на нас выезжаете». А ему хоть бы что. Нет, и все тут. Ну, думаю, и мы тебе тем же ответим. И не стали выкладываться, как раньше. А он придираться начал, и все равно верх брал как начальник. За каждую мелочь цеплялся. Ну просто никакого житья не стало. Издевался как хотел, должно быть, решил выжить нас. Что ж, думаем, так и уехать домой оплеванными? А он еще и характеристику вслед пошлет такую, что перед людьми стыдно будет. Думали, думали, как отомстить, и пришла в голову эта мальчишеская идиотская идея. Он ведь за нас всю полноту ответственности несет. Вот уж повернется, если сбежать. Он же с ума от такого ЧП сойдет. А кроме того, интересно поездить, мир посмотреть. Вот и смотрю.

Получилось как в поговорке: назло отцу я себе уши отморожу... Ивана жалко, на этот безумный шаг я его подбил. Парню всего девятнадцать было, ветер в голове. Я как-то сказал ему про это, когда он очень терзался, молодость, говорю, виновата, а он еще больше обозлился: «Молодость, молодость... Гайдар в семнадцать полком командовал и рубил всякую сволочь. А мы в свои девятнадцать к его недобиткам в услужение приехали». Вскоре после этого он и схватился за нож».

Это был мой последний разговор с Женей. Ничего не сказал он мне, уехал во Франкфурт, а потом сбежал в Советский Союз. Узнал про это через полгода от Горачека.

А я продолжал работать на заводе, пока одни кости да кожа от меня остались.

Поднимаюсь, чтоб к проклятым наковальням идти, а подняться не могу. Все-таки поднялся и потащился. Только не на завод, а на вокзал. Вернулся во Франкфурт. Ни денег, ни квартиры, ни работы. Явился к Карин. Приняла она меня хорошо. А я и тогда еще не догадывался и не скоро понял, что и эту каторгу и те, что потом были, они специально устраивали, чтобы некуда мне было податься, кроме энтээсов. И опять туда подталкивает. А я не пошел, стал правду искать.

Где я только не был, чего не перепробовал. Вагнер сразу от меня откатнулся, Райли тоже. Направился в американский консулат, напомнил про богатую и надежную Америку, которая всегда будет за моей спиной, как разъяснял мне ихний консул в Токио. С неделю по его требованию ходил к нему, пока не отправил меня на любые чегыре стороны. Я в Бонн кинулся, в американское посольство. «Вам кого?» — спрашивают. Не знаю кого, отвечаю. Я советский матрос, про дальнейшую судьбу хочу выяснить. Они заулыбались, усаживают меня, думали, я новенький, только сбежавший. А выяснилось когда, сразу кислые морды стали. Прямо так выгнать неловко, велели подождать, провели к какому-то типу, вроде переводчика. И ноги на столе. Я думал, так говорят только — «ноги на стол», а он натурально на столе их держит. Выслушал меня, сколько американцы наобещали, позвонил куда-то, потом говорит: «Пойдем». Вывел на лестницу, показал направление: «Прямо на вокзал попадешь. Езжай во Франкфурт. Тебе работу дали, а ты сбежал. Теперь возвращайся».

Пошел я прямо в министерство иностранных дел. Думаю, самое главное, чтоб важный чиновник выслушал, а не сошка какая. Пришел, советский матрос, говорю, и так далее. А раскрываться до конца не спешу, пусть, думаю, поважнее кто явится. Стратегия моя удалась, большой чин меня принял, а только кончилось пустотой. Отправился я в Организацию Объединенных Наций в Бонне, к комиссару по делам беженцев. Тут со мной целую неделю возились. И тоже во Франкфурт-на-Майне направили, там, говорят, вас устроят. Правда, на дорогу пятьдесят марок дали. А у меня уже сто раз такие направления были. И сто раз я туда возвращался, а получался один и тот же толк. Я вам все подряд перечисляю, а ходил-ездил-то не подряд. На это пошли месяцы, а то и не один год. Чего только не натерпелся, не намучился. Какие и от кого унижения на себя принял, перед кем ни улыбался. Посылали на разные работы, а покажешь свой беспаспортный документ — и морды воротят. Берут только там, где каторга или аврал какой. Тогда на временную, до отбоя. Потом опять на улице. Самым натуральным образом на улице. Спал на вокзалах, в скверах, даже в забытой солдатской душевой. И в дождь и в холод не раз по асфальту шлепал, сам себя, сжавшись, согревая. Вот тогда и вспоминал каждый день эти слова советского консула в Токио. Что?.. Не сказал разве? Простые слова: «Все у вас будет, сказал, что тут вам обещали. И квартира, и полный холодильник, и кофе с коньяком. А только выжмут из вас все что можно и выбросят на помойку. Тогда и запроситесь домой». Вот какие слова сказал. Будто на несколько лет вперед меня по моей жизни прошелся. И не выходят эти слова из головы. Только как проситься? Может, и через край берут энтээсы, может, не расстреляют, а только большой срок дадут. Кому я потом, старый и больной калека, нужен буду?.. А почему Женя не побоялся тюрьмы? А Иван побоялся, но и жить тут не мог.

Вот в таких мыслях и тянется моя беспощадная жизнь. Наголодаешься вволю и идешь на первую каторгу, что по дороге попадется. Самое большее на месяц хватало сил. На заработанные деньги хожу-езжу жаловаться. Посылают во Франкфурт, а я уже знаю, куда пошлют, и еду. Все надеюсь на что-то, да и Карин притягивала туда.

И опять энтэзсы вокруг меня. Но я уже знал их расчет: не выдержит человек, все равно к ним явится. Все-таки ездил туда охотно. Кроме Карин, много знакомых ребят — Володя Курдюков, Леня Артемов, Витя Гуменюк, Миша Горачек, Таня Гаранина со своим парнем и еще другие. Все они дети энтэссов, но у них особые мнения. Что делают родители, они насмотрелись, им хочется посмотреть свою родину, которую никогда не видали, а те их смертной казнью пугают, и у них продолжается инцидент.

Хорошо, конечно, с ними встречаться, на вечеринки ходить, если есть работа. А работы не было. Один раз все-таки повезло. Устроился маляром в жилой городок американской военной базы «Вольфганг» возле Ханау. Работа сдельная, с квадратного метра. Зарабатывал еле-еле, потому что пока мебель отодвинешь, пол бумагой застелешь да все закутки закрасишь, еще ничего не набегало. Но я очень старался, все-таки лучше, чем с крюками.

Через несколько месяцев узнал, что у них свой филиал есть под Франкфуртом, и стал проситься туда. Сначала подозрительно на это смотрели, а после моих объяснений о друзьях и Карин поверили и перевели. Обосновался в казарме на Эмерсхаймерландштрассе. Работать маляром мне пока доверия не было. В столярной мастерской я склеивал стулья, табуретки, которые расшатались или развалились. Встречался с молодежью и с Карин. От нее и узнал, что во Франкфурте есть общество «Дружба». Там советские люди, которых забросила сюда война, и каждый по своей причине вернуться не мог, но и против родины не идет. Они смотрят советские фильмы, собирают библиотеки, отмечают Октябрьский и другие праздники. Одним словом, поперек горла энтэссам стоят.

Меня это заинтересовало, и я пошел туда. Потом Карин рассказывал про них. И опять завлились вокруг энтэзсы. Как только в голову им такое пришло. Предложили в последний раз, говорят, одним махом разбогатеть. Посещать «Дружбу» и написать потом, что она связана с советской военной миссией во Франкфурте и передает туда разведывательные данные. Я им, конечно, приготовил отпор, какого они еще не видели. И весь расстроенный ушел, ищу Карин. Никто, кроме нее, не мог им сказать, что я в «Дружбе» был. Только стал ей претензии, а она как из пулемета: «Никогда,— говорит,— я тебя не любила, хотела человека из тебя сделать, а ты просто русская свинья и вон навсегда отсюда». И пока говорила, по щекам меня — раз, раз, раз... Ну, и я нервами сдал, сам пощечину ей отвесил. Не за то, что по щекам,— слова ее больней были. И сейчас вот здесь ноет, как вспомню, как я не мог ее раскусить раньше.

На другой вечер заходят ко мне трое в штатском. Одного я узнал сразу. Он из американской разведки, охранял Ивана и Женю. Поэтому я не сопротивлялся, когда они без всяких разговоров обыскали мои вещи и повели в машину, отвезли в полицейский президиум. Здесь дежурный потребовал у меня пистолет и бандитский механизированный нож. Я ответил: пистолета у меня нет,— а нож достал. Он был с кнопкой, выскакивал сам, но пользовался им для хлеба и пищи.

Дежурный взял нож, посмотрел в какую-то папку и сказал: «Приметы совпадают». Меня обыскали и отвели в камеру. Утром взяли на допрос, дали мне на подпись бумаги. Теперь я уже так легко не подписывал, потребовал переводчика.

Делать им нечего, вызвали. Обвиняли меня в том, что являюсь советским шпионом, езжу по немецким городам, а потом во Франкфурт-на-Майне, где что видел, передаю советской военной миссии. При этом пытался изнасиловать немецкую девушку Карин Локштедт, угрожал ей пистолетом и ножом, шантажировал, на что прилагается ее личное заявление, а также медицинская экспертиза о побоях и вещественное доказательство — нож, приметы которого обозначены в ее личном заявлении.

Кончил читать переводчик, об чем-то меня спрашивают, трясут за плечо, а я молчу, чисто языка лишился. Потом потихоньку кровь по своим местам пошла, и мне полегче стало. Про миссию, говорю, никакого понятия не имею и все начисто неправда, а Карин знаю хорошо, и вызывайте ее на очную ставку и сами послушайте, что произойдет, потому что я с ней уже который год живу и еще неизвестно, кто над кем насилие свершил.

«Мы и сами хотели,— отвечают,— но она отказалась, боится вас видеть». На этом допрос закончился. Целый месяц полицейские или следователи меня не вызывали. Зато энтэзсы весь месяц давали о себе знать. Первым пришел в камеру батюшка — отец

Леонид в церковном обряде. Ахал, охал, сказал, что надо подобрать хорошего адвоката и тогда все будет хорошо. Смеется он надо мной, что ли? Где же на это деньги взять? «Заблудшего сына,— говорит,— церковь и русские люди никогда не оставят». И на самом деле пришел адвокат. Многие энтээсы меня посещали. Карин присылала посылки, в письмах просила прощения. Когда пришел Горачек, сказал, что видел ее в прокуратуре, она просила свидания, но ей не разрешили.

Да что же это за человек такой! На кого она работает? И что со мной хочет сделать? Не просто же это.

Пока сидел в одиночной камере, много о ней думал. Вспомнил, как в Москву уезжала, и некоторые вещи теперь по-другому проявились. Отправлялась она с немецкой выставкой как переводчица химической фирмы «Гест». Узнал про это во время моих поисков работы и правды, когда в который уже раз приехал во Франкфурт. Остановился у нее, как раз сборы шли. У нее штук двадцать писем было с адресами на русском языке и с готовыми советскими марками. Только в тюрьме подумал: значит, подпольные письма в Москве опускать будет, чтоб не знали, что из ФРГ. И денег много было в пачках. Тогда не пришло в голову, а в камере не сомневался: не для себя, кому-то везла Или чтоб подкупить можно было.

И еще одно соображение выплыло: ехала от немецкой фирмы, а паспорт привезли и провожали американцы. Мне она не разрешила на аэродром ехать, а кто за ней прибыл, я видел. Когда вернулась, скандал у нас был, и тоже теперь с другой стороны он высветлился. Я у нее случайно целую кучу адресов московских нашел. Инженеров разных, учителей, таксистов, и на каждом проставлена профессия. Я из ревности ей недовольство высказал, а она как крикнет: «Не смей к моим вещам прикасаться!» И только в камере подумал: нет, не шуры-амуры это, а посерьезней.

Чтоб с этим закончить, скажу: был суд, про шпионаж и военную миссию разговоров не было, замыли они это все, а за насилие с побоями судили. Карин не пришла. Адвокат их на лопатки разложил, доказал все как было. Много журналистов и корреспондентов наехало, вся печать про это писала, и все-таки месяц тюрьмы дали. Правда, месяц я уже отсидел, сразу выпустили, а радости нет никакой. Что я теперь и кто я? Куда деваться?

Поехали к Горачекам, они хорошо ко мне относились и провокаций моих не добивались.

Вы как хотите, а я не признаю энтээсов антисоветчиками. Они только так числятся, ну, работа у них такая. К примеру, возьмите Жору Чикарлеева. Ему под шестьдесят, а может, уже и перевалило, а его по отчеству назвать ни у кого язык не повернется. Жора и Жора. Он у них на самой грязной работе. Один раз на советский корабль явился, когда эскадра с визитом приходила, туда всю публику без разбора пустили. Люди ходят толпами, им интересно, а Жора по закоулкам рыщет. Увидел одинокого матроса, обернулся по сторонам — никого нет — и сует моряку листовку. Матрос смотрит и говорит: «Да мне ж двадцать суток строгого дадут или судить будут». — «А ты аккуратно другим показывай, чтоб начальство не видело». — «Да не за это, — тоже осматривается матрос по сторонам и тоже видит: никого нет, — а за тебя, гада» — и бах Жору за борт во всей одежде.

Он потом подробно рассказывал, требуя возмещения за ущерб в здоровье и в одежде как потерпевший в борьбе против коммунизма. Заплатили ему хорошо: действуй, мол, и дальше смело. Он и действовал. К советским не то туристам, не то спортсменам на улице пристал, про свой «Посев» толкует, подарить, говорит, могу. Его гонят, последними словами обзывают, а он идет и идет, свое толкует. А они в какой-то тихий сквер свернули, может, и надо было им, а может, заманывали, только набили морду так, что долго в синяках ходил. Правда, за это заплатили ему хорошо, потому что вещественное доказательство побоев представил. Хотя многие сомневались: может, все выдумал, может, по пьянке где досталось, — но все-таки окончательно признали как героизм против советского режима и членом редакции «Посева» назначили.

Был случай, когда он в Париж попал и к советским аспирантам явился, у них комната там своя была. Заявился и начал ту же пластинку крутить. А они выход ему загородили, говорят — сейчас полицию позовем. Он в слезы, боится — бить будут. После того случая в сквере его еще раз били, с тех пор он всю жизнь стал бояться, что

будут бить. Поднимет кто-нибудь руку просто так, без значения, а Жора рывком лицо прикрывает. Свои же над ним и потешаются. Чуть что — махнут рукой, он и шарается.

Одним словом, сжалились над ним тогда в общежитии, отпустили, как не пустить, когда старый человек плачет. Примчался он домой радостный, каждого за рукав хватая, рассказывает. «Слезами,— говорит,— я их на пушку взял. Никогда, говорю, больше не буду, и они, дураки, и поверили».

Вот вам Жора! Другой бы про такую стыдобу со всех сил зубы зажал, а он хвастается. Думаете, по дурусти? Нет, он на такой стыд с полным сознанием идет, ну, как женщина на стриптизе или в бардаке. Ей уже не стыдно, это ее такой заработок. Так и Жора своего стыда не стыдится, поскольку за это платят.

Он своего нигде не упустит. Вот трудно поверить, а ему за журнал «Молодой коммунист» гонорар выплатили. Он его всегда с собой носит. всем показывает. А там, и верно, его фамилия есть, написано, что он последний подонок. Когда показали Жоре этот журнал первый раз, он три дня от радости пил. «Вот,— говорит,— как против меня силы мирового коммунизма поднялись». Ну, понятно, вознаграждение потребовал и на законном основании получил. А за что получать, ему без разницы. Но и его понять надо, а не только судить. Лет ему порядочно, профессии или ремесла не имеет, куда ни тыркался, везде неудачи. Сколько лет назад на Вьетнам подался, думал, подвезет, а видит — там и убить могут. Тоже правильно рассудил, и понять человека можно, когда сбежал оттуда.

Ну, а что ему теперь делать? В энтээсах хоть платят исправно, вот и старается. И хлеб свой нелегким трудом добывает. Легко ли, когда в шестьдесят лет тебе морду бьют или в печати подлецом обзывают? А ты не только скрывать — сам про это перед всеми радоваться должен.

Да что Жора! Для всех энтээсов нет больше радости, если их советская печать пропечатает. Они тогда поздравляют друг дружку, в своих журналах про это сообщения делают, столько шуму поднимают, героями ходят. Один раз на свое письмо из Москвы ответ получили. Так ни конца ни края радости не было. Переписку затеяли, стали говорить, что центр свой и агентуру в Москве организовали, а оказалось, их журнал «Крокодил» разыгрывал, потешался и про все напечатал с фотографиями и письмами. В таких дураках они остались, им бы только вывеску менять, а они опять в хвастовство не хуже Жоры. Кто-то из их детей сказал, у Горачеков разговор происходил: «Что же вы радуетесь? Над вами же смеются. Это еще у Чехова описано, как один с газеткой бегал, всем свою фамилию показывал, а напечатано было, как его в пьяном виде извозчик сбил».

На его слова только рукой махнули: ничего, мол, ты не понимаешь. А он и верно не понимал, что даже за такое, как «Крокодил» поиздевался, американцы им деньги платят. И я не понимал, пока Карин не объяснила, что выгодно, когда ругают. И Горачек про это намекал.

Ну, а с другой стороны, что им делать, скажите, если все они по рукам и ногам Гитлером связаны? Влез по пояс, полезай по горло. Начать хоть с Романова, он у них почти самый главный, а тридцать лет назад в Днепрпетровске при немцах редактором газеты уже состоял и Гитлера возвеличивал, пока тот живой был. А сейчас что? Поезжайте во Франкфурт в район главного вокзала ночью, там место одно есть, где теплые собираются... Обязательно там Романова встретите. Его за это три раза брались судить, особенно один раз, когда мальчика к столу хотел привязать, а тот такой крик поднял, что люди сбежались. А чем кончилось? В третий раз американцы выручили. После Гитлера они ж его подобрали, по их речке и плывет, их воду и пьет. И про такого вдруг напишут, что он антисоветчик, вот и радуется. Да любой Форд антисоветчик, и получается, будто они на равных. Чего ж ему не радоваться.

Такой же Гитлером мазанный Артемов еще в войну в фашистском лагере служил, кадры провокаторов готовил, гестаповец Околович сколько жизней погубил, и все у них такие. Не знаю только про Тарасову, она редактором «Граней» состоит, такой журнал у них есть. Не иначе тоже из гитлеровцев, но точно заверять не берусь, не знаю. Знаю только, что славу она большую имела. Ее отец во время войны много богатства из Украины повывез, говорят, на целый музей хватило бы. А после его смер-

ти она и начала пировать. Такие гулянки закатывала, с выездами, со слугами, как в кино. Она мужчин любила и сама их себе подбирала даже из тех, с кем знакома не была. И про эту ее славу все знали, она самой высокой квалификации в этом деле числилась. Может, книг начиталась и досконально изучила — есть такие особые магазины с вывесками «Секс», — а может, от природы у нее такие способности, только гремела она своей квалификацией и тем, что денег на мужиков не жалела. А пришло время, денежки-то кончились. И годы уже не те, и мужчинам платить стало нечем. Вот вся она и есть. Антисоветчик — это если идеи у него, а ее главная идея теперь безвозвратно не вернется, она всю свою идею уже поизрасходовала.

Ваше дело, я не против, только не советую вам про энтээсов писать. Если напечатаете, вы им такой праздник устройте, лучше рождества Христова. Целый год напоминать про это будут. И по всем регистрациям такую статью проведут, и сами печатать про нее сто раз будут, и американцам докладывать как положительный пример для себя.

Ну, опять я в сторону от своей жизни свернул. Чтоб кончить когда-нибудь мою историю, скажу — выпустили меня из полиции, энтээсы встречают, зовут к Горачекам. К ним было и направился, деться пока некуда. Только пошли, а тут Карин. На шею бросилась, плачет, целует, умоляет прощения. К ней и поехал, и тошно от самого себя стало. Думаю, все-таки лучше, чем к энтээсам, ничем не хотел больше ихней зависимости. Даже адвоката отработал им. Отработал крещением. Тут на одну руку взяли Карин и батюшка. И Горачек им помогал, тоже агитировал за крещение. Все горе оттого, говорят, что ты некрещеный. И Карин поддерживает: все плохое, что между нами было, все очистится. Зачем им надо было, так и не понял, но обязанным быть не хотел. Черт с вами, думаю, крестите.

И устроили надо мной комедию. Собрались в воскресенье утром в церкви, сунули мне сверток. «Иди, — говорят, — вон туда, переодевайся, это рубаха. Только все сними с себя и даже носки». А трусы, спрашиваю, тоже снимать? «Нет, трусы можно оставить». Снял я все, надел рубаху, а она до самого пола. Рукава широкие, только пальцы выглядывают. Вышел, сунули мне в руки горящую свечу, и началась моя срамота. Поднял шею вверх, иду, как Иисус Христос, за батюшкой, обеими руками боже-ственно свечку несущая, слова за ним повторяю. Походили несколько раз вокруг, потом поставили меня в оцинкованный бак с водой, и батюшка сверху стал опрыскивать.

Потом обед был богатый. А ночь тревожная получилась. Лежит рядом Карин, посапывает. А ведь задумали они что-то надо мной сделать. Она же собственными руками меня в тюрьму загнала, а я лежу как дурак с нею. Обязательно меня в болото погуще затянут, а я из этого, куда попал, ног не вытяну. Бежать надо, думаю, куда глаза глядят.

Ни разу не заснул, пока дождался утра. Похлопотала она вокруг завтрака, поцеловала и вышорнула. А я никому ничего не сказал, к вокзалу направился. И пошел по второму кругу каторги свободного мира на два года. Не буду про него рассказывать, он как и первый. А конец вам известный: советский консулат выдал мне визу в Советский Союз.

Полагаю так, что судить меня не будут, я же столько мук принял, любое законное наказание перевыполнил. А если будут, так любую кару за спасение приму.

Р. С. Совсем недавно я узнал, что В. И. Шишелякин амнистирован и уехал в свой родной город Тюмень.



Х. Н. МОМДЖЯН

★

ФИЛОСОФИЯ РЕНЕГАТСТВА*

МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ИСТОРИИ,
ИЛИ ТЕОРИЯ «ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»?

Пересмотр правым ревизионизмом коренных положений диалектического материализма не мог, естественно, не привести к существенному искажению исторического материализма и теории научного коммунизма. Само собой разумеется, что замена философского материализма идеалистическими оценками и определениями, сведение диалектики к релятивизму должны были сказаться и сказались на таких фундаментальных идеях исторического материализма, как первичность общественного бытия и вторичность общественного сознания, на учении о закономерном характере исторического процесса.

Гароди и не скрывает своего скептического отношения к «истмату», отождествляя его с теми обедненными, схематизированными оценками материалистического понимания истории, которые встречались в некоторых популярных брошюрах и статьях. После своего «исцеления» от «догматизма» Гароди старательно избегает говорить об основных законах и категориях исторического материализма, расценивая их как измышления «институционального марксизма». Материалистическую теорию общественного развития Гароди почти полностью хочет свести к методу, точнее, к сумме субъективистски толкуемых диалектических принципов. Скажем попутно, что эти попытки разорвать и противопоставить теорию и метод марксистской философии, отбросить теорию и сохранить лишь извращенный, субъективизированный «диалектический» метод характерны для всего ревизионизма, начиная с Э. Бернштейна и до современных «обновителей» марксизма и марксистской философии.

В работах Гароди последних лет, даже в тех из них, где рассматриваются такие важные социально-политические проблемы, как условия и социальные последствия научно-технической революции XX века, основные противоречия современного империализма, соотношение сил капитализма и социализма в современную эпоху, закономерности перехода от капитализма к социализму и т. д., трудно проследить применение диалектико-материалистического, классового анализа к исследуемым явлениям. Читая эти работы Гароди, можно подумать, что величайшие достижения марксистско-ленинской социологической мысли превзойдены и отброшены современной наукой и общественной практикой. Гароди достаточно настойчиво навязывает эту вздорную мысль своему читателю, сближая, отождествляя материалистическое понимание истории с вульгарно-экономическим материализмом. Но ведь Маркс, Энгельс, Ленин, их верные последователи всегда и со всей решительностью отвергали упрощенное, механистическое толкование определяющей роли экономических отношений в общественном развитии. Марксизм-ленинизм отвергал и отвергает игнорирование обратного влияния надстроечных элементов на экономическую основу общества. Он не признает автоматических связей между базисом и надстройкой. Он исключает возможность «зеркального отражения» материальных, экономических процессов в тех или иных формах общественного сознания, и в особенности в тех из них, которые, подобно искусству, философии, религии,

* Статья вторая. Статью первую см. «Новый мир», 1972, № 11.

более отдалены от базиса и обладают весьма отчетливо выраженной относительной независимостью от экономических отношений.

Тоном «переоткрывателя» и борца против догматизма Гароди говорит о вещах, которые давно фигурируют во всех марксистских книгах. К числу этих «творческих открытий» Гароди принадлежат такие общепринятые марксистские истины, как неправомерность отождествления законов природы и законов человеческого общества. Марксизм-ленинизм давно уже установил, что и законы природы и законы общественного развития носят объективный характер, что не исключает специфического характера проявления этих двух рядов законов. Выступая против «натурализации» общественных законов, марксистская социология считает их преимущественно законами-тенденциями, законами исторической деятельности людей, одаренных сознанием и волей. Такая постановка исключает фаталистическое понимание истории как безличного процесса, где воля и сознание людей имеют-де столько же значения, сколько «воля» и «сознание» песчинки, уносимой ураганом. Со всей определенностью марксистская социология подчеркивает роль сознания, воли, организованности народных масс, общественных классов, политических партий, выдающихся личностей в реализации тех или иных исторических возможностей. Материалистическое понимание истории вопреки фальшивым, двусмысленным сентенциям Гароди не имеет ничего общего с концепцией монолинейного развития, которая исключает единство и многообразие исторического процесса, уподобляет ход истории движению поезда по стабильно проложенным путям.

Но все дело в том, что Гароди отнюдь не охвачен желанием отстоять марксизм от пошлых, стандартных нападок на исторический материализм со стороны буржуазных марксологов, реформистских теоретиков. Такое желание у него исключается уже по той простой причине, что сам Гароди с позиций правого ревизионизма, пользуясь его жаргоном, воспроизводит важнейшие «доводы и выводы» врагов марксистско-ленинской социологии.

Как и нужно было ожидать, Гароди пытается расшатать основу основ исторического материализма: учение о первичности общественного бытия и вторичности общественного сознания. С этой целью он много пишет о непозволительности противопоставления этих фундаментальных категорий материалистического понимания истории, ссылаясь на... Ленина, вольно перетолкуывая его слова. О чем идет речь? Ленин действительно предупреждал, что абсолютное противопоставление бытия и сознания позволительно только в границах теории познания. Марксистская теория познания, выясняя соотношение бытия и сознания, со всей категоричностью подчеркивает первичность бытия, материи и вторичность сознания. Но выяснив первичность материи и вторичность сознания, мы не можем забывать, что сознание не есть самостоятельная субстанция, существующая наряду с материальной субстанцией. Верно другое: сознание есть свойство высокоорганизованной материи, оно возникает на определенной ступени развития материального мира. В этом и только в этом смысле Ленин говорил о непозволительности абсолютного противопоставления бытия и сознания за пределами теории познания. Сказанное в полной мере относится и к соотношению общественного бытия и общественного сознания.

Гароди же пытается полностью снять противопоставление материи и сознания, общественного бытия и общественного сознания, а тем самым и противопоставление материализма и идеализма, с тем чтобы вслед за этим протащить кантианские, фикштеанские и прочие идеалистические идеи в марксистскую социологию.

Для расшатывания материалистического понимания истории Гароди апеллирует к двум марксистским идеям, вкладывая в них удобное ему содержание. Речь идет об известном положении Маркса, что человек, приступая к труду, уже имеет в голове идеальный образ вещи, которую он собирается создать. Второе положение взято Гароди из «Философских тетрадей» Ленина: «Сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его»¹. Эти известные в марксизме положения, подчеркивающие активную, созидательную, преобразующую роль человеческого сознания, Гароди интерпретирует в духе идеалистической абсолютизации сознания, в результате которой сознание изображается в качестве demiурга объективной действительности. С такими

¹ В. И. Ленин Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 194.

упражнениями Гароди мы уже знакомы. Теперь же укажем, что достаточно откровенные субъективистские, идеалистические рассуждения и оценки он стремится перенести на область общественных отношений, «обогащать» марксистскую концепцию общественного развития идеями, взятыми из арсенала прошлых и современных идеалистических, антинаучных идей.

Наиболее отчетливо отход Гароди от принципов исторического материализма обнаруживается в его концепции «исторической инициативы масс». В чем смысл этой концепции, которую Гароди очень смело провозглашает сущностью марксизма? Чтобы не быть голословным, сошлемся на оценки, даваемые самим Гароди. В книге «За французскую модель социализма» он рассматривает марксизм «как методологию исторической инициативы»², а в книге «Ленин» утверждает, что В. И. Ленин последние десять лет своей жизни (1914—1924) уделял постоянное внимание «всем проявлениям исторической инициативы масс, для которой социалистическая революция создает радикально новые условия расцвета, позволяющие каждому мужчине и женщине стать активным и творческим субъектом собственной человеческой истории. В этом сущность ленинизма»³.

Итак, сущностью и марксизма и ленинизма, по Гароди, является утверждение «исторической инициативы масс».

Важно отметить и то, что, согласно взглядам Гароди, ленинизм «обретает свою сущность» лишь с 1914 года. Оценивая мысли и труды В. И. Ленина самым произвольным образом, Гароди навязывает ложную и нелепую идею о том, будто до 1914 года Ленин в основном разделял антидиалектическую, вульгарно-экономическую концепцию Карла Каутского, ибо он не мог якобы постигнуть сути марксизма — «исторической инициативы масс».

Лишь в таких работах В. И. Ленина, как «Исторические судьбы учения Карла Маркса» (1913), «Три источника и три составных части марксизма» (1913), «Марксизм и реформизм» (1913) и другие, Гароди усматривает «все больший и больший разрыв с догматизмом Каутского и Плеханова, который привел их к отрыву от действительности и к оппортунизму»⁴.

В результате всех этих фальсификаций получается, что при основании большевистской партии и многие годы позже Ленин будто бы стоял на позициях каутскианства, на позициях упрощенного эволюционизма! Еще «хуже» обстоит дело с работами В. И. Ленина, направленными против народничества, и в особенности с книгой «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?». По этому поводу Гароди снисходительно замечает: «Ленин, которому тогда было 24 года, сражался против тезисов народников от имени марксизма, усвоенного еще обобщенно и увиденного через сциентистскую интерпретацию Каутского и Плеханова»⁵. Вот как одним росчерком пера Гароди пытается перечеркнуть одно из классических произведений творческого марксизма!

Фальсифицируя развитие ленинской мысли, Гароди пытается доказать, будто в работе «Что делать?» главные тезисы явно заимствованы у Каутского. Если верить хитро-сплетениям Гароди, то получается, будто слова Маркса: «Я смотрю на развитие экономической общественной формации как на естественно-исторический процесс» — Ленин понял в «духе фаталистического натурализма Каутского»⁶. Без всякого стыда и смущения, извращая общеизвестные факты, которые даже не отрицаются многими буржуазными марксологами, Гароди пишет: «Нет ничего специфически ленинского в этих тезисах о «партии как авангарде, изложенных в работе «Что делать?». Это концепция Каутского, и Ленин выразительно ее подчеркивает»⁷.

Что же так не устраивает Гароди в работе «Что делать?»? Можно со всей уверенностью сказать: толкование Лениным взаимоотношений между рабочим классом и его коммунистическим авангардом — партией.

² R. Garaudy. Pour un modèle français du socialisme. Paris. 1968, p. 7.

³ R. Garaudy. Lénine. Paris. 1968, p. 49. (Подчеркнуто нами.— X. М.)

⁴ Ibid., p. 12.

⁵ Ibid., p. 20.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

Став на путь принижения руководящей роли коммунистической партии в международном коммунистическом движении, в строительстве социалистического общества, Гароди задним числом «исправляет» Ленина, «спасает», «ограждает» его от Каутского, пытается доказать, будто идея привнесения научно-революционной идеологии в стихийное рабочее движение есть не марксизм, а каутскианство, автоматизм, механицизм и т. п. Но общеизвестно, что Маркс и Энгельс призвание коммунистической партии видели именно в развитии передовой теории, в подъеме стихийного рабочего движения на новую ступень. Партия, для Маркса и Энгельса, выступает как сила, которая организует, направляет это движение к коммунизму. Ленин в новых исторических условиях, опираясь на взгляды Маркса и Энгельса, создал учение о партии нового типа — революционной партии рабочего класса, способной возглавить рабочее движение, будучи вооруженной революционной теорией и революционными принципами организации, неразрывно единой со своим классом, с трудящимися массами.

Руководствуясь данными общественной практики, продолжая и развивая мысли своих учителей, В. И. Ленин сделал вывод о том, что предоставленное самому себе рабочее движение может выработать лишь тред-юнионистскую идеологию, и не больше. А рабочему классу, чтобы победить, нужно обладать идеологией научной и революционной одновременно. Само собой разумеется, что научная идеология не может возникнуть стихийно, самотеком. Она может быть создана людьми науки и революционного действия, поскольку речь идет о научной, марксистско-ленинской идеологии, обобщающей опыт революционных масс.

Неприязненное, мягко выражаясь, отношение Гароди к руководящей роли коммунистической партии вынуждает его противопоставлять партии, партийному руководству инициативу самих масс, будто бы это взаимоотрицающие начала.

Все эти спекуляции, связанные с концепцией «исторической инициативы масс», направлены на обоснование идеи стихийности движения рабочего класса, которое где спонтанно находит любые решения, не нуждаясь в «посторонней» помощи и подсказках, а говоря точнее, не нуждаясь в руководстве партии, выступающей авангардом своего класса.

Гароди тщательно выписывает высказывание Ленина о поистине великой роли народных масс в истории и аккурратно опускает все другие его высказывания, которые раскрывают роль передовых политических партий в развязывании инициативы и энергии рабочего класса, всего трудового народа. Так, он явно игнорирует ленинскую критику меньшевиков за то, что «...они принижают материалистическое понимание истории своим игнорированием действенной, руководящей и направляющей роли, которую могут и должны играть в истории партии, сознавшие материальные условия переворота и ставшие во главе передовых классов»⁸.

Ленин никогда не отрывал историческую инициативу народных масс от руководящей и направляющей роли их коммунистического авангарда. С победой социализма трудовой энтузиазм миллионов свободных людей, помноженный на достижения науки и техники, стал величайшей созидательной силой, которая не стихийно, а под руководством Коммунистической партии стала способной творить чудеса, осознанно и целенаправленно преобразовывать природу и общественную жизнь.

Теория «исторической инициативы», направленная против роли коммунистической партии, революционной теории и организованности, которая вытеснила в писаниях Гароди материалистическое понимание истории, под видом борьбы против каутскианского вульгарного эволюционизма в действительности повторяет тезисы Каутского и меньшевиков.

Заявляя, будто сущность марксизма-ленинизма сводится к утверждению исторической инициативы масс, Гароди явно искажает проблему, принижает значение инициативы революционной коммунистической партии и ее руководителей. Извращенную теорию «исторической инициативы масс» Гароди использует для борьбы против Французской коммунистической партии и ее руководства, против коммунистических и рабочих партий, которые достойно выполняют свою руководящую роль в борьбе народных масс

⁸ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 11, стр. 31.

за социализм, твердо отстаивают принцип партийности во всех сферах социально-политической и идеологической борьбы, руководствуются принципом демократического централизма.

Признавая великую роль исторической инициативы народных масс, коммунисты тем не менее не сводят сущность марксизма-ленинизма к учению об этой исторической инициативе. Сущностью марксизма-ленинизма они считали и считают учение об условиях и средствах революционного упразднения капиталистического строя и утверждения коммунистического общества.

Выпячивая и абсолютизируя «историческую инициативу масс» ценой игнорирования их коммунистического авангарда, Гароди предаёт забвению ряд очень важных обстоятельств.

Общезвестно, что на всех этапах исторического развития народные массы неизменно играли решающую роль в осуществлении процесса производства. Как правило, народные массы были основной движущей силой в политической борьбе, в социальных революциях, в упразднении отживших социально-политических режимов. Велика роль народных масс и в создании культурных ценностей, в развитии мирового культурного процесса.

Отмечая решающую роль народных масс в истории, мы не можем, однако, не учитывать и того, что в известные периоды истории народ той или иной страны становился инструментом политики реакционных классов. Поэтому абстрактная постановка вопроса об «исторической инициативе масс» без точного выяснения, о какой массе идет речь и какова природа ее инициативы, ничего, кроме путаницы, создать не может. На этой абстрактной «самоинициативе» масс, не обремененных революционной теорией и революционным руководством, в свое время вдоволь поспекулировали русские «экономисты», меньшевики, всевозможные анархистские организации. Эти спекуляции и сейчас пускаются в ход различными «лево»-экстремистскими, маоистскими, троцкистскими и другими силами. Направленные против революционных марксистско-ленинских партий с целью отстранения их от руководства массами, эти спекуляции одновременно бьют по коренным интересам масс, дезорганизуют их, мешают проявлению их революционной инициативы и энергии.

Выдвинув на первый план абстрактно трактуемую проблему исторической инициативы масс, Гароди вместе с тем очень мало внимания уделяет объективным условиям исторической деятельности масс. Создается впечатление, что эта «историческая инициатива» является первоначальным, исходным фактором исторического процесса. В действительности же любая форма инициативы масс детерминирована конкретными условиями общественного развития. Народные массы, для того чтобы достигнуть поставленные перед собой цели, не могут не считаться с объективными законами истории, игнорировать их. Однако Гароди, как мы уже отмечали, ныне старательно избегает таких понятий, как «общественный детерминизм», «объективные исторические законы», «обусловленность» настоящего прошлым и будущего — настоящим. Все эти понятия, без которых нет и не может быть материалистического понимания истории, объявляются им не иначе как «догматическими», натуралистическими, сциентистскими и т. п.

Нетрудно заметить, что общефилософские рассуждения Гароди, его субъективизм, его пренебрежительное отношение к «философии бытия» и прославление «философии действия», оторванного от бытия, страсть к априорным конструкциям, к «проекту», невесть откуда взявшемуся, находят свое выражение и в толковании общественной жизни, социальных процессов.

«Историческая инициатива масс» в понимании Гароди есть воплощение принципа «отрыва от непосредственного». Она не желает считаться с наличным бытием и выступает как «чистое созидание».

Эта «историческая инициатива», бесспорно, является теоретическим построением субъективистского толка, хотя и оперирует такими весомыми понятиями, как «действие масс».

Отход Гароди от исторического материализма, отказ от его фундаментальных законов и категорий не могли не сказаться на анализе им современного капитализма и современного социализма. Гароди сплошь и рядом отказывается от классового анали-

за современной общественной жизни и начинает отстаивать систему ложных идей, противоречащих объективной картине вещей, а следовательно, и классовым интересам рабочих, интересам социалистического общества. Эти методологические пороки наиболее ярко обнаруживаются в том квазинаучном анализе современного империализма, который предлагает ныне Гароди.

ОТ КАПИТАЛИЗМА К... КАПИТАЛИЗМУ

Накануне и после международного Совещания коммунистических и рабочих партий 1969 года Гароди весьма самоуверенно упрекал руководителей международного коммунистического движения в неумении анализировать противоречия современного империализма и в «ритуальном повторении» того, что «противоречия обостряются», не уточняя при этом, что речь идет главным образом о новых противоречиях...⁹.

Такая постановка вопроса не может не породить желания у любого марксиста выяснить: куда же девалось «старое» основное противоречие капитализма — противоречие между общественным характером производства и капиталистической формой присвоения? Мимоходом Гароди замечает, что «старые противоречия» не исчезли, но заниматься ими он не желает, ибо, несмотря на все оговорки, не считает их главными, решающими.

Все дело в том, что в таких кардинальных проблемах, как проблема сущности противоречий капитализма, его основные антагонизмы, социалистическая революция, Гароди считает Маркса, марксистские оценки и прогнозы «пройденным этапом», «вчерашним словом теории». «Все анализы в «Капитале» Маркса,— пишет он,— основывались на теории товара, то есть на производстве для рынка. И из этой теории проистекали его ключевые концепции о стоимости, прибавочной стоимости, о кризисах, возникающих в результате внутренних ограничений капиталистического рынка, закон об относительном и абсолютном обнищании рабочего класса.

Его анализ оставался в силе, не нуждаясь в каких-либо существенных поправках, вплоть до конца первой трети нашего века. Последним ярким подтверждением его был великий американский и мировой кризис 1929 г.»¹⁰.

Нетрудно видеть, с какой, мягко выражаясь, смелостью Гароди сдает в архив учение Маркса, а заодно и Ленина, объявляет марксистский анализ капитализма утратившим ныне свой смысл и значение.

Гароди ищет и находит для себя новых учителей, способных объяснить ему и его единомышленникам суть процессов, происходящих в недрах современного капитализма. Правда, эти учителя не из лагеря марксистов, а из среды буржуазных экономистов. Один из них — Джон Кеннет Гэлбрейт, автор книги «Новое индустриальное общество», — расценивается Гароди как человек, обративший особое внимание на одно «основное явление, из которого следует выводить все приложения»¹¹.

Какое же это явление, которое обуславливает собой все другие процессы, протекающие в лоне современного капитализма? Опираясь на Гэлбрейта, Гароди отвечает: «Новая научно-техническая революция, для которой необходимо долгосрочное программирование, приводит к инверсии в отношениях между производством и рынком»¹².

Смысл этой «инверсии» заключается в том, что на предыдущих этапах развития капитализма рынок диктовал свои требования производству, производство было вынуждено подчиняться спросу рынка. Теперь же, в новых условиях, производству становится все труднее приспособляться к требованиям рынка. В результате производство начинает подчинять себе рынок, формирует искусственно его потребности. Не означает ли это исчезновение рынка как экономической категории? Гароди здесь специально оговаривается, что было бы ошибочным делать вывод, будто в Соединенных Штатах Америки рынка больше уже не существует. Сделав на всякий случай эту ого-

⁹ R. G a r a u d y. Le grand tournant du socialisme. Paris. 1969, p. 62.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid., p. 60.

¹² Ibid.

ворку, дальше все свои рассуждения и выводы он строит, исходя из того, что рынок в условиях современного капитализма якобы утратил своё былое значение. «То, что в настоящее время,— пишет Гароди,— зарождается и развивается, а следовательно, то, что имеет решающее значение для анализа и прогноза,— это отступление рыночной экономики в классическом смысле этого слова и развитие тех секторов, в которых проявляется действие новых законов»¹³.

Как мы уже отметили, «устарелость» Марксовой концепции, по Гароди, обуславливается тем, что она основывалась на анализе производства для рынка, а современный капитализм якобы все больше и больше перестает быть товарным производством, производством для рынка. Из этих и сходных им констатаций, взятых из работ буржуазных экономистов и социологов, пытающихся отстоять новую версию «организованного капитализма», который будто бы перестает быть, по существу, капитализмом, Гароди делает достаточно откровенные выводы: типично реформистского толка. Мы будем еще иметь возможность видеть, как он приходит к «новой» мысли о бесперспективности классово-политической борьбы рабочего класса, социалистической революции в наиболее развитых капиталистических странах. Здесь же заметим, что, несмотря на все оговорки, использование марксистской терминологии и т. п., Гароди, в сущности, пытается отстоять буржуазно-реформистскую мысль, согласно которой научно-техническая революция постепенно преобразует капиталистический строй и устраняет необходимость социалистической революции, а заодно приводит к «девальвации» и других выводов марксизма-ленинизма, основанных на анализе капитализма как товарного производства.

Какие же социально-политические выводы делает Гароди из констатации изменившихся соотношений между производством и рынком? Человек, отмечает Гароди, не только принимает участие в производстве, не участвуя в его планировании и реализации, но вдобавок к этому все больше и больше потребляет то, что ему навязывается сверху — всемогущими монополиями. В этом факте Гароди видит, и с этим можно вполне согласиться, «новую причину отчуждения и лишения человека его человеческой сущности»¹⁴. Но вскоре мы узнаем, что это не просто новая причина отчужденности человека в условиях капитализма, а главная движущая сила антикапиталистического протеста. Получается, что миллионы, десятки миллионов людей во Франции и в других развитых капиталистических странах выступают на арену борьбы главным образом потому, что не принимают участия в планировании и управлении экономикой, вынуждены довольствоваться теми товарами, которые навязываются им монополиями.

Скажем еще раз, что эта форма отчужденности и протест против нее, бесспорно, занимают немалое место в реальной действительности. Но делать их главными и движущими силами борьбы против капитализма нет оснований. Массы рабочего класса поднимаются на борьбу против буржуазного общества прежде всего в силу их эксплуатации, присвоения капитализмом результатов их труда, в силу социального неравенства и порабощения, материальной необеспеченности, безработицы, неуверенности в завтрашнем дне, в силу ограничения и подавления их свободы. Приводимые в самой книге «Большой поворот социализма» данные свидетельствуют о том, что даже в наиболее развитой капиталистической стране — США — десятки миллионов трудящихся лишены заработка, который соответствовал бы прожиточному минимуму. Таким образом, имеются более фундаментальные и мощные экономические и политические причины растущего недовольства масс капитализмом, чем те формы отчуждения, которые Гароди выводит из изменения соотношения производства и рынка.

Кстати, об этом «навязывании товаров потребителю», из которого Гароди делает столь далекоидущие выводы. Отметим, что на любой ступени развития капитализма производство всегда «навязывало» свои «вкусы» покупателю с той или иной степенью радикальности, формировало его потребности. Можно согласиться и с тем, что на современном этапе развития государственно-монополистического капитализма приспособление рынка к требованиям производства усилилось и приняло новые формы. Верно,

¹³ Ibid., p. 61—62.

¹⁴ Ibid., p. 63.

что с помощью рекламы и иных средств капиталистическое производство навязывает свою продукцию покупателю. Верно также, что государственно-монополистический капитализм расширяет вне рыночные формы сбыта, в частности путем раздутого государственного сектора вооружений и космических исследований. Но глубоко ошибочны и порочны попытки Гароди вслед за своими наставниками из среды буржуазных экономистов и социологов отрицать товарный характер современного капиталистического производства и на этой фальшивой основе распрощаться с марксистским анализом капитализма, марксистским обоснованием необходимости революционного перехода к социализму.

Как бы ни изменялись отношения между капиталистическим производством и рынком, как бы ни трансформировались формы капиталистического товарного производства в современных условиях, тем не менее производство при этом общественно-экономическом строе осуществляется для рынка, для извлечения наивысших прибылей от реализации произведенных товаров.

Если капитализм перестал быть товарным производством, целью которого является извлечение прибыли отдельными капиталистами или их сообществами, если капитализм перестал производить для рынка, а капиталистическое производство превратилось или быстро превращается в нетоварное производство, то элементарная логика требует признать, что капитализм исчез или находится на путях автоматического исчезновения, трансформации в иной способ производства, в иной общественный строй.

Этот «вывод» давно уже сделан многими буржуазными теоретиками — сторонниками концепций «индустриального общества», теории конвергенции, теории «массового потребления», теории «постиндустриального общества» и т. д. Все эти «теории» пытаются представить государственно-монополистический капитализм наших дней как общество, которое якобы перестало быть капиталистическим, частнособственническим, товарным или, по меньшей мере, стало обществом, которое быстро утрачивает свои капиталистические признаки под влиянием научно-технической революции.

Гароди послушно идет в фарватере именно этих буржуазных и мелкобуржуазных идей мирной «трансформации» капитализма не то в «демократический социализм», не то в иную какую-нибудь социальную утопию. Не отставая от буржуазной моды, он спешит распрощаться с марксистским анализом капитализма, его основных противоречий, путей их революционного разрешения.

Эти ренегатские идеи Гароди особенно отчетливо обнаруживаются в его рассуждениях о последствиях научно-технической революции в США. Он подчеркивает, что в результате этой революции «перемещения противоречий капитализма» наиболее отчетливо сказались в самой развитой капиталистической стране. «Мы имеем дело с новым типом роста,— пишет Гароди,— с преобразованием классов и классовых отношений, с новой ролью государства...»¹⁵.

В чем же выражается это преобразование классов и государства в США?

Беря ряд социально-классовых вопросов не в развитии, а в статике, Гароди пытается узаконить концепцию притупления, угасания классовых противоречий в США и исключает возможность социалистической революции.

Нарочито огрубляя постановку вопроса, он пишет: «Разве разумно предполагать, что в современных условиях развития американской экономики социализм в этой стране установится в результате апокалипсической ситуации, при которой нужда толкнет массы рабочего класса на восстание, подобно восстанию «Чикагской коммуны», придуманной Джеком Лондоном и описанной им в 1907 году в его «Железной пяте»?»¹⁶.

Допустим, что в современных условиях США исключается восстание, описанное Джеком Лондоном. Но возникает вопрос: если в США исключена революция, ведущая к социализму, осуществленная путем вооруженного восстания, означает ли это также и невозможность революции, осуществленной мирным путем? Гароди не ставит этого вопроса. Все дело в том, что он вообще не верит больше в возможность социалистических революций. Он делает ставку на мирную трансформацию капитализма в ходе

¹⁵ R. Garaudy. Le grand tournant... p. 60.

¹⁶ Ibid.. p. 63.

дальнейшего развития научно-технической революции. Это и есть «технократический вариант» реформизма.

Американский рабочий класс, заявляет Гароди, в своем большинстве интегрирован буржуазным обществом и не таит в себе никаких революционных потенций. «Если исходить из опыта одного только американского общества, было бы трудно опаривать тезисы Герберта Маркузе об интеграции рабочего класса»¹⁷.

Итак, если рассуждения Гароди доводить до логического конца, то следует признать, что в самой развитой капиталистической стране, которая как бы призвана показать будущее всем другим странам мировой системы капитализма, рабочий класс после бунтов и революционных вспышек в XIX и в первых десятилетиях XX века якобы примирился с буржуазным строем, стал его органической частью и заинтересован не в разрушении этого строя, а лишь в его улучшении, усовершенствовании.

Гароди говорит то, что много десятилетий до него говорили и говорят сейчас буржуазные теоретики, правые лидеры реформистских партий и желтых профсоюзов. И снова под шумок борьбы против «догматизма» и «сталинизма» Гароди преподносит своим читателям старые буржуазные и реформистские пошлости, выдавая их за «творческий марксизм».

Вернемся, однако, к вопросу об «интеграции» буржуазным обществом американского рабочего класса. Как возникла эта концепция, которая исходит, очевидно, из теории «затухания» или «исчезновения» антагонистических классовых противоречий американского капитализма на базе преодоления им экономических кризисов, безработицы, относительного и абсолютного обнищания, всех основных пороков буржуазного общества?

При внимательном анализе этой непомерной идеализации американского капитализма нетрудно заметить, что она возникла и существует на базе одностороннего раздувания отдельных реальных процессов и явлений. Конечно же, уровень жизни значительных масс рабочего класса США выше, чем в других капиталистических странах. Но не может ведь исследователь констатировать явление, не пытаясь при этом объяснить причины его возникновения, его сущность, тенденции его развития. Нельзя ведь констатировать относительно высокий жизненный уровень значительных масс американского общества, не обращая внимания на чудовищную интенсификацию труда в этой стране со всеми вытекающими отсюда тяжелыми последствиями для физического и духовного развития десятков миллионов людей. Гароди отлично знает, что относительно высокий стандарт жизни в США достигается также за счет ограбления других народов, и в особенности народов Латинской Америки, за счет неэквивалентного обмена, который приносит миллиарды долларов американским монополиям.

Знает Гароди и другое: относительно высокий уровень жизни американского рабочего класса не есть дар монополий. Он достигнут в суровой и многолетней борьбе рабочего класса. И если автор «Большого поворота социализма» для подкрепления своих реформистских, правооппортунистических взглядов часто возвращается к вопросу об «устарелости» Марксова понимания закона абсолютного обнищания рабочего класса, то ему следовало бы постараться понять, что же в действительности случилось с этим законом в условиях современного государственно-монополистического капитализма. Дело здесь не в «подобревшем» капитализме, не в научно-техническом прогрессе, который позволяет лучше оплачивать труд рабочего, а в организованной борьбе рабочего класса за улучшение своих условий жизни. Вряд ли можно согласиться с тем, что будто закон абсолютного обнищания рабочего класса вообще перестал существовать в развитых капиталистических странах. Если бы дело зависело только от монополий, если бы они имели возможность увеличить безнаказанно свои прибыли за счет возможно полного ограбления рабочего класса, они не задумываясь сделали бы это. Но в современных условиях в капиталистических странах действие закона-тенденции абсолютного обнищания рабочего класса наталкивается на организованное сопротивление рабочего класса и затормаживается. Желая сохранить целое, капитализм идет на частичные уступки рабочему классу, не рискует покушаться на прожиточный минимум рабочего второй половины XX века и в наиболее развитых буржуазных странах.

¹⁷ Ibid., p. 67.

Теперь об «утрате» американским рабочим классом всех своих былых революционных потенциалов и о его «превращении» чуть ли не в опору буржуазного порядка. Отметим в первую очередь ошибочность допускаемого Гароди вслед за буржуазными и реформистскими идеологами недифференцированного подхода к рабочему классу США. Здесь имеются свои «низь» и «верхи», имеются, следовательно, и основные массы этого класса. Общеизвестно крайне тяжелое положение низов, состоящих преимущественно из негров, пуэрториканцев и других «иноземцев» и «иностранцев». Негритянская проблема — не только расовая, но и классовая проблема. Негры составляют значительную часть американского рабочего класса. Всем известно, сколько ненависти накопилось в низах рабочего класса к американскому империализму и как остро эта ненависть проявляется.

Нельзя не обратить внимание на могучее стачечное движение, которое идет в США по восходящей линии. Основные массы рабочего класса этой страны ведут упорную борьбу против монополий, за свои права, против наступления на свой жизненный уровень. Отличительная особенность американского рабочего движения на современном этапе заключается не в том, что оно якобы ослабевает, а в том, что оно не принимает сколько-нибудь отчетливо выраженного политического направления против основ капиталистического строя. Иными словами, экономическая борьба не перерастает здесь в борьбу политическую. Объясняется это многими причинами, и прежде всего тем, что интенсификация труда, ограбление других народов создают в США дополнительные резервы для американских монополий; эти резервы и пускаются в ход в целях смягчения классовых антагонизмов, замедления роста классового сознания американского пролетариата. Этому содействует также искусственное стимулирование повышенной экономической конъюнктуры путем ведения многолетней варварской войны против Вьетнама, колоссальных расходов на создание средств разрушения и т. п.

Таково реальное положение дел в США сегодня. Рабочий класс здесь действительно не поднялся в достаточной мере к активной политической борьбе. Но что из этого следует? По Гароди, если американский рабочий класс не поднялся к активной революционной борьбе в настоящее время, то он не поднимется и в будущем. Вопреки всякой реальной диалектике Гароди увековечивает современное положение дел в США и, по существу, сбрасывает со счетов рабочий класс как революционно-преобразующую силу. Это и понятно. Если Гароди поступает на учебу к буржуазным экономистам, которые провозглашают социальные антагонизмы и классовые противоречия пройденным этапом для США, твердят о победе Кейнса над Марксом, заверяют, что экономические кризисы в результате направляющей роли государства принадлежат прошлому и т. п., то, естественно, он и начинает говорить с их голоса о бесперспективности революционной борьбы за социализм в США.

Во всех его рассуждениях выделяется мысль о политической пассивности рабочего класса Америки. Но к чему увековечивать эту пассивность? Почему не допустить, что дальнейшее углубление противоречий американского империализма, рост его агрессивности во внутренней и внешней политике будут содействовать радикализации рабочего движения в США?

Позволительно прибегнуть к одному историческому сравнению, памятуя, конечно, что аналогия не больше чем аналогия. Известно, что в начале 1905 года те самые трудящиеся массы, которые в октябре 1917 года взяли власть в свои руки, и в их числе питерские рабочие, вышли на площадь с иконами и портретами царя, полагая, что царь может упразднить несправедливость и помочь страдающему народу. Эти и сходные с ними факты давали возможность русским меньшевикам игнорировать революционную роль рабочего класса и связывать надежды с либеральной буржуазией. В свою очередь, эсеры полагали, что движущей силой революции может быть не рабочий класс, а крестьянство, взятое в целом. Нужно было обладать прозорливостью Ленина, большевиков, чтобы не увековечивать исторически переходящую незрелость рабочего движения и увидеть в российском рабочем классе ту силу, которая призвана осуществить социалистическое обновление России.

Люди, подобные Гароди, много говорят о диалектике общественного развития, но когда доходит до дела, то оказываются в плену самой пошлой метафизики, которая не в состоянии видеть жизнь в противоречивом развитии, уловить реальную картину

будущего, возникающую на основе современных растущих противоречий. Гароди уверовал, что «было бы неверным спекулировать на общем обнищании рабочего класса, которое «радикализовало» бы его и подтолкнуло к революционным действиям, подобно тому как это можно было ожидать в XIX веке»¹⁸.

Ссылка на XIX век — явная словесная уловка. А возможны ли революционные действия в США с учетом особенностей XX века? Если отбросить те или иные оговорки, Гароди отрицательно отвечает на этот вопрос и снимает вопрос о социалистической перспективе для США в течение всего обозримого будущего.

Конечно, никто из марксистов-ленинцев не склонен идеализировать существующее положение вещей и ожидать быстрого роста коммунистического движения в США. Процесс радикализации рабочего движения, превращение Коммунистической партии США в мощную массовую политическую организацию потребует немало времени и усилий. Но перечеркивать эту перспективу софистическими рассуждениями о «научно-технической революции», о «кибернетической революции» и т. п. могут лишь люди, утратившие веру в рабочий класс, в его революционную миссию, в социализм.

Превосходство «американского образа жизни», «братание» рабочих и капиталистов в США, угасание классовых противоречий в цитадели современного капитализма — это выдумки буржуазных пропагандистов, и не больше. Эти вымыслы не могут ввести в заблуждение ни одного марксиста, ни одного человека, который умеет видеть факты и делать необходимо вытекающие из них выводы. Напрасно Гароди классовую ложь империалистической буржуазии пытается преподнести в марксистском словесном обрамлении. От многократного повторения эта ложь не может превратиться в истину.

В отличие от Гароди сами правящие классы США, их государство не склонны недооценивать революционные потенции антикапиталистических сил в США. Они прибегают ко всем формам борьбы против них, пускают в ход террор, убийство лидеров революционных и прогрессивных сил. Если бы позиции американского империализма были столь прочны, как это пытается изобразить Гароди, то вряд ли государство монополий тратило бы столь бешеные суммы на содержание невероятно раздутого аппарата насилия над оппозиционными силами. Один факт подслушивания телефонных разговоров десятков миллионов людей свидетельствует о том, как мобилизованы силы империалистической буржуазии.

Конечно, империалистическая буржуазия США не испытывает еще на себе натиска организованных революционных масс рабочего класса. Но это сегодня. Кто может всерьез поверить, зная глубинные кризисные процессы в экономике, в финансах, во внешней политике, во всем общественном строе США, что соотношение классовых сил здесь останется неизменным.

Верно, что в современной общественной жизни США особо бросается в глаза политическая активность непролетарских элементов, и в особенности студенческой молодежи. В этом факте теории типа Маркузе хотели бы видеть подтверждение своих ложных теорий об утрате рабочим классом США своих революционных потенций. Но опережающая временами рабочее движение политическая активность студенческой молодежи — явление не новое. Нельзя забывать, что оно наблюдалось и в старой России, что не помешало тем не менее на последующем этапе исторического движения рабочему классу выступить основной силой революционного преобразования общества.

Факты свидетельствуют, что в США ныне наблюдается рост политической активности рабочего класса и в особенности рабочей молодежи. Выступая на международном Совещании коммунистических и рабочих партий 1969 года, Генеральный секретарь Коммунистической партии США Гэс Холл отметил весьма характерное явление: «Многочисленный отряд молодых рабочих, недавно пришедших на предприятия, становится ударной бригадой рабочего класса. Рабочая молодежь выступает застрельщиком движения рядовых членов профсоюзов. Она стремится к оживлению профсоюзного движения. Именно эти молодые рабочие, многие из которых сами были учащимися, образуют связующее звено между студенчеством и рабочим классом»¹⁹.

¹⁸ R. G a r o d y. Le grand tougnant... , p. 68.

¹⁹ «Международное Совещание коммунистических и рабочих партий. Москва 1969». Прага. 1969, стр. 549.

Исключив перспективы даже мирной социалистической революции, Гароди считает, что экономический и социально-политический прогресс в США возможен не на путях противоборства основных антагонистических классов — пролетариата и буржуазии, а путем их сотрудничества в осуществлении того, что возможно. «Коренные изменения в США произойдут не в результате победы одной стороны над другой,— пишет он,— а путем объединения сил, стремящихся дать системе новую конечную цель»²⁰. Сказано как будто ясно: противоборствующие силы кооперируют свои усилия, чтобы дать системе, то есть существующему капиталистическому строю, новую цель.

Возможность «мирного сотрудничества» противоположных классов в условиях современного капитализма, по Гароди, обусловлена тем, что «сам правящий класс и средние слои теряют веру в собственные ценности, о чем свидетельствует движение протеста в университетах, где учатся их дети»²¹. В книге «Вся правда» Гароди очень уж возмущается, когда его обвиняют в капитуляции перед реформизмом. Но ведь идея сотрудничества пролетариата и буржуазии для постепенного усовершенствования капитализма, для его трансформации в квазисоциализм и есть основная реформистская идея. Зачем же Гароди в таком случае обижается на людей, которые называют вещи своими именами?

Гароди мог бы возразить, сославшись на то, что он-де не снимает вопрос о революционном движении в США. Но что же это за «революционное движение», каковы его движущие силы и цели?

Из характеристик, которые дает сам Гароди этому революционному движению, видно, что оно ничего общего не имеет с научно понятой революцией и революционным движением. В самом деле: какое же это революционное движение, если оно не стремится теми или иными средствами бороться за упразднение существующего реакционного порядка? Рекомендуемое Гароди «революционное движение» не должно оказаться критическим, а должно быть «конструктивным». Поистине странное революционное движение, ибо оно никого не должно беспокоить, ничего не должно отрицать и ничего не должно разрушить! Приведем высказывания самого Гароди: «Первое условие эффективного революционного движения в США состоит в том, что оно должно быть местным, не заимствовать модели у других стран, которые по своей структуре коренным образом отличаются от США. Второе условие: это движение должно быть не просто идеологической, негативной, критической оппозицией, а оппозицией конструктивной, прагматической в лучшем смысле этого слова, то есть основывающейся на специфических, реальных, фактических условиях и открывающей конкретную перспективу»²².

Нетрудно заметить, что «революционное» движение, которое Гароди рекомендует американцам, вполне согласуется с его же идеей сотрудничества американской буржуазии и пролетариата. Какие же кардинальные задачи должны решить эти классы-«побратимы»? Их он насчитывает три: решение проблемы нищеты и тесно связанной с ней негритянской проблемы; строительство средств коллективного пользования (домов культуры, автострад и т. п.); организация действенной помощи странам «третьего мира». «Таковы,— пишет Гароди,— три основных направления капиталовложений, которые могут открыть для «молодой Америки» «новые рубежи» того лучшего, что есть в ее национальных традициях, и вызвать беспрецедентный «бум» американской экономики, зру полной занятости и стопроцентное использование промышленного потенциала»²³.

Из всех последующих рассуждений Гароди мы узнаем, что предлагаемая им программа «революционного» движения для США, по его же признанию, есть не что иное, как совокупность мер по оздоровлению, развитию капитализма. Что касается социалистической перспективы для самой развитой капиталистической страны, то Гароди не считает нужным всерьез даже рассматривать эту программу. Все его рассуждения относительно США укладываются в формулу: от развитого капитализма к более развитому капитализму, который якобы упраздняет на базе достижений научно-технической революции бедность, расовые изуверства, осуществляет программу переключения мил-

²⁰ R. G a r a u d y, *Le grand tournant* . . . , p. 80.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, p. 82.

²³ *Ibid.*, p. 91.

лиардных средств, расходуемых на увеличение военного потенциала, на общественно полезные работы, на помощь странам «третьего мира». «Эту программу,— пишет Гароди,— можно выполнить, не ставя под вопрос основные принципы и законы существующего режима, а, напротив, придавая им их полную действенность и осовременивая их, продолжая и обновляя традиции, обусловившие величие США: это еще не социализм, а улучшенный капитализм»²⁴.

Призвав «все животворные силы молодой Америки» на путь «гуманизации системы»²⁵, Гароди этим и заканчивает свои размышления о «революционном» движении в Америке, снимая тем самым социалистическую перспективу для США, давая весьма отчетливо знать читателю, что эта перспектива весьма отдаленного будущего, настолько отдаленного, что о ней и не стоит говорить всерьез.

Раздираемому глубокими противоречиями американскому империализму, который стал величайшей человеконенавистнической силой, превратившей научно-технический прогресс в орудие жестокого порабощения своего народа и многих других народов, силой, угрожающей миру термоядерным апокалипсическим концом, защитником всего мертвого, отжившего, реакционного, «марксист» Гароди предсказывает большие творческие потенции, приписывает способности к самосовершенствованию, к преодолению многих своих пороков. Мы видели, что Гароди полагает возможным в границах американского капитализма покончить с бедностью, с расизмом, развернуть широкие общественно полезные работы, покончить со многими социальными несправедливостями, стать на путь бескорыстной помощи странам «третьего мира», отказаться от милитаризма, агрессивности и т. п.

Но если все эти добродетели возможно реализовать в границах капитализма, то стоит ли помышлять о каком-то американском социализме, подымать на организованную борьбу многомиллионные массы рабочего класса для уничтожения капиталистических отношений? Не способен ли сам развитый капитализм в условиях научно-технической революции осуществить лучшие идеалы передового человечества?

Буржуазная пропаганда наших дней дает безусловный положительный ответ на эти вопросы. С некоторым опозданием и бывший «марксист» Гароди пытается «марксистскими» словесами придать правдоподобие этим реакционным социальным мифам и призывает «белые и синие воротнички» (интеллигенцию и рабочий класс) совместно с буржуазией и другими социальными слоями капиталистического общества улучшать, гуманизировать буржуазные порядки, не очень рассчитывая на реальность социализма в США.

Ни один марксист-ленинец не станет отрицать необходимость борьбы против расизма, нищеты и бедности, против милитаризма и т. д., но не для того, чтобы отстоять лозунг «улучшения капитализма» и отдалить задачи социалистической революции. Гароди же своими спекуляциями относительно научно-технической, кибернетической революции создает концепции, пронизанные недоверием к социалистической революции в США, к рабочему классу этой страны, основная масса которого рано или поздно, но неизбежно перейдет на путь классово-политической борьбы против устоев капиталистического строя. Гароди позволяет себе оскорбительные оценки деятельности американских коммунистов, которые в самых тяжелых условиях ведут борьбу против американского империализма. Он пишет: «Американская коммунистическая партия, воспитанная в духе большевистской партии, не сумела использовать методы Маркса и Ленина в специфических условиях Соединенных Штатов и превратилась, как, увы, и другие коммунистические партии, скорее в орган пропаганды Октябрьской революции, чем во внутреннюю силу обновления американского общества»²⁶. Вот как одним росчерком пера Гароди перечеркивает значение и революционное призвание Коммунистической партии США, а заодно и всех других «подпавших под влияние большевизма» коммунистических партий!

Одной из причин, ведущих в тупик развитие современной истории, Гароди считает стремление Советского Союза экономически превзойти США, что, в свою очередь, по его утверждению, питает «иллюзию о возможности большевизации самой Америки»²⁷.

²⁴ Ibid., p. 83.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid., p. 73.

²⁷ Ibid., p. 306.

Решение «мировых проблем» современности Гароди ищет не в борьбе между социализмом и капитализмом, которую он отрицает под видом осуждения «политики блоков». (Да он и вообще нигде, кажется, не рассматривает революционный переход от капитализма к социализму как основное содержание современной нам эпохи.) Он старается занять позицию «надклассового» арбитра, подвергнуть критике «недостатки и ошибки» современного социализма и капитализма, найти пути сближения их социально-экономических, политических и идеологических установок. Гароди ратует за создание какой-то новой цивилизации, диктуемой властными законами научно-технической революции, цивилизации, которая сближает противоположные силы, навязывает им диалог вместо «брутальной» борьбы классов. Вот на этих-то путях когда-то, в отдаленном будущем, тихо и незаметно, никого не задевая и не ущемляя, и водворится мировой социализм.

Роже Гароди, который претенциозно критиковал результаты деятельности международного Совещания коммунистических и рабочих партий как «неэффективные», «нереалистические», «триумфалистские» и т. п., предлагает свои глубокомысленные оценки и прожекты. «В ближайшем будущем, — пишет он, — возможно воздействовать в направлении усовершенствования капитализма в Соединенных Штатах, демократизации в Советском Союзе и новых методов развития стран «третьего мира»²⁸. Поистине какая «мудрость» в одной уже постановке задач усовершенствования капитализма в США.

Гароди избегает открыто писать о теории конвергенции социализма и капитализма. Уж очень глубоко и фундаментально эта квазинаучная концепция была развенчана и в теории и на практике. И тем не менее все софистические рассуждения Гароди о социальных последствиях научно-технической революции в конечном счете сводятся к идее сближения различных социально-политических структур и идеологий под прикрытием защиты мирного сосуществования различных социально-политических общественных систем. Свои конвергенционные идеи Гароди, что не отличается большой оригинальностью, пытается вывести из ложного толкования развития современной науки и техники, которые будто бы с неодолимой силой — в индустриальных странах к какой бы социальной системе они ни относились — действуют в направлении нивелировки, интеграции, сближения социально-политических структур. Для обоснования этой ложной идеи выпячивается главным образом то, что является общим для всех индустриальных обществ, — более или менее одинаковый уровень технической вооруженности, сходный технологический процесс на производстве, техническое разделение труда, аналогичные по форме стороны городского быта и т. п. При этом оставляются в тени такие существенные признаки, противопоставляющие социализм и капитализм, как характер производственных отношений, правовых и политических отношений, идеологий и т. п. Вырванная из целостной системы производительных сил, а также производственных отношений техника, ее якобы спонтанное развитие превращается в исходное начало общественного развития. Этот вульгарный «технологический детерминизм», являющийся разновидностью механистического, антидиалектического детерминизма, зримо или незримо присутствует во всех рассуждениях Гароди о социальных последствиях современной научно-технической революции, хотя от чистого технологического детерминизма он в одной из последних своих книг на словах и отказывается.

«Примиряющий атом» действует и подготавливает условия для объединения самых различных, а то и просто противоположных сил в интересах новой цивилизации. Отсюда непосредственно следует, по Гароди, что на современном этапе эти противоположные силы вынуждены действовать сообща, отложив в сторону марксистское учение об антагонистических классах, классовой борьбе, революции и т. п.

Чтобы не быть голословным, приведем высказывания самого Гароди. Он говорит о всеобщем движении к обновлению. «Самобытность этого движения состоит в стремлении осуществить единство мира и человека не путем установления гегемонии, негативной терпимости или единообразия, а путем интеграции, позволяющей осуществить согласованное единство, при котором каждый народ и каждый режим будет развивать

²⁸ R. Garaudy. Le grand tournant... , p. 309.

ся по своим собственным законам. Было бы утопией ожидать, что мир будет установлен при условии отказа Советского Союза от строительства социализма или свержении капитализма в Соединенных Штатах; у нас еще есть максимум десять лет для того, чтобы остановить курс, ведущий к апокалипсису в результате голода и вооружений»²⁹. Вслед за этими словами идет процитированный уже нами призыв Гароди к усовершенствованию капитализма в США и социализма в СССР как к реальной перспективе «единства мира и человека».

Нетрудно заметить, что все эти выступления против «гегемонии», «негативной терпимости», призыв отказаться от идеи упразднения капиталистических отношений в США выражают отход Гароди от научного понимания современной эпохи, ее основных противоречий, от идей марксистски понятой классовой борьбы, социалистической революции, от научно обоснованного убеждения в неизбежности смены капитализма социалистически организованным обществом в США.

Анализируя тезисы Французской коммунистической партии, принятые XIX съездом ФКП, Этьен Фажон подчеркнул, что Гароди делает упор не на основное противоречие, существующее между капитализмом и социализмом, а на научно-техническую революцию, что приводит его к неверным выводам. «Основывать прогрессивное развитие общества,— пишет Э. Фажон,— на изменении производительных сил, более или менее отделяя его от отношений собственности и необходимости их преобразования,— значит отходить от марксизма и склоняться к технократической концепции, которая отвергает насущную необходимость борьбы между классами и общественными системами»³⁰.

Мы довольно подробно остановились на рассуждениях Гароди о судьбах рабочего движения в США, ибо выводы, которые он делает, многозначительны. Но возникает вопрос: распространяет ли Гароди обобщения, сделанные относительно американского капитализма, на другие экономически развитые капиталистические страны Европы и иных континентов? Снимает ли он социалистическую перспективу, скажем, для Западной Европы? Само собой разумеется, что, живя в такой стране, как Франция, с ее мощным рабочим движением, с массовой революционной коммунистической партией, Гароди не может так далеко заходить. Выводы его относительно классовой борьбы против капитализма, о перспективах социализма для капиталистических стран Европы более осторожны. Но, как увидим ниже, от этого они не перестают быть противоречивыми практике и исходным принципам марксистско-ленинской науки.

ПСЕВДОСОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ ЕВРОПЫ

На словах Роже Гароди не отрицает социалистическую перспективу для Франции и других европейских стран капиталистической системы. Больше того, он не прочь время от времени поговорить о социалистической революции и даже о диктатуре пролетариата. В действительности же Гароди предлагает такие пути и средства достижения цели, которые, по существу, не могут привести к научно обоснованному социализму.

Остановимся на вопросе о рабочем классе капиталистических стран. Мы уже видели, что, когда речь идет о рабочем классе США, Гароди солидаризируется с Маркузе и другими ревизионистами, полагающими, что этот класс «интегрирован» буржуазным обществом и революционно-преобразующей роли играть не может. Сказать подобное о французском, итальянском и других национальных отрядах международного рабочего движения Гароди не рискует и поэтому прибегает к несколько другим приемам.

Весь современный правый ревизионизм, одним из представителей которого является Роже Гароди, охвачен желанием «депролетаризировать» марксизм, лишить его классовой сущности, классового подхода и анализа социальных явлений. Делается бессмысленная попытка освободить марксизм от воинствующего пролетарского духа, от

²⁹ *Ibid.*

³⁰ «Проблемы мира и социализма», 1970, № 6, стр. 22.

революционности, чтобы пронизать его идеями абстрактного демократизма и гуманизма, сделать его приемлемым для вкусов мещанина и либерального буржуа, «универсализировать» марксистское учение.

Сидней Хук, старый и коварный враг революционного марксизма, в свое время и не без остроумия воспроизвел суть «депролетаризации» марксизма правым ревизионизмом. Он писал: «Мыслящий историк будущего столкнется со странным явлением во второй половине XX века — второе пришествие Карла Маркса. Во второй раз Маркс является миру не в шюртке экономиста, как автор «Капитала», не как революционный санкюлот, воинствующий памфлетист «Манифеста коммунистической партии». Он приходит в облике философа и проповедника морали, с восторженным провозглашением человеческой свободы, имеющей силу действия не только в узких рамках класса, партии, фракции. В его свите не индустриальные рабочие мира, а интеллигенты-литераторы столиц мира, не пролетариат, а представители профессуры, не социально порабощенные, а психологически отчужденные и разнообразный ансамбль писателей, художников и идеалистически настроенных молодых мужчин и женщин»³¹.

Гароди проявляет необузданную активность в пересмотре облика Маркса-революционера, в «депролетаризации» его учения, в отрицании подлинной роли и призвания рабочего класса в современной борьбе за социальный прогресс.

Для придания большей «научности» своим суждениям о пролетариате Гароди часто апеллирует к современной научно-технической революции, к ее социальным последствиям. Отталкиваясь от правильной мысли, что быстрый технический прогресс в капиталистических странах не может не внести новое в классовую структуру современного буржуазного общества, он, однако, делает отсюда ряд ошибочных, тенденциозных выводов.

Основные мысли Гароди заключаются в том, что падение удельного веса крестьянства и городских мелкобуржуазных слоев делает будто бы неактуальным вопрос о союзе рабочего класса с этими классово-социальными группами. В книгах «За французскую модель социализма» и «Гароди о Гароди» автор оговаривается, что полностью он, конечно, не игнорирует значения союза рабочего класса с крестьянством или мелкой городской буржуазией, но учитывает, что последние в современную нам эпоху не представляют больше той силы, какой они были в XIX веке и в первые десятилетия XX века.

Мы увидим ниже, что, помимо всего другого, идея «нового исторического блока», которая так усердно защищается Гароди, сводится к тому, чтобы заменить лозунг о союзе рабочего класса с крестьянством и городскими мелкобуржуазными слоями другим лозунгом, другой установкой: союз рабочего класса с интеллигенцией, еще точнее — с технической интеллигенцией.

Имеются ли все же какие-либо основания для противопоставления этих двух установок, для отрицания революционных, антимонополистических потенций многомиллионной массы крестьян, городских мелкобуржуазных слоев Европы?

Численное сокращение крестьянства и городских мелкобуржуазных слоев действительно является одним из социальных последствий научно-технической революции в условиях капиталистического общества. Но этому чисто количественному показателю противостоит показатель иного порядка: растущее недовольство крестьянских масс и городской мелкой буржуазии политикой монополистического капитала. Монополии нещадно эксплуатируют не только рабочий класс, но и всех трудящихся города и деревни. Вот почему отказ от союза рабочего класса с крестьянством и городскими массами мелкой буржуазии, какими бы оговорками этот отказ ни сопровождался, способен лишь ослабить фронт борьбы против империализма, против монополий.

Выступая на международном Совещании коммунистических и рабочих партий в Москве, Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев со всей отчетливостью подчеркнул: «Трудовое крестьянство остается главным союзником рабочего класса, несмотря на то, что численность его в развитых капиталистических странах значительно сократилась. Процесс концентрации сельскохозяйственного производства в руках крупных предпринимателей влечет за собой все усиливающееся разорение мелких и сред-

³¹ Sidney Hook. Marx's Second Coming. "Problems of communism", 1966. July--August, p. 26

них фермеров и обострение социальных противоречий в деревне. 60-е годы во многих капиталистических странах ознаменовались крупными крестьянскими забастовками, причем борющиеся за свои права крестьяне все чаще выступают за единство действий с рабочим классом»³².

События во Франции в 1968 году показали, какая значительная сила таится в мелкобуржуазных кругах деревни и города, как много под руководством рабочего класса они могут внести в общую борьбу против власти монополистического капитализма.

Руководствуясь таким пониманием проблемы, Французская коммунистическая партия ведет большую работу среди крестьянства и непролетарских слоев городских трудящихся. В ноябре 1971 года Политбюро Французской коммунистической партии рассмотрело важные вопросы, связанные с положением в сельской местности, с аграрной политикой ФКП. Само собой разумеется, что решения Политбюро ФКП ничего общего не имеют с установками на отрицание союза рабочего класса с крестьянством, на ослабление связей рабочего класса с другими социальными слоями, угнетаемыми монополиями.

Взамен союза рабочего класса с крестьянством Гароди выдвигает и отстаивает идею союза рабочего класса с интеллигенцией. Защищая эту идею, он указывает на общепризнанный факт усиления эксплуатации многих отрядов интеллигенции со стороны монополий. С этим неразрывно связано усиление роли интеллигенции в борьбе против империализма, ее сближение с основными массами пролетариата. Это, конечно, новые и весьма важные явления, которые должны быть правильно поняты и оценены.

Международное Совещание коммунистических и рабочих партий 1969 года уделило значительное внимание оценке нового в положении интеллигенции, ее роли в борьбе против империализма. «В нашу эпоху, когда наука превращается в непосредственную производительную силу, интеллигенция все больше пополняет ряды работников наемного труда. Ее социальные интересы переплетаются с интересами рабочего класса, ее творческие устремления сталкиваются с интересами хозяев-монополистов, для которых прибыль превыше всего. Хотя имеется существенная разница в положении различных групп интеллигенции, все большая ее часть вступает в конфликт с монополиями и с империалистической политикой правительства. Кризис буржуазной идеологии и притягательная сила социализма способствуют вступлению интеллигенции на путь антиимпериалистической борьбы»³³.

Совещание отметило, что союз работников умственного и физического труда становится все более внушительной силой социального прогресса. Констатируя возросшую роль интеллигенции как антиимпериалистической силы, делая отсюда важные выводы, международное коммунистическое движение отбросило вместе с тем идею «нового исторического блока» и связанную с ней установку на замену союза рабочего класса и крестьянства союзом рабочего класса и интеллигенции.

Вернемся, однако, ко второй, «позитивной» части «нового исторического блока», где рассматриваются взаимоотношения между рабочим классом и интеллигенцией. Обратимся к определениям самого Гароди. Он пишет: «Новый исторический блок» составлен таким образом, что решающее место принадлежит здесь не крестьянам и не средним городским классам, а совсем иным слоям общества, стоящим бок о бок с рабочим классом, а иногда даже сливающимися с ним,— инженерно-техническим и научным работникам, равно как и различным другим «органическим интеллигентам», включая сюда студенчество»³⁴.

Возросшая роль многих отрядов интеллигенции в антиимпериалистической борьбе, их сближение с рабочим классом как по социальному положению, так и по идеологии является фактом очевидным. Сходные утверждения Гароди не могут поэтому вызвать принципиальных возражений. Возражения начинаются там, где он союз «труда и науки», «союз синих и белых воротничков», пытается истолковать так, чтобы поставить под сомнение руководящую роль рабочего класса в современном социальном прогрессе — очень осторожно, почти незаметно для неопытного читателя,— поставить под со-

³² «Международное Совещание коммунистических и рабочих партий...», стр. 188.

³³ Там же, стр. 26.

³⁴ R. Garaudy у. Pour un modèle français du socialisme, p. 27.

мнение революционные потенции и ведущую роль людей физического труда, подвергающихся самой тяжелой эксплуатации.

Через все рассуждения Гароди проходит мысль, что в наш век науки и техники направлять общественное развитие могут только те люди, которые сами являются носителями научно-технического прогресса, то есть ученые и технократы. Говоря о технической интеллигенции, он замечает: «В результате развития производительных сил, в особенности применения кибернетики в производстве, в организации и управлении, эти слои интеллигенции оказались за последние годы в условиях, благоприятствовавших осознанию ими основных противоречий и новых противоречий капитализма»³⁵. Сказано, кажется, довольно ясно: сущность происходящих в недрах современного капитализма процессов может постигнуть лишь научно-техническая интеллигенция. А если это так, то руководящая роль в движении к будущему, к социализму принадлежит якобы прежде всего этой интеллигенции, а не рабочему классу и его коммунистическому авангарду.

Мысль об особой исторической роли технической интеллигенции отстаивается Гароди во многих аспектах. Так, говоря об объединении социальных сил в США, «стремящихся дать системе новую конечную цель», он особо выделяет роль этой интеллигенции. «Технические специалисты и администраторы,— пишет он,— то есть большое число интеллигенции, сыграют, вне всякого сомнения, первостепенную роль в этом объединении. На это имеются некоторые объективные причины: новая структура производительных сил и ведущая роль, которую в ней играет организованная интеллигенция»³⁶.

Научно-техническая революция, понятая с позиций, близких к «технологическому детерминизму», обуславливает веру Гароди в техническую интеллигенцию как ведущую силу современного общественного развития. Но он отлично понимает, что такая постановка вопроса есть не что иное, как отрицание фундаментального положения марксизма о рабочем классе как могильщике капиталистического строя. Поэтому, явно вступая в противоречие со своими убеждениями, он механически повторяет «формулу» о руководящей роли рабочего класса в процессе перехода к социализму. И чтобы как-нибудь соединить то, что ему кажется истиной, с тем, что утверждает марксистско-ленинская теория и практика, Гароди обосновывает мысль о значительном увеличении рабочего класса за счет многих отрядов научно-технической интеллигенции. Но, спрашивается, если многие отряды интеллигенции вливаются в ряды рабочего класса, то какой имеет смысл говорить о союзе рабочего класса и интеллигенции? Ведь ясно же, что не может быть союза между тождественными социально-классовыми объединениями.

Основная мысль Гароди — выдвинуть научно-техническую интеллигенцию на первое место в руководстве современным революционным процессом то ли в качестве органической части пролетариата, то ли его союзника — есть грубое извращение марксистско-ленинской науки. И дело здесь не в том, что марксизм якобы не видит и недооценивает частичный рост пролетариата за счет интеллигенции, возрастающую роль последней в борьбе против ущербного, иррационального по существу своему современного капитализма.

Передовая интеллигенция всегда занимала очень большое место в судьбах революционного пролетарского движения. Достаточно вспомнить великую роль Ленина, многих тысяч интеллигентов России в борьбе за победу рабочего класса. Но никто из них не ставил под сомнение то положение, что вождем революции является рабочий класс.

Выступая с критикой концепции «нового исторического блока», выдвинутой Р. Гароди, член Политбюро Итальянской коммунистической партии Дж. Наполитано совершенно правильно отмечает, что в «новом историческом блоке» Гароди «затушевывается основной элемент — руководящая роль рабочего класса»³⁷.

³⁵ R. Garaudy. Pour un modèle français du socialisme, p. 273.

³⁶ R. Garaudy. Le grand tournant..., p. 80–81.

³⁷ Giorgio Napolitano. Roger Garaudy et "Le nouveau bloc historique". "La Nouvelle Critique". Mai 1970. № 34 (215), pp. 7–10.

Структурные изменения, которые происходят в составе рабочего класса капиталистических стран под воздействием научно-технической революции, конечно, связаны с ростом «пролетариев умственного труда» и их инициативы в борьбе против капиталистического общества. Но эти явления не могут поставить под сомнение ту истину, что капитализм будет упразднен объединенными силами всего антимпериалистического лагеря во главе с рабочим классом, а не под руководством научно-технической интеллигенции.

Рабочий класс является антиподом буржуазии, могильщиком капиталистического общества. Напрасно Гароди апеллирует к научно-технической революции, чтобы поставить под сомнение эти проверенные жизнью истины. Самая передовая, революционно настроенная интеллигенция может достигнуть своих прогрессивных целей лишь как сила, содействующая пролетариату в осуществлении его исторической миссии. Только массовое революционное движение, сердцевиной и направляющей силой которого является рабочий класс, может покончить с капиталистическими отношениями и возглавить социалистическое преобразование общества. Прошлый и недавний опыт свидетельствует, что в отрыве от рабочего класса, отстранившись от его руководства, даже наиболее радикальные выступления студенчества, интеллигенции неизменно были обречены на неудачу. Как совершенно правильно отмечено в одном из последних советских изданий, «противопоставляя интеллигенцию рабочему классу, ревизионисты делают плохую услугу самой интеллигенции. Такое противопоставление может затруднить и ее собственную борьбу за свои социальные и профессиональные интересы, и общую борьбу за сплочение широкого антимонополистического фронта»³⁸.

Отстаивая свои ошибочные взгляды по вопросу о руководящей силе современного революционного движения, а также по многим другим вопросам, Гароди не прочь представить дело таким образом, будто он защищает идеи, тесно связанные с французским путем к социализму. В действительности же руководство ФКП, ее теоретические кадры подвергли острой критике попытки Гароди выдать свои антимарксистские измышления за идеи, связанные с «французским социализмом».

По всем коренным вопросам позиция Гароди несовместима с установками Французской коммунистической партии. Для примера сошлемся на Мориса Тореза. Подчеркивая руководящую роль рабочего класса, он писал: «Ни крестьянство, ни мелкая буржуазия, ни творческий гений ученых и инженеров, ни вообще интеллигенция не могут стать той социальной силой, которая руководит обновлением мира»³⁹.

Нетрудно заметить, как все это очень далеко от того, что ныне пишет Гароди с намеками на особый «французский социализм».

В путаных, противоречивых суждениях Гароди о «новом историческом блоке», как мы уже отметили, упорно пробивается идея об особой, направляющей роли интеллигенции в современном общественном развитии. Эта ревизионистская попытка Гароди встретила достойный отпор со стороны французских коммунистов.

«В сущности,— пишут А. Казанова и Ф. Коен,— рассуждение Гароди основано на идее того, что научно-техническая революция уже совершена и слияние физического и умственного труда якобы завершилось. С этого времени не существует больше рабочего класса в том виде, как его определил марксизм, исходя из анализа капиталистического способа производства. Рабочий класс уступает место «совокупному работнику», внутри которого решающая стратегическая роль принадлежит интеллигенции... Отсюда проистекает требование, чтобы Французская коммунистическая партия изменила свою стратегию, свою тактику, свои принципы. Эта линия является последовательной линией ревизионизма»⁴⁰.

Чтобы прикрыть возвышение социальной роли интеллигенции, «духовной элиты», и принижение исторического призвания рабочего класса, Гароди подменяет понятие «рабочий класс» ложно толкуемым понятием «совокупный рабочий». Прибегает он и к другому рискованному приему: к упразднению различий между работниками физического и умственного труда, между «синими и белыми воротничками».

³⁸ «Научный коммунизм и фальсификация его ренегатами». М. 1972, стр. 43.

³⁹ Морис Торез. Избранные статьи и речи. 1930—1964 гг. М. 1966, стр. 605.

⁴⁰ А. Казанова, Ф. Коен. Où en est Roger Garaudy? «La Nouvelle Critique», Janvier 1970. № 30 (211), p. 39.

То, что современный научно-технический прогресс и в условиях капитализма содействует сближению работников физического и умственного труда, не нуждается в особых доказательствах. Этот процесс сближения, бесспорно, осуществляется в определенных границах и отношениях в современном буржуазном обществе. Но одно дело сближение, или — точнее — тенденция к сближению между работниками физического и умственного труда, и другое — слияние⁴¹. Решение этой задачи требует ликвидации капитализма и победы коммунистического общества. Гароди, видимо, со своих позиций «технологического детерминизма» не придает должного значения вопросам социально-экономической и политической структуры, господствующему типу производственных отношений, от которого зависит возможность или невозможность тех или иных социальных процессов, направление их и развитие и т. д.

Известно, что люди, ставившие под сомнение руководящую роль рабочего класса в переходе от капитализма к социализму, издавна предпочитали как-то вуалировать свои подлинные позиции. Вместо прямого отрицания руководящей роли рабочего класса они с той или иной степенью откровенности брали под сомнение роль и значение коммунистического авангарда — революционной марксистско-ленинской партии рабочего класса. Эту же операцию продельвает и Роже Гароди, что, кстати сказать, не мешает ему рассыпать множество комплиментов в адрес коммунистической партии.

ПОХОД ПРОТИВ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ЦЕНТРАЛИЗМА

В числе других ревизионистов правого толка Гароди предлагает программу «обновления» партии с учетом научно-технической, кибернетической и прочих революций. Смысл этого «обновления» заключается в том, что коммунистическая партия должна отказаться от своих твердых идейных и организационных принципов во имя «широкой демократии», не претендовать на руководящую роль в борьбе за социализм, а превратиться в идейно-просветительскую организацию и заниматься лишь пропагандой полезных политических и иных идей, лишь советовать придерживаться тех или иных путей развития и т. п.

Любопытная логика: один и тот же человек, Гароди, констатирует усложнившуюся борьбу за социализм и одновременно делает все возможное, чтобы лишить социалистическое движение дееспособных коммунистических партий, идейно спящих, организационно крепких, охваченных революционной дисциплиной и самодисциплиной. Взамен всего этого он зовет к «решительному разрыву с тем, что в условиях статической централизованной модели называют «руководящей ролью» партии»⁴². Гароди уверяет, что «„руководящая роль“ состоит отныне в том, чтобы помогать трудящимся принимать решение на основе углубленного знания проблем... Партия, будучи классовой организацией пролетариата, принимает политические решения, но не в виде руководящих указаний»⁴³.

Возникает вопрос: как многомиллионная армия трудящихся может вести борьбу за победу социализма без руководящего центра, без своей революционной партии, которая, изучая сложившуюся ситуацию, настроения и мысли масс, их советы и предложения, не только вырабатывает конкретную программу борьбы, но и повседневно руководит этой борьбой? Много ли стоит такая партия, которая принимает «политические решения», но не заботится о том, чтобы они выполнялись всеми партийными организациями и всеми ее членами? В формуле же Гароди ясно подчеркивается, что партия не должна рассматривать свои политические решения как решения, обязательные для исполнения. Неленость такой постановки вопроса ясна не только в условиях самодержавия, но и в условиях наиболее демократически организованного общества. Подчинение воле большинства или органам, свободно избранным этим большинством, есть элементарное демократическое требование. Третировать это требование как «зло», как

⁴¹ По этим вопросам см.: «Научный коммунизм и фальсификация его ренегатами», гл. I: Ileana Bauer, Anita Lepert. Sirenenesang eines Renegaten oder die "grosse Wende" Roger Garaudy's. Berlin. 1971. capit. III, § 5. "Historische Mission der Arbeiterklasse oder "neuer historischen Block".

⁴² R. Garaudy. Le grand tournant. . . , p. 204.

⁴³ I b i d.

«бюрократизм», «бюрократический централизм» и т. п. может только человек, который и не думает всерьез о революции, отлично понимая, что куда легче в течение многих десятилетий разглагольствовать о революции, чем ее подготавливать и осуществлять на деле.

Отказывая коммунистической партии в праве настаивать на выполнении своих руководящих указаний, требовать подчинения меньшинства большинству, отстаивать свое единство, отвергая фракционную деятельность и т. п., Гароди не мог, конечно, не поднять руку также и на важнейший организационный принцип марксистско-ленинской партии — на принцип демократического централизма. Со многими оговорками, уловками, «уточнениями» он пытается доказать беспредметность этого принципа в современных нам условиях. Демократический централизм, уверяет он, был порожден специфическими подпольными условиями существования большевистской и других коммунистических партий и с исчезновением этих условий якобы утратил право на существование.

Гароди клеветнически утверждает, будто сейчас почти во всех коммунистических партиях «демократический централизм» переродился в «бюрократический». «Демократический централизм Французской коммунистической партии,— заявляет он,— как и во всех других партиях, не предпринявших решительной критики сталинизма после XX съезда... продолжает сливаться с бюрократическим централизмом, оставляющим место только для чисто формальной демократии»⁴⁴.

Усвоив специально-научную терминологию, используемую в литературе по научно-технической революции, по кибернетике, применению математических методов к изучению социальных явлений и т. п., Гароди ловко играет научно-техническими понятиями с целью придать своим антимарксистским утверждениям какой-то вес, наукообразность. Так, чтобы покончить с демократическим централизмом, он апеллирует к кибернетике. Оказывается, «„модель КПСС“ была продиктована... лапласовским детерминизмом, была «механической моделью» с явным преобладанием централизма и игнорированием демократии. Теперь же на смену этой старой «механической модели» пришла модель кибернетическая»⁴⁵.

Какое отношение кибернетика имеет к демократическому централизму? Оказывается, самое непосредственное. Послушаем самого Гароди: «Спецификой кибернетической модели является введение «feedback» (обратной связи), то есть постоянных регуляторов, позволяющих на каждом этапе приспособлять систему к новым условиям ее функционирования. В особом случае, если иметь в виду человеческое общество, идет ли речь о заводе или о политической партии, это означает проявление субъективности агентов производства или членов партии»⁴⁶. Если вспомнить, что под «субъективностью» агентов следует понимать их «инициативу» и «активность», то становится самоочевидным преимущество «кибернетической модели» партии. Эта модель до минимума ограничивает централизм, чтобы обеспечить доверие «к духу инициативы, ответственности, творчеству». Гароди победоносно заключает: «Демократический централизм, согласно диалектическому представлению его создателей Маркса и Ленина, должен ныне более чем когда-либо в нашем высоко развитом обществе мыслиться не как механистическая, а как кибернетическая модель»⁴⁷.

Марксизм всегда и неизменно учитывает достижения в области всех наук, в том числе и кибернетики. Исключительно, бесспорно, роль кибернетики в дальнейшем научно-техническом прогрессе. Но ни один марксист не может согласиться с попытками использовать кибернетику для обоснования антинаучных и реакционных социальных выводов. Смысл же всех «высоконаучных» рассуждений Гароди о кибернетике и прочих вещах заключается лишь в одном: выбросить демократический централизм, лишить коммунистическую партию ее решающей роли в борьбе за социализм, парализовать ее авангардную роль создать что-то вроде плюральных центров инициативы, которые не нуждаются ни в каких «руководящих указаниях». Что это, если не попытка идейного и организационного разложения революционной партии, лишения ее единого руководя-

⁴⁴ Ibid., p. 276.

⁴⁵ Ibid., p. 277.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid., p. 278.

щего центра, единой идеологии, единой стратегии и тактики! И эту подрывную деятельность против коммунистической партии Гароди предпринимает в условиях, когда контрреволюционные силы, не очень внимая кибернетике и другим наукам, сосредоточивают свои усилия, организуются, вырабатывают единые планы и единые центры подавления прогрессивных, социалистических движений. Нетрудно догадаться, каково было бы положение дел в самой Франции, в Италии и других капиталистических странах Европы, если бы коммунистические партии последовали советам Гароди, отказываясь от своей роли организационных и идейных руководителей рабочего класса, всех трудящихся масс.

В качестве теоретика правого ревизионизма Гароди сыграл, надо сказать, предательскую роль в поддержке и вдохновлении антипартийных сил в период чехословацкого кризиса. Он снабдил «теоретическими» аргументами тех, кто под видом борьбы за «демократический» и «гуманистический» социализм добивался падения социалистического строя в Чехословакии. Отлично понимая роль и призвание КПЧ в защите социалистических завоеваний и в дальнейших судьбах социалистической Чехословакии, Гароди с особым усердием в этот период выступал против принципа демократического централизма, содействовал разрушению КПЧ.

Как же мыслит Гароди переход к социализму, по существу, отбросив руководящую роль рабочего класса и его коммунистического авангарда в упразднении капиталистических отношений и в утверждении социализма в развитых капиталистических странах Европы?

«РЕВОЛЮЦИЯ» БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ

По своему обычаю, Гароди как бы по инерции продолжает говорить о революции и, как мы уже отметили, даже о диктатуре пролетариата, о руководящей роли рабочего класса (который сводится им к понятию «совокупного рабочего»), о коммунистической партии и о многом другом, взятом из лексикона и теории революционного марксизма-ленинизма. Но все эти употребляемые им понятия лишены революционно-научного содержания и, по существу, сведены к нулю.

Все свои надежды Гароди отныне связывает не с революционной борьбой за переход к социализму, а с ходом научно-технической революции, которая шаг за шагом будет подготавливать социалистическое обобществление основных средств производства. Весь ход движения от капитализма к социализму он строго регламентирует развитием производительных сил, точнее — техники. Сами классовые отношения и этот пресловутый «новый исторический блок» как бы автоматически вытекают из современной ступени научно-технического прогресса. «Автоматизм» Каутского и его единомышленников, подвергнутый критике со стороны Гароди в книге «Ленин» и в других его сочинениях, мирно сосуществует с чисто технологическими концепциями общественного развития, в которых производственные отношения превращаются в пассивный продукт развития техники.

Эта методологическая концепция правого оппортунизма твердо усвоена Гароди. Со многими оговорками и «поправками» им усвоена также обветшалая социал-демократическая мысль о постепенном преобразовании государственно-монополистического капитализма в социализм. Правда, в отличие от типичных реформистов, сторонников «трансформации» капитализма в социализм, Гароди, как уже было сказано, все еще пользуется понятием «социалистическая революция», сводя ее к сумме действий, которые при полной подготовке экономических и прочих условий должны просто выставить за дверь горсточку монополистов.

Мирный переход от капитализма к социализму требует, как известно, огромного напряжения сил революционного рабочего класса, обострения его чувства вражды к строю эксплуатации, к порабощению, к социальному неравенству, к многообразным формам отчуждения человека и его труда. Гароди же часто в духе правореформистских рекомендаций рассчитывает на какую-то «экономическую мутацию», в результате которой капитализм-де превратится в социализм. Классовая борьба пролетариата если и имеет какое-нибудь значение в этом процессе, то не больше чем простое содействие разрыву скорлупы для высвобождения сформировавшегося в нем живого существа.

С этих позиций Гароди берется критиковать и поучать Французскую коммунистическую партию, подсказывать ей тактику поведения, соответствующую «духу времени». Он пишет: «Чтобы выйти из тупика (?), партии не надо менять своей программы, ни тем более отказываться от своих целей. Но ей надо изменить методы и стиль работы, надо перестать быть лишь компактной силой, вызывающей у противников страх и стремление обойти ее стороной, ей надо превратиться в живой и лучезарный центр французской жизни в ее продвижении к будущему»⁴⁸. Итак, чтобы все шло хорошо, коммунистическая партия не должна стремиться стать «компактной силой», ибо это вызывает страх у ее врагов! Но, спрашивается, как можно вести классовую борьбу против капитализма, не тревожа и не волнуя его защитников? Могут сказать, что это случайно вырвавшаяся фраза, ибо она слишком уж нелепа в устах человека, который время от времени все же говорит о революционной борьбе пролетариата и прочих вещах.

Фраза, что и говорить, нелепая, но она имеет определенную смысловую нагрузку и не является случайной для общей концепции Гароди. А эта общая концепция заключается в стремлении максимально смягчить классово-политические антагонизмы, рассчитывая на то, что научно-технический прогресс в условиях капитализма немного раньше, немного позже в экономическом и социальном плане все, дескать, расставит на свои места, и тогда настанет век социализма.

Как и всегда со многими оговорками, «разъяснениями» и «уточнениями», Гароди строит все свои расчеты на «экономической мутации», которая совершится тогда, когда для этого все будет «подготовлено» и потребуются лишь толчок со стороны. Отсюда вытекает едва замаскированное игнорирование им подлинно революционно-политической и идеологической борьбы против основ капиталистического строя.

Гароди, конечно, не отвергает значения парламентской и других форм классовой борьбы против государства монополий, но считает их весьма второстепенными и малоэффективными. Такое принижение политических форм борьбы обуславливается у него чрезвычайным преувеличением экономической роли буржуазного государства. Он ссылается на тот, например, факт, что во Франции 40 процентов капиталовложений являются государственными. Буржуазное государство, утверждает Гароди, не может быть преобразовано в результате завоевания большинства в парламенте. Государство слито с экономикой, а не с парламентом. И оно не может быть просто свергнуто уличными манифестациями⁴⁹. «Если государство,— пишет он,— по существу превратилось в гигантский экономический аппарат, оно может быть поражено, парализовано лишь на том же экономическом уровне, то есть на том уровне, где оно является наиболее действенным»⁵⁰.

В этих констатациях Гароди много правильного. Действительно, как во Франции, так и в других развитых капиталистических странах сейчас по сравнению с прошлыми десятилетиями значительно возросла роль буржуазного государства в сфере экономических отношений. Верно также, что роль парламента и парламентских форм борьбы, их удельный вес несколько уменьшился с возрастанием значения исполнительной власти, сосредоточенной в руках монополий и их государства. Но было бы глубоко ошибочно на этом основании утрачивать перспективу возрастания роли парламентской борьбы по мере завоевания в нем большинства представителями трудящихся масс и превращения парламента в подлинное и острое орудие борьбы против господства монополий и узурпированной ими власти, принадлежащей парламенту. В этой связи весьма реальна также перспектива роста всех форм оппозиционных космополитическому капитализму сил, их борьбы против ненавистного эксплуататорского строя, включая и массовые уличные демонстрации революционных сил.

Исключив из арсенала борьбы указанные формы политического наступления трудящихся против монополий, оценив эти формы как «второстепенные» и «малоэффективные», Гароди связывает свои надежды лишь с общенациональной забастовкой, которая одна-де может экономически парализовать весь буржуазный строй и его государство, ставшее, по существу, экономической силой.

⁴⁸ R. Garaudy. Le grand tournant.... p. 236.

⁴⁹ См. "Garaudy par Garaudy", pp. 64—65.

⁵⁰ Ibid., p. 65.

Гароди неоднократно повторяет, что идея «общенациональной забастовки» ничего общего не имеет со старым анархо-синдикалистским мифом «всеобщей стачки», поскольку последняя стремилась охватить лишь рабочий класс и изолировать тем самым его от всего остального общества. Общенациональная же забастовка, по Гароди, является, как об этом свидетельствует само ее название, общенациональным явлением, охватывающим всю нацию, исключая монополистическую буржуазию.

Нетрудно заметить, что классовую борьбу против монополистического капитала Гароди заменяет «общенациональной». Это положение нуждается в серьезном критическом анализе.

Не вызывает сомнения, что пролетариат призван объединить вокруг себя все слои общества, которые подвергаются порабощению со стороны монополий. На определенном этапе движения к социализму общий антимонополистический фронт борьбы является важнейшим условием достижения передовой демократии, которая должна перерасти в социализм. На этом демократическом этапе революционного движения в своеобразных формах осуществляются ограничение власти монополий, рабочий контроль на производстве, совокупность мер по утверждению демократических начал в самом процессе производства и т. п. Эти задачи создания широкого антимонополистического фронта были глубоко изучены XIX и XX съездами ФКП. Французские коммунисты всесторонне рассмотрели сущность передовой демократии и условия ее перерастания в социализм. Однако в программных установках Французской коммунистической партии, как и следовало ожидать, лозунг «общенациональной забастовки» не нашел места.

Дело в том, что этот лозунг достаточно неопределен и двусмыслен, по крайней мере для Франции. Сразу же возникает вопрос: действительно ли вся французская нация готова вступить в борьбу против монополистической верхушки? Спрашивается, почему же средняя и крупная (немонополистическая) буржуазия должна рука об руку с трудящимися выступить против монополистического капитала? Конечно, существуют реальные противоречия между монополистической и немонополистической буржуазией. Но разве эти противоречия более глубоки, чем противоречия между рабочим классом и буржуазией?

Выше мы приводили заявление Гароди о том, что нет ничего общего между анархо-синдикалистской «всеобщей стачкой» и «общенациональной забастовкой». Конечно, эти два лозунга родились в различные исторические эпохи и отразили своеобразные социально-экономические устремления. Но тем не менее напрасно Гароди стремится воздвигнуть между ними непроходимую стену. Общее, что характерно для них,— это решение задачи эпохального значения без политической борьбы, методами чисто экономического воздействия. Сами «теоретики» анархо-синдикализма ничуть не отрицали аполитичной природы «всеобщей стачки», не считали, что она ведет к революционно-политической схватке с капитализмом. Они рассматривали ее как всеобщую э к о н о м и ч е с к у ю стачку, в результате которой как раз и будет, дескать, парализован капиталистический экономический механизм, что приведет к автоматическому исчезновению буржуазных порядков, а вместе с ними и буржуазного государства. Анархо-синдикализм отрицал все формы политической борьбы рабочего класса и в их числе борьбу за использование парламентской трибуны.

Даже это беглое напоминание черт анархо-синдикализма показывает, что его идея «всеобщей стачки» не так уж обособлена от идеи «общенациональной забастовки» Гароди. Правда, классовое движение в концепции Гароди подменяется «общенациональным», но и здесь нельзя не заметить все ту же ставку на «уничтожение» буржуазного общества и капиталистического государства чисто экономическими средствами, ту же тенденцию отодвигания политических форм борьбы, в частности парламентской ее формы, на периферию «общенациональной» борьбы против монополистического капитализма.

Многозначительно, что, предвидя справедливый упрек в восстановлении отдельных лозунгов анархо-синдикализма, направленных против парламентской борьбы, Гароди спешит «предупредить» читателя против «нигилистических выводов» относительно этой борьбы и «оживления анархо-синдикализма прошлых времен»⁵¹. Это обычный для него прием в целях уклонения от критики.

⁵¹ R. G a r a d y. Le grand tournant. . . , p. 261.

Но многого ли стоят предупреждения Гароди против анархо-синдикалистского игнорирования парламентских форм борьбы, если он через несколько строк после приведенных слов пишет: «Парламент больше не может играть роль движущей силы в политической жизни страны: он не может ни служить целям захвата власти, ни управлять делами страны?»⁵²

Приведем еще один пример принижения, игнорирования Гароди политической борьбы в развитых капиталистических странах. Все в тех же целях уклонения от критики он пишет: «Революционную борьбу надо вести одновременно во всех областях — политической, экономической, культурной, а не ограничиваться только одной областью политики»⁵³. Читая эти слова, можно подумать, будто бы Гароди отдает должное всем формам классовой борьбы. Но ничуть не бывало. Оговорился он так лишь для маневра. А дальше у него идет то, что составляет его подлинное убеждение: дескать, по меньшей мере для развитых капиталистических стран не следует выпячивать политическую форму классовой борьбы. «Специфические исторические условия,— пишет он,— в которых такие страны, как Россия или Китай, осуществили свою социалистическую революцию, привели к тому, что под черкнулся, подчас чрезмерно, хронологический и иерархический приоритет политической борьбы. Возможно, это было необходимо в таких странах, где революция совершается при довольно низком уровне экономического и технического развития, и в странах, где нет традиций буржуазной демократии»⁵⁴.

Таким образом, Гароди старается приоритет политической формы борьбы — наиболее острой и действенной формы борьбы за социализм — сделать преимущественным достоянием лишь «отсталых» в экономическом и демократическом отношении стран. Что же касается развитых капиталистических стран, то нетрудно заключить, что, руководствуясь логикой Гароди, переход к социализму здесь связан главным образом с экономической борьбой, экономическими преобразованиями.

Вот где таится основа ревизионистских взглядов Гароди на ненужность руководящей роли коммунистической партии! Для того чтобы в результате «экономических преобразований», сопровождающихся «демократическими преобразованиями», совершилась «великая мутация» и капитализм преобразовался в социализм, нет, оказывается, надобности ни в революционно-политической борьбе, ни в революционной коммунистической партии с ее действенным принципом демократического централизма, ни в революционной «официальной философии», обосновывающей борьбу за утверждение социализма.

Под видом борьбы за «творческий марксизм» Гароди переименовал и преподнес нам ветхие правореформистские откровения, «освежив» их ссылками на научно-техническую, кибернетическую и всякие другие революции.

Итак, если для США Гароди в предвидимом будущем вообще не видит социалистических перспектив, то в отношении других развитых капиталистических стран его социалистические прогнозы мало, по существу, отличаются от того «социализма», который сам он когда-то критиковал как оппортунистический псевдосоциализм. Об этом свидетельствует тот, например, факт, что в своих книгах, посвященных социализму, он нигде всерьез не анализирует соотношение антагонистических сил в самой Франции и в других развитых капиталистических странах. В его анализе вряд ли можно найти характеристику врага рабочего класса, возможностей контрреволюции, ее стратегии и тактики, ее резервов — внутренних и международных, существа ее идеологической «демагогии» и т. п. Так может подойти к проблеме именно тот человек, который много пишет о социализме, но мало озабочен реальным процессом борьбы за социализм, вырастающим прежде всего из политической борьбы и столкновения антагонистических сил капиталистического общества.

Достоин в этой связи упоминания тот факт, что на основе каких-то чисто формальных признаков Гароди берется «доказать», что во Франции, кроме коммунистической партии и коммунистической прессы, нет якобы никаких, по существу, других влиятельных партий и партийной прессы. Делает он частичное исключение еще относительно

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid., p. 262.

⁵⁴ Ibid.

социалистической партии. «Не осталось ни одной политической партии, за исключением коммунистической,— пишет он,— которая в организованной и постоянной форме давала бы какому-то классу или прослойке общества возможность осознать свои интересы, свои цели и иметь организацию, способную добиваться осуществления этих целей»⁵⁵. Подумать только, буржуазные партии во Франции, и в первую очередь голлистская партия, перестали, как положено, «осознавать свои интересы, свои цели»!

Гароди очень «обижается», когда его упрекают в правом оппортунизме и ликвидаторстве. Но ведь он дает все основания для этих заслуженных обвинений. Да вряд ли эти «обиды» искренни. В противном случае он не мог бы не задуматься над тем фактом, что XIX съезд ФКП безоговорочно отверг все его ревизионистские идеи. Иначе и не могло быть, ибо Гароди был полностью развенчан. Французские коммунисты отлично поняли, что вся его игра с модными словами и понятиями, слишком уж «своеобразное» толкование сущности социальных последствий научно-технической революции, оттеснение рабочего класса на периферию общественно-политической жизни, переоценка роли научно-технической интеллигенции в утверждении нового строя, попытка идейного и организационного ослабления коммунистической партии и многое другое означают не что иное, как отказ от революционно-политической борьбы, от реальной конечной социалистической перспективы капиталистических стран Европы.

⁵⁵ R. G a r a u d y. Le grand tournant..., p. 262.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ГЕНРИХ БОРОВИК

★

КАК Я БЫЛ КОРРЕСПОНДЕНТОМ «ЭСКВАЙРА»

«**В**ы приглашаетесь быть специальным аккредитованным корреспондентом «Эсквайра» на национальном съезде демократической партии в Майами-бич, Флорида, 10—14 июля с. г. «Эсквайр» является крупнейшим американским ежемесячником, традиционно пользующимся высокой литературной репутацией». Над черными строчками, отбитыми телеграфом, подсказивала буква «о», становилась на цыпочки, чтобы разглядеть, как будет реагировать адресат. Круглая физиономия «о» смотрела с вызовом.

Голос из-за океана звучал ломко и разлетался на куски, как в горах:

— Ваше имя по буквам, пожалуйста-ста-ста... Где вы родились? Когда-да-да?.. Так, что еще? Ага, номер безопасности-ости-ости...

— Чего-чего?!

— Номер социальной безопасности!... Впрочем, у вас его, наверное, нет-нет-ет.

— Нет,— согласился я.

— Это все нам для службы безопасности,— извинился голос.— Она совсем походила с ума. Проверяют каждого, кто будет на конвенте. Вы понимаете, после того, что случилось с Уоллесом-оллесом-сом.

— Да-да, понимаю. Но можете передать вашей службе безопасности, что на меня она может положиться.

— Спасибо-сибо-ибо...— сказали за океаном серьезно.

Там, видно, было не до шуток.

Одиннадцать часов полетного времени спрессовываются до четырех благодаря семичасовой разнице между Москвой и Нью-Йорком. Можно позавтракать дома, а обедать уже в Нью-Йорке, будто в гостях у соседа. И это лишний раз подтверждает мысль о том, что в сегодняшнем уменьшающемся мире все мы — соседи. Расстояния между самыми дальними из нас, если мы друзья, исчисляются часами. А если враги — минутами.

Необязательно быть гражданином Америки, чтобы заинтересованно относиться к тому, что там происходит. Несколько лет, проведенных в США, припаяли меня к проблемам этой страны. То ли в том виноваты мои друзья американцы, чья жизнь и судьба мне совсем не безразличны, то ли вообще нет сейчас в мире значительных событий, которые так или иначе не переплетены с судьбой твоего народа, твоей родины. Орбиту жизни каждого из нас множественно задевают касательные от событий, рожденных черт-те где, в других галактиках. Иногда они, переставая быть касательными,

¹ Система страхования, используемая также как одна из форм досье на каждого гражданина США.

входят в круг привычной жизни, кромсают ее самым причудливым образом, разрушают твою, казалось бы, только тебе принадлежащую сферу.

Национальный съезд демократической партии США — событие весьма значительное: он должен избрать кандидата от партии в президенты США.

Нью-Йорк. В приемной «Эсквайра» сидели, кроме секретарши, два посетителя в длинных, до шеи, усах, какие когда-то носили запорожские казаки, с длинными шелвелюрами, в рубашках, напоминающих расцветкой пропотевшую робу волжского бурлака, вывешенную на солнце для сушки. Один в теннисных кедах, другой в ботинках четырех цветов, с брезентовой сумкой (в таких носили противогазы в первую мировую войну) через плечо.

Оба посетителя выглядели очень прогрессивно, в некоторых деталях своего облика революционно. А имея в виду противогазную сумку одного из них, даже воинственно-революционно. Я глянул на себя в зеркало. В своих одноцветных черных полуботинках, в деловом костюме, с недостаточно широким галстуком и короткой стрижкой по моде 50-х годов, первоклассно сработанной два дня назад неумолимым Соломоном Тимофеевичем («Я вас не стригу, я вас рисую!»), парикмахером Центрального дома литераторов в Москве, я выглядел почти консерватором, не тянул даже на умеренного либерала.

Тот, что был с сумкой, запустил в нее руку, но достал не противогаз, не гранату, даже не индивидуальный пакет первой помощи. Он достал маленькое зеркальце. Быстро посмотрел на себя, пригладил брови и положил зеркальце обратно. Я несколько успокоился.

В редакции журнала мне сказали, что художественный редактор, на котором висело оформление, уже интересовался, как выглядит советский журналист, достаточно ли он, так сказать, «контрастирует внешне с американским фоном». Потом пришел и сам оформитель, чтобы строгим профессиональным взглядом оценить натуру.

Я объяснил редактору, что рога мне для маскировки срезали перед отъездом в Нью-Йорк, но хвост я держу при себе в кармане, и если ему очень нужно для контраста, то...

Редактор подобрел и ответил, что все о'кей и что снимать меня будет некий Бобби, известный всей Америке, и не здесь, а в Майами, на съезде.

Потом было знакомство с другими редакторами, которых, надо сказать, совсем не много для толстого ежемесячника с полуторамиллионным тиражом. Редакторы выражали удовлетворение тем, что советский журналист принял их приглашение — первое такого рода в истории американской прессы. Советский журналист в ответ выражал удовлетворение тем, что такое приглашение состоялось. В общем, на четвертом этаже дома номер 488 по Мэдисон-авеню в Нью-Йорке дул милый теплый ветерок, доносивший сюда дыхание новых политических ветров в отношениях между нашими государствами.

От своего непосредственного редактора Джилл Голдстейн, женщины деятельной и решительной, чей голос я слышал по телефону из-за океана, я получил напутственное заверение, что мне абсолютно не о чем волноваться: журнал напечатает все, что я напишу, не изменив ни слова, и она «убьет каждого, кто будет мешать нашей работе». Джилл сказала это ровным голосом, безо всякой аффектации. Я поверил, что действительно убьет, совсем успокоился и улетел в Майами.

Флорида встречает жарой, почти стопроцентной влажностью, мелькающей со столбов виадука улыбкой неумолимого Хэмфри, угрозой: «Не мусорьте на шоссе: штраф до 500 долларов» — и плакатом: «Спасибо, что приехали». Дорога от аэропорта дважды подбрасывает своими мостами машину над заливом Бискейн, будто камешек, пущенный над водой, и опускает наконец в Майами-бич.

Огорошенный сменой впечатлений, журналист мчится в отель «Фонтенбло», чтобы получить нагрудную бирку, удостоверяющую, что он влился в восьмидесятичную армию представителей радио, телеграфных агентств, газет, журналов и прочего, и прочего, и прочего, называемого словом «медиа» и собравшегося в Майами в устрашаю-

щей пропорции — 2,5 представителя этой самой «медиа» на одного делегата (позже выясняется, что пропорция еще страшнее).

Только здесь он может перевести дух и прийти в себя отчасти потому, что вестибюль «Фонтенбло» живо напоминает ему роскошь родимых Сандуновских бань — даже еще шикарнее.

Мой полутчик, художник из Тринидада, вначале делает испуганные глаза и потом принимается тихо смеяться. Его смех вызывают громадные каменные вазы на газонах из нейлоновой травы, позолоченные виньетки на колоннах, мраморные статуи в вестибюле. Он хватается за щеки, стараясь вести себя прилично, когда ему показывают картины, развешанные в баре под названием «пуделиная комната». И, наконец отсмеявшись, говорит мне:

— Вы знаете, мне кажется, здесь сидел человек с карманами, оттопыренными от денег, крутил головой и спрашивал сам себя: ну что бы еще такое-здакое придумать?

В роскошество «Фонтенбло» удивительно органично вписываются четыре широкоплечие металлические потаскухи, которые безотказно беременеют от четвертаков и со злым шипением производят на свет большеголовых, бестелых и беспольных уродцев — воздушные шарики с надписями «Я — за Макговерна!», «Я — за Хэмфри!», «Я — за Маски!», «Я — за Уоллеса!». Делегаты с шариками снимаются на фоне плаката «Майами-бич любит демократов». Через несколько недель непостоянные в любви роботы будут рожать за те же четвертаки республиканские шарики, а в плакате без особых затрат слово «демократов» заменят словом «республиканцев».

Развешанные по стенам демократические подтяжки, футбольные майки с именами кандидатов, ожерелья из ослиных морд, веера, которыми можно не только обмахиваться, но и голосовать (на одной стороне веера выведено «йес», на другой «но»), тоже никак не нарушают стилевой дозволенности «Фонтенбло».

Предвыборный бизнес осуществляет коммерческие операции под нежное воркование магнитофонного голоса, рекламирующего какое-то новое автоматическое отвечающее устройство, с которым, «подключив его к телефону, вы с легкостью и без лишних затрат на секретаря выиграете свою избирательную кампанию».

Продавщица маек с приблизительным изображением Макговерна и надписью «Любите правду» уговаривает потенциального покупателя:

— Это ничего, если вы не за Макговерна. Он не очень-то и похож здесь. У майки широкий адрес. Вы можете ее носить когда угодно и за кого угодно...

Я, признаться, удивляюсь: почему до сих пор на американском избирательном рынке не появились восковые или пластиковые кандидаты, сработанные в полный рост, как у мадам Тюссо? При нынешнем уровне техники штамповку их можно было бы наладить без особых затрат. Такого кандидата (или другую любимую знаменитость) каждый желающий мог бы для престижа держать у себя дома в кресле, под лампой, в окружении очень натуральных репродукций с картин и пластиковых фруктов, которые, как известно, неотличимы от настоящих ни на глаз, ни на ощупь, ни, может быть, даже на вкус. Эта ценная коммерческая идея пришла мне в голову однажды, когда в ночь перед рождеством в Нью-Йорке я наблюдал, как по одной из телепрограмм с вечера до утра показывали елку с зажженными свечами — видимо, для тех, у кого такой елки не было дома. С таким же успехом можно постоянно держать на экране тарелку супа и кусок жареной индейки, тем самым облегчая участь голодных. Или, скажем, еще более универсально — большую пачку денег для безработных. Впрочем, я отвлекся.

Залы «Фонтенбло» были перегорожены синими занавесями, отделявшими один от другого конкурирующие органы печати. Телевизионные компании взаимно изолировались более прочно и непроницаемо — деревянными стенами.

До начала конвента оставалось еще полных два дня, но сотрудники какого-то телеканала уже сгоняли к специальной загородке под свет юпитеров людей для интервью. Фотографы, как гончие за зайцем, бросались фотографировать любое маломальски известное лицо. За синими погранзанавесками раздавался пулеметный треск пишущих машинок такой густоты, что, казалось, там показывают фильм «Самый длинный день», эпизоды высадки союзников в Нормандии. Гигантский пылесос новостей, установленный в Майами-бич, шумный и мощный, уже запущенный в полную

силу, был похож на парикмахера, который в отсутствие клиентов бреет сам себя, или на фотографа, который фотографируется в зеркало. Си-Би-Эс рассказывало о своей почти тысячной армии блестяще вооруженных, высоких, крепких, рукастых молодцов. Эн-Би-Си хвастало: «Мы сделаем конвент интересным для вас». И можно было верить: сделают, черт их побери, чего бы это им ни стоило, хотя от такой угрозы ставновилось немного не по себе.

Как много изменилось в Америке со времени выборов в 1968 году! Молодежь, которую кровавила тогда полиция в Чикаго, прошла через анфилады разочарований в демократическом механизме своей системы.

Два года назад я видел глаза людей, которые возле памятника Вашингтону подпевали Питу Сигеру: «Мы говорим одно — дайте миру шанс». По полицейским данным, их было 250 тысяч, сами они считали — в два раза больше. Возможно, их было тысяч 350. Треть миллиона человек пели. Негромко, вполголоса. И, может быть, именно от этого песня, не теряя своей задушевности, приобретала огромную силу. Они чувствовали тогда и эту силу и свое единство. И многие были уверены, что после такого война не может продолжаться. Тем более что за них были данные институтов общественного мнения: большинство народа против войны.

Но время шло, и война шла. И это вело к разочарованиям, и к усталости, и к бегству в «наркотическую культуру». Но большинство из тех, кто участвовал в «движении», как мне кажется, не терло своих идеалов. Идеалы не были оформлены ни политически, ни идеологически, не было программы их достижения. Но идеалы были: Америка без войны, без расизма, без ужасающих островов нищеты среди пугающего богатства, Америка, в которой человек будет иметь цель в жизни более высокую, чем приобретательство. Но первоочередное — Америка без позорной войны.

Разочарование — это тоже опыт, и полезный опыт, если только оно не приводит к отчаянию. Ребята, думавшие, что можно изменить политику маршами, пением возле памятника Вашингтону или засовыванием цветов в дула винтовок, вскоре поняли, что они ошиблись. Винтовки в Кенте стреляли не цветами, а пулями, такими же точно, как во Вьетнаме.

Однако песня возле Джорджа Вашингтона, и трагедия ветеранов, срывавших свои медали у ступеней Капитолия, и кентские студенты, и Бэрригены, и Анджела Дэвис — все это не пропало даром. Они разбудили и подняли в стране те ветры, силу которых раньше других политиков в демократической партии оценил сенатор Макговерн.

Еще он оценил, что довольно большая часть Америки, особенно активной антивоенной Америки, уже не верит этикеткам, не верит упаковке, не верит предвыборным улыбкам. Избиратели все больше изучают вопросы по существу и изучают последовательность кандидата — можно ли ему верить. Когда Макговерн решил вступить в борьбу за президентское кресло, стаж выступлений против войны во Вьетнаме, по удачному выражению одного моего коллеги, ценился каждым американским политическим деятелем не меньше, чем родословная. А в этом смысле Макговерн ступил на антивоенные позиции, так сказать, почти с «Мэйфлауэра».

Даже очень серьезные люди в начале 1972 года не верили в возможность Макговерна победить на предварительных выборах. Говорили, что он «деревянный» кандидат, говорили о его неумении лишний раз улыбнуться, о холодноватых глазах, недостатке «магнетизма», говорили о сухой манере держаться, сдержанной манере произносить речи, забывая, что значительная часть американских избирателей за годы войны, когда их так явно обманывали, граждански выросла, как выросли те молодые ребята, которых заботливый мэр Чикаго четыре года назад каждый вечер старался пораньше укладывать спать, применяя для этого полицейские дубинки и слезоточивый газ.

Человек, который опроверг самые, казалось бы, солидные политические гороскопы, шел по вестибюлю «Фонтенбло» окруженный толпой охранников, сторонников, зевак и, конечно, представителей прессы. Загорелый, голубоглазый, он был на полголовы выше почти всех, кто окружал его.

— Какая отличная мишень, — произнес кто-то рядом со мной и даже щелкнул языком, как мастер, пришедший в восторг от материала для работы.

Это была, конечно, шутка, но мрачная шутка. Действительно, кто мог гарантировать, что не стоит за колонной, увитой позолоченной металлической веточкой лавра, спокойный человек с пистолетом, который будет разряжен в цель, прежде чем человека схватят? Никто. И охрана — в последнюю очередь. Много лет ее тренировали на способность определять в толпе потенциального злоумышленника по выражению лица, беспокойству глаз, трясущимся рукам. Но убийство, надо полагать, стало настолько привычным, настолько вошло в быт, что многолетний тренинг секретной службы пошел насадку. Человек, стрелявший в Уоллеса, например, вовсе не нервничал перед тем, как раздался выстрел, глаза его не бежали, и руки не тряслись. Он радушно улыбался губернатору, аплодировал ему и даже тянул руку для рукопожатия. Все это я видел в кадрах телевизионной хроники о предвыборном митинге Уоллеса. Человек, стрелявший в него, несколько раз до того оказался в объективе кинокамеры, и его совершенно спокойное, улыбочивое лицо могли наблюдать миллионы телезрителей.

— Знаете, почему стреляют в американских президентов?— делился со мной один майамский адвокат.— Они теперь аккумулируют такое количество единоличной власти, что преступнику кажется: убьешь президента — и все изменится. И кандидаты собираются аккумулировать эту власть. Значит, по мнению преступника, в них тоже надо стрелять...

Не знаю, прав ли адвокат, но только каждое передвижение любого из кандидатов по любому доступному для неконтролируемой публики пространству — сложнейшая операция службы безопасности.

Центром очередной полицейской операции проходит по вестибюлю «Фонтенбло» Джордж Макговерн. Он заблокирован секретными агентами, обратившими к нему спины, а к полному опасости окружающему миру — лица. В отличие от преступников секретных агентов можно узнать по глазам немедленно. В них — ничего, кроме усталости и привычной вяжущей настороженности. Зрачки ходят от одного края сектора наблюдения к другому и обратно. Будто читают справку о степени благонадежности присутствующей толпы. В ухе микрофончик и от него провод за воротник. Когда агент получает распоряжение по радио, глаза становятся стеклянными, «космическими», будто человек обернул очи внутрь и прислушивается к внутреннему голосу.

Макговерн направляется на пресс-конференцию. Только что, буквально несколько минут назад, он закончил часовую пресс-конференцию по телевидению в программе «Встреча с прессой». Ответил на два или три десятка вопросов. До этого на тысячах других пресс-конференций ответил на сотни тысяч других вопросов, повторяющихся изо дня в день. И хотя каждый понимает, что вопроса, который бы ему еще не задавался, просто невозможно придумать и ответ кандидата на любой «новый» вопрос известен заранее, тем не менее МКГ идет на новую пресс-конференцию в одном из залов «Фонтенбло», где ждут его две сотни самых известных в стране репортеров. Таков священный ритуал паблисити. Таково требование рекламы — появляться, появляться, появляться, говорить, говорить, говорить.

Я давно не видел Макговерна «живым» и пошел на эту пресс-конференцию, чтобы посмотреть, как изменился он с того времени, как впервые заявил о своей кандидатуре.

Он вышел на сцену в сером пиджаке, синих брюках, голубой рубашке и темно-красном галстуке (идеальное сочетание для цветного телевидения, гармонирующее с голубым цветом его глаз и медноватым загаром лица). Его манеры, пожалуй, остались прежними, но обрели уверенность (впрочем, демонстрация уверенности в себе — качество, которое любой американец, желающий добиться успеха в жизни, вытренировывает чуть ли не с детских лет).

Он говорил просто, без попыток лишней раз улыбнуться, без заискивающих фраз вроде «Я рад, что вы задали этот вопрос», без риторических подъемов и спадов голоса, ровно, спокойно, уверенно. Производил впечатление человека, который обращает свои слова прямо к разуму слушателя, веря, что логика и здравый человеческий смысл должны победить.

«Да, я поехал бы в Ханой просить освобождения пленных американцев (противники окрестили его за это «просителем»). Но я понимаю, что в Ханое будут глухи к нашим просьбам, пока мы не прекратим агрессию против них... Да, я немедленно прекратил бы войну... Да, я сократил бы ненужные военные расходы и освободившиеся

деньги пустил на усиление экономики... Нет, это не приведет к безработице. Наоборот, нынешнее положение предопределяет ее. Официальное число безработных у нас — пять с половиной процентов трудоспособного населения, но я подозреваю, что настоящая цифра — восемь или десять процентов».

Еще в Нью-Йорке я спросил одного из своих американских приятелей, почему он за Макговерна.

— Я поддерживаю его позицию, — ответил тот. — И по Вьетнаму, и по неграм, и по чикано. Но самое главное для меня, наверное, то, что он заявил о своей позиции давно, гораздо раньше предвыборной кампании, и не менял ее. Ему можно верить. Правда, есть одна претензия. Раньше он требовал справедливости для арабов. Но когда началась предвыборная кампания, стал поддерживать Израиль. Я, конечно, понимаю, из-за чего он это сделал. Сионистское общественное мнение очень много значит в штате Нью-Йорк и в штате Калифорния. Но раз он изменил себе здесь, он может изменить и в другом. Где гарантия, что не изменит? Так что я настороже. У таких людей, как я, ушки на макушке.

На пресс-конференции у Хэмфри журналистов значительно меньше, чем у Макговерна, хотя шансы ХХХ высоки, особенно после того, как он, весьма вольно обойдясь с партийными правилами, похитил у МКГ 151 голос калифорнийской делегации.

Он все тот же прежний Хьюби — легкий на улыбку, готовый перебежать улицу, чтобы поцеловать ребенка, щедрый говорун (жена однажды сказала ему: «Хьюби, чтобы речь стала бессмертной, не надо, чтобы она длилась вечно»). Он тоже демонстрирует уверенность в себе. Абсолютную уверенность. Патетически звенит голос, в нужных местах падая до интимного, доверительного полутона. У него большая голова и лицо постаревшего ребенка. Старый традиционный ХХХ, о котором говорили, что он потерял свое лицо после службы у Джонсона. Кажется, он так и не обрел его до сих пор.

— Уж поверьте, сюда я приехал не для того, чтобы отдохнуть и купаться! Я приехал получить выдвижение кандидатом и получить его!

Приезжает Эдмунд Маски, прилетает Генри Джексон. По традиции, как борцы, выходящие на цирковую арену, они потрясают мускулами и громко обещают свою близкую победу.

Пока борцы бахвалятся, их менеджеры бешено вырабатывают тактику борьбы. Стратеги МКГ собрались, чтобы подумать, как выбить из гонки Маски. Стратеги Маски — как сохранить своего хозяина в гонке. Стратеги всех противников МКГ вместе ломают головы, как остановить сенатора из Южной Дакоты. Они образовали единый фронт против него, который получил название ЛКМ — «любой, кроме Макговерна».

В штате у Макговерна (отель «Дорал») — атмосфера деловой расторопности. У него превосходная, давно отлаженная машина — люди Кеннеди. Пресс-секретарем у него мой старый знакомый Пьер Селлинджер, который когда-то был помощником президента Джона Кеннеди по вопросам печати. Он постарел, несколько обрюзг, одлинял волосами по моде, но глаза те же, веселье, и та же сигара во рту (когда-нибудь ее сломает объективом фотоаппарата самый увлеченный из репортеров).

Однажды в Москве на обеде с советскими журналистами Селлинджер острил насчет того, что любое дело, в котором он решает участвовать, проваливается. Поступил в газету — через год закрылась, пошел работать в адвокатскую контору — разорилась. Он говорил это в 1962 году весело, не зная, что произойдет через год в Далласе, и шесть лет спустя — в Лос-Анджелесе.

Вместе с В. Зориним мы напомнили ему сейчас об этой шутке.

— Советские журналисты верят в приметы? — засмеялся он.

— Давайте сформулируем так, — предложили мы, — в приметы не верим, но на всякий случай относимся к ним с осторожностью.

— Так вот завтра вечером вы будете свидетелями решительной победы Макговерна по вопросу о калифорнийских делегатах. А вернув себе похищенное, он безусловно станет кандидатом от демократической партии. Я говорю вам об этом сегодня и не боюсь сглазить.

Схватка завтра ожидается жаркая, рассказывает он. ЛКМ — «любой, кроме Макговерна» — консолидировалась. Но и силы МКГ тоже наготове. На нем, на Селлинджере,

завтра будет лежать ответственная обязанность — быть одним из лидеров «на полу», то есть в самом зале, где сидят делегаты. Пьер будет передавать делегатам Макговерна распоряжения, как голосовать. А кто решает, как голосовать? — спрашиваю. Решение принимается в штабе МКГ. Оттуда звонят в зал по телефонам прямой связи, возле одного из которых будет дежурить Селлинджер. Он передает сигнал делегациям пяти штатов, за которые отвечает, по телефонам, установленным прямо в зале, или взмахом руки с карточкой. Зеленая карточка означает приказ — голосуйте за. Красная — голосуйте против. Сигнал принимает специальный человек в делегации штата и передает его — тоже поднимает вверх цветную карточку — своим помощникам. Каждый помощник связан с шестью делегатами. Таким образом, гордо заключает Селлинджер, сигнал из штаба Макговерна можно довести до каждого делегата буквально за несколько секунд.

— Значит, делегат съезда не может голосовать, как он считает нужным? За него решают люди в штабе, а ему передают лишь приказ, которому он подчиняется? — спрашиваю я.

Селлинджер смотрит на меня прищурившись — дым от сигары между нами кисеет.

— Мы демократическая страна, — говорит он, — мы не приказываем делегатам съезда. Мы даем им только советы, — глаза его смеются, — советы, которым они, правда, беспрекословно следуют.

Я очень хорошо помню, как было четыре года назад в Майами. Республиканский съезд еще не начался, но главные кандидаты давали приемы. То была превосходная пища для прессы. В прямом и переносном смысле. Только о разнице между приемом Рокфеллера и приемом Никсона (у кого джаз, у кого струнный октет, у кого купеческий шик, у кого подчеркнутая скромность, у кого виски подают с самого начала, у кого только со второй половины приема) можно было бы написать социально-психологическое исследование. Сейчас кандидаты не устраивали приемов, никто не присылал приглашений. И черные смокинги, взятые прессой на всякий случай, лежали в чемодаках нераспакованными.

Впрочем, на одной вечеринке я все же побывал. О ней стало известно из мелового объявления на черной классной доске в вестибюле «Фонтенбло» (перед доской постоянно толпились журналисты, как школьники, записывающие задание на дом): «Открытый дом в честь Хьюберта Хэмфри. Начало в 8 вечера» — и дальше следовал адрес.

Я приехал в «открытый дом» в тот короткий момент, когда последний гость «вот-вот придет», а первый «вот-вот уйдет». Гостей было очень много в этом отличном доме, отделенном от океанской воды всего несколькими метрами суши (впрочем, занятой искусственным плавательным бассейном). Закуска стояла почти нетронутой, в том виде, как ее создал повар-живописец. Но бармен работал вовсю. Эти два обстоятельства весьма способствовали шуму в доме и общительности гостей.

Я спросил у кого-то, а не будет ли здесь самого Хэмфри. И получил удивленный ответ:

— Хэмфри?! А какого черта ему делать здесь!?

Человек, который со мной разговаривал, носил на лацкане значок «Я — за Макговерна», кстати, как и большинство других. Даже у хозяина, высокого, загорелого, подчеркнутого спортивного вида джентльмена, на рубашке с открытым воротником тоже сидел значок МКГ. Может быть, я по ошибке попал в другой «открытый дом»? Нет, адрес был правильным. Тогда, завидев человека со знакомой мне табличкой «медиа» на груди, я обратился к нему:

— Скажите, пожалуйста, в честь кого эта вечеринка?

Обладатель таблички уставился на меня подозрительно.

— Откуда вы знаете мое имя? — спросил он.

— Я не знаю вашего имени.

— Как же не знаете, если знаете.

— Почему вы решили?

— Вы же обратились ко мне...

— Простите, но я не называл вашего имени.

— А как же?

— Я сказал — скажите, пожалуйста. И все.
 — И все?
 «Медиа» сморщил лоб и некоторое время смотрел на меня испытующе.
 — Да, и вот еще что,— сказал он, будто вспомнив.— Почему это вы знаете мое имя, а я вашего не знаю?
 — Но, повторяю, я не знаю вашего имени!
 — Вы что, может быть, из секрет сэрвис?
 — Нет,— ответил я устало,— я не из секретной службы.
 — Тогда вообще мне ничего не понятно! — И глаза моего собеседника выразили отчаянное желание удержать в голове рвущуюся нить размышлений.— Откуда же вы?
 — Из Советского Союза.
 — Откуда?!
 — Из Советского Союза.
 — А! Ну вот, теперь ясно,— сказал «медиа» почему-то с облегчением.— Так бы сразу и сказали. Что вы пьете? — И ушел к бару, чуть пошатываясь.
 Беспokoившую меня путаницу со значками я смог выяснить только с третьей попытки.
 — Очень просто,— объяснили мне.— Хозяин за Макговерна. Но как вежливый человек и примерный демократ он устроил вечеринку в честь всех кандидатов демократической партии. А люди Хьюби воспользовались и объявили, что прием — в честь Х Х Х, поскольку Хэмфри — один из кандидатов.
 — Но ведь это же...
 — Очень легкий политический трюк,— разъяснили мне.— Мелочь, на которую настоящий корреспондент «Эсквайра» даже не обратил бы внимания. Это вам не кража ста пятидесяти одного голоса из Калифорнии.
 У дверей я прощался с хозяином.
 — Я был у вас в стране,— сказал он приветливо,— незабываемая поездка...
 И начал было рассказывать, но его прервала женщина в длинном белом платье.
 — Кто вы? — спросила она с южным акцентом и угрозой в голосе.— Откуда я знаю ваше лицо? Не иначе мы с вами где-то встречались!
 — В Москве, может быть? — высказал я предположение.
 — Ага! Вы из Москвы! — закричала женщина.— Так вот передайте Белле Абцуг, что я буду бороться против нее до самой смерти!
 — Но я не знаком с членом конгресса США Беллой Абцуг, и, кроме того, разве она не в Майами?
 Дама не обратила на мои слова никакого внимания.
 — Пусть она это помнит! До самой-самой смерти! Я же говорила, что я вас знаю!
 Хозяин дома за ее спиной сигнализировал мне — показывал на стакан в ее руке: мол, нужно понять. С груди женщины на меня подозрительно смотрел Уоллес...
 Согласитесь, это была странная вечеринка: гости все время выясняли, кто я, а я все пробовал понять, за кого они.

Дома в Москве у меня стоит на столе пустая закупоренная консервная банка с фабричной надписью: «Воздух Чикаго. Возите с собой. Лучшее средство от ностальгии». Банку с лучшим средством я купил за полтора доллара в 1968 году в Чикаго.

Я собирался на нынешний конвент демократической партии и спрашивал себя: насколько воздух Майами будет напоминать воздух Чикаго 1968 года? Как я потом понял, не один я ждал ответа на этот вопрос. Иначе в майамском городском парке с нежным названием «Фламинго» не собиралось бы каждый день такое количество репортеров.

Представьте себе большую поляну в парке площадью, наверное, около гектара. Она вздыблена холмиками палаток — больших и малых, ярко-цветных и защитно-зеленых. В палатках вот уже несколько дней живут две-три тысячи молодых парней и девушек, приехавших сюда из разных концов страны. Они не «дикари», прибывшие погреться под флоридским солнцем. Они, члены разных политических групп молодежи (в том числе и организации «Ветераны против войны во Вьетнаме»), собрались здесь для того, чтобы присутствовать у стен здания съезда демократической партии (внутри их не пу-

скают) как представители наиболее активной части антивоенного движения, как молодежный дозор, если хотите.

Съездовский лексикон уже выделил для них название — «неделегаты».

До начала конвента у них почти не было демонстраций. Один только раз группа самых воинственных попробовала приблизиться без разрешения к проволочному забору, который окружает здание конвента. И тут же испытала на себе и жжение газа мейс, и твердость удлинненных, сделанных специально к съезду полицейских палок. А один из этой группы услышал классические слова: «Вы арестованы».

Мне интересно было узнать, кого арестовали первым перед началом съезда демократической партии. Оказалось, что его зовут Эрнест Ли Херрон. Не такой уж и молодой человек — тридцать лет. Негр. Не хулиган с улицы. Дома у него лежит диплом об окончании университета штата Теннесси. Но до сих пор он не может найти себе работу экономиста, к которой его готовили в университете. Поэтому служит заправщиком на бензоколонке.

— Я не нарушил ни одного закона, — объяснял он горячо. — Я просто считал, что имею право, чтобы меня услышали делегаты конвента. Это, в конце концов, конвент демократической партии, и полагалось бы, чтобы он был для народа. Если тысячи таких, как я, заканчивающих университеты не могут найти работу по способностям, значит, надо что-то срочно предпринимать в нашем государстве!..

Я брожу по поляне парка «Фламинго», прислушиваюсь к разговорам, ловлю реплики.

— Они должны знать, что мы здесь, — говорит молодой бородач. — Мы будем следить за каждым их шагом, будем протестовать против каждого отступления от предсъездовской платформы. Но нам нельзя допускать столкновения с полицией. Это было бы контрпродуктивно...

— А мне вот уже где сидят их речи, их платформы, — отвечает другой. — Хватит говорить, надо что-то делать.

— Макговерн может сделать.

— Откуда ты знаешь, каким он будет, если станет президентом?! Послушай, брат, когда я прочел пентагоновские бумаги, я схватился за голову — никому нельзя верить!

— Макговерн хуже Никсона. Он сеет иллюзии, будто что-то может сделать. Долой Макговерна! — Это кричит девица в майке.

— Ты за Никсона? — спрашивает кто-то.

— Нет, мы против обоих! Бойкотируйте выборы!

— Но бойкотировать выборы — это значит поддерживать республиканцев!

— Чем хуже, тем лучше!

— Присоединяйтесь к зиппи!

Ну вот, новое производное слово от «зиппи». Я слышал и раньше это слово, но никогда не встречал стоящего объяснения, что это такое. Пытаюсь выяснить тут же на месте у тех, кто стоит возле анархистского черного знамени. Задаю один вопрос: какая разница между зиппи и йиппи? (Насчет йиппи, по крайней мере, известно, что расшифровывается это как молодежная политическая партия — она возникла в Чикаго в 1968 году.) Вот несколько ответов.

— Зиппи лучше, чем йиппи..

— Зиппи — это то, чем йиппи были раньше.

— Йиппи уже нет. Они вымерли. От них остались только Рубин и Гоффман. Да и те продались истеблишменту.

— Я йиппи?! (Почти со страхом.) Я никогда ничего общего не имел с йиппи! Я сразу стал зиппи. Как расшифровывается? Понятия не имею.

— Зиппи? Я еще не знаю, я только что к ним присоединился.

Я не очень обескуражен столь явной враждой между зиппи и йиппи, как, честно говоря, не слишком удивился бы их, скажем, неожиданному объединению. Многие новые возникающие, как грибы, и рассыпающиеся иногда, как детские кубики, молодежные организации — результат политического ребячества, феноменальной политической безграмотности их участников. Но есть одна вещь, которая всех их объединяет: искренняя ненависть к позорной войне.

Пенсионное население Майами — в мертвый сезон (а лето для этого курорта сезон

мертвый) здесь много стариков и старух среднего достатка — очень боялось приезда «мирников» и было приятно удивлено, когда убедилось, что «мирники» ведут себя мирно. И тогда началось паломничество старого поколения в парк «Фламинго». Паломничество, похожее на коллективные экскурсии стариков в музей, где живут экспонаты молодого и не всегда понятного поколения. Непонятно пожилым людям многое. И зачем длинные волосы? И почему сандалии? Но самое непонятное — зачем они приехали сюда, в Майами? Судя по всему, все они против войны. Но и сенатор Макговерн тоже против. И вообще все против. И даже Никсон, кажется, уже заканчивает войну. Зачем же весь этот шум?

Человек лет семидесяти, в шляпе-панаме, с раскрытым огромным черным зонтиком в руках, вежливо и с опаской трогает сухими пальцами плечо здорового, голого по пояс парня, нашивающего огромную заплату на свою разодранную рубашку:

— Скажите, э... пожалуйста, вы здесь будете, э, устраивать, простите, то же самое, э, что в Чикаго? Ту же, э, бойню?

— Бойню в Чикаго устраивали не мы, а полиция. Как полиция поведет себя здесь, мы не знаем, спросите у полиции, — отвечает парень, не отрывая глаз от работы.

— Э, извините, пожалуйста, э, спасибо. — Зонтик удаляется.

...Пожилый человек смотрит на ветерана, щеки которого клешнями обхвачены арбузной коркой, и с некоторой грустью предсказывает:

— Будут у тебя, милый, дети, и сорок лет тебе будет, и счет за квартиру. А времени во все это вмещиваться, наоборот, не будет. А если еще и твой хозяин посмотрит косо, то и вовсе не пойдешь ты на демонстрацию.

Молодой ветеран качает головой, ест арбуз и смеется. Нет, с ним этого не случится. Пожилкой тоже ест арбуз (угощает молодой). Оба смотрят друг на друга с превосходством — оба уверены в своей правоте. Только к взгляду пожилого примешивается еще и грусть: кажется, ему очень хотелось бы ошибиться.

— Эй, пресса, хотите несколько хороших мыслей? Идите сюда, записывайте!

Это кричит мне человек не старый и не молодой, а так, средний. Одет он в рубашку с короткими рукавами, при галстукке, шелковистые брючки сияют на солнце, как и его лицо. Он не из «неделегатов». Он из туристов.

— Так вот, запишите. — Он делает широкий жест. — Ни черта из этого поколения не выйдет. Ни черта! Ни одного писателя, ни одного поэта, ни одного мыслителя. На пять — десять лет — да. А потом ничего, пусто, пшик! Вот раньше были мыслители! Наполеон! Или даже Маркс! А эти? Кто такой доктор Спок? Скажите мне, кто он? Даже не поэт. А уж мыслителем и не пахнет! Все.

И он полупоклоном обозначает финальную черту под хорошими мыслями. Ребята вокруг него незлобиво смеются. Кто-то все же возражает:

— Слушай, доктор Спок в два раза старше тебя!

— Ну и что? Все равно он ваш, с вами. Ребенок...

А над поляной кружат два полицейских вертолета. Один большой, брюхатый, грозный, с открытой боковой дверью, из которой выглядывают копы в шлемах. Другой изящный, легкий — командирский. Они кружат и кружат, иногда опускаясь совсем низко, и тогда заглушают разговоры на поляне и шевелят траву — разглядывают. И я временами остро ощущаю, как должен чувствовать себя человек там, во Вьетнаме, когда над ним нависает эта штука, а в открытую дверь высовывается ствол пулемета.

Диктофон, на который я записываю то, что вижу и слышу, в глазах некоторых связывает меня радионитью с этими двумя вертолетами.

— Что, корректируете? — полунасмешливо-полуугрожающе спрашивает меня высокий парень в вылинявшей армейской форме — ветеран.

Я протягиваю ему карточку прессы, где сказано, что я являюсь корреспондентом «Эсквайра». Но карточка не производит на него особого впечатления и не рассеивает его сомнений: слишком часто агенты полиции и ФБР выдают себя за журналистов.

Приходится вытащить свой паспорт с серпом и молотом на красной обложке. Ветеран вначале не верит своим глазам, потом удивленно выясняет, как понять в этом случае мою карточку из «Эсквайра», и, наконец уразумев все, восторженно хлопает меня по плечу:

— Здорово! Гениальная идея! — И тут же показывает по-мальчишески язык в сторону вертолета.

Разговоры на поляне прерываются командой в мегафон. Сигнал к началу демонстрации. Цель ее, как мне объяснили, — пройти из парка «Фламинго» к зданию конвента демократической партии, где в семь вечера начинается первое заседание съезда.

Демонстрация называется довольно торжественно — марш к зданию конвента. Ее начинают ветераны — на мой взгляд, самая организованная, ответственная и дисциплинированная группа на этой политически разноцветной поляне. Они возглавляют не очень длинную, но плотную колонну.

У них нет оркестра. Но его неожиданно удачно заменяет откуда-то появившийся среднего роста паренек со скрипкой в сильных руках. На голове у него солдатская каска, и на каске написано белой краской: «Скрипач». То ли не надеется, что, услышав его игру, люди догадаются о его профессии, то ли для защиты от полицейских дубинок. Скорее все-таки второе. Потому что каски я вижу не только на его голове. На некоторых надпись: «Press». Так малюют кресты на крышах госпиталей в надежде, что самолеты не будут бросать сюда бомбы. В Чикаго в 1968 году, помнится, надписи не помогли. Полицейские били, даже когда на каске было выведено «life», что, между прочим, означает «жизнь».

Ветераны вышли из парка, и скрипач впереди колонны заиграл: «Мы просим одно — дайте миру шанс». Знакомую мелодию сразу подхватили, и скрипки не стало слышно. Музыкант, однако, не горевал. Играл. То шествуя впереди всех, то теряясь в рядах. Каску его со смешной надписью «Fiddler» («Скрипач») было видно отовсюду.

Кроме касок, были еще и противогазы. Память о Чикаго 1968 года, как видно, не стиралась. Но сейчас демонстранты шли с твердой решимостью не допустить столкновения с полицией и не поддаваться на провокации.

А провокаторы нашлись сразу же.

Как только ветераны вышли из ворот парка «Фламинго», на тротуаре их встретил здоровенный, просто-таки огромный парень в серой майке с надписью «Holy bible» («Святая библия»). Он был на голову выше почти любого в колонне демонстрантов. Могучий в плечах, он держал в руках новенький мегафон, в который сразу заговорил:

— Коммунисты! Вы против своей собственной страны! Вы предатели! Коммунизм плетет заговор во всем мире, он хочет поработить народы всего мира! Ханой надо бомбить! Если их не остановить, они проглотят Америку!

Песню уже не слышно, потому что рев представителя «Святой библии», усиленный мегафоном, перекрывает все.

Один из ветеранов хватает, в свою очередь, мегафон и кричит что-то в ответ. Но перебранке не дают развиваться. Кто-то из маршалов — так называют следящих за порядком в колонне — приказывает не отвечать провокатору.

Парня на тротуаре подбадривают, подталкивают несколько его приятелей. Он уже охрип, но продолжает кричать.

Демонстранты идут очень медленно, предводительствуемые полицейской машиной, которая то и дело останавливается, придерживаясь своего, полицейского графика движения. И обстановка с каждой минутой накаляется, тем более что все фото- и телеобъективы, микрофоны направлены на того парня. Он явно срывает демонстрацию. А ребята хотят пунктуально выполнить тот план, который приняли, поэтому идут, стараясь не смотреть в ту сторону, откуда без усталости их поносят в мегафон. Я вижу, как бледны и напряжены те, которые идут в непосредственной близости от библейца.

Так доходят демонстранты — медленно, с многочисленными остановками — до металлического забора, окружающего здание конвента, садятся на траву и начинают митинг. Парень же кричит не переставая. И дальше так продолжаться не может.

Тогда с десяток маршалов, о чем-то посоветовавшись в сторонке, неожиданно подходят к нему и, взявшись за руки, образуют круг, который быстро сжимается. И вот парень с мегафоном уже в плотном живом кольце, из которого не может вырваться. Его не бьют, до него даже не дотрагиваются. Просто ребята, обняв друг друга за

плечи, двигаются в одну из боковых улиц, и библеец вынужден двигаться вместе с ними посреди живого кольца. Так его отводят на дальнейшее расстояние, откуда крики через мегафон уже не заглушат слов ораторов. И там ставят заслон. Парень несколько раз пытается прорваться, но безуспешно.

Но пока его изолируют, на травяном газоне недалеко от того места, где стоит микрофон для выступающих, начинает действовать другой человек — лет пятидесяти, рыжий, в крупных веснушках.

Он кричит приблизительно то же самое, что кричал тот парень в мегафон. Не может заглушить выступающих, но мешает слушать, и очень мешает. А ребята — на нервах. Чтобы удалять каждого провокатора так, как удалили первого, не хватит маршалов. Цепочка их, ограждающая митинг, смотрит на рыжего с ненавистью. С такой ненавистью, что их старший находит нужным приказать маршалам повернуться к рыжему спиной. Рыжий, чувствуя успех, воодушевляется. Он идет вдоль шеренги маршалов, кричит в затылок каждому ругательство и оглядывается, ища сочувствия окружающих корреспондентов. Кто-то из ветеранов не выдерживает и, улучив момент, когда на него не направлена ни одна фотокамера, быстро подходит к рыжему, кладет здоровенную свою руку ему на горло и, надо полагать, довольно-таки сильно сжимает, потому что рыжий мгновенно замолкает и глаза его таращатся. У ветерана взгляд жесткий, ненавидящий, но губы в маскировочной улыбке — на случай, если этот эпизод все-таки попадет в чей-то объектив. Ненавидя и улыбаясь, он произносит тихо:

— Если не прекратишь, гадина, придушу!

Но тут же опускает руку, потому что неожиданное молчание рыжего начинает привлекать внимание. И отходит. А рыжий, оправившись от испуга, снова чувствует свою победу, а также свою неприкосновенность и начинает кричать еще громче:

— Вас надо всех во Вьетнам снова! И чтобы вас там «по ошибке» напалмом!

Он распаляется все больше, слушать его невыносимо, а терпеть свою беспомощность ветеранам совсем уж немогуту.

И когда кажется, что вот сейчас кто-то не выдержит и ударит и начнется то, чего ждут многие, в том числе и корреспонденты, к рыжему провокатору вдруг подходит скрипач. Улыбаясь, он вкладывает скрипку между плечом и подбородком и начинает играть. Что-то смешное, какой-то там американский «чижик-пыжик». Не играет даже, а пиликает, нажимая смычком на струны так, что струны скрежещут и над ними поднимается облачко канифольной пыли.

Рыжий вдруг оторопевает. Он замолкает резко и неожиданно, уставившись на странного парня со скрипкой, со странной каской на голове. Рыжий даже приоткрывает рот от удивления. И тогда все вокруг начинают смеяться.

Рыжий краснеет, кажется, что веснушки его сейчас воспламятся сами собой, и принимается орать на скрипача. А скрипач закатывает глаза, как солист на сцене, и, улыбаясь, продолжает пиликать. Вся напряженность вдруг снята. Смеются маршалы, смеются любопытные, и корреспонденты смеются.

И рыжий вдруг понимает, что проиграл. Несколько раз он пытается снова кричать, но смех от этого только усиливается. И тогда он умолкает и, махнув рукой, уходит. А скрипач, удостоверившись, что скрипка сделала свое дело, опускает ее, поворачивается и тоже уходит и пропадает в толпе ребят, сидящих на траве. Видна только каска с надписью «Fiddler».

Дальше митинг прошел без помех. Правда, делегаты съезда так и не услышали выступления ветеранов. Полиция привела марш к зданию конвента через несколько минут после семи часов вечера, когда заседание уже началось, ворота были закрыты и опоздавших пускали в зал с другой улицы, откуда не только не было слышно ораторов, но даже не видно было никакого митинга.

Среди участников демонстрации, кстати говоря, был и доктор Спок.

Первое заседание конвента могло считаться, по существу, и последним, ибо оно было решающим, как и предсказывал накануне Пьер Селлинджер. Среди прочих мандатных дел обсуждался вопрос о 151 калифорнийском голосе, похищенном у Джорджа Макговерна Хьюбертом Хорацио Хэмфри. Похищение состоялось недели за две до

начала конвента и произошло следующим образом. Согласно калифорнийскому закону, кандидат, собравший на предварительных выборах в этом штате относительное большинство голосов, получает в свое распоряжение на съезде демократической партии всех делегатов от Калифорнии. Против этого принципа до проведения предварительных выборов не возражали ни Макговерн, который надеялся победить, ни Хэмфри, который тоже надеялся обогнать всех своих противников. Однако после выборов 6 июня, когда оказалось, что все голоса Калифорнии на съезде отходят к Макговерну, коалиция ЛКМ, возглавляемая Хэмфри, забила отбой. Созвав заседание мандатного комитета партии, люди Хэмфри провели там решение, по которому избирательный закон Калифорнии объявлялся аннулированным и голоса на съезде распределялись теперь пропорционально голосам, собранным на предварительных выборах. Таким образом, Макговерн, получивший в Калифорнии 44 процента демократических голосов, располагал теперь не 271 калифорнийским голосом, что обеспечивало ему большинство на съезде, а только 120-ю, которые большинства не обеспечивали. 151 голос был вытасчен у него из кармана среди бела дня. Макговерн подал в Верховный суд США, обвиняя своих противников в политическом жульничестве. Однако Верховный суд, который срочно собрался по этому поводу, несмотря на каникулярное время, не взялся разбирать запутанное дело, оставил решать его самому конвенту (телевизоры показали взрыв радости в штабе Хэмфри, когда там узнали о решении суда, причем менеджер Хьюберта Хэмфри заверил прессу, что радость была не деланной, а естественной).

Конвент должен был вынести свой вердикт по калифорнийской делегации большинством голосов. Но тут возник вопрос: будет ли в этом голосовании участвовать 151 калифорнийский делегат, переданный противникам МКГ? Вот где потребовалось мастерство людей Макговерна. К положительному для него решению можно было прийти только через целый ряд запутанных голосований по вопросам мандатным и процедурным, через серию компромиссов, кажущихся проигрышей, парламентских ловушек. В запутанной ситуации даже опытнейшие обозреватели, прошедшие на партийных съездах всю свою жизнь, даже «штабисты» не могли иногда правильно оценить тот или иной шахматный ход, тот или иной результат голосования. А уж о самих делегатах и говорить нечего. За них думали в «шатрах».

Стратеги Макговерна показали высокий класс парламентского маневрирования. Звенели прямые телефоны, лидеры «на полу» поднимали над головой то зеленые, то красные карточки. Делегаты голосовали так, как им приказывали, не всегда представляя себе, почему голосуют за и почему против. Парламентская драка продолжалась до рассвета. Система, которой хвастал Селлинджер, сработала успешно. 151 голос был возвращен Макговерну, и теперь его выдвижение кандидатом в президенты было предпринято, хотя формально оно должно было состояться лишь на третий день работы конвента.

Наутро, как груши с дерева, которое потрясли, начали падать кандидаты.

Первым под жадный свет телевизионных юпитеров вышел Хэмфри.

— У меня короткое заявление. И только заявление. Я прочту его, и после этого, если вы простите меня, не будет вопросов.— Он приблизил к глазам листок бумаги: — «После консультаций с некоторыми из моих ближайших друзей и сторонников я принял решение, что мое имя не будет фигурировать в числе кандидатов на этом конвенте. Таким образом, я освобождаю своих делегатов, которые могут теперь голосовать как хотят... От имени миссис Хэмфри и от своего имени хочу поблагодарить тех, кто так усердно работал, отдал так много, был так лоялен и верен в дружбе в течение всех этих лет и особенно в течение этих последних шести месяцев...»

Безжалостные юпитеры высветили две крупные слезы, остановившиеся у нижних век его больших, немного навывкате глаз. Хэмфри поцеловал в щеку жену. И оба медленно удалились. Репортеры бросились к телефонам.

Вторым сошел с беговой дорожки Маски.

Уоллес и Джексон еще оставались в гонке, но теперь это имело лишь символическое значение.

В поисках интриги («Мы обещаем сделать коньент интересным для вас!») «медиа» принялась развивать тему поста номер два — вице-президентского. Сотый раз к сенатору Кеннеди, находившемуся в штате Массачусетс, приставали с вопросом: не согласится ли он стать вице-президентом? В сотый раз он отвечал отрицательно. И в сто первый раз к нему снова обращались с тем же вопросом. «Медиа» подчеркивала важность вице-президентского поста для судеб страны, не забывая упомянуть, что двое из последних пяти президентов США вступили в эту должность, заменив умершего или погибшего президента.

А пока тщательно, с мастерством незаурядных драматургов люди из «медиа» разрабатывали вице-интригу, в отеле «Дорал», где на семнадцатом этаже, как говорили, сенатор Макговерн уже писал свою речь согласия — «эксептенс спич», — происходили действительно драматические события.

Накануне сенатор встретился с женами американских военнопленных и сказал, что, став президентом, он, конечно, сразу же закончит войну. Но пока жены не увидят мужей, он для гарантии будет держать некоторые контингенты войск в Таиланде и военный флот в Тонкинском заливе.

Слова насчет Таиланда и Тонкинского залива были отступлением от позиции, которую Макговерн занимал ранее: вывести безо всяких условий все американские войска из Юго-Восточной Азии. Весть об этом мигом донеслась до парка «Фламинго».

Около двух сотен молодых ребят бросились оттуда к отелю «Дорал», где помещался штаб сенатора Макговерна. Десятка два из них прошли в вестибюль и стали там под люстрой (ценой в 30 тысяч долларов), почти касаясь ее наспех написанными от руки плакатами: «Макговерн торгует собой и войной! МКГ не держит обещаний!» Большинство же демонстрантов находилось на улице с такими же плакатами.

Вдруг к отелю подкатило несколько полицейских машин и оттуда высыпала сотня шумно дышащих полицейских в шлемах с опущенными пластиковыми забралами, с длинными дубинками. Полицейские бросились в вестибюль, готовые делать, что им прикажут. И тогда, увидев полицейских, в вестибюль бросились все «неделегаты».

— Вы хотите повторить Чикаго! — кричали они. — Макговерн не лучше Дэйли! ²

Полицейским приказали разбиться на две группы, потом встать в шеренгу, потом сдвоить ряды, потом стоять плотной стеной. Они не знали, что будет дальше. Никто не оказывал им никакого сопротивления. Ребята только кричали и поднимали вверх два пальца — указательный и средний, знак победы мира. Но обстановка накалялась с каждой минутой и в каждую следующую могло начаться побоище.

Я фотографировал полицейских, когда вдруг крупно перед моими глазами оказалась металлическая баночка — аккуратный такой баллон на поясе у офицера, белый, с никелированным краником и колечком. Очень красивый баллончик с газом. Будто флакон с мужским одеколоном. Наверное, разрабатывая конструкцию этого баллончика, от которого — рвани кольцо — люди кричат и падают без памяти, кто-то серьезно заботился об эстетической стороне дела. Потребительская психология требует, чтобы и насилие было красивым, как в кино. Пальцы офицера осторожно что-то подкручивали или откручивали — уж не знаю, то ли укрепляли предохранитель, то ли, наоборот, ослабляли его, приводили в боевую секундную готовность.

Лица полицейских были одутловаты и бледны. В майамскую жару, под юпитерами телекамер, постоянно дежуривших в вестибюле «Дорала», с опущенными забралами, с полной боевой выкладкой, они стояли вспотевшие, и палки, наискось перечеркивающие их мощные торсы, подымались и опускались в такт дыханию. В таком состоянии человек теряет способность думать. Он движим лишь двумя инстинктами: врожденным — остаться живым, и приобретенным — подчиниться приказу. И отдай кто-нибудь в эту минуту приказ разбросать все вокруг, растоптать, превратить в жижу — копы выполнили бы его в точности.

Появился один из помощников сенатора. Встревоженный. К нему бросились журналисты.

² Мэр города Чикаго, «прославившийся» полицейскими расправами над молодежью в 1968 году.

— Нет, нет, мы не вызывали полицию! — сказал помощник нервно. — Это не мы. Мы не знаем, кто это сделал, — может быть, администрация отеля!

Но ребята уже не верили. Кричали:

— Они заодно. Они все заодно!

Прошло, наверное, около получаса, все увеличивавшего напряжение, пока люди Макговерна не приняли решения удалить полицию. Копы, доведенные до изнеможения жарой, духотой и непониманием того, что происходит, с облегчением подчинились приказу, развернулись и вывалились из отеля плотной длинной лентой, будто отель, как собака, высунул язык, чтобы отдышаться.

Но ребята не собирались уходить. Они требовали объяснений. Они бились за сенатора весь этот год. Они верили ему весь этот год, пока он пробивался через предварительные выборы к съезду партии. И вот теперь это отступление.

Они сидели на черном мраморном полу вестибюля и кричали не переставая:

— Макговерн продается! Макговерн, выходи!

Сенатор не выходил. Один из лозунгов, который он использовал в предвыборной борьбе, гласил: «МКГ умеет не только говорить с народом — он умеет слушать народ». Но сейчас по каким-то причинам он, как видно, не хотел ни говорить, ни слушать и сидел у себя в номере на семнадцатом этаже.

Кто-то из людей МКГ вышел и объявил, что сенатор не может спуститься, ему запретила это служба безопасности: именно в тот день утром у входа в отель были арестованы два человека, имевшие при себе заряженные пистолеты.

Но ребята опять не верили, хотя насчет ареста действительно было так. И насчет запрета, может быть, тоже была правда.

Шел уже пятый час демонстрации в вестибюле. МКГ не появлялся.

И тогда вместо него появился огромный, в человеческий рост, портрет бывшего президента Джонсона. Кто-то его принес, пририсовав предварительно сигарету к губам и снабдив надписью: «Помните, что Джонсон перед выборами тоже обещал мир во Вьетнаме».

— Он такой же, как Джонсон! Он такой же, как Джонсон! — закричали ребята.

Да, действительно, борясь за президентское кресло в 1964 году, Джонсон заверял избирателей, что прекратит войну. И когда стал президентом, тоже говорил о мире. И Макнамара говорил, и Хэмфри, и Раск. И потом, в 1968 году, до выборов тоже все кандидаты говорили о мире, а Никсон уверял, что у него есть быстрый план окончания войны. И потом, после выборов, президент, министр обороны и государственный секретарь тоже говорили о мире.

За шесть лет, что я провел в Америке, я не слышал ни одного человека, который прямо сказал бы — да, он за войну. Во всяком случае, среди политических деятелей таких не было. А война все шла. Убийство все продолжалось и увеличивалось, а руководители страны все говорили и говорили о мире.

Люди, скрывающие свершенное преступление, — это в истории не ново. Ново другое. Гамлет, который пригласил бы к таким людям актеров, чтобы сыграть сцену убийства, не получил бы желанного результата. Никто не вскочит, никто не схватится похолодевшей рукой за вспотевший лоб, никто не убежит и не почувствует себя дурно. Актерам будут аплодировать. И будут делать вид, что пьеса не касается тех, кому она предназначена. Нет, нет, не про них пьеса. Если считать, что молодежь Америки выросла, возмужала в поисках гамлетовской истины, то надо признать: убийцы тоже закалили свою волю. Иногда кажется, что у американского Гамлета нет даже призрака, которому он мог бы верить. После публикации пенгаоновских бумаг это стало особенно ясно.

...Макговерн вышел только в восемь часов вечера. И когда сенатор наконец показался, его встретили осуждающим буканьем, криком, в его сторону из рук в руки начали передавать портрет бывшего президента. А потом, когда чуть стихло, в гулком вестибюле раздался отчаянный крик:

— Что вы делаете, сенатор?! Ведь мы вас любили! Мы верили в вас! Что же вы делаете?!

В этом крике прозвучала и тоска молодых ребят по честности своих лидеров,

и конвульсивный страх, что их снова могут предать, и все неверие в возможность прихода к власти человека, который способен выполнить данные им обещания.

МКГ остановился на лестнице, окруженный помощниками и 14 агентами секретной службы. Они смотрели на собравшихся в вестибюле. А те смотрели на сенатора.

Пытаясь перекрыть шум с помощью мегафона, Макговерн сказал:

— Клянусь, если я стану президентом, каждый американский солдат, каждый военнопленный, каждый американец, связанный сейчас с Юго-Восточной Азией, каждый американский самолет, летающий сейчас над Индокитаем, будет возвращен и малейшая помощь режиму Тхиеу будет отменена... У меня нет ни малейшего сомнения, что в течение девяноста дней после моего вступления в президентскую должность все американские военные силы будут отправлены домой, а те, кто в плену, вернутся... Моя позиция по Вьетнаму не изменилась. Просто меня не так поняли...

Ответом ему были приветственные и осуждающие крики — ему верили и не верили, боялись верить. Он медленно пошел вверх по лестнице, провожаемый секретной службой. Одному из своих помощников бросил с облегчением:

— Мы выкарабкались — это все, что я могу сказать. Лучше выслушать людей, чем выгнать их силой. По сравнению с тем, что было четыре года назад (в Чикаго.— Г. Б.), это выглядело воскресной прогулкой... Я почувствовал, что смогу выпустить пар, поговорив с ними...

Они ушли мирно. Никто не пострадал. И люстра ценой в 30 тысяч долларов тоже осталась цела. Но многие из тех, кто приходил в тот день в «Дорал» и с кем я разговаривал, теперь больше, чем раньше, сомневались, сможет ли Макговерн выстоять и не изменить позиции под давлением тех, от кого в большой степени будет зависеть приход сенатора в Белый дом.

В тот вечер Макговерн был объявлен кандидатом в президенты США от демократической партии. Теперь осталось лишь одно заседание — по выборам вице-президента.

Если бы человека, незнакомого с обычаями американской политической жизни, привели в зал съезда через несколько часов после окончания его работы и поставили перед задачей отгадать, что здесь происходило, то, увидев перед собой крупнейшее помещение, пол которого забросан газетами, окурками, стаканчиками и банками из-под пепси-колы, сломанными шестами с названиями штатов, недоеденными сосисками, обглоданными костями жареных кентуккских цыплят, сломанными пластиковыми канотье с именами кандидатов, изорванными и истоптанными плакатами с пятнами томатного соуса — кетчупа, он, наверное, стал бы искать ответ где-то в сфере устаревшего грандиозных международных выставок самых радикальных методов загрязнения человеком окружающей среды.

Но именно такой беспорядок и должна была оставить громадная толпа ничем не организованных, ничем не занятых, разговаривающих, смеющихся, кричащих, жующих, пьющих, бесцельно и беспрестанно двигающихся по залу людей. Именно такую толпу представлял собой съезд демократической партии США в последние дни своей работы.

Я пробовал поставить опыт: наблюдал в течение некоторого времени за одним наугад выбранным делегатом, регистрируя его действия в тот период, когда с голубого капитанского мостика — трибуны съезда — ораторы выдвигали кандидатуры вице-президентов. Вот она, эта добросовестная научная запись.

Стрижет ногти. Потягивается. Поднимается и идет в вестибюль. Возвращается через десять минут с газетой «Майами геральд» и воздушным шариком. Привязывает шарик к пуговице. Просматривает фотографии в газете. Доходит до раздела спорта и углубляется в него, закрыв всего себя огромной газетной простыней. Препирается с соседом по поводу того, что тот своей газетой мешает моему делегату читать. Поджав губы, комкает полуклюграммовую газету и бросает ее на пол между креслами. Вынимает расческу и, зачем-то подышав на нее, расчесывает волосы. Оживляется, увидев кого-то в толпе, движущейся вдоль прохода. Встает и кричит в полный голос: «Гарольд! Гарольд Смит!» — но его не видят. Встает на стул, поднимается во весь

рост, машет рукой. Гарольд наконец слышит крик, и мой делегат, наступая соседям на ноги, пробирается к проходу. Хлопает Гарольда по плечу, беседует с ним. Возвращается к своему месту, заметив, что кто-то принес делегатам на подносе несколько стаканчиков пепси-колы. Пьет, бросает стаканчик на пол под сиденье. Крутит некоторое время головой, видимо, в размышлении, чем бы заняться. Вступает в разговор с соседкой слева. Та кокетничает, хохочет во все горло. Подопытный тоже хохочет. Продолжая смеяться, нагибается, поднимает стаканчик от пепси-колы, привязывает его ниточкой к воздушному шарик, который предварительно отцепил от пиджачной пуговицы, накладывает в стаканчик всякой всячины, чтобы шарик не летел вверх, а плавно плыл над головами делегатов (за его манипуляциями с интересом следят человек пять соседей сзади, справа и слева). Шарик не желает подниматься, и тогда, махнув рукой на шарик, делегат снова встает и уходит. Возвращается довольно быстро и приносит две коробки с жареным кентуккским цыпленком. Одну коробку вручает соседке, другую открывает и, расстелив на коленях бумажную салфетку, принимает со вкусом уничтожить содержимое, обмакивая курятину в кетчуп. Прерывает трапезу, когда неподалеку от него проходит некая знаменитость в водовороте фотокорреспондентов и любопытных. Хватается за фотокамеру, щелкает несколько раз, потом долго и тщательно вытирает бумажной салфеткой пятна, оставленные на фотоаппарате жирными пальцами. Отрывается от своего занятия, когда оркестр между выступлениями двух ораторов играет песенку «Снова настали счастливые денечки», и делегату кажется необходимым похлопать в такт... И так далее и тому подобное.

Может быть, мне попался не самый добросовестный делегат, не спорю, но уж и не самый отпетый бездельник — за это могу поручиться.

Журналистам, в том числе и корреспонденту «Эсквайра», спускающимся в зал из ложи прессы, полиция при входе ставила на тыльную сторону ладони специальные печати несмываемой краской. С этим фиолетовым следом жирного поцелуя службы безопасности, поддавшись общему настроению, какое бывает у школьников в последний день занятий, я тоже бесцельно бродил по залу, проталкиваясь, пробиваясь, проskalзьывая куда-то, чтобы что-то или кого-то увидеть.

Я конструировал в уме саркастические фразы по поводу бессмысленной деятельности моих коллег журналистов, рвущихся к барьеру, за которым сидели Хэмфри или Маски, миллионы раз сфотографированные и миллионы раз проинтервьюированные, но неожиданно обнаруживая себя стоящим на цыпочках, пытающимся поймать краешком своего телеобъектива восьмую часть физиономии бывшего вице-президента США. Я ругал себя за слабость и шел еще куда-нибудь, встречая знакомых и незнакомых людей, спрашивая и отвечая иногда на странные вопросы.

Вежливый, небольшого роста человек-одуванчик, тихий и робкий и потому несколько нереальный в этом красочном, бойком и шумном мире (тем не менее с делегатской биркой на груди), тронув меня за рукав, очень вежливо и очень тихо спрашивает:

— Простите, пожалуйста, не знаете ли вы, случайно, сенатора Иглтона, кандидата в вице-президенты?

— Лично? Нет.

— Может быть, в лицо?

— Знаю. Видел по телевизору.

— Будьте любезны, скажите, нет ли его здесь где-нибудь? — Человек с надеждой показывает на голубые боксы рядом с трибуной.

— Кажется, нет.

— Жаль, — говорит человек и качает головой. — Очень жаль. Мне за него скоро голосовать, а я его в жизни своей даже никогда и не видел...

Несколько ошарашенный тем, что из многотысячной массы людей в конвеншн-холле одуванчик выбрал для своего вопроса именно меня, я долго смотрю ему вслед, пока он не вливается в разноцветный перпетуум-мобиле зала, не растворяется в его колышущейся магме, становясь одной из молекул этого огромного, беспрестанно движущегося тела.

Движение в зале распределено равномерно, и только время от времени возникает впечатление горного обвала. Это значит, что движется знаменитость — селебрити, идет от входа в зал, к трибуне, вовлекая в свое движение сразу десятки людей, которые бросаются поглядеть. И когда все, кажется, должно рухнуть, лавина останавливается, сдерживаемая службой безопасности, а знаменитость благополучно проскальзывает на трибуну.

К последнему вечеру на небосводе съезда взошло так много звезд, что — до чего дошло! — даже Линдсей, мэр Нью-Йорка, стоит в одиночестве и никто его не замечает, никто не интервьюирует, никто не фотографирует. А ведь он совсем недавно тоже был кандидатом в президенты США. И считался даже фаворитом в гонке.

С большей охотой репортеры бросаются фотографировать дотемна загорелую красотку, которая демонстративно разгуливает под самой трибуной, дразня делегатов светленькими выпуклостями, выглядывающими из ее почти пляжного костюма.

Репортеры мыкаются в поисках сюжетов, сенсаций, хотя бы слухов, иные с вожделенной тоской вспоминают чикагский конвент 1968 года — самый драматичный конвент в истории демократической партии, а может быть, и США. Там была кровь, был слезоточивый газ, там избивали не только участников демонстраций, но даже делегатов съезда. Здесь никого не бьют, все сравнительно спокойно. Там была гибель — так, во всяком случае, думали — нового левого движения. Здесь возникновение — так, во всяком случае, полагают — новой демократической партии. А полицейские репортеры всегда утверждали: смерть интереснее, чем рождение. Вот и мыкается пресса.

Подошел большеголовый, похожий на седого кучерявого мальчишку Норман Мейлер. Постоял, посмотрел — руки в карманы, любопытный, наверное, не только по профессии. Каким-то удивительным способом этот человек умеет вобрать в себя больше впечатлений, капсулировать их резче, объемнее и ощутимее, чем космически оснащенная двухтысячная армия телевидения. При виде его теплится в душе надежда, что «карандашная пресса» все-таки выдюжит, не будет убита телевидением.

Во весь рот улыбается поэт Аллен Гинзберг:

— Послушайте, посмотрите на меня! Я хожу по залу конвента демократической партии! И где-то тут же ходит Абби Гоффман. Вы представляете, что сделали бы с нами обими, если бы мы попробовали сунуться на съезд демократов в Чикаго?! Нас бы растерзали!

С веселым бруклинским акцентом ему вторит известный журналист Джимми Бреслин:

— Это первый демократический съезд в истории Соединенных Штатов. Он, — кивок на трибуну, где сидит Макговерн, — первый понял, что нужны перемены. И понял, что выиграет прежде всего тот, кто первым откроет партию. Все думали, он наивен, а он оказался ба-альшим политиканом!

Мой французский коллега, которому я рассказал о своих интервью, усмехается:

— Ну что ж, американцев можно поздравить. Хотя бы в одной из своих больших партий они сделали первый шаг к буржуазной демократии

С трибуны выкрикивают имена кандидатов в вице-президенты США, за которых поданы голоса. «За Мао Цзэ-дуна — полтора голоса!» — слышу я фразу, тонущую в общем хохоте. При каждом новом имени в одной из делегаций поднимают над головой огромный рукописный плакат: «Он — как каменная стена!»

Наконец кандидат в вице-президенты избран и делегат-одуванчик имеет возможность лицедреть таинственного Тома Игтона. Тот поднимается на трибуну, потрясенный радостью, — пожалуй, единственный человек там, на капитанском мостике, который целиком, не скрывая и почти не контролируя себя, отдается этому чувству. МКГ улыбается в своей обычной манере — немного сдержанно. Остальные улыбаются именно так, как могут улыбаться проигравшие при демонстрации единства с выигравшими. И меньше всех удается скрыть недовольство этим «единством» сенатору Генри Джексону. Да он, кажется, и не особенно старается.

Джордж Макговерн уверен и величествен. Наконец-то американцы получили кандидатом в президенты страны тот тип человека, которого всегда изображает Генри Фонда, играя в кино американских президентов. С единственным отличием: у МКГ немного

жестче и отчужденнее глаза. Впрочем, они, надо полагать, видят перед собой такие трудности, которые не снились фондовским героям.

Зал рукоплещет.

Новый кандидат произносит свой «тронный» спич. Большинство зала встречает его слова овацией. Но какой-то циник сзади меня объясняет соседу:

— Это он для Юга... Это для еврейских голосов... А это для правых...

Как много изменений за последние годы в Америке! Как много людей, которые были действительными или потенциальными фаворитами демократов в 1968 году, даже в начале 1972 года, к середине его оказались сметенными. Хэмфри, Маски, Линдсей! Я уж не говорю о Юджине Маккарти, который приехал на конвент в Майами и уехал, почти никем не замеченный. Для тех, кто сейчас в этом зале праздновал победу, он — как воспоминание о юности, как увлечение, с которого многое началось, но которое сейчас, кажется, может вызвать лишь грустную улыбку.

Воздух майамского съезда демократов значительно отличался от воздуха съезда 1968 года в Чикаго. И не только потому, что тот проходил на территории чикагских скотобоев, а этот на берегу океана, не только потому, что там на улицах пахло слезоточивым газом, а здесь только бензином, но и потому, что после трагедии в Чикаго наиболее дальновидные люди в партии начали понимать, что она погибнет, задавленная тяжестью собственных толстозадых и твердолобых боссов, что нужны изменения, нужны новые люди, нужна новая политика.

Антивоенное движение, избитое в кровь в Чикаго, праздновало победу в Майами, добытую в результате своей борьбы, но прежде всего в результате героической борьбы вьетнамцев. Победа в Майами казалась тогда настолько значительной и обнадеживающей, что некоторые делегаты из тех, с кем я разговаривал, доказывали мне: демократическая партия стала истинно народной партией. И в подтверждение приводили действительно внушительные и радостные цифры увеличения представительства черных, женщин, молодежи на конвенте.

Но хотя изменения в партии действительно были значительными (не только в представительстве на съезде, но и в программе) и они, несомненно, повлияли на всю политическую обстановку в стране, однако о народности партии можно было говорить только в понятном состоянии упоения победой. Достаточно привести цифры, характеризующие состав делегатов по доходам.

18 процентов американцев зарабатывают менее 5 тысяч долларов в год. Лишь 6 процентов делегатов представляли на съезде эту группу населения. 18 процентов американцев зарабатывают в год между 15 и 25 тысячами долларов. Эти располагали на съезде 31 процентом делегатов. Наконец, только 5 процентов американцев зарабатывают более 25 тысяч долларов в год. Но они располагали на съезде 31 процентом голосов!

Рабочие вообще почти не были представлены на съезде.

Так что популизм демократической партии скорее популизм миллиардера Гетти, чем бедняцких гетто.

И хотя монополистический капитал, как известно, группируется прежде всего вокруг республиканской партии, демократическая партия не стала, конечно, ни анти-монополистической, ни народной.

Но она провозгласила себя антивоенной и антирасистской партией. Станет ли она действительно такой? На это может дать ответ только время.

15 июля невыспавшиеся делегаты вылетали из Майами, покидая тяжелый, густой и давящий, как звон большого колокола, воздух южного города.

Одновременно с делегатами, выезжавшими из первоклассных отелей, собирали в рюкзаки свои пожитки и «неделегаты», которые четыре дня работы конвента жили в парке «Фламинго», взрывая пенсионную его тишину бурными митингами, демонстрациями, спорами.

Надо сказать, что в отличие от делегатов «неделегаты» оставили свое рабочее место чистым и незамусоренным. Они уезжали на автобусах, на попутных машинах, про-

сто уходили пешком в свои края, собираясь в скором времени вернуться сюда снова, к съезду республиканцев. И некоторые, прежде чем пуститься в путь, заходили в пустой и грязный зал конвента, где уже начали снимать портреты демократических президентов. Рабочие опускали их вниз с подпотолочной высоты, откуда те взирали на делегатов все эти четыре дня — вернее, четыре ночи — работы съезда, и ставили поочередно на пол, почему-то предварительно перевернув каждого вниз головой, как художник переворачивает картину, чтобы отдохнуть от нее. Первым опустили, перевернули, а потом увезли на колесиках портрет Джона Кеннеди. Последним — Линдона Джонсона.

У портрета Джонсона особая история. Он был украден из зала съезда за день до открытия. Все президенты были на месте, а Джонсон пропал. Поиски ни к чему не привели. Мотив кражи тоже оставался непонятным. Ну кому, скажите пожалуйста, понадобился фотографический портрет одного из самых непопулярных президентов в истории Соединенных Штатов размером два метра на полтора?! Разве мало его изображений в любой книжной лавке, на которых экс-президент изображен курящим марихуану, мчащимся на мотоцикле, играющим в бейсбол или даже, простите, сидящим на стульчаке.

Но кому-то все-таки понадобился именно этот портрет.

На кражу махнули рукой и повесили другое фото Джонсона. Украденный же портрет обнаружился лишь на третий день работы конвента в отеле «Дорал». Его — вы помните — принесли в лобби ребята, обвинившие МКГ в отступлении.

Бог ты мой, как меняются кандидаты, становясь президентами! Как меняются их позиции, взгляды, как фамильярны они со своими собственными обещаниями!

Через день после того, как в Майами закрылся конвент, по телевидению выступал обиженный проигрышем сенатор Джексон. Он предсказывал: «Дайте Макговерну несколько дней — и, я уверен, он изменит свою позицию. Она уже изменилась! Вы ведь не слышите сейчас насчет той тысячи долларов, которую он обещал раньше добавить к ежегодному гарантированному минимальному доходу семьи! Вы уже не слышите того, что он говорил раньше насчет налоговой реформы. Вы увидите, он изменит свою позицию и в Юго-Восточной Азии...»

Джексон говорил, растягивая губы в язвительной полуулыбке.

Джексон выступал в июле. За четыре месяца, прошедших до выборов (7 ноября), позиция МКГ действительно во многом изменилась под давлением разных политических сил. Оказалось, в частности, что его фраза, сказанная молодежи в лобби отеля «Дорал» — «Меня просто не так поняли», — была лишь оговоркой. Его поняли, к сожалению, правильно. В борьбе за поддержку старых партийных боссов МКГ пошел на компромиссы с центром партии и даже с правыми силами. Он не удержался на гребне выдвинувшего его движения. И это было одной из причин его поражения на выборах в ноябре.

Ну что ж, Джексон знал, что предсказывал. И страх молодых ребят из парка «Фламинго», что их обманут, тоже был не напрасным.

Они ему верили. Наконец-то нашелся человек, не похожий на других политиков! Этот не может предать! Не может? Но история, старая пессимистка, шамкает: может, может. Каноны классической трагедии американской политической жизни, к сожалению, мало меняются. Может ли человек, даже субъективно честный, остаться самим собой, двигаясь к власти? Или он немедленно будет коррумпирован компромиссами? Какую часть самого себя, а вместе с ней и тех, кто поддерживал его, он вынужден будет предать?..

Я улетал из Майами 15 июля. Возле забора, ограждающего конвеншн-холл, все еще высилась песчаная дамба — такая, какие окружают рисовые поля во Вьетнаме, — насыпанная здесь «неделегатами».

На песчаной насыпи лежал плакат: «Прекратить бомбить дамбы!» Рядом стояли, обнявшись, парень и девушка с рюкзаками.

Мои функции специального аккредитованного корреспондента журнала «Эсквайр» в Майами-бич на этом заканчивались. Никто не чинил препятствий моей работе, поэтому редактору Джилл Голдстейн не пришлось приводить в исполнение свою угрозу насчет убийства.

В редакции «Эсквайра» один из редакторов встретил меня вопросом.

— Скажите, пожалуйста, вы действительно считаете, что у вас как у марксиста есть приспособление, которое даст вам возможность сразу объяснить все, что произошло в Майами, и предсказать все последствия?

Кажется, он искренне удивился, узнав, что я так не считаю. И сообщил, что принадлежал ранее, как он выразился, к «ортодоксальному марксизму», но затем отошел от него (правда, не информировал куда). Последние слова редактор произнес с несколько подчеркнутым чувством достоинства. Я не признался редактору, что испытываю чувство удовлетворения по поводу его отхода от марксизма в неизвестном направлении.

Две недели я работал в Нью-Йорке над своими заметками о конвенте для «Эсквайра». Наконец рукопись была вручена редакторам. Прочтена. Принята. Но прошло некоторое время, и редакторы сказали: очерк, наверное, придется сократить.

— На сколько? — спросил озадаченный автор, который согласовал с редакторами размеры рукописи еще в процессе работы.

В ответ он услышал странную фразу:

— Мы не знаем на сколько.

Автор попросил разъяснить.

— Дело в том, что нам еще не известно, какое количество рекламы мы получим в номер, куда запланирован ваш материал.

— От кого это зависит?

— От рекламодателей, конечно. Знаете, сигареты там, виски и так далее.

— А нельзя ли немного сократить рекламу, вместо того чтобы сокращать очерк?

Задавая этот вопрос, автор знал, что святотатствует, посягает на непосягаемое. Но уж очень ему хотелось увидеть выражение глаз редактора. И он увидел. В глазах полыхнуло желтое пламя и осталось устойчивое выражение веселого ужаса.

— Ха-ха,— произнес редактор мрачно. И больше ничего не сказал.

— Хорошо,— согласился автор.— Но только я сам намечу сокращения, скажем, на одну треть. Этого будет достаточно?

— На одну треть — наверное.

Было заключено джентльменское соглашение, по которому, помимо намеченных сокращений, редакция ничего более не трогает.

Успокоенный, я улетел в Москву. Недели через две раздался звонок из «Эсквайра». Оттуда сообщили, что сокращена лишь часть из того, что было намечено, и что больше изменений вообще не будет.

Все-таки недаром говорят, что «Эсквайр» — это журнал джентльменов!

...Когда я сдавал эти записки в «Новый мир», пришел наконец «Эсквайр» с моим репортажем.

Ах, джентльмены, джентльмены! Они сократили совсем не то, что намечал автор. И в два раза больше, чем было условлено. В частности, на девять десятых они выбросили те места, в которых давалась оценка съезду, рассматривался его состав, рассказывалось о тоске молодежи по кандидату, которому можно было бы доверять, и т. д. и т. п.

Я не знаю, кто сыграл главную роль в решении редакторов нарушить ими самими данное обещание — то ли рекламодатели, то ли иные обстоятельства. Сие остается тайной...



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

★

ЛЕТОПИСЬ МУЖЕСТВА

Хорошо известно, какой популярностью пользовалась публицистика Ильи Эренбурга в дни Великой Отечественной войны. Это его статьи в одном из партизанских соединений специальным приказом запретили раскуривать, это ему посвящали свои «боевые счета» снайперы, это его в одной танковой бригаде зачислили почетным гвардии красноармейцем. «...Его статьи, — вспоминает Сергей Наровчатов, — читались сразу же после сводки информбюро, а то и раньше, поскольку сводку узнавали еще до «Красной звезды» из дивизионной и армейской печати. Эренбургские статьи, фельетоны, заметки проглатывались залпом. Возбуждающая сила строк поражала своей мгновенностью и безотказностью. Ненависть к фашистам у солдат была естественна и неостановима, но эренбургские строки обостряли, нацеливали и давали ей, вместе со всероссийским и всесоветским, всечеловеческое обоснование». Люди военные, как известно, пользуются определениями точными и взвешенными, и когда маршал И. Х. Баграмян пишет: «Перо Эренбурга воистину было действеннее автомата» — это не комплимент, а деловая оценка боевой мощи публицистики Эренбурга.

Во время войны на страницах «Красной звезды» и других наших газет Эренбург выступал изо дня в день: как подсчитали исследователи его творчества, писатель опубликовал за годы войны в советской печати свыше тысячи статей, заметок, очерков, фельетонов. Но этим не исчерпывается его литературная работа в ту пору — существует еще один большой массив статей Эренбурга, на русском языке не печатавшихся и не учтенных литературоведами: это статьи, писавшиеся для зарубежных изданий и отправлявшиеся через Совинформбюро. Правда, в воспоминаниях, говоря о первых месяцах войны, Эренбург упоминает и их, но только упоминает: «Никогда в жизни я так много не работал, писал по три-четыре статьи в день; сидел в Лаврушинском и стучал на машинке, вечером шел в «Красную звезду», писал статью в номер, читал немецкие документы, радиоперехваты, редактировал переводы, сочинял подписи под фотографиями... Начали приходиться телеграммы из-за границы: различные газеты предлагали мне писать для них — «Дейли геральд», «Нью-Йорк пост», «Ля франс», шведские газеты, американское агентство Юнайтед Пресс. Приходилось менять не только словарь — для красноармейцев и для нейтральных шведов требовались различные говоры». В другом месте Эренбург рассказывает, что в октябре 1943 года он написал для московских газет шесть статей, для фронтовых — семнадцать, для заграницы — восемь (были месяцы, когда он писал и больше). Еще несколько такого рода упоминаний о работе для зарубежных изданий (но не специально, а так, к слову пришлось) — вот и все; а между тем речь идет о работе огромной, о публицистике первоклассной...

Эренбург никогда не заботился о своем архиве — тем более в дни войны не было у него для этого ни времени, ни сил, ни охоты. Рукописи статей, писавшихся для зарубежных изданий, у него не сохранились, а было этих статей, как сейчас стало ясно по самым осторожным подсчетам, много больше трехсот. Лишь после смерти писателя рукописи были обнаружены (к сожалению, не все) и переданы в его архив. Эренбургу и в голову никогда не приходило разыскивать эти старые рукописи. Когда он писал свои статьи, он глумал только о се го д н я ш н е м их воздействии, о том, как они работают на победу, — больше ничего его не интересовало: он считал себя не летописцем,

а солдатом переднего края. «Они все,— говорил он в те дни о своих статьях,— были написаны о фронте, и многие из них написаны на фронте. Напрасно в них искать художественных описаний или размышлений. Это только боеприпасы». Время показало, что эта самооценка была неточна: многие статьи Эренбурга, три десятка лет назад увидевшие свет на чужом языке в газетах, выходивших где-то за многие сотни километров от нашей страны, сохранили и духовный жар, и богатство мысли, и литературный блеск, и политическую остроту. И именно потому, что они были настоящими духовными «боеприпасами», они сейчас воспринимаются как неповторимая публицистическая летопись Великой Отечественной войны, летопись мужества, доблести, народного подвига. Константин Симонов писал о них: «...Этих статей мы не читали тогда (в дни войны.— Л. Л.): они шли прямо на телеграф. Мы читали только то, что появлялось в «Красной звезде», в «Правде», в наших фронтовых и армейских газетах, и уже огна эта работа казалась такой огромной, что как-то забывалось, что одновременно с ней он еще успевает делать вторую. И только теперь, когда уже после смерти Ильи Григорьевича мне довелось прочесть погряя все его статьи, написанные во время войны для зарубежной печати, я до конца понял, какие огромные масштабы и политическое значение имела эта его работа — невидимая для нас тогда, как подводная часть айсберга. Собранные все вместе, эти статьи, написанные им для зарубежной печати, составят замечательный том, которым по праву будет гордиться наша русская советская публицистика как своего рода писательским подвигом, совершенным в годы войны».

Некоторые из этих статей Ильи Эренбурга мы публикуем в этом номере.

Л. ЛАЗАРЕВ.

23 июля 1941 года

Сегодня ночью Москва снова подверглась беспорядочной варварской бомбардировке. Сгорели десятки жилых домов и домишек. Надо ли настаивать на том, какие «военные объекты» уничтожает гитлеровская авиация? Госпиталь, поликлиника, Книжная палата, школа — вот куда метили фугасные бомбы. Уничтожен один из красивейших домов Москвы эпохи ампира. Я шел на рассвете через город — бомбардировка меня застала далеко от дома. Развороченные дома, битое стекло, гарь. Вот выносят из дома труп женщины. Вот санитары несут раненую девочку. Улицы полны народом. На всех лицах решимость и ненависть. Погорельцы из деревянных домиков на окраине проходят по улице. У некоторых узлы с вещами. Одна старуха торжественно, по-библейски, проклинает Гитлера. Молодой красноармеец ей говорит: «Вы не сомневайтесь — мы его прикончим».

Я не видал слез — только гнев. С необычайным мужеством всю ночь москвичи гасили зажигательные бомбы, ликвидировали пожары. Героически вытаскивали людей из-под обломков, из огня.. Сейчас — полдень, и Москва, проведшая две бессонные ночи, работает, работает еще яростней обычного. Может быть, гитлеровцы рассчитывали вызвать панику, пробудить малодушие? Они просчитались. Фашистские бомбы лучше всех статей, всех радиопередач рассказали Москве о жестокости и низости врага.

После первого месяца войны мы вступили в новую фазу. Я не раз указывал, что Гитлер торопится. Спротивление Красной Армии разбивает его планы. Он теперь готов на все. Вчера его авиация возле Новгорода трижды возвращалась, чтобы расстрелять на дороге беженцев — женщин и детей. Среди беженцев не было ни одного мужчины. Гитлеровцы аккуратно, с бреющего полета убивали детей. Передо мной фотографии — детские трупы. Гитлер хочет устрашить русских. Он пойдет на все. Его химические батальоны уже в нетерпении разгружают ящики с минами — зеленые или голубые полоски — газ... Они не знают наших людей. Выдержка и ненависть — вот ответ. Грозное слово «мечь» встает из-под дымящихся обломков, глядит из мутных глаз убитых детей. «Мы отомстим!» — кричат красноармейцы, уходя навстречу врагу.

28 июля 1941 года

Идиллические окрестности Москвы — леса, речка, лужайки с яркими цветами, запахи смолы и сена. Никто не догадается, что здесь командный пункт аэродрома. Воздух Москвы охраняют смелые летчики.

Под вечер тихо. Некоторые летчики спят, другие читают газеты или валяются в траве. Близок час: ночной работы. Телефон: «Группа бомбардировщиков замечена над Вязмой». Летчики наготове. Мощные прожекторы пронизывают небо, их лучи рыщут, мечутся, настигают незримого врага. Вот он!.. И тотчас вдогонку несется истребитель.

Двадцать минут длится воздушный бой. Слышны пулеметные очереди. В небе огоньки. И вдруг над лесом пламя — это летит вниз «юнкерс».

На востоке феерическая картина — заградительное кольцо дальнобойных зенитных орудий: Москву охраняют не только с воздуха. Снопы прожекторов... Эта ночь, казавшаяся недавно тихой, с мирным кваканьем лягушек, живет бурной жизнью — никто не спит. В Москве — в метро, в убежищах — москвичи ждут отбоя. А над ними и вокруг города идет бой. Люди сражаются за Москву, которая теперь стала каждому русскому еще милее, еще дороже..

Сказать о напряжении, об усталости? Вряд ли эти слова выразят героизм летчиков. Достаточно отметить, что некоторые вылетели в пятый раз за эти сутки. Выпал свободный час — спят в землянке, а через пятьдесят пять минут вскакивают, выпивают глоток холодного чая и бегут к машине.

На аэродроме я познакомился с лейтенантом Константином Титенковым. Ему тридцать лет. Он сын слесаря, родился в Ярцеве Смоленской губернии. Увлёкся авиацией, стал летчиком. За последние дни Титенков сбил два немецких бомбардировщика из тех, что шли на Москву.

Это скромный человек. Отважный в воздухе, в разговоре он стыдлив, застенчив. Он приводит техника — это коми-пермяк, представитель небольшого народа. Титенков говорит: «Без него я не сбил бы...»

Титенков деловито рассказывает, как он сшиб головной аппарат эскадрильи, которая шла на Москву. Он напал на «хейнкеля» слева, справа шел молодой летчик Бокач. Последний горячился — открыл слишком рано огонь. Титенков говорит: «Я подошел к нему на 175 метров и не торопясь стал его поливать...» Это был первый бой, в котором Титенков участвовал. «Я такой большой цели прежде не видел». Потом прожекторы выпустили врага. Но Титенков все же нагнал его. Убил заднего стрелка-радиста. «Хейнкель», не дойдя до Москвы, развернулся налево, скинул бомбы в лес. «Я крепко попал ему в правый мотор. Подошел вплотную. Меня подобрисило — попал в струю. Смотрю — он должен гореть, а все еще не горит. Патроны и снаряды у меня почти вышли. Но тут он пошел вниз — в туман, в речку». На сбитом самолете были подполковник, капитан, лейтенанты. Это был отборный экипаж. Нашли документы. Послужные списки: Лондон, Ковентри, Крит. План Москвы.

Три дня спустя Титенков сбил «юнкерс». Он гнал его полчаса на запад. Титенков рассказывает: «Когда я стрелка убил, «юнкерс» начал маневрировать. Полез в облако, только это облако маленькое — с яйцо. Сунулся он туда с отчаянья. Я прорезал облако. Он переходит в пикирование. Я за ним. Меня уж пошатывать начало. И вдруг — пламя. Бомбардировщик стал валить елки. Скинул бомбы на поляну с коровами. И наконец загорелся».

Надменный германский подполковник. Ордена. Знак отличия за разрушение Лондона. Лицо дегенерата. Мораль? Убивать — все равно как, все равно кого, лишь бы убивать. И лейтенант Титенков, скромный, тихий. Мы с ним говорим о Льве Толстом, о Диккенсе. Воистину два мира столкнулись в черном небе Москвы. И радуешься за само понятие «человек», видя скелет «хейнкеля», сбитого сыном смоленского слесаря Костей Титенковым...

Три четверти немецких самолетов поворачивают назад, увидев огненное кольцо зенитного огня или услышав первую очередь истребителя. Немецкие летчики были куда смелее, когда они расстреливали на полях Иль-де-Франса и Турени беззащитных беженцев. Горят леса — это гитлеровцы скинули свой груз.

Не знаю, доносят ли они начальству, что бомбы упали не на московский Кремль, но на леса и болота? Мне кажется, что немецкие сводки составляют не военные, но доктор Геббельс — чувствуете его перо.

Молодой летчик Васильев вчера сбил «юнкерса». С аэродрома видели горящий самолет. Строительные рабочие подтверждают: «Вот туда упал — в лес»... Но самолета не нашли, и в нашей сводке сказано восемь, а не девять. Васильев говорит: «Обидно — пока

его найдут в лесу.. Не за себя — мне все равно. Обидно, что не сказано — девять. Ведь всем приятней прочитать девять, а не восемь»...

Деревенские девочки пошли за ягодами и попали на останки сгоревшего немецкого бомбардировщика. Это не тот, что сбил Васильев, другой. Неизвестно, кто его прикончил. Его не включили ни в какую сводку. Вот серебряный портсигар, а в нем записка по-немецки: «Третья бомбардировка Крита»... Не знаю, зачем немецкий летчик засунул эту бумажку в портсигар.

И снова телефонный звонок. И снова вылетает истребитель. И снова бой. А звезды бледнеют. Гуще белый туман. Холодно. Потом показывается очень большое красное солнце. Трудовой день кончился. Летчики моются, спят, слушают голоса полевых птиц.

Мы возвращаемся в Москву. Дымят трубы. Несутся автобусы. Заливают асфальтом воронки от бомб. Москва живет трудной, но высокой жизнью.

25 октября 1941 года

Еще недавно я ехал по Можайскому шоссе. Голубоглазая девочка пасла гусей и пела взрослую песню о чужой любви. Тускло посвечивали купола Можайска. Теперь там немцы. Теперь там говорят наши орудия, они говорят об ярости мирного народа, который защищает Москву. Еще недавно я писал в моей комнате. Надо мной висел пейзаж Марке — Париж, Сена. В окне, золотая и розовая, виднелась Москва. Этой комнаты больше нет. Моя телеграмма не ушла вовремя, она устарела. Я пишу теперь новую. Пишущая машинка стоит на ящике.

Большая беда потрясла над миром. Я знал это давно: в августе 1939 года, когда беспечный летний Париж вдруг загудел, как развороченный улей. Каждому народу, каждому человеку суждено в этой беде потерять уют, добро, счастье. Мы многое потеряли. Мы сохранили одно: надежду.

Надевая солдатскую шинель, человек оставляет теплую, косматую, сложную жизнь. Все, что его волновало вчера, становится призрачным. Неужто он еще недавно думал, возле какой стены поставить диван, собирал гравюры или трубки? Россия теперь в солдатской шинели. Она трясется на грузовиках, шагает по дорогам, громыхает на телегах, спит в блиндажах и в теплушках. Здесь не о чем жалеть. Взорван Днепрогэс, взорваны прекрасные заводы, мосты, плотины, вражеские бомбы сожгли Новгород, они терзают изумительные дворцы Ленинграда, они ранят нежное сердце северной Флоренции — Москвы. Миллионы людей остались без крова. Ради права дышать мы отказались от самого дорогого — каждый из нас и все мы, народ.

На восток идут длинные составы: станки и поэты, дети и архивы, лаборатории и актеры, наркоматы и телескопы. В 1914 году французское правительство было в Бордо, а парижские такси спешили навстречу марнской победе. В ноябре 1936 года правительство испанской республики уехало из Мадрида в Валенсию. Я пережил горечь этого поспешного отъезда. Но армия тогда удержала Мадрид. Она держала его и потом, два года, под бомбами и под снарядами. Не сила взяла Мадрид — измена. Москва теперь превратилась в военный лагерь: она освобождена от гражданской ответственности. Она может защищаться, как крепость. Она получила высокое право: рисковать собой. В этом значение последних событий.

Я видел защитников Москвы. Они хорошо дерутся. Так бились французы под Верденом, англичане на Сомме. Земля становится вязкой; когда позади Москва — трудно отступить на шаг. Враг напрягает все силы. За последние дни он кинул в Можайск и в Калинин новые дивизии: из Бретани, из Бордо, из Голландии. Каждый день Москва отбивает массивные налеты немецкой авиации. Много домов разрушено.

На юге немцы подходят к Ростову, они мечтают прорваться на Кавказ. В эти солнечные дни поздней осени Гитлер торопится. И тихо-тихо в Европе. Только чешские герои и 50 нантских заложников пали на бранном поле рядом с защитниками Москвы...

Я пережил исход из Парижа. Тогда из Франции уходила душа. Отчаянье французской армии, горе десяти миллионов беженцев могли бы родить сопротивление. Они родили равнодушие и старческий лепет Петена. Неужели Гитлер надеется найти в России Лавала? Вздорная мечта. У нас есть злые старички, у нас нет петенов. И воры у нас есть, но нет у нас лавалей. Россия, вспугнутая с места, Россия, пошедшая по дорогам, страшнее России оседлой. Горе нашего народа обратится на врага.

Я ничего не хочу прикрашивать. Русские никогда не отличались аккуратностью и методичностью немцев. Но вот в эти грозные часы наши скорее бесшашбашные, скорее беспечные люди сжимаются, закаляются. Я с неделю глядел на разные города, станции, дороги. Наши железнодорожники показали себя героями: сотни поездов под бомбардировкой врага вывезли из столицы все, что нужно было везти. За Волгой, на Урале уже работают эвакуированные заводы. Ночью устанавливают машины. Рабочие зачастую спят в морозных теплушках и, отогревшись у костра, начинают работу. В десятках авиашкол учатся юноши — через несколько месяцев они встанут на место погибших. В глубоком тылу формируются новые армии. Народ понял, что эта война надолго, что нельзя ее мерить месяцами, что впереди годы испытаний. Народ помрачнел, но не поддался. Он готов к пещерной жизни, к кочевью, к самым страшным лишениям. Война сейчас меняет свою природу: из политической схватки, из боев, за которыми мерещилась близкая развязка, она становится воистину отечественной, длинной, как жизнь, эпопеей народа, судьбой каждого, судьбой поколения. Впервые встало перед всеми, что дело идет о судьбе России на многие века. «Долго будем воевать,— говорят солдаты, уходя на запад,— очень долго». И в этих горьких словах — наша надежда.

Нельзя оккупировать Россию. Этого не было и не будет. Не только потому, что далеко от Можайска до Байкала. Россия всегда засасывала врагов. Русский обычно безлобен, гостеприимен. Но он умеет быть злым. Он умеет мстить, и в месть он вносит смекалку, даже хозяйственность. Мы знаем, что гитлеровцев теперь убивают под Москвой. Но они знают и другое: их убивают в Киеве, в Минске, в тысячах деревень. Слов нет, Гудериан хорошо маневрирует, но как усмирять крестьян от Новгорода до Мелитополя? Германская армия ничего не завоевывает: она только продвигается из города в город. У нее десятки, сотни фронтов.

Россия — особая страна, трудно ее понять на Кайзердамме или на Вильгельмштрассе. Россия может от всего отказаться. Люди привыкли у нас к суровой жизни. Может быть, за границей Магнитогорск и выглядел как картинка. На самом деле он был тяжелой войной. Неудачи нас не обескураживают. Издавна наши полководцы учились и росли на неудачах. Издавна наш народ закалялся в бедствиях. Вероятно, мы сумеем исправить наши недостатки. Но и со всеми нашими недостатками мы выстоим и отобьемся. Тому порукой не только история России, но и защита Москвы.

Уэллс недавно написал: «Мы слишком мало помогаем вам». Мне хочется ответить: «Нет, вы, может быть, слишком мало помогаете себе».

А наша личная судьба?.. Может быть, врагу удастся глубже врезаться в нашу страну. Мы готовы и к этому. Мы перестали жить эфемерным счетом — от утренней сводки до вечерней. Мы перевели дыхание на другой счет. Мы глядим навстречу трудным годам. Фраза «Победа будет за нами» еще четыре месяца тому назад была газетной фразой. Она превратилась теперь в гул русских лесов, в вой русских метелей, в голос русской земли.

8 сентября 1942 года

Швеция — одна из немногих стран Европы, оставшаяся нейтральной. Не наше дело сейчас говорить о том, кому и чему обязана Швеция этим нейтралитетом. Я не хочу сейчас говорить о том, как понимают те или иные шведы нейтралитет, что больше их занимает — земля, небо или вода. В конечном счете можно ревнивей относиться к небу, нежели к железным дорогам, проходящим по исконно шведской земле.

Как Швейцария, Швеция окружена солдатами одной из воюющих стран. Однако в характере шведов — независимость, гордость. Шведы стараются понять смысл происходящей на Востоке трагедии. Я попытаюсь помочь моим читателям распознать некоторые причины русского сопротивления.

Шведы хорошо знают Германию и не знают России. Все внешнее как бы говорит о близости к Швеции Германии, не только географической — исторической. Немецкий язык легко доступен шведу. Жителя Мальмё не удивит архитектура северной Германии. Студенты Упсалы понимают рассказы о жизни былого Гейдельберга. Романтика старой Германии, ее музыка, ее липы, ее сентиментальная и опрятная любовь еще живы в сознании среднего шведа. Ему и невдомек, что живое в его сознании давно умерло в дей-

ствительности гитлеровской Германии. С другой стороны, завоевания современной техники, больницы, школы, типографии Германии еще недавно рядовому шведу казались образцовыми. Он не успел задуматься над тем, что скрыто под лаком образцовой цивилизации.

Россия для такого среднего шведа — неизвестная и глубоко чуждая страна. Вспоминая учебник истории, он невольно добавляет: враждебная страна. Он забывает, что Карл XII был под Полтавой, но он помнит, что русские были в Питео. Русские города представляются ему огромными восточными деревнями, русская жизнь — полуварварской. Он оскорблен предлагаемым отсутствием семьи и «распущенностью» русских. Если он не любит шведских коммунистов, он наивно думает, что Советская Россия — это в большом размере тот или иной шведский коммунист. Никогда он не поверит, что природа России сродни шведской природе — ему кажется невозможной даже такая связь. Наконец, он возмущается «отсутствием свободы» в России, не замечая, что зачастую об этом говорят люди, искренне ненавидящие свободу, выученики Геббельса и кандидаты в квислинги.

Во всех этих суждениях поражает застылость, непонимание происшедших огромных сдвигов, отсутствие чувства исторических перемен. В то время как сами наци торжественно проклинали XIX век, в Швеции поклонники гитлеровской Германии любят ее именно за XIX век, за лирику и философию романтиков, за бидермейер, за Гейне, имя которого неизвестно молодым солдатам Гитлера, за некоторую пусть мещанскую, но все же человеческую филантропию, давно замененную аппаратом гестапо, за провинциальную мечтательность Карлсруэ, Дармштадта, Любека, давно аннулированные планами мирового господства, за универсальность научной мысли, давно перечеркнутую псевдонаучной расовой теорией. Неужели житель Мальмё, попав в сегодняшний Штральзунд или Росток, не почувствует, что он попал в иной, незнакомый ему мир?

Когда-то Германия была для России «Европой», Западом. Германия притягивала многих русских философов, музыкантов, поэтов: глубина Гёте, благородные чувства Шиллера, философия Гегеля, романтическая ирония Гейне, музыка Моцарта, Бетховена, Вагнера, рабочее движение Германии, тени Бебеля и Либкнехта — все это отразилось на развитии русской культуры. Но теперь русские в захваченных областях увидели иных немцев. Гёте нет в армии Гитлера, его наследники, видимо, находятся повсюду, только не среди фашистов. Разрыв ясен каждому. Приходится пересмотреть некоторые определения культуры. Кто назовет немцев, захвативших огромную территорию России, культуртрегерами, не вложив в это слово иронии? Когда-то культурность народа определяла процентом грамотности и количеством мыла, употребляемого на голову населения. В Германии нет неграмотных. Большинство дневников немецких солдат, которые я читал, написаны без грубых грамматических ошибок. Однако содержание этих дневников противоречит самому пониманию слова «культура». Эти полные человеконенавистничества и невежества записи свидетельствуют об одичании их авторов. Стоило ли изобретать книгопечатание, чтобы заменить Эйнштейна Розенбергом и человечность — рассуждениями гитлеровских ефрейторов, которые описывают убийства русских детей, добавляя: «Мы уничтожаем маленьких представителей страшного племени»? Мыло? Да, Германия производила впечатление опрятной страны. Но придя в русский дом, фашисты обращают его в уборную. Даже внешне они далеки от образца культурного человека. Очевидно, их цивилизованность была позолотой, тонкой пленкой на воскресшем идеале древнего германца, поклонявшегося Вотану.

Мы ценим технический прогресс. Десять лет тому назад я описывал шведские поезда, архитектуру Стокгольма, квартиры рабочих Кируны: мы этого не отрицали, нет, мы к этому стремились. Немцы своим вторжением откинули нас далеко назад, они в один год уничтожили многое из того, что мы строили двадцать лет. Да и до войны Германия наци тормозила наше мирное строительство. Нам приходилось строить укрепления вместо городов, делать танки вместо материи или утвари. Уровень жизни широких народных масс сильно поднялся после революции. Выросли новые города, дома с комфортом, больницы, ясли. Страну изрезали новые дороги. Исчезли курные избы, безграмотность, знахари. Впервые крестьяне многих областей сменили лапти на ботинки, впервые женщина Якутии увидела вместо шамана акушера. Работа была трудной. Мы, бесспорно, делали немало ошибок: кто их не сделал бы, берясь за такое дело?

История оставила нам много тяжелого, позади было крепостное право, разрыв между просвещенной аристократией и невежеством крестьянства, отсутствие бытового демократизма, безграмотность десятков миллионов, гражданская безответственность. Очевидно, куда легче негативный процесс — Германия наци это доказала. Мы шагали большими шагами. Ко времени нападения Германии мы начали ощущать первые результаты огромного труда, связанного с самопожертвованием и лишениями.

То «отсутствие свободы», которым нас попрекают зачастую враги свободы, связано с преодолением косности, с болезнью роста, с остатками темноты. Мы не отрицали и не отрицаем свободы, как это делают апологеты фашизма. Мы просто еще многого не добились, до многого не дошли. Возможные ошибки вытекают из обширности творческого замысла, из трудности материала. Но век просвещения, декларация прав гражданина, хартия вольности, XIX век Европы для нас не то, что нужно похоронить, но то, что нужно очистить от скверны, творчески продлить и осуществить.

Свободное начало живо в наших людях. Они смело критикуют недостатки нашей армии. Они хотят спасти все то подлинное, высокое, что имеется в природе нашего молодого государства.

Разрыв с тем миром, который понятен и близок каждому среднему шведу, скорее декларирован нашими врагами, чем существует в нашем сознании. Я укажу хотя бы на привязанность к семье, которая с особенной силой сказалась теперь, когда русские семьи рассеяны войной, истекают кровью. Мать, жена, ребенок — эти слова воодушевляли наших солдат.

Шведы помнят Гёте, Бетховена. Но ведь не во имя Гёте немцы захватили Европу, превратив ее в пустыню и в концлагерь! Шведам стоит задуматься над универсальностью, человечностью русской культуры. Толстой понятен на всех широтах. Чайковский и Мусоргский стали достоянием человечества. Наша современная культура — прямое продолжение русской дореволюционной культуры. Что ближе к культуре Запада — немецкие и финские орудия, которые уничтожают дворцы Ленинграда, или Седьмая симфония Шостаковича, написанная в этом осажденном городе?

Я утверждаю, что Россия теперь защищает от наци свою культуру, которая по генезису и по стремлениям является европейской культурой. Мы защищаем эту культуру от новых иконоборцев, от людей, которые во имя расовой теории и жизненного пространства ополчились на культуру. Мы защищаем от солдат Гитлера не только Толстого и Мусоргского, но Гёте и Бетховена.

Конечно, национальное чувство с необычайной силой вспыхнуло в сердце каждого русского, когда он узнал, что русские для завоевателей — «унтерменши». Пробуждение во всей остроте этого национального чувства не сузило, но расширило духовный мир каждого солдата. Он теперь твердо знает, что история началась не с ним. Ксеномольцы восхищенно слушают рассказы о древних русских князьях, отстаивавших Русь от татар, и секретарь партийного комитета с восторгом смотрит на церковь XV века, красу старого русского зодчества. Мы защищаем Россию, это теперь знают все. Против нас нет и не может быть русских. Попытка превратить завоевательную войну в «крестовый поход» закончилась фарсом. Теперь об этом говорят уже не бары, но только их глухие и неповоротливые лакеи — Квислинг, Дорио или господа из «Суоми социал-демократен».

Однако расцвет национального чувства не вызвал национальной ограниченности. Наше государство было построено на действительном братстве народов, и это одно из главных достижений нашей революции. Вот почему Ленинград теперь защищают наравне с русскими и украинцами казахи, калмыки, татары, узбеки, якуты, грузины, армяне — все народы нашей страны. Война — это серьезная проверка. Немцы много веков хозяйничали в Праге. Но разве чехи пойдут брать Ленинград? А казахи (их звали до революции киргизами) теперь отстаивают Ленинград.

Мы с глубоким уважением относимся к культуре других стран. Если мы не понимаем той или иной стороны жизни того или иного государства, это происходит потому, что мы еще не научились все понимать, а не потому, что мы не хотим понимать чужое. Другое дело наши враги: они считают себя сверхлюдьми, а другие народы «неполноценными». Мы идем к другим народам с раскрытым сердцем и пытливым умом, наци идут к другим народам с пустыми чмодами, виселицами и презрительной усмешкой.

Мы в этой войне защищаем прогресс. Мы отнюдь не считали, что уже достигли

идеала. Мы были не музеем, но стройкой. Враг несет нам реакцию, застой, невежество. Мы были юношами, мы не успели созреть. Гитлеровцы хотят нас объявить детьми и поставить над нами нацистских опекунов. Что несет нацистская опека? Феодальный строй без феодальной культуры, отказ от движения вперед, суеверия, рабскую иерархию, невежество, объявленное последним завоеванием «сверхчеловека».

Мы, наконец, защищаем идею человека от тупой машины. Здесь нас должен понять каждый швед. Десять лет тому назад я писал после поездки по Швеции: «Приняв технику, Швеция восстала против ее обожествления. Слепота Далена, глаза маяков, которые сейчас спасают рыбацкую шхуну, не могут быть стерты: они меняют глаза рабочих... Шведы не предали ради комфорта идею человека, чрезмерность чувств, фантазию, природу, умение говорить „да“ и „нет“». Нам отвратительны дары фашистской цивилизации, построенной на пренебрежении к живому человеку, к его сложности, к его отклонениям от принятой нормы. Против этого восстала природа России.

Таковы двигательные силы нашего сопротивления. Они позволяют нам переживать эти трудные дни. Германия с Европой в обозе навалилась на нас всеми своими танками, бомбардировщиками и вассальным мясом. На один Сталинград брошено 30 дивизий, полторы тысячи самолетов. Того, что мы ждали весной и в начале лета, не случилось: второй фронт пока остается газетными словами. Мы сражаемся одни, но мы держимся и мы должны удержаться. Нас не сломят ни потери, ни лишения. Когда защищаешь право на дыхание, на человеческий образ, смерть не страшна. В освобожденных под Ржевом деревнях я видел на женщинах деревянные с номерами, бирки — такие вешают на коров. Их повесили на шею русских гитлеровцы: перенумеровали рабынь. Уж лучше висеть на виселице!.. Срывая с освобожденных эти бирки, мы сражаемся не только за себя, но и за другие народы, за Европу, за человечество. Это я должен был сказать нейтральным шведам. Сердце не государство, сердце не бывает нейтральным.

4 ноября 1942 года

О чем думает фронт в эти дни двадцатипятилетия нашей революции?

Стоят яркие осенние дни. Вокруг блиндажей березы как бы истекают кровью. Зловещая прелесть последних листьев средни войне. Многие деревья обломаны осколками мин. Воронки. Вместо деревни трубы. Да и лица не те: кажется, что война их заново вылепила. Была в них мягкость, расплывчатость глины, смутность, как в русском пейзаже, который так легко воспеть и так трудно изобразить. Такими были и люди. Теперь лица высечены из камня. В глазах суровость, уверенность, обветренные, обстрелянные солдаты.

Если пролететь, как в сказке, над страной, повсюду увидишь войну. Черны улицы Москвы, дома как будто ослепли. Девушки на лесных заготовках. Детишки на Урале. Сожженные немцами города. Заводы в бараках. Молодые женщины, игравшие на пианино или изучавшие французскую поэзию, отливают пули. Если заглянуть в глаза одной, то в темном холодном цеху можно увидеть то же ожесточение, что и у бойца на передовой. Детвора Полтавщины в Сибири. Театры Ленинграда в Узбекистане. Старая мать вздыхает: «Два месяца, как нет писем...» Трехлетний мальчик упрямо трет кулачком сонные глаза и спрашивает мать: «Где папа?» Воюет не только фронт, воюет вся страна, она отрывает от сна кусок ночи, она отрывает от рта кусок хлеба. Она живет, как боец в блиндаже, — покрывшись ночью и сжав зубы.

Мы очень много потеряли. Молодая женщина, которая в былое время всем жаловалась на мелкие неурядицы, теперь молчит. Молча она перевязывает раненых. Бойцы, за которыми она ухаживает, знают одно: ее не нужно спрашивать про мужа. Мы потеряли много прекрасных людей, самоотверженных и честных. Мы отстроим разрушенные города, они будут лучше прежних, но невозвратима потеря вдохновенного юноши, который еще ничего не создал — ни своего гнезда, ни дома, — но который, кажется, мог бы построить целый город.

Мы нелегко создавали жизнь. Зачастую нам не хватало ни умения, ни времени, но эта шершавая, необтесанная жизнь была нашей жизнью. Она напоминала черновик изумительной поэмы, весь испещренный помарками. У нас путалось в ногах прошлое. Мы ведь были первыми разведчиками человечества: мы прокладывали путь.

Когда мы строили ясли, с запада доносились дурные вести: там изготовляли те бомбардировщики, которые в одну ночь убивают сотни детей. Звериное дыхание гитлеровской Германии доходило до нас, и мы говорили женам: «Проходишь еще зиму в старом платье», — мы должны были делать истребители. Детям нужны игрушки, как птице крылья. Но разве могут играть дети, когда на земле живут наци? Мы делали мало игрушек: мы делали танки. За десять лет до войны фашисты вмешались в нашу жизнь. И все же мы строили школы и театры.

Четверть века для человека — это полжизни. Четверть века для истории — короткий час. Накануне войны мы увидели в наших садах первые плоды. Нам уже мерещилось счастье. Тогда на нас напали немцы. Они в один день уничтожили дома, заводы, города, которые мы строили годы, отказывая себе во всем ради будущего. Мы знаем, сколько мы потеряли.

Мы многое и обрели на войне. Несказанно вырос народ за шестнадцать месяцев. Говорили, что нужно думать в тишине, в покое. Казалось, что юноши растут в торжественных аудиториях, в библиотеках или в студенческих комнатухах над горой рукописей. Не похожи темные блиндажи на университеты. Шумно на фронте и неспокойно. Но люди на переднем крае думают настойчиво, напряженно, лихорадочно. Они думают о настоящем и о прошлом. Они думают также о будущем, о той чудесной жизни, которую создадут победители.

Чудодейственно растут люди на войне. Они живут рядом со смертью, они с ней знакомы, как с соседкой, и они стали мудрыми. Они преодолели страх, а это приподнимает человека, придает ему уверенность, внутреннее веселье, силу. Нет на войне промежуточных тонов, бледных красок, все доведено до конца — великое и презренное, черное и белое. Многое на войне передумано, пересмотрено, переоценено.

Четверть века тому назад мы положили в основу нашей жизни слово «товарищ». Это слово ко многому обязывает. Легко его сказать, трудно за него ответить. В понятии «гражданин» есть точность и сухость, это арифметическая справка о сумме прав и обязанностей. Слово «товарищ» требует душевного горения. Впервые для миллионов во всей глубине оно раскрылось на фронте. Оно стало конкретным, теплым, вязким, как кровь.

До войны другом легко называли, но друга и легко забывали. Не то после года боев. Говорили прежде: «Мы с ним пуд соли съели». Но что соль рядом с кровью? Что года по сравнению с одной ночью в Сталинграде?

Дружба народов была нашим государственным принципом. Она стала чувством каждого. В одной роте и русские, и казахи, и украинцы, и грузины. Мы были объединены сначала историей, потом высоким началом равноправия. Теперь мы объединены ночами в окопах, и нет цемента крепче.

Только теперь наши люди до конца осознали свою любовь к родине. Прежде они искали объяснения, доказательства. К чужестранному они порой относились то с необоснованным пренебрежением, то со столь же необоснованным преклонением. Теперь они знают, что родину любишь не за то или это, а за то, что она — родина.

На войне нам открылась история. Герои прошлого перешли из учебников в блиндажи. Стойкость Ленинграда нас восхищает. Мы поняли, что без Петра не было бы Пушкина и что без Петербурга не было бы рабочих-путиловцев, четверть века тому назад открывших новую эру.

Столкнувшись с варварством фашизма, мы почувствовали все то большое, что до было народами России в октябре 1917 года. У нас сын пастуха читал Гегеля. Как он должен смотреть на наци, который свел философию к скотоводству?

Ненависть может ослепить. Наша ненависть — это прозрение. Мы не потеряли нашей веры в человека, но мы узнали, что есть эрзац-человек: фашист. Было время, когда мы посылали голодным немцам хлеб. Многие из нас недооценивали исторические особенности, традиции и психику Германии.

Война взрастила в нас не только ненависть к фашистам, но и презрение. Этим чувством мы можем гордиться — ведь гитлеровская армия одержала немало побед. И все же мы их глубоко презираем. В этом сказалась душевная зрелость нашего народа. Мы можем учиться у немцев воевать. Мы не станем учиться у фашистов жить. Для нас они двуногие звери, в совершенстве овладевшие военной техникой.

Существовал фетишизм материальной культуры. Многим трудно было понять, что полуграмотный испанский крестьянин культурнее иного берлинского профессора. Теперь все это поняли. Мы увидели фашистов, которые ведут дневники, у которых дома пишущие машинки и патефоны, которые по внешнему виду напоминают цивилизованных европейцев и которые на самом деле оскорбили бы нравственные чувства любого обитателя Сандвичевых островов.

Зрелость фронтовика сделала нас сильными. Мы потеряли большие пространства. Второе лето принесло нам много горя. Мы воюем одни, эта мысль терзает сердце в темном блиндаже. И все же мы можем сказать, что мы теперь сильнее, чем 22 июня 1941 года. Мы сильнее сознанием, разумом, сердцем. Мы еще не узнали победы, но мы созрели для нее. То, что было провозглашено в Петрограде двадцать пять лет тому назад, доказано прошлой зимой под Москвой, оправдано душевной силой защитников Сталинграда. Наш праздник мы встречаем в блиндажах, среди боев. Мы будем праздновать потом — когда победим. Но мы теперь знаем, что не зря прожили четверть века: мы стали народом, который нельзя победить. 1917 год проверен на огне 1942-го. Россия выдержала испытание.

24 ноября 1942 года

«Наступление продолжается» — эти заключительные слова русских сообщений, передаваемых по радио, звучат, как смутный гул шагов. Идет Красная Армия. Идет также История.

Еще недавно Гитлер торжественно заявил, что он возьмет Сталинград. Немцы тогда удивлялись, почему бесноватый фюрер так скромно, почему он не обещает им ни Москвы, ни Баку, ни мира. Зато они были уверены, что Сталинград у фюрера в кармане.

Все помнят, как год тому назад немцы смотрели в бинокль на Москву. Этот бинокль стал символическим. В Сталинграде немцы обходились без бинокля. Два месяца шли уличные бои. Немцы прекрасно видели развалины завода или дома, которые они атаковали в течение дней, иногда недель. Несколько сот шагов отделяли их от цели, но эти несколько сот шагов были непереходными, они были стойкостью и мужеством Красной Армии. Может быть, будущий историк напишет, что в годы второй мировой войны не раз бывали опасные повороты, когда всего несколько сот шагов отделяли Германию от победы. Но эти несколько сот шагов были непримиримостью и упорством свободных народов.

Еще недавно немцы объявили битву за Сталинград своей победой. Поэтому они охотно подчеркивали трудности битвы: тем почетнее роль победителя. 14 ноября «Берлинер берзенцейтунг» поместила статью своего военного корреспондента со сталинградского фронта, которая начинается следующими, скажем прямо, неосторожными словами: «Борьба мирового значения, происходящая в районе Сталинграда, оказалась огромным решающим сражением». Дальше корреспондент пытается объяснить немцам длительность захвата Сталинграда: «Разве когда-нибудь случалось, чтобы полковые штабы приходилось выкуривать из канализационных труб? Мы приводим только один из ежедневных сюрпризов этой «крысиной войны». Впервые в истории современный город удерживается вплоть до разрушения последней стены. Брюссель и Париж капитулировали. Даже Варшава согласилась на капитуляцию... Но советский солдат борется с тупой покорностью зверя...» Что думает теперь корреспондент «Берлинер берзенцейтунг» о роли Сталинграда? Впрочем, вероятно, он думает о более частных вопросах, например о возможности выбраться из «завоеванного» Сталинграда...

Еще недавно даже наши друзья склонны были считать судьбу Сталинграда predetermined. Издалека стойкость защитников этого города представлялась прекрасным безумием, бесцельным избытком мужества. На самом деле защита Сталинграда была частью большого стратегического плана. Защита Сталинграда подготовила теперешнее наступление. Несколько сот шагов, отделявшие немцев от завода «Красный Октябрь», оказались, как справедливо отметил немецкий журналист, полными «мирового значения». Защитники Сталинграда упорно удерживали каждый метр земли. Это позволило русским армиям на двух флангах пройти за несколько дней добрых сто километров.

Защитники Сталинграда не страшались окружения. Кто теперь окружен? Гитлеровцы и их вассалы.

На близких подступах к Сталинграду и в самом городе немцы сосредоточили около 20 дивизий. Эти дивизии еще недавно можно было назвать отборными. В ежедневных боях немцы несли огромные потери. Однако и поныне у них в Сталинграде значительные силы. Русское наступление началось на обоих флангах, где немцы занимали сильно укрепленные рубежи, по большей части на берегах рек. Здесь десятки вражеских дивизий, казалось, ограждали немецкую группу, которая вела бои в Сталинграде.

Задачи Красной Армии были сложны. Наступающим пришлось преодолеть чрезвычайно сильное сопротивление. Калач, Абганерово, Кривомузгинская и некоторые другие пункты представляли собой мощные узлы сопротивления. Конечно, и в этой обороне имелись свои слабые места. Разведка их обнаружила. Это было первой порукой успеха.

В статье «Берлинер берзенцейтунг», которую я цитировал, имеются следующие размышления: «Мы узнали цель, которую преследовал противник при обороне Сталинграда. Сильное предместное укрепление на западном берегу Волги должно было стать исходной точкой для атак зимой. В соединении с ударами с севера по нашей фланговой позиции наши силы на Волге должны были быть ослаблены клещеобразным наступлением...» Немецкий журналист говорил о русских планах с усмешкой: он думал, что опасность предотвращена. А неделю спустя газета с его статьей, прибывшая на самолете из Берлина в штаб немецкой дивизии, вместе со штабом попала в руки красноармейцев.

Немцы не ждали одновременного удара на двух флангах. В начале осени отдельные операции русских происходили то на северном, то на южном фланге, что давало возможность немцам перебрасывать силы. Одновременный удар оказался для противника фатальным.

Наступательные операции были хорошо подготовлены. Переброска войск с восточного берега Волги происходила ночью. В ряде мест наступающие прорвали оборону. Кое-где противник пытался предпринять сильные контратаки, но все они потерпели неудачу. Сильный артиллерийский и минометный огонь ломал вражеское сопротивление. В ряде мест дальнобойные орудия уничтожали штабы противника, и фашистские войска, лишённые руководства, уже не отступали, но убегали. Большое количество пленных свидетельствует о деморализации противника. Много пленных из окруженной и разбитой наголову немецкой мотодивизии.

Когда нацисты наступают, они едут, как господа с прислугой. В тяжелые минуты господа забывают о челяди. Если итальянцы это узнали в Ливии, то румыны ознакомились с этим под Сталинградом.

Подвижные части Красной Армии, прорываясь в тылы противника, вносят еще большее смятение, уничтожают самолеты на полевых аэродромах, склады и тыловые штабы.

Сражение за Сталинград представляет для Гитлера нечто большее, чем одна из битв: здесь поставлен на карту престиж фюрера. Немцы растеряны, но мы должны ожидать упорного сопротивления. События в Африке уже ударили по нервам Германии. Зима и так не сулила немцам ничего отрадного. Гитлер, конечно, сделает все, чтобы избежать отступления от Сталинграда, тем паче что это отступление может легко превратиться в катастрофу. Упорные бои продолжаются. Продолжается и наступление Красной Армии. Оно встречено с радостью всей Россией. Надо думать, оно воодушевит и наших союзников, сражающихся в Африке: после конца начала не пора ли перейти к началу конца?

19 января 1943 года

Прошлой осенью немецкая газета «Берлинер берзенцейтунг» писала: «Мы возьмем Петербург, как мы взяли Париж». Немецкие биржевики хвастали. Они не взяли Парижа. Они вошли в Париж, как в гостиницу: нашлись швейцары, которые распахнули перед ними двери. Год тому назад обер-лейтенанты обдумывали, где они разместятся: в Зимнем дворце или в «Астории». Их разместили: в земле.

Ленинград для нас больше чем город. Дважды с него начиналась история России. Здесь избяная Русь стала великой державой. Все в нем гармонично — вода и камень, небо и туманы. Его воспели Пушкин, Гоголь, Достоевский, Блок. Больше года каждый вечер мы в тоске думали: что с Ленинградом? Мы молчали: у нас был на груди камень.

В немецком военном учебнике я как-то прочитал: «Ленинград не защищен никакими естественными преградами». Глупцы, они не понимали, что Ленинград защищен самой верной преградой — любовью России.

Кого только не посылал Гитлер на приступ Ленинграда! Здесь побывали и горные егеря, и «Голубая дивизия» испанцев, и дивизии СС, и полицейские батальоны, и финны, и телохранители фюрера. Свыше года шли бои за город.

Под Ленинградом сражались все народы России. Русский, ленинградский слесарь Чистяков, лежал у пулемета, отбивая атаку немцев. Кончились ленты — он взялся за автомат. Опустели диски — он схватил гранаты. Он говорит: «Не начни они отходить, я бы задушил их руками». Трижды раненный украинец Петр Хоменко продолжал сражаться и в рукопашном убил одиннадцать немцев. Окруженный врагами еврей-радиотехник Рувим Спринцон передал: «Огонь по мне». Сотню фашистов перебил узбек Рахманов, а последнему разбил голову пулеметом.

Город Пушкин раньше называли Царское Село. Это русский Версаль, город дворцов и парков, город, где юный Пушкин повстречался с музой. Вот что приключилось в Пушкине три месяца тому назад. Машина, в которой ехал гитлеровский генерал, взорвалась. Это сын банщика восьмилетний Женя Олейников бросил в автомобиль ручную гранату. Немецкий солдат схватил мальчика и ударил его головой о дерево. Мать и отца Жени немцы расстреляли, дом сожгли. Но они не сожгли и не могли сжечь то великое чувство, которое поддерживало Ленинград в самые страшные дни, то чувство, которое заставило малыша взять в руки гранату.

Немцы терзали прекрасный город бомбами и снарядами. Но женщины Ленинграда под огнем продолжали работать, они делали патроны и гранаты для своих мужей.

Немцы пытались взять город измором. Прошлая зима была для жителей Ленинграда бесконечно трудной. Не было света, не было дров, не было воды, не было хлеба. Летом старшина Степан Лебедев показал мне письмо, которое он получил от своего двенадцатилетнего сына: «Папа, ты, наверно, знаешь, что зима была у нас очень тяжелой. Я тебе пишу всю чистую правду, что мамочка умерла 14 февраля. Она очень ослабла, последние дни не могла даже подняться. Папа, я ее похоронил. Я достал салазки и отвез, а один боец мне помог, мы до ночи вырыли могилу, и я пометил. Папа, ты обо мне не беспокойся, у нас теперь полегчало, я крепкий, учусь дома, как ты приказал, и работаю, мы помогаем на ремонте машин. А Ленинград они не взяли и не возьмут. Ты, папа, счастливый, что можешь их бить, ты отомсти за мамочку...» Прочитав письмо, я заглянул в глаза старшины Степана Лебедева. Они горели суровым огнем, и я понял: это — глаза России. Мы никогда не забудем про муки Ленинграда. Возмездие еще впереди.

На выручку пришла Россия. Прошлой зимой по льду Ладоги грузовики везли хлеб Ленинграду. Летом моряки перевозили груз. Летчики над вражескими орудиями проносили муку, лекарства, письма. Настала вторая осень осады. Герои проложили по льду колею. Немцы накинули на шею Ленинграда петлю, но Россия не дала затянуть им узел.

Вчера был незабываемый вечер. Мы узнали, что петля рассечена. Путь на Ленинград свободен. Синявино, рабочие поселки — эти имена говорят о горячих боях, о тысячах подвигов. 14 километров казались непроходимыми: ведь немцы укрепили каждый метр. Каждая пядь земли была у них фортом. Красная Армия пробила путь своей грудью. Она сняла осаду с Ленинграда. Она сняла камень с сердца России.

Наше наступление подобно великой очистительной буре. С каждым днем эта буря растет, ширится, охватывает новые фронты. Она валит преграды. Что-то треснуло в сердце вчерашних завоевателей. Слов нет, немцы еще отчаянно сопротивляются. Но минутами их сопротивление уже напоминает упорство самоубийцы.

Наверно, Геббельс придумывает сейчас, как подать немцам прорыв ленинградской блокады. Ложь германского командования рассчитана на непритязательных. Семнадцать дней уверяли, что Великие Луки в руках немцев. Потом даже заявили, что немец-

кая выручка пришла на помощь осажденному немецкому гарнизону. Теперь уверяют, что «немецкий гарнизон, уловив удобную минуту, вырвался из Великих Лук». Мы знаем, куда он «вырвался», — в могилу.

Фюрер пожаловал генералу фон Паулюсу дубовые листья к рыцарскому кресту. Дубов под Сталинградом нет. Но, согласно русскому обычаю, Красная Армия пригостила и фон Паулюсу и его солдатам, агонизирующим под Сталинградом, осиновый кол.

Мы начали облаву на волка. Мы ждем, что звук рога дойдет до наших друзей. Нельзя терять время. Из Норвегии, из Югославии, из Голландии каждый день прибывают в Россию новые немецкие части. Гитлер штопает свой рваный кафтан. Гитлер обнажает свой еще целый бок. Мы зовем друзей не на помощь. Мы зовем их на облаву: не дать уйти волку.

25 июля 1943 года

Я пишу эти строки из района, расположенного возле магистрали Брянск—Орел. Здесь идут тяжелые бои. Немцы хорошо понимают, что означает для них указанная дорога. Поезда Брянск—Орел больше не ходят. Пытаясь удержать наше продвижение на юг, немцы атакуют с западного фланга, но безуспешно. Немецкая линия обороны была прорвана 12 июля на 11 километрах. Теперь ширина прорыва 60 километров. Еще четыре дня тому назад я присутствовал при немецких атаках с восточного фланга. После взятия Болхова немцы на этом фланге пассивны. Они отказались от мысли срезать нашу дугу, направленную к Карачеву. В самом Карачеве, по словам пленных, с которыми я разговаривал, паника, немцы бросили в бой писарей, поваров, кучеров.

Немецкая оборона была сильной: немцы укрепляли в течение года ряд глубоких отвесных оврагов. В чем причина нашего успеха? Скажу, прежде всего, что Красная Армия теперь не та. К операции тщательно готовились — учения проводились в тылу в оврагах. Артподготовка длилась два с половиной часа и была убийственной. Если немцы всегда боялись русской артиллерии, теперь они боятся русской пехоты. Построение боевых порядков и сила огня обеспечили успех операции. Важно было не дать врагу опомниться, прорвать сразу три линии обороны. Это было выполнено. Сказалось хорошее взаимодействие частей, радиосвязь не прерывалась ни на час, саперы хорошо справились со своей задачей. Ярость вдохновляла наших солдат. Я беседовал с десятками героев. Вот группа разведчиков — шесть человек захватили пять немецких танков. Вот лейтенант Ионсян — армянин, он собственноручно перебил свыше ста гитлеровцев. Нет теперь ни танкофобии, ни страха самолетов. Наши потери относительно к результатам невелики, и это веселит бойцов.

Да и немцы теперь не те. Вот последний солдат знаменитой 293-й пехотной дивизии, сформированной из уроженцев Берлина и прозванной «медвежьей дивизией». Она считалась особенно боеспособной. Во Франции на реке Эн она получила боевое крещение. В июне 1941 года «медведи» бойко перешли Буг и ринулись на восток. 6 декабря 1941 года было для «медведей» черным днем. Дивизию пополнили. К нашему последнему наступлению, по данным штабных немецких документов, в «медвежьей дивизии» оставалось мало ветеранов.

Разбиты 211-я пехотная дивизия из Рейнской области, 5-я и 20-я танковые дивизии. Немцы кинули в бой новые части. На участке, где я нахожусь, сражаются 10-я, 25-я, 110-я, 327-я пехотные дивизии, 9-я танковая дивизия, 10-я мотопехотная дивизия.

Солдаты из разбитых немецких дивизий разбежались по лесам. Не приспособленные к лесной жизни, они умирают или выходят на опушку, чтобы сдать в плен. Вчера при мне вышел из леса один отошавший солдат и заплетающимся языком стал проклинать Гитлера. Немцев ловят наши партизаны: каждому свой черед.

Любопытно, что подбитые танки «Т-4» помечены маем 1943 года. Любопытно также, что пленные говорят, что им приказано беречь боеприпасы.

Немцы не ждали удара. Они устраивались надолго. Разводили огороды и цветники. Устраивали клубы, театры, бары. Убегая, они побросали все: и пушки «фердинанд», и русских предателей — старост, и фотографии невест. Немцев потрясло наше наступление. Один пленный мне возмущенно заявил, что это наступление вносит беспорядок, что летом должны наступать не русские, а немцы. Важнее захвата территории, важнее

уничтожения ряда вражеских дивизий удар по психике немецкого солдата: он вдруг понял, что немцев можно бить во все времена года.

Германское командование пытается отыгаться на авиации. По ночам здесь светло, как днем,— горят подожженные немецкими бомбами села. Бывали дни с 1500 немецкими самолето-вылетами. Однако и в авиации у немцев чувствуется снижение. Видимо, у них вдоволь бомбардировщиков, но недостаток в истребителях. Я не раз видел, как шли бомбардировщики без прикрытия. Немецкие летчики хуже прошлогодних. Много неопытных новичков. Один-два дня тому назад на «фокке-вульфе» приземлился на нашем аэродроме и, смущенно улыбаясь, объяснил, что он «еще не умеет летать». Советская авиация ведет тяжелые, но успешные бои с противником. Я был у француз-летчиков «Нормандии». Они прекрасно показали себя: высокое мастерство и отвага. Небольшая эскадрилья французов за время последней операции сбила 17 самолетов противника. Командир эскадрильи сказал мне: «Наконец-то мы на настоящей войне...»

Бои только разгораются. Средний немец уже не тот, что два года тому назад, но все же немецкая рота 1943 года стоит итальянского полка. Я пишу из села, от которого осталось одно название. Это название ничего не скажет читателю. Я понимаю, что Палермо звучит много торжественнее, но по всей справедливости нужно сказать, что центр войны по-прежнему в России, что бои в районе магистрали Брянск—Орел остаются «главным направлением» войны.

Я проехал за последние дни сотни километров по освобожденной территории: исколесил ее. Всюду развалины, заплаканные женщины. От большинства сел остались только дощечки с названием. Когда же кончится этот кошмар? Один спокойный генерал, задумавшись над картой, сказал мне: «Сейчас с немцами можно было бы кончить, если бы с Запада по ним ударили. А ведь пора кончать». Я надеюсь, что английские друзья примут эти слова не как полемику, но как трезвую оценку боевой обстановки.

21 октября 1943 года

Деревня, где я нахожусь, на правом берегу Днепра, в самом сердце Украины. Теплая, ясная осень. Юг во всем — в тополях и каштанах, в листьях табака, который сушится, в тыквенной каше с молоком. Чудом уцелела эта деревня: партизаны помещали немцам ее сжечь. Здесь междуречье, повсюду пески. От них громче музыка войны. Она несет и с востока, где немцы бомбят переправы, и с запада, где наши, утром отбив контратаку, в свою очередь атакуют. День и ночь идут суровые бои. О размерах их можно судить по тому, что на фронте в 12 километров длиной немцы сосредоточили пять дивизий. Были дни — по полторы тысячи неприятельских самолето-вылетов. В августе и в сентябре немцы почти не пускали в бой крупные соединения танков. Здесь снова появились и «тигры» и «фердинанды».

Почему германское командование так яростно цепляется за Киев? Ведь город потерял для немцев значение: это передний край. Вчера я был на левом берегу напротив Киева. Я хорошо знаю эти места: здесь прошло мое детство. Здесь на пляже купались киевляне. Видны отчетливо киевские дома на высоком берегу. Из Лавры немцы ведут минометный огонь. По словам пленных, Киев опустел. Еще недавно его лучшие кварталы Липки и Печерск были заселены немцами и немками, которые спасались там от английских бомбардировок. Эти «дачники» убрались прочь. Гитлеровцы вывезли часть киевлян, а оставшихся угнали на земляные работы — рыть противотанковые рвы. Нет, не большой город стараются удержать немцы, а ворота на юг Украины. Они опасаются за судьбу своих армий, которые еще находятся в Крыму и в степях между Мелитополем и Днепром.

Немцы прошли от Орла до Гомеля и от Белгорода до предместий Киева. О настроении пехоты можно судить по различным письмам и дневникам: бывлые конквистадоры больше всего жалуются на мозоли. Ветеранам невдомек: еще год тому назад они неслись вперед на машинах, теперь им приходится нестись назад на своих собственных, проделывая 30—40 километров в сутки.

Отходя, гитлеровцы уничтожают все. Я проехал сотни километров среди разрушенных городов и сожженных сел. Чем яснее для фашистов неминуемый разгром Германии, тем ожесточеннее они взрывают дома, больницы, театры, школы, жгут хаты крестьян и скирды хлеба, рубят фруктовые сады. Они пытались задержаться на Десне.

Это достаточно широкая река. Ее западный берег крут. Но Красная Армия быстро осилила эту преграду. Из приказов германского командования явствует, что немцы предвидели выход русских к Днепру не ранее середины ноября. Еще раз Гитлера подвела недооценка противника.

О переправе через Днепр, наверное, напишут замечательную книгу. Это широкая река — 500 метров. Тылы не поспевали за пехотой. В первые дни не было понтонов. Характер переправы ошеломил немцев. Пленные офицеры мне жаловались, что русские переправились «не по правилам». Конечно, плащ-палатка, набитая камышом, или плот, сделанный из бочек для горючего, не идеальные средства переправы, но именно так переправлялись передовые отряды, да еще на воротах уцелевших изб, на рыбацких лодках, на бревнах. Темпы решили все: когда немцы опомнились, Красная Армия крепко стояла на правом берегу.

Нужно было перекинуть артиллерию, танки. Началась эпопея саперов. Мосты наводили под огнем. Немцы били по ним из орудий, бомбили их днем и ночью, но мосты два-три часа спустя воскресали. Мне кажется, что для такой работы нужно еще больше мужества, чем для атак. Скажу также об отваге железнодорожников: в течение какой-нибудь недели они восстановили и перешли пути до самого Днепра.

Отступая, Гитлер пытался сбереечь свои силы. На правом берегу Днепра ему пришлось принять крупный бой, бросив в него свои резервы. Вчера я говорил с пленными одной дивизии, которая недавно прибыла на фронт: она числилась в резерве ставки. Большинство пленных еще в начале сентября были во Франции или в Германии: это пополнение. Три месяца немцы пытались уверить мир, что они отступают, сохраняя живую силу и технику. Не раз Красная Армия опровергала эти утверждения. Быстрый выход Красной Армии на правый берег Днепра нанес самый сильный удар расчетам немцев. Они думали, что их выручат водные преграды. Днепр их подвел, приходится выкладывать резервы, которые они надеялись сохранить про «черный день».

Мы менее всего склонны преуменьшать силы противника. Германская армия еще сохранила многие боевые качества: опыт генералов, маневренность, дисциплину. Однако с каждым месяцем уровень этой армии понижается. Недавно в наши руки попал секретный приказ № 15, подписанный Гитлером. 22 июня — четыре месяца тому назад — Гитлер жаловался, что офицеры оправдывают свои неудачи, говоря: «Пехота уже не та, какой была раньше». Офицеры не лгали Гитлеру. А немецкая пехота октября еще хуже, чем пехота июня: между ними 500 километров отступления — не только мозоли на ногах, но и отчаянье в сердце. Пополнение состоит из юнцов, которые верят Гитлеру, но необстреляны и физически слабы, и из продуктов тотальной мобилизации, которые открыто говорят: «Все равно, как кончится, лишь бы кончилось». Механическая дисциплина, присущая немецкой армии, еще выручает Гитлера, но на правом берегу Днепра мы чувствуем приближение развязки. «Эх, дали бы им союзники с запада», — говорят офицеры и солдаты, и это правда. Сейчас с гитлеровцами можно кончить. Я должен добавить: с ними время кончить.

Неужели развязка будет длительной? Неужели Гитлеру дадут сделать с Европой то, что он сделал с Черниговщиной или Орловщиной? Неужели немцам позволят заминировать Париж и Брюссель, сжечь деревни Бургундии и Моравии? Вот уже три недели, как я вижу одно: руины и пепел. Моя шинель пропиталась запахом гари, сердце переполнилось горем Украины.

Эти чувства ведут вперед бойцов. Разве не чудесна эпопея танкистов на западном берегу Днепра? Они переправились ночью. Они прошли в тыл врага. Они дошли до дачных мест Киева. Они разгромили немецкие обозы. Они позволили пехоте расширить плацдарм. Эти танкисты год тому назад сражались у Волги. Они видели всю меру народного горя. Что их может остановить? Я не хочу, чтобы наши друзья подумали, будто мы легко наступаем и празднично воюем. Бесконечно труден путь Красной Армии. Он стоит многих жертв. За свободу Киева отдают свою жизнь и сибиряки, и узбеки, и москвичи. Неужели их подвиги не вдохновят мир?

23 июля 1944 года

· Две недели я провел с наступающими войсками в Белоруссии и в Литве. Прошло время, когда нас удовлетворяли описания эпизодов, сделанные наспех военными кор-

респондентами, и еще не настало время для той эпопеи, где художественные детали создадут нечто целое. Мне хочется рассказать о самом главном. Весь мир спрашивает себя: что произошло в течение последних недель? Ведь еще недавно немцы были на полпути между Оршей и Смоленском, а теперь Красная Армия за Неманом, и она спешит, окрыленная тоской, гневом, надеждой, к границам Германии.

В предместье Вильнюса на кладбище Рос был сборный пункт для военнопленных. Шел дождь, и осыпались чересчур пышные красные розы. У ворот стояли партизаны — светловолосый литовский крестьянин и смуглая девушка, еврейка, студентка Вильнюсского университета. Каждые десять минут приводили новых пленных. Они глядели тусклыми, непонимающими глазами. Бой не замолкал: он шел за дома, за улицы в центре города. Немцы сидели на старых могилах, среди мрамора и буйной высокой травы. Один из них, капитан Мюллерх, уныло говорил мне: «Что случилось? Три года тому назад мы шли на восток, как будто вас нет. Мы не хотели вас замечать, и мы одерживали победы. Теперь мы поменялись ролями: вы идете на запад, не замечая нас. И я спрашиваю себя: есть ли мы?..» Он долго что-то бубнил под дождем. Вдруг раздался острый невыносимый звук: упала ворона, раненная где-то на соседней улице и долетевшая до кладбища Рос, чтобы умереть у ног немецкого завоевателя.

На следующий день летний дождь сменился осенним. Было очень холодно. Я шел по городу к западной окраине. У лазарета Скрев еще разрывались мины: последние группы немцев пытались защищаться в лесочке. Горели дома. На тротуарах лежали тела убитых жителей. Мне запомнился мертвый старик: он сжимал в руке палку. Потом мы увидели трупы немцев, брошенные машины с бараклом, шампанским и пшпифаксом, с пистолетами и наусниками, с железными крестами и с банками крема «для смягчения кожи». Мы прошли в центр города, и необычайная его красота потрясла меня: древний замок, костелы в стиле барокко, холмы и старые тенистые деревья, старые женщины, молящиеся у Острой Браны, и юноши-партизаны с гранатами, узенькие средневековые улицы, напоминающие Краков, Вену, Париж, улица писателей и дом, где родился Мицкевич, изогнутые жеманные святые костелов Казимира и Анны и мемориальная доска на православном соборе, напоминающая, что здесь, в городе Вильно, император Петр Великий в 1705 году присутствовал на молебствии по случаю победы над Карлом XII, постоялые дворы, где стояли гренадеры Наполеона, красота женщин и певучий язык — крайний запад нашей державы.

А бойцы шли в атаку. Я увидел на груди бронзовые медали с зелеными ленточками: это были сталинградцы. Они проделали путь от Волги до Днепра, а теперь они пришли к Вилии, и каждый из них знал, что он идет через Неман к Шпрее. Это не эпизод, это даже не глава, это торжественное начало эпилога.

Я скажу еще об одной встрече, чтобы стала яснее грандиозность происходящих событий. Желая оправдать себя, Гитлер говорит немцам, что Нормандия его интересует куда больше, нежели Белоруссия или Литва. Но вот на лес близ Вильнюса посыпались парашютисты. Зрелище напоминало карикатуру на лето 1941 года. Я не знаю, надеялся ли Гитлер с помощью этих солдат отстоять город? Интересно другое: парашютисты, солдаты 2-й авиадесантной дивизии, прилетели в Вильнюс на «Ю-52» 8 июля в Нормандии. Я разговаривал с пленным парашютистом Альбертом Мартинсом из 6-го полка названной дивизии. За несколько дней до своего злосчастного приземления он находился в Абвиле и охранял стартовые площадки пресловутых самолетов-снарядов. Если Гитлер вынужден отправлять солдат из Нормандии в Литву, значит, наше наступление его весьма и весьма занимает...

Что же приключилось на центральном участке нашего фронта? Ошибочно думать, будто победа далась нам легко, будто против нас оказались морально подточенные немцы. Мы встретились не только с мощными оборонительными сооружениями, но и с отборными войсками противника. На юге немцы были обескуражены рядом поражений. Немец на Донце с ужасом вспоминал Дон, на Днепре он помнил Донец, и, дойдя до Буга, обремененный мрачными воспоминаниями, он становился легким на подъем. Иначе выглядели немцы, защищавшие Витебск или Оршу: им не раз удавалось отбивать наши атаки и миф о немецкой непобедимости, давно похороненный на Украине, еще жил в Белоруссии. За два дня до наступления, 21 июня, фельдфебель Иоганн

Штольц писал в дневнике: «Русские явно готовятся к чему-то. Пусть сунутся — это будет красивое истребление всех советских сил...»

Каждый, кто видел рубежи немцев, знает, что не искусство фортификаций подвело Гитлера: у немцев было достаточно времени для сооружения оборонительных линий, и немцы не спали. На 20—30 километров в глубину шла немецкая оборона. Защищали эти рубежи такие крепкие части, как, например, 78-я штурмовая дивизия, слышавшая среди немцев неодолимой.

Немцы ждали удара, но не знали, когда и где в точности он будет нанесен. Они думали, что наступление начнется в южной Белоруссии. А когда немцы стали перебрасывать войска с Припяти на Березину, двинулся Первый Белорусский фронт.

Артиллерийской подготовке предшествовала сильная разведка боем. Противник выдвинул на передний край все свои силы. Зверь побежал на охотника, и охотник не прозевал — сила артиллерийского огня была необычайной, по 200—300 стволов на километр.

Если бы германское командование поспешило отвести свои войска после первых поражений на запад, может быть, ему удалось бы спасти часть живой силы. Но гитлеровцев еще раз погубила их спесь, их недооценка нашей мощи. Они цеплялись за землю, и земля их проглотила. Пленный генерал-лейтенант Окснер, командир 31-й ПД, возмущенно мне говорил, что его дивизия не дрогнула под натиском — «дрогнули соседи». Приятель генерала Окснера генерал Дрешер, командир 267-й ПД, говорил своим штабным офицерам: «Нас подвели другие дивизии». Ганс кивает на Карла, а Карл на Фрица. Тем временем наши части быстро продвигались на запад. Когда были преодолены все линии немецкой обороны, в чистый прорыв были пущены конница и крупные танковые соединения. Танкисты маршала Ротмистрова, генерала Бурдейного и генерала Обухова выбрались на простор и понеслись к западу.

Можно бить врага, гнать врага, но, битый и отступающий, он способен собраться с силами и дать отпор. В Белоруссии произошло нечто другое: враг был уничтожен. Гитлеровцы, защищавшие Витебск, Оршу, Могилев, не ушли на запад; они остались в земле, либо сидят в сотнях лагерей близ фронта, либо вчера отнюдь не торжественно продефилировали по улицам Москвы. Генерал армии Черняховский, один из самых молодых и блистательных генералов Красной Армии, человек, который воюет с вдохновением, справедливо сказал мне: «На этот раз мы не ограничились освобождением территории и уничтожением вражеской техники, мы уничтожили всю живую силу противника». Я напому, что генерал Черняховский бил немцев и у Воронежа и на Днепре; у него имеется шкала для сравнений. Напрасно сводки Гитлера говорят об отходе, об очищении городов — немецких дивизий, сражавшихся на центральном фронте, больше нет. Немцы, пытавшиеся было оказать сопротивление в Вильнюсе, не были никогда в Белоруссии, — тех, белорусских, Гитлер сможет увидеть только во сне.

Через несколько дней после начала наступления немцами было потеряно командование: десятки дивизий превратились в десятки тысяч блуждающих солдат, которые уже защищали не тот или иной рубеж, а только свою шкуру.

28 ноября 1944 года

Узнав о присвоении двум молодым французам самого почетного звания, существующего теперь в России, Героя Советского Союза, многие призадумаются. Дело не только в орденах на груди храбрецов, дело в морали истории. Я не стану спрашивать: думал ли виконт де ля Пуап, что его сын будет именоваться Героем Советского Союза? Но я спрошу: думали ли в дни Мюнхена рядовые французы, что дружба двух народов, казалось, разъединенная ржой клеветы и недоверия, будет скреплена кровью и станет неодолимой? Присвоение двум французским летчикам высокого звания — не только справедливая награда двум отважным летчикам, это символ дружбы двух великих народов.

Я хочу еще раз напомнить о том, когда именно к нам приехала первая группа летчиков «Нормандии», среди которых были Альбер и де ля Пуап. Это было осенью 1942 года. Теперь мы в Венгрии и в Восточной Пруссии, а тогда немцы были на Волге и на Кавказе. Решение о создании французской авиачасти, которая должна сражаться

в России, было принято незадолго до того — летом 1942 года. Тогда немцы стремительно продвигались на восток. О, разумеется, теперь у Советской России нет недостатка в друзьях — ведь Сталинград позади, все уже проверено и взвешено. За столом победителей всегда тесно. Но мы умеем отличать друзей в беде от людей, пришедших «на огонек» победных салютов. Сражающаяся Франция была с нами в лето и в осень 1942 года — до Балкан, до Немана, до Днепра и до Сталинграда. Тогда-то приехали к нам летчики «Нормандии», и я помню, как с ними слушал по радио первые сводки нашего зимнего наступления на Дону. Потом «Нормандия» принимала участие в крупнейших операциях — у Орла, у Смоленска, у Березины, у Немана. Дело, конечно, не в арифметике: что значила группа даже самых умелых и самых отчаянных летчиков в гигантских битвах, где миллионы столкнулись с миллионами? Дело в дружбе, в том душевном движении, которое дороже народам всех речей и всех деклараций, дело в той крови, которая была пролита на русской земле. И никогда Россия не забудет, что французы, летчики «Нормандии», пришли к нам до Сталинграда.

И никогда не забудет Франция, что мы ее оценили и признали до Страсбурга, до Парижа, в те дни, когда многие на свете говорили: «Франция кончена». Не было таких неверящих среди нас. Мы верили во Францию, когда еще не было ни партизан, ни армии. Мы знали, что Франция возродится, что она будет большой и свободной. Мы не экзаменовали Францию, не ридили Марианну в детское платье, не подвергали ее испытаниям. Мы молоды, но мы знаем историю, мы знаем, например, что такое Вальми. Мы верили во Францию, как мы верили в свободу. И Франция этого не забудет.

Мы радуемся блестящим победам французской армии, освободившей Эльзас. Мы радуемся единству французского народа, его душевному подъему и здоровому смыслу, которые сказались еще раз теперь. Я люблю Бельгию, ценю трудолюбие и упорство бельгийцев, преклоняюсь перед смелостью бельгийского народа в годы оккупации. Но Бельгия — маленькая страна, ей нелегко отстоять свою самостоятельность. А Франция — великая держава. У нее были тюремщики, у нее никогда не было опекунов. И французы отбили контратаки пятой колонны, которая пыталась разбить единство французского народа, тем самым посягая на независимость страны. Мы ничего не хотим от Франции. Мы не стремимся навязать французам наши идеи и наши порядки. Мы жаждем одного: чтобы Франция была Францией. И люди, которые посягают на нашу дружбу, — не французы, это воскресшие бонне, это «Матен» или «Жё свои парту», превратившиеся в «устные газеты» парижских салонов, это клеветники, которым немецкие марки дороже французского достоинства. Франция их выметет, как «иллюстрирте» или коробки из-под сигарет, оставленные немцами в парижских домах. Франция — это Марсель Альбер и Роллан де ля Пуап, а не те поставщики немцев, которые теперь, прикидываясь патриотами, мечтают о днях Виши или хотя бы, на худой конец, о свинце брюссельских жандармов.

Я верю в крепость нашей дружбы, потому что Герои Советского Союза — это герои Франции, потому что слюна клеветы не смывает крови самопожертвования.

29 января 1945 года

Время от времени журналисты, падкие на сенсацию, распространяют известия о кончине живых людей. «Заживо погребенные» имеют возможность проверить дружбу друзей.

В течение четырех лет гитлеровцы утверждали, что Франция мертва. Они хоронили ее по первому разряду, неизменно распространяясь о своем мнимом уважении. Великую и славную страну они хотели превратить в нечто среднее между курортом и кафешантаном. Французы узнали, что такое дружба: ведь хоронили Францию не одни немцы — в венках и цветах не было недостатка. В наследниках также. Забавно присутствовать при том, как служившие заупокойные мессы уже уверяют, что они служили молебны. Впрочем, не это тема моего письма: я хочу рассказать о тех друзьях, которые никогда не хоронили Францию.

В 1939—1940 годах французская печать тщательно натравливала французов на Советскую Россию. Читая «Пари суар» или «Матен», можно было подумать, что Франция воюет не с Германией, а с Россией и что судьба Парижа решается на Карельском

перешейке. Теперь французы знают, почему газеты Лозанна, Пруво, Фроссара или Пио так ненавидели Россию. Это были фашистские газеты. Ничтожные и слепые люди, стоявшие тогда во главе Франции, думали не об обороне французских границ, а об экспедиции в Финляндию и о нападении на Баку. Советский народ не принял господина Бонне за Марианну и газету «Републик» — за Французскую республику. Разгром Франции был воспринят в России как трагедия, мучительная для каждого русского. Чтобы понять любовь нашего народа к Франции, нужно оглянуться назад.

Я не стану заполнять это письмо именами и датами: нужны тома, чтобы осветить франко-русские взаимоотношения.

В течение долгого времени Франция шла впереди мира, и тогда любое событие французской жизни находило отклик в России. Не только баррикады 48 года, но и премьера «Эрнани» потрясла передовых русских людей. В годы Великой французской революции русский писатель Карамзин посетил Париж, и он написал тогда: «Я хочу жить и умереть в моем любезном отечестве, но после России нет для меня земли приятнее Франции». И полтора года спустя советский поэт Маяковский, прощаясь с Парижем, за несколько лет до своей трагической смерти и за десять лет до трагедии Франции почти дословно повторил Карамзина: «Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли — Москва». Наши писатели, наши ученые, наши революционеры, наши художники страстно любили страну свободы, страну дерзаний, страну меры — Францию.

Нужно ли напоминать о том, что два народа, жившие на двух краях Европы, воевали только от слепоты иных людей, ибо ничто не мешало их взаимному процветанию? Между нами лежит Германия. Издавна немецкая военщина грозила и Франции и России бахвальством, возведенным в государственную мудрость, стремлением подчинить Европу «высшей немецкой расе». Дружба России и Франции была не только сердечным влечением, но и разумным сближением миролюбивых народов, понимающих грозящую им опасность. Таким образом, когда Франция в лице своих безумных или бессовестных правителей отвергла дружбу Советской России, наш народ воспринял это как драму Франции, но он не изменил своим давним чувствам. Узнав о падении Парижа, люди в Москве плакали.

Когда Франция, скованная захватчиками, поднялась на врага, мы тотчас заявили не только что Франция жива, но что она остается великой державой. Мы не хоронили живую страну и не помышляли, обливаясь притворными слезами и непритворной слюной, об ее наследстве. Первыми мы признали Национальный комитет освобождения.

Мы не пытались залечить раны Франции телеграммами и соболезнованиями; мы были заняты другим: в течение трех лет мы неустанно истребляли фашистов, топтавших русскую и французскую землю. Не раз на фронте мне приходилось слышать, как наши офицеры и солдаты, разбив ту или иную немецкую дивизию, прибывшую из Франции, говорили: «Эти не будут больше мучить французов». Не нужно быть военным специалистом, чтобы понять, какую роль сыграла Красная Армия в освобождении Франции.

Мы не оскорбляли наших французских друзей советами и наставлениями. Мы не предлагали им гувернеров и опекунов. Мы не вмешивались во внутренние дела Франции. Мы хотели одного — чтобы Франция была Францией, и в этом мы ей помогали, думая куда больше о реальной помощи, нежели о театральных эффектах.

Освобождение Парижа самими французами было принято у нас как огромная победа разума, справедливости, сердца. Я получил горы писем, посвященных тем радостным дням. Я пишу сейчас об этом сухо и лаконично: никакими взволнованными словами все равно не выразишь таких чувств.

Я повторяю: мы радовались не только освобождению Франции, но и тому, какую роль сыграли в этом освобождении сами французы. Мы узнавали в геройстве партизан и франтиреров, в доблести солдат Кёнига и Леклерка дух той Франции, которую мы полюбили сызмальства и в которую не переставали верить.

Одним из мостов, связывающих нас с живой и непримиримой Францией, была авиачасть «Нормандия», которая прибыла к нам два года тому назад. Тогда мы защищали Сталинград — французы приехали к нам в очень трудное время; теперь летчики «Нормандии» в Восточной Пруссии. Это послы французского мужества. Они чувствуют

ту любовь, которая их здесь окружает. Так в тяжелое время, когда народы были разобщены, кучка французских летчиков помогла людям понять друг друга.

Договор, подписанный в Москве, мог удивить только людей, не знающих ни истории, ни географии, ни сердца народа, ни простейших доводов государственного разума. Теперь перед нами новая глава в истории, достойная старой дружбы, и если договоры подписываются дипломатами, то народы заполняют текст живым содержанием. Дружба — это творчество, и нам нужно подумать о том, как лучше и крепче дружить.

Я не верю утверждениям, что любовь слепа. Что касается дружбы, то никто не приписывает ей слепоты. Чем лучше знают друзья друг друга, тем крепче их связь. Я хотел бы, чтобы французские друзья лучше узнали нас. Многие выбрасывается как хлам при неизбежной чистке дома. Хорошо будет, если французы вместе с другими не только бесполезными, но и вредными вещами выкинут ряд условных и неверных представлений о нашей стране. Пора все же не объяснять мощь советской военной промышленности знаменитым «ничего» или толковать победы Красной Армии особенно-стями «славянской души». До войны французы знали Россию главным образом по новеллам Поля Морана, по кабачкам Монмартра и по другим приметам, относящимся куда более к истории довоенной Франции, нежели к истории Советской России. Французы любят логику, и я надеюсь, что они заинтересуются, почему Россия вышла победительницей в борьбе с фашистской Германией. Понять тайну нашей победы — это значит понять и душу русского народа, и советскую экономику, и многое другое.

Когда-то русские помещики «французили», то есть слепо подражали любой парижской моде и разговаривали со своими домочадцами на искусственном французском языке Великого века. Такое подражание глупо. Но не глупо учиться у других и подражать тому, что заслуживает подражания. Я не вижу ничего зазорного в том, что художники разных стран рассматривают Париж как замечательную школу. Мы можем многому поучиться у французов, и французы могут многому поучиться у нас. Для этого нужно друг друга знать. Те французы, которые распространяли небылицы про нашу страну, делали это часто вполне обдуманно: они боялись влияния нашей страны. Никакие запреты царей не предохранили Россию XVIII века от проникновения идей Вольтера и Дидро. Так что вряд ли мифы могут остановить распространение познаний. Мы давно и тщательно изучаем жизнь, структуру, культуру Франции. Я надеюсь, что французские друзья не проявят ту нелюбознательность, которая ударяет прежде всего по нелюбознательным.

Я пишу это письмо в дни больших побед Красной Армии. Мы проникли довольно глубоко в Германию и рассчитываем скоро быть в Берлине. Этим закончится эпоха духовного затемнения Европы, эпоха, которую Андре Мальро хорошо определил как «время презрения». Мы встретимся с французскими солдатами в Берлине. Потом вместе с французами мы будем отстаивать мир и безопасность народов. Общие испытания нас сблизили. Мы ждем прекрасных лет, когда будут вызревать плоды, петь птицы, играть дети и когда поэты будут создавать высокие строки. Во имя этих лет умирали и умирают лучшие люди наших двух стран. Мы постараемся не оскорбить их памяти, не обмануть их надежд. Один из залогов этого — дружба двух великих народов.



МИХАИЛ ПРИШВИН

★

ИЗ ДНЕВНИКА ОХОТЫ

(К столетию со дня рождения)

Мы выбрали дневниковые записи Михаила Михайловича Пришвина, которые он вел в 1927—1928 годах во время длительной охоты. По признанию писателя, он впервые в жизни получил тогда возможность отвлечься от своего писательского дела как профессии и в течение двух месяцев остаться на воле с «вольным делом» натаски собаки. Надо иметь в виду, что как раз в эти годы М. Пришвин усиленно работает над автобиографическим романом «Кащеява цепь».

Выбранный нами дневник особенно ценен для характеристики личности Михаила Михайловича, несмотря на то, что записи ограничены узкой темой «натаски собаки». Впоследствии, перечитав эти дневники, Мижил Михайлович собирался сделать из них книгу, назвав ее «Натаска Ромки». Но жизнь перебила это намерение, и оно было забыто. Сегодня мы предлагаем читателю эти неопубликованные дневники.

От записи к записи дневник вовлекает нас в череду дней, где нет ни малого, ни большого — все значительно, все взаимосвязано, одно питает другое. В дневнике — убедительность самой жизни, которая, по слову М. Пришвина, «глубже искусства».

В. ПРИШВИНА.

20 марта. Помню, когда я в юности был просто диким охотником и не признавал никаких правил, у меня был своеобразный нравственный кодекс против правил, выработанных для охраны дичи. Меня возмущало, что правила вырабатываются для охраны животных, предназначенных для убийств.

Мне представлялось, что убивать можно только в том случае, если это делается бессознательно, и для защиты своей жизни от голода или нападения. Но если сознательно воспитывать дичь для удовольствия ее убийства, то это безнравственно, и потому, отдаваясь инстинкту охоты, я ненавидел и не признавал правила: «Без правил можно, по правилам — нельзя». Бывает, думаешь, когда приходится стрелять в запрещенную тетеревиную матку: «Ведь запрещается стрелять в матку, чтобы потом в новом году застрелить ее детей. Какая мерзость! Так лучше же я сейчас убью ее».

...Впоследствии выработалась у меня через охоту специальная способность воспринимать природу и описывать свои впечатления: для меня, как и для ученого-зоолога, охота стала, главным образом, в помощь работе, и я уже отношусь к правилам охоты, признавая их с точки зрения разума, но не сердца, как прежде.

Однако теперь, когда я увидел в зоопарке, что волки, встречая людей, виляют хвостами, сердце мое жжалось и я вернулся к передумке об охоте со стороны сердца.

25 марта. Вечер сегодня, вот вечер-то! Я вошел в лес — вот тишина! Только под валенками очень сильно хрустит вечерняя намерзь. Белый, такой белый снег. Так чисто, и пахнет март морозом и солнцем. Светит заря. В это время деревья, выступая узорами своих тончайших ветвей на небе, своими стволами, то слишком белыми, то слишком темными, деревья-то больше всего и обещают весну.

5 апреля. Игра с Ромкой. Я встаю из-за стола, подхожу к окну и стучу по стеклу пальцами. Ромка во дворе. Он узнает по стуку, что это я, в несколько скачков взлетает на всю высоту штабеля бревен против моего окна: он хорошо знает, что только с этой высоты можно ему видеть мое лицо в окне.

Вот он вглядывается несколько мгновений, насторожив уши, потом узнает, и уши опускаются, голова становится гладкой, хвост вильнул несколько раз и остановился: Ромка ждет от меня какого-нибудь действия. Я молчу и не двигаюсь.

Ему это нестерпимо, он вызывает меня: гам! И, насторожив уши, ждет ответа. И как только я в ответ на его «гам» кричу свое «гам», стремглав бросается со всей высоты штабеля, мгновенно исчезая из поля моего зрения.

Но я знаю, что он делает: он бросается к стене под моим окном, там он становится на задние лапы и — такой дурень! — пробует передними лапами дотянуться на всю высоту, до окна, а стена выше его прыжка раз в десять.

Его останавливает, однако, не высота: будь лицо мое видимо, он не посмотрел бы на высоту, он во что бы то ни стало попробовал бы допрыгнуть до моего носа. Его останавливает от прыжка только то, что лицо мое снизу не видно, исчезла самая цель действия, найденная им с высокого штабеля бревен.

А если исчезло лицо, надо его скорей, скорей увидеть, проверить, все ли я еще стою у окна, не исчез ли я!

И он снова в три прыжка взлетает на высоту, всматривается, узнает, опускает уши, опять вызывает меня: гам! Я кричу ему свое «гам» — и он опять бросается вниз и исчезает, теряет меня и снова появляется на бревнах...

И это можно повторять с ним сколько угодно. Я этим пользуюсь, чтобы нагулять его на маленьком дворике в самое короткое время.

Утренник и прочный наст, открытое небо и горячее солнце. Иду по шпалам, гляжу на желтый песок и слышу над снежными полями песню жаворонка — первого ангела жизни.

14 апреля. Продолжаются яркие дни с ночными заморозками. В малых речках вода идет везде поверх льда. Напирает везде на дороги и размывает. Трещат рябинники, кое-где изредка посвистывают певчие дрозды.

Теперь бы только один дождь — и сразу бы явились вальдшнепы. В этом особенность весны: птицы летят по морозцу, а не с водой: день птичьего дождя отсрочился. Наст лежит на поле и среди дня.

Остановишься, сядешь на пенек отдохнуть, возле где-то поет зяблик, свистит в глубине леса желна, далеко бормочет тетерев. Но если пойдешь по дороге на час, на другой, то кажется — весь лес густо звенит птицами, потому что голоса по пути в себе собираются, и вырастают в себе же частые березы с раскинутыми по голубому небу нераскрытыми почками в сплетениях тончайших ветвей.

Скоро все кончится в природе: березы оденутся, ручьи потекут, птицы сядут на гнезда. Но собранная певучая роща светлых дней в себе остается навсегда.

11 мая. Все небо ровно серое, тихо, тепло, мелкий дождь. Второе, всего только второе такое водоносное утро за весну.

В общем, весна вышла на редкость затяжная и нехорошая. Но я не обижаюсь, плохая погода зависит от себя: делай что-нибудь в природе — и удивишься, когда будут говорить кругом о плохой погоде.

Вот и сейчас охотники на вальдшнепов, любители по сухой тропинке подойти к живописной заре и осрамить ее своим выстрелом — все эти охотники жалуются на плохую весну. А глухаринные охотники (одному пришлось семь верст идти до глухаринных мест) говорят, что весна была очень хорошая и давно не было такой удачи с глухарями.

Я тоже не обижаюсь. Меня даже страшат следующие роскошные дни весны: я теряюсь. А теперь несколько хороших дней дали мне всю весну.

29 мая. Ходил в лесу с Ромкой. Налило воды везде больше, чем от вешнего снега. Везде цветут желтые цветы бубенчиками.

Я до такой степени приблизился посредством охоты к жизни природы, что меня удивляет, зачем это писатели, не будучи даже поверхностно знакомы с жизнью природы, считают своей обязанностью описывать погоду, леса, реки, моря.

1 июня. Яркое июньское утро. Я работаю спокойно: теперь не боюсь больше что-нибудь пропустить, там сотворилось — теперь я творю.

...Урок на болоте Ромке: приучаю ложиться на ходу.

25 июня. В лесу бушует слепень. Кента¹, вся облепленная слепнями, то катаясь от них по траве, то хлопая их ртом, то подпрыгивая, все-таки довела меня до выводака в лесу около Черниговского скита². Тетеревята немного больше воробья, матка безумствовала.

Молодой собаке это даже и показывать вредно.

1 июля. Ставлю вопрос: совсем выкинуть из головы «Кашееву цепь» до конца охоты или понемногу заниматься и романом и Ромкой? Думаю не оставлять романа и в особую тетрадку накапливать материалы. Основная же работа — «Натаска Ромки».

При натаске собак необходима живая связь с ней дрессировщика, которая дается любовью к делу и опытом... Натаска собаки иному любителю интересней охоты. В таком случае нужна книга для чтения, которая, воздействуя на воображение, увлекала бы новичка и тем помогла переносить довольно тяжелый труд этого дела.

Меня беспокоит, что Ромка, когда его приглашают на привязь, рычит и потом, положив свою огромную голову между передними лапами, смотрит страшными глазами с красными белками, вроде чумного.

2 июля. Рычанье Ромки происходит от особенностей характера матери: если ей дать кусок хлеба, который она не может проглотить сразу и потому ляжет с ним на место, то непременно рычит. И это так занятно: ведь только что моя рука ей дала этот кусок, и перед этим она умоляюще столько времени сидела, и вот она уже собственница. Я не боюсь этого ворчания, очень люблю схватиться пальцами за кусок, будто отнимаю, и так немного дразнить ее. Другая особенность Кэт, что она не дает себя бить, не только бить, но даже если сказать ей грубое слово, она начинает кричать и делает такой вид, будто вот-вот бросится и разорвет. Это унаследовал Ромка — богатырь, — но мы не знали.

Когда я однажды подошел к нему, чтобы повязать ошейник, он зарычал на меня, как дикий зверь барс, готовый растерзать меня. Я не заметил тогда, что возле него была кость, которую он охранял. Я схватил лопату — больше ничего не было возле — и дал ему здорово, чтобы он в другой раз не смел так. Потом подошел к нему и привязал, хотя он все время ворчал, и потом глаза его были кровавые, страшные, как у чумных собак.

После водворения его на место я рассмотрел кость, из-за которой он ворчал, вспомнил мать и понял, что напрасно я бил его и едва ли можно отучить его от наследственной привычки. Я решил брать его лаской и на другой день, лаская, уговаривая, подошел к нему с ошейником. Как только он увидел ошейник, он опять зарычал. Я долго его уговаривал, кое-как привязал с риском, что искушает: он лежал, голова между лапами, и смотрел на меня опять страшными глазами. Теперь уже кости не было, и рефлекс злобы был прямой от ошейника.

Опасаясь, как бы не сделать еще такой ошибки, что он прогонит меня с болота.

8 июля. Наконец-то Ермолай Алексеевич из Деулина беретесь доставить меня в Александровку³. Выежаем в 5 часов утра... В 2 часа дня мы в Александровке.

10 июля. С утра моросит дождь. Болотное сено думают бросить, недоступны болота. Забота, как бы спасти клевера.

Ромка положил голову между лапами и глаз не сводит с меня. Ему это ново и необыкновенно приятно быть с хозяином. Я вчера плетью заставил его лежать в телеге, а когда шли, одергивал, чтобы научить ходить к ноге. Он до того растерялся от счастья быть со мной, что второпях поднял ногу на мою ногу, как на дерево, и цикнул.

Началась натаска Ромки, всего будет двадцать дней.

Мы перешли небольшое ржаное польцо, обрамленное болотным кустарником, утопающим в цветущих травах. Рожь бурееет. Луговые цветы в этот год благодаря постоянным дождям необыкновенно ярки и пышны. Мне не хочется называть — до того обык-

¹ «Домашнее» имя Кэт, матери Ромки.

² Возле Загорска, где жил М. М. Пришвин.

³ Деревня под Загорском.

новенны эти названия и так мало говорит каждое в отдельности. Надо каждый из этих цветов описать как явление — значит, давать всю обстановку и в ней разыскать такой момент, когда цветок этот является как бы героем...

...Избрав себе наугад тропу в ольховом кустарнике, обливающим меня водой с головы до ног, я выбрался наконец в долину речки Вытаравки. Дома хозяин мне сказал о ней: «Видите, она и в Ясняково и к нам завернула, вроде как бы вытарачилась, за то и называется Вытаравкой».

В воздухе свистели кроншнепы, я стал смотреть туда и услышал другой желанный крик: «качу-ка-чу!» — кричал бекас. Я увидел его. Он сложил крылья и спустился над серединой болота. Было довольно далеко, и я не мог точно определить место. Долго вошел там Ромку против ветра на веревочке, наконец устал и пустил его бегать свободно, с тревогой ожидая роковую встречу с бекасом, и уповал на свой металлический свисток. Но встреча не произошла: Ромка, очевидно, еще совсем не умеет пользоваться чутьем.

Я жалел, что случайный бекас отвлек меня от крепких мест, где несомненно надо было теперь искать выводка. Там, около этих мест, топталось стадо. Я вспомнил рассказ одного охотника с Дубны, что будто бы там охотники нарочно дают пастуху на чай рубль-два, чтобы он прогнал стадо; и когда от прогона скота начнется грязь на болоте, бекасы высыпают на грязь из крепких мест.

Я подошел к пастуху, спросил. Он сказал, что только сейчас видел бекаса, и указал мне место, куда он сел. Я вошел в кочкарник с высокой травой и редкими кустами ольхи и берез. Вскоре вылетел бекас с криком «ка-чу» и сел неподалеку, очевидно гнездовой. Я повел туда Ромку, он нырнул носом и не чуял следа; бекас быстро бежал вниз между кочками в высокой траве и вылетел совсем не там, где мы искали. Переместился опять недалеко, мы пошли туда, и вдруг там метнулся под травой и опять опустился... о, великая радость! — молодой бекас. Ромка его видел и пошел было по-зрячему, но, очевидно, не чуял ни верхом, ни низом: молодой бекас вылетел невидимой для него тропкой и сел, я точно заметил, возле чахлой березы, в кочках, в траве.

Я веду, очень волнуюсь, на веревочке Ромку. Мне кажется, вот он взял воздух, вот ведет, вот остановился... У меня сердце забилось. Но Ромка остановился... и стал есть осоку. Я взволновал его словами «ищи, ищи!», он стал шарить и вдруг, взметнувшись высоко из травы, схватил в воздухе пролетавшего мимо слепня. А мы стояли на том самом месте, где опустился молодой бекас.

Я, когда волнуюсь, всегда хватаюсь за трубку, набиваю, а сам: «Ищи, ищи!» Ромка тоже взволновался, останавливается, всматривается в мое дело и... раз! выбивает носом трубку из рук. Еще совершеннейший дурак!

Молодого бекаса мы так и не нашли. Но раз, помню, и со старой, опытной собакой в таком кочкарнике я не мог найти переместившегося молодого бекаса.

Между тем бекасиной матке стало тревожно, она сама поднялась и с криком полетела у меня над головой. Я пошел в направлении ее полета, свободно пустив Ромку в надежде, что металлический свисток его остановит. И вдруг у него из-под носа вылетел бекас. Если бы Ромка не растерялся, он мог бы схватить его. Я успел в момент его замешательства схватить кончик веревки. Рассчитывая на молодого, я сказал «ищи!». Ромка сунулся носом в кочку, мгновение там задержался, и в другое мгновение я его оттащил.

Разобрав траву, я нашел гнездо с тремя яйцами, два были раздавлены носом собаки. Я наказал Ромку, уложив его возле кочки, взял за веревочку, повел к переместившейся матке, искал — не нашел и, когда соскучился, пустил Ромку свободно, и как только пустил — он стрелой пустился к гнезду; я кричал, я свистел в металлический свисток — он летел. Я сам бежал и настиг его, когда совсем уже было подшаркал гнездо. При моем приближении он лег на спину и задрал ноги вверх.

Однако наказывать такого молокососа — можно сразу испортить. Я только серьезно переговорил с ним и повел. И когда я отвел его далеко, уже с полверсты, и пустил понюхать место, с которого, раскидывая коленца, вырвался старый холостой бекас, Ромка опять стрелой пустился к гнезду. Но в этот раз я его удержал.

Между тем солнце так разогрело болото, такой силой осадили меня слепни, что я решил уходить скорей — да, только бы поскорей выбраться! Стал переходить болото

с мелкой травой, не глядя на собаку от крайней усталости. Кроншнепы низко носились, раздражая криками собаку. И вот тут, нечаянно посмотрев в сторону Ромки, вижу — из-под самых усов поднимается вялый бекасик и летит куда-то. Я таким громким голо-сом крикнул, что Ромка опять перевернулся вверх брюхом. А потом, когда я обласкал его за послушание, стрелой пустился в сторону полета. Мне удалось сдержать. А потом Ромка очень усердно искал на том месте, откуда вылетел бекасенок. Мне кажется, он теперь понял запах бекаса — и в этом достижение первого урока натаски.

Два больших сомнения овладевают мной: первое — есть ли чутье у собаки, не напрасно ли я буду с ним возиться; второе — в его огромном теле, в безумно загораю-щихся глазах таится сдерживаемая дикая воля — удастся ли мне повернуть этого волка себе на службу?

Ромка такой видный, такой большой, что лошади его пугаются и бросаются в сто-рону.

Все дороги были покрыты тучами бабочек-крапивниц (красные с черными пятна-ми). Ромка их хватал, когда они поднимались, в этот момент я наступал на веревочку от парфорса — и бабочка невредимой вылетала из огромной пасти. После двадцати — тридцати раз Ромка перестал ловить бабочек.

Совсем стало жарко, когда я вернулся домой. Хозяева лихорадочно убрали сено. Кобыла щиплет траву, а ее жеребенок стоит вплотную к ней с теневой стороны.

11 июля. Вышел в 4 часа утра по плану моего хозяина. Вчера, выслушав меня, он сказал: «Это вам было первое обозрение, а завтра другое».

Пока я переходил безжизненные холмы и спускался к болоту, жара усиливалась, и начали жиять отвратительные потыкушки. Ромка сразу наткнулся на бекаса — выле-тел сонно из-под маленького куста, окруженного кочками с высокой травой, и сел не-подалеку. Раз вылетел так сонно и без крика, то можно догадываться: тут гнездо с яйцами.

Из опасения раздавить яйца, как вчера, я отвел собаку в направлении переместив-шейся самки. Между прочим, очень важно в интересах охотничьего хозяйства устано-вить минимум жертв при натаске собаки.

По пути к переместившейся самке в ста шагах от гнезда вылетел самец и помчал-ся на своих легких коленцах, потом вылетела самка и опять села неподалеку. Я подвел туда Ромку и пустил, он тыкался носом бессмысленно до тех пор, пока самка не слете-ла невидимо для него. При этом огорчении мне вдруг стало понятно, что значит выра-жение «он на своем деле собаку съел». Но перед тем как понять значение поговорки, я пропустил через свою голову довольно сложный поток маленьких дум.

Я думал так, что ведь для книги моей решительно все равно, выйдет из Ромки со-бака, которую, значит, я съем, или не выйдет: книгу ведь можно написать и по отрица-тельным результатам. Но после того я спросил себя, что же мне хочется иметь — собаку или книгу, что во-первых и что во-вторых.

Когда я все взвесил, то почему-то с большим удовлетворением признал, что собака во-первых, а книга во-вторых. И когда я это решил, то мне и стало совершенно понят-но выражение «он на своем деле собаку съел». Я понял, что собака должна быть мною съедена, то есть *выучена артистически*, поглощена мною, и тогда во-вторых явится книга как изложение дела, на котором я съел собаку.

Так, видно, бог не обидел меня разной ерундой, которая приходит мне в голову, когда становится скучно. Проклятые потыкушки, или «монахи», длинные, желтые, пря-мо срывали кусочки кожи, руки были совершенно в крови, сердце от жары схватыва-лось в кулак. Но я не хотел возвращаться домой с одним «обозрением» и решил пере-махнуть входящую в болото косу «джунглей», чтобы поскорей попасть на то место, где вчера встретил бекасину выводу.

Скоро, однако, я залез в такое место, что пожалел. А Ромка время от времени поднимался на кочку высоко и сейчас же со страхом прижимался ко мне. Я думал — он это по глупости, но вдруг увидел прямо перед собой рога, и направо и налево тор-чали рога. Это коровы забрались в дебри от потыкушек и, почуя собаку, стали на нее наседать. Угрожая плетью во все стороны, я надбавил ходу и скоро пролез в открытое

болото и только вышел в те кустики, где вчера поднял выводку, вдруг из-под носа у Ромки вылетел бекасенок. А когда я, чтобы остановить Ромку, очень громко крикнул «тубо», с того же места вылетела матка с другим бекасенком, и тут Ромка не только не бросился бежать, но сделал настоящую картинную, по все правилам стойку.

Я подошел к нему — он стоял. Гладил по голове — стоял и смотрел в траву. Я даже подумал, не застрял ли там бекасенок. Но нет, Ромка делал стойку только по месту, с которого слетели бекасы.

Много мне дала эта стойка. Первое — что он понял требование, и второе — что подтвердилось мое мнение, сложенное по натаске его матери: это что природа легавой определена на стойку, а не на побег за дичью, что гонять за дичью собаки приучаются, когда их не сразу выводят на дело, а вываживают для упражнения в поиске по полям с маленькими птичками.

От радости я не рассмотрел, куда перемещались бекасы, и трудно их было искать, когда и я и собака были ослеплены потыкушками.

На обратном пути мне показалось, что Ромка стал серьезнее, не хватал бабочек, не гонялся за слепнями. Теперь только бы у него было чутье. Будет — и собаку я съем.

Ромка работает сегодня по-новому, огромными скачками через кочки и обрушивается с шумом в лужи. Я его не стесняю, боюсь смять поиск. Пусть рушит. Один раз, напротив, что-то причуял и долго вел, даже не поднимая нос из травы.

Старый бекас и потом бекасиха вылетели не совсем на том месте, как вчера. Гнезда не нашли и теперь. Я предполагаю, что это начинает новое гнездо та бекасиха, у которой Ромка носом подавил яйца. Я направил Ромку к переместившейся бекасихе, но она его не допустила и вылетела для него незаметно. Когда же он подошел, то вдруг стал. Я был уверен, что он стоял по ее наброду, но мне и это было очень приятно. Я подходил — стоял по-настоящему. Я огладил его, он пошел тихонько, и вдруг вылетела болотная курочка. Он было сунулся, но по крику сразу остановился. Вот это было уже достижение — первая настоящая стойка.

Федор, у которого зимой со двора волк украл его знаменитую гончую, взялся показать мне лес-«подмошник».

...Мы вышли на знакомое мне большое зыбучее Александровское болото по Вытавке. Только в 7 часов вечера болотный гнус успокоился, стало прохладно и совершенно тихо. Мне захотелось посмотреть на своих бекасов возле дома, и я, дойдя до поточкины с веселой бекасиной травкой, пустил Ромку.

Тогда вот и произошло то удивительное событие, о котором я хочу рассказать. Мне кажется, в этом значительную роль сыграло то, что был вечер, значит, бекасы за день дали большой наброд, и, что главное, было очень прохладно — ч у т ь и с т о в в о з д у х е, как еще не бывало ни разу при этой натаске, и что внимание собаки не отвлекал гнус, без которого, по правде говоря, не обходилось ни одно утро. Да, это был момент вечера, когда и человеку вдруг все запахнет (такой момент бывает и на утренней заре, когда обдается росой).

Ромка несколько раз ткнулся в траву, потом высоко поднял голову, задумчиво играя ноздрями, огляделся, как его ученая-разученая мать. Следуя за Ромкой, крайне взволнованный, вышел колена в поточине, я оглянулся на Федора, думая, что он остался на берегу. Но Федор, хотя и зайчий только, но все же страстный охотник, не выдергал и, босой, по брюхо в болоте, двигался возле меня.

«Видишь?» — шепнул я. «Вижу», — ответил он. «Удивляешься?» — «Удивляюсь».

Мы свернули по ручью направо, и тут Ромка остановился возле куста и долго смотрел туда, не решаясь войти. Кажется, ему даже страшно было войти в куст, и оттого его вдруг бросило от него на берег. Но быстро он вернулся и решил войти. Я следовал за ним, не выпуская конца веревочки.

С большим трудом я пролез за ним, и так мы обогнули куст и вышли опять на простор веселой ручьевой травы, и тут Ромка перевел свою огромную, высоко стоящую над болотом голову в направлении поточкины, постоял, поиграл ноздрями, утвердился и, тихо переступая, пошел: раз, два, три... Впереди вырвался сначала старик — бекас-отец и махнул по-бекасиному, по зорьке, через кусты. Потом ближе с теканьем матка и два молодых бекасика.

Это значит собака поставлена, и ведь без всякой придумки вроде с заранее пойманной дичью с завязанными крылышками. Я даже не ознакомил Ромку с запахом убитого бекаса.

«Интересно?» — сказал я Федору. «Очень даже интересно», — ответил он.

Я, конечно, не стал говорить Федору о моем одном маленьком сомнении: ведь Ромка здесь был утром и бекасов мы подняли с ним утром именно под этим кустом. Не шел ли он теперь по памяти, как было у меня когда-то с его матерью? Вот это сомнение оставил я до утра. Но если все будет благополучно, то, значит, собаку мне удалось поставить в три дня.

Радость моя была представлена в небе явлением цапли. Не знаю, почему так люблю ее медленный полет вечерней зарей на безоблачном небе! Всякая птица летит, значит, летит то повыше, то пониже: то вздрогнет, то свернет; а то не птица, а будто карета едет — карета радости. Это едет по небу хозяйка необозримых болот.

И я тоже — хозяин. Мне кажется, люди когда-то из-за комаров, слепней и потыкушек, естественных стражей девственной природы, не догадались о красоте болот, и я без борьбы, без зависти просто взял в свои руки великое царство...

13 июля. Я подождал до 5 часов, чтобы успели бекасы немного набродить, и пустил на ручей Ромку. Он быстро все обшарил, ничего не нашел и выскочил на берег. Значит, вчера он шел не по памяти, и я теперь свободный человек, мне теперь не надо спешить: Ромка будет просто доходить постепенно до всего во время моих прогулок для обозрения пространств, на которых осенью я буду бить дупелей, бекасов и тетеревов.

К р о м а н у: чем дальше пишу, тем все ненавистней становится классическая форма романа. Сколько условности! Сколько хитростей, чтобы умолчать о пустоте своего собственного сегодняшнего дня, и сколько цветистой придумки для выражения своей обыкновенной радости. Все для того, чтобы закрыть родники и втереть людям очки.

Мне же хочется такой роман написать, чтобы исток его был — мой сегодняшний день и показывалось в нем только то, что я вижу своими глазами. Знаю, какие глаза у меня — и все-таки свои, знаю, какое ничтожное значение имеет для человечества мой день — и все-таки он мой, это самое интересное, и потому я хочу непременно писать об интересном себе самому, но не вообще.

Сейчас меня больше всего на свете волнует, что лен цветет. Я сижу у края нежно-зеленого поля, покрытого голубыми цветами, и вереницей прогоняются во мне думы и чувства из прошлых переживаний. Но ведь лен — виновник всем этим явлениям прошлого, мой сегодняшний скромный голубой цветок на тонкой зеленой былинке.

Вот почему я хочу, чтобы мой сегодняшний день, от которого я исхожу, нашел непременно свое почетное место в романе, и с отвращением отбрасываю старую условность скрывать от читателя свое авторское бытие.

14 июля. Я не рыбак, потому что утомляюсь следить за поплавком. Слов нет, можно, конечно, и по сторонам поглядеть, можно думать и не только о рыбе и поплавке — можно думать и о своем и по сторонам глядеть. И все-таки надо не совсем отрываться от полавка, нельзя быть совершенно свободным от ужения, как все равно хозяйке нельзя отойти совсем далеко, если на плите молоко.

Мне это утомительно, и потому, конечно, я — не рыбак. В охоте с подружейной собакой роль полавка играет собака, с которой никогда нельзя спускать глаз. Собака-то в сто раз утомительней, чем поплавок. Ведь только на волне бывает иногда беспокойно следить за поплавком, а на тихой воде он лежит. Собака вечно кружит, исчезает в кустах, изменяет направление, что-то причуяв по ветру бог знает откуда. Нет «тихой погоды» в обстановке охоты с собакой, нет в собаке самой того постоянства, о котором думают хозяева, получая наученную собаку из рук егеря. Собака не поплавок из пробки, она всю жизнь учится при хорошем хозяине и, натасканная прекрасно, сейчас же разучивается в неопытных руках. И весь опыт основан совершенно на том же самом, что при ужении рыбы: глаз нельзя спускать с собаки, собака у охотника — это поплавок у рыбака.

...Как люблю я в этом море болот с мокрыми внизу и слегка поросшими сверху кочками бросить собаку на весь карьер и легким пошвыстыванием, или движением руки, или оборотом лица в другую сторону управлять, не спуская глаз с живого поплавка! Я люблю то волнение, когда еще молодая собака на бешеном карьере встречается с бекасом: роковая встреча! Устоит ли моя собака при взлете, как стояла, когда я сдерживал ее веревкой? Удержит ли ее теперь вместо веревочки мое слово? И вот охотничий поплавок остановился, это значит в переводе на рыбацкое — поплавок исчез под водой. Вот взорвался бекас...

15 июля. Стоят жаркие дни. По утрам роса как после ливня. Косят болота.

...Нужно все-таки отдать справедливость Ромке: на редкость послушный и понятливый. Потом много раз я подводил Ромку по перемещающейся самке, и подводил на перевеке, и так, свободно, уговаривая на тихий ход, приближал. В лучшем случае он прихватывал и начинал шарить, а бекасиха взлетала без стойки, в худшем — он не чуял и не видел взлета, но потом, когда подходил ближе к месту, с которого она срывалась, делал настоящую стойку.

Я утешал себя тем, что трава была очень высокая, роса слишком большая и что мать Ромки целый месяц тоже не понимала, что, схватив чутьем бекаса, нужно довериться этому запаху и стоять, играя ноздрями, или двигаться вперед, с крайней осторожностью нащупывая место, от которого исходит запах.

Удивительно, как на всяком деле сначала удается как бы вперед забежать, а потом вернуться к начальным позициям и доползать очень медленно до случайно открывшейся возможности. То была раньше «проба», а собственное учение вот только теперь и происходит. Буду ждаться стойку по бекасу, как он делает теперь по коростелю (коростель-то очень близко!).

Вечерняя работа по тетеревам. Следы утренние смешались с вечерними, и Ромка, сколько ни пахал носом, ничего не мог найти на лугу возле ржи.

Потом надо непременно сделать описание этого интересного уголка природы, где на таком малом пространстве сходятся столь различные уголья: рожь и луг, суходол, и болото ручьевое, и болото боровое с мохом и ягодой.

Ромка все перенюхал возле ржи и на сухом лугу. Я перевел его для отдыха в болотце, тут спугнулся кулик. Потом из этого болотца Ромка вытянул меня в моховое и враскоряку потащил меня по траве.

У молодых легавых такое обыкновение — мчаться по тетеревиному следу как можно скорей. Вот почему и нельзя пускать в лес. На следу, по которому тащил меня Ромка, я заметил тетеревиное перышко, вернул Ромку, он крепко понюхал. Я поднял перо — он слизнул у меня его и проглотил; а после этого он перестал тянуть, стоял и смотрел на меня, куда я пойду, потому что раз я могу достать из тетерок перо, то уж, конечно, знаю, где они... Через некоторое время мы добрались до тетерки, верно, это другая, холостая.

После работы по тетеревам учил по крику «тише» ходить на коротком поиске. Ромка на это поддается, но я боюсь, будет ли этим сбит «естественный поиск».

16 июля. Стойкой называется положение, какое принимает собака для того, чтобы схватить при взлете притаившуюся дичь. Человек пользуется этим положением собаки, чтобы узнавать, где именно находится дичь, которую ловить (дробью) он будет сам, а собака не должна и с места тронуться. Значит, обучение собаки состоит главным образом в том, чтобы естественное состояние — готовность к прыжку — закрепить как таковое, не давая собаке после взлета птицы закончить то, к чему она приготовилась. Таким образом, стойка — это сложное состояние, в котором определяется наполовину дело природы и наполовину рука человека. И вполне понятно, почему Ромка делает стойку по коростелю, который может убежать, но не делает по бекасу, у которого связаны ноги.

Остается вопрос, почему он не делает стойки по свободному бекасу, но это, по моему, объясняется тем, что бекас слетает раньше, чем Ромка его чуёт. Таким образом, стойка должна явиться в тот момент, когда явится способность чутьем угадывать местонахождение дичи.

Может быть, от перехода к одиночеству и от книги ⁴ к единственному делу натаски Ромки является с такой отчетливостью сознание отсутствия в моей жизни близкого, глубоко понимающего меня друга. Вот почему именно и получается это незнание до сих пор ни своих способностей, ни цены им..

Сегодня Ромка начал, как и мать его, преследовать кур и стоять над ними, не бросаясь, долго, в большом сдержанном волнении, заметном до дрожи. Вероятнее всего, эта страсть пробудилась от встречи в лесу с тетерками, и обратно через кур, очень может быть, он научится тихонько подводить к ним по следам.

Надо помнить, что многие навыки у собак, все равно как у людей, являются не прямо вслед за примером, а спустя время, в которое пример дозреет в себе. Так, очень может быть, что если подержать Ромку дома недели две и вывести на бекасов, он будет чутя на большом расстоянии («Одумка»).

17 июля. Сегодня дал восьмой урок. Называю первый мой бекасиный выводок «учебным»... Мне пришла счастливая мысль сдерживать карьер Ромки, стараясь, чтобы он бегал близко около меня и рысью. Пусть я сомну его бешеный натиск, но иначе у него не бывает времени разбираться чутьем в запахах. После, когда он станет причувствовать бекасов, можно вполне переводить его на карьер. А также в определенных бекасиных местах я не буду пользоваться веревкой, которая часто сама сшибает бекаса, а главное, что Ромка сосредоточивается не на бекасе, а на борьбе с веревкой. Вблизи бекасов я буду сокращать его поиск до последней степени и таким образом освобожу массу энергии для одумки.

Ромка зашил машинкой в осоке, изрезал себе осокой нос и страшно взволновался.

Мы подходили к месту тетеревиного выводака, я немного зазевался, любуясь обилием обрызганных росой лесных цветов. И вдруг увидел, что шагах в двадцати от меня Ромка вытянулся и, переступая с лапы на лапу, медленно скрывается за кустом. Это было страшное зрелище, потому что если он идет по зрячей тетерке, отводящей собаку от молодых, — все пропало! И притом именно теперь я обратил внимание, что на белой шее Ромки не было темного ошейника: вытянутая белая шея казалась огромной. Что ошейник потерял им, это не вместились в мое сознание, и я понял одно: что Ромка был совершенно свободен в своих движениях. Я гаркнул на весь лес не своим голосом: «Тубо! Назад» — и бросился вперед, пролетев пятьдесят разделяющих нас шагов тигром.

Ромка в это время, обезумевший и от сильного тетеревиного запаха и от моего крика, лежал, и притом лежал на боку, а когда я приблизился к нему, вовсе задрал ноги вверх. Вообще это особенность Ромки — что в его огромном теле до сих пор сохранилась чистая щенковая душа («Щенячья душа»).

Всякий малейший рост сознания собаки является нам в тот момент, когда мы ей предоставили полную свободу.

Это не значит, что собака будет сама учиться. Нет, эта свобода — как река бежит в берегах, охотник думает постоянно о возможности дать собаке свободу, но держи слово свое на губе и всегда помни — на правом или левом боку висит твоя плеть.

...Есть, однако, момент внезапного озарения, и он, как я заметил, всегда является, когда рискнул предоставить собаке свободу. Вот искусному дрессировщику и надо угадать это творческое мгновение и предоставить собаке все возможное для осуществления.

18 июля. Открыл возле дома большое моховое болото... Чем дальше я шел, тем сильнее ходило подо мною болото и хрипело на далеком пространстве. Поднялось множество кроншнепов и чибисов. Одного из кроншнепов, летавших возле меня кругами, я долго наблюдал, и уж не знаю чем, но он мне напомнил собою лося: такое же диво со своим кривым носом в воздухе, как лось в лесу, да и размерами, если взять из куликовых самого маленького — гаршнепа, кроншнеп как лось.

Болото ходило все сильней и сильней, нигде я не проваливался выше колен. Истома, жуть одиночества охватили меня. Ромка бегал зря в этих огромных, совершенно

⁴ Подразумевается работа над «Кащеевой цепью».

пустых пространствах. В тоске я дошел до того, что называл его Романом Васильичем, разговаривал с ним как с человеком, совершенно как с другом. И вот тогда в этой пустыне с какими-то птицами, вызывающими в памяти чередование формаций в жизни земной, как будто уцелевших чудом в живой воде от отдаленнейших времен, когда не было совсем человека, я почувствовал творческое одиночество на земле человека, мне представилось «я» мое как Адамово, что я совершенно один и в тоске создаю другого, что всякий другой создается мною из себя самого в припадке тоски, выразимой только творчеством себе подобного. «Роман Васильич,— говорил я, переправляясь через речку,— как тебе не стыдно, ты перешел, бегаешь по другой, сухой стороне, а я, может быть, сейчас провалюсь — и ты ничем мне не поможешь!»

Эта речка, вероятней всего, была все же та Вытаравка, но, может быть, и Кубжа. Она отделялась от остального зыбучего болота только более темной окраской покрывающих ее растений, среди которых были и кувшинки. Сплетенный корнями покров этих трав был, вероятно, тонок, и я висел в нем как в гамаке.

Но тем не менее, постоянно разговаривая с Ромкой, я перебрался на другую сторону, совершенно сухую. На Поддубовскую вырубку, покрытую редкими березами и ковром цветущих трав.

Тут я устроился на пне, уложил Ромку, сломил веточку и стал отмахивать от него мух. Ему это до того понравилось, что он даже поднял одну свою крышку и обнажил живот. Он похож на ребенка...

Множество людей мне вспоминалось, которые жили без «друзей», вернее, без потребности их создавать. Конечно, их окружали какие-то люди, близкие по образу жизни, вообще по необходимости, но этим занятым людям и в голову тогда не приходило творить друзей, у них для этого творчества не было пустоты, в которой бы под ногами качалось над бездной тонкое сплетение растений, а в воздухе носились птицы — пережиток формаций — с длинными кривыми носами.

Так я говорю: «Друг мой!» — и не вижу его лица, и этот друг — это луч души моей, который встречает теперь собаку, и она становится другом, и так все рождается из пустоты, из ничего — все лучшее, все высокое сознание человека на земле.

19 июля. Пробуждение личности. Сегодня я потерял терпение и одно время должен был признать, что не я съел собаку на деле, а собака съела меня. Все вышло в предположении, что собака не причувствует бекасов, потому что невежлива. Я учу вежливости, то есть чтобы тише и ближе ходила. Между тем она мало-помалу начинает смутно понимать свое значение, свое преимущество перед хозяином в розыске, забываться на следу, не слушать зова, свистка. Да, это нетрудно — выучить молодую собаку ходить по свистку, когда она еще не понимает запаха дичи: собака ходит за хозяином, как теленок за маткой. А вот когда начинается своя собственная жизнь и приходится ей поступаться иногда явно тем что она как будто понимает лучше хозяина, тогда другой разговор.

...На Михалевском болоте сделал великолепную стойку с оборачиванием головы на меня по следу слетевшего бекаса, но очень возможно, что тут опять замешана курочка.

Сюжет для рассказа. В охотничьих делах нет церемоний, плюньте тому в глаза, кто будет говорить, что чутье собаки можно определить в раннем возрасте по розыску хлеба или мяса. Чутье собаки, по-моему, можно определить только во время натаски, и то не сразу, а очень постепенно, потому что как все равно у людей, так и у собак чутье — чтобы спеть, нужно понимание, — так и чутье у собак больше в голове, чем в носу...

Трагедия охотника: все положил на собаку, а не знает, выйдет или не выйдет. В прежнее время егеря так поступали с собаками: возьмет в натаску, попробует — не идет, и возвращает хозяину: «Чутья нет». И собаку стреляют. Егерю иначе и нельзя, ему надо десять собак натаскать, и если возиться все лето с одной — сколько же надо взять за нее денег? Я же не хозяину собаку натаскиваю, я — себе, и я хочу сделать себе не просто собаку, а друга. Конечно, говорят иногда, что и машина есть друг человека, я же не в этом одном вижу друга, что он мне полезен. Я люблю с собакой разговаривать: на работе собака мне товарищ, а дома и в отдыхе — друг. Но все-таки плохая выходит дружба, если на работе такой твой товарищ тебе на каждом шагу изменяет и сводит с ума.

Трагедия в том, что человек ищет себе друга, и это действительно друг, а в деле потому и особенная ревность, что тут столкновение высокого идейного друга с плохим товарищем («Моя идея»).

События в натаске подводят егеря к необходимости застрелить собаку. Спасает ее мать, которую егеря вспоминает в последнюю минуту.

Если бы убил, то съела бы собака, а теперь собаку съел и получил друга. Вот отсюда и пошло теперь, когда говорят «он на своем деле собаку съел». Это значит в точности съел собаку и сотворил себе друга.

Е л а н ь. Слово «елань» я услышал впервые от Федора и просил повторить его. Но редко можно бывает добиться от туземца повторения специального слова, потому что таких слов коренных он как бы стыдится, их можно произносить как бы нечаянно, но сознательно нельзя.

Я стал наводить Федора: «Да вот ты мне сейчас рассказывал дорогу, что когда я пойду по полю между льном и клевером, то будет тропинка в подмошник и потом вскоре откроется... — Я вдруг вспомнил слово: — Ты сказал, откроется большая елань, — что значит елань?» «Лохань», — ответил Федор.

Я потом проверил значение слов у своего хозяина, и он объяснил мне, что елань значит поляна в болотном лесу... Я совершенно уверился в справедливости слов своего хозяина, и, увидев на пути своем из подмошника елань, смело пошел к ней, принимая за лесную поляну.

На болотнице бойся не трясушки, покрытой травой, а тех мест, где скошено и люди ходили и проваливались.

Не прошел я и половины, как вдруг погрузился в трясины до пояса. Вокруг не было ни кустика, ни одной веточки, чтобы ухватиться рукой и выбраться.

Ромка, разыскивая меня, вылез из лесу, остановился, посмотрел и принялся брехать на маленького. Никогда я не заставлял себя в таком беспомощном положении.

Вероятно, я, погруженный в болото, коротенький, как человек с отрезанными ногами, казался ему странным, и он подошел ко мне. Его необыкновенно толстая белая шея с висящими по ней складками, как у породистых быков, навела меня на мысль схватиться за нее. Я схватил его крепко за шею, сильно впился пальцами в его бычьи складки, он испугался, думая, что я хочу его утопить, сильно рванулся раз, два... и в третьем порыве вытащил меня из лохани.

И я тут понял раз навсегда, что елань значит не лесная поляна, а просто лохань⁵.

Знаю по книгам, что в первое поле собаку надо натаскивать в болоте, иначе она привыкает к «нижнему чутью». Я думаю, что собака, если у нее есть чутье, сама поймет и в лесу и на болоте, что верхнее чутье важнее. Опасным считаю пускать по тетеревам, потому что они горячат собаку. Но если собака хорошо повинуется, то почему бы не натаскивать и по лесной дичи? Я буду продолжать, пока в состоянии буду справиться с собакой.

...Постоянство чутья, очевидно, требует у собак того, что в работе людей называется терпением. Вот пример гениального терпения — это урок натаски на болоте, как сегодня. Я забыл еще отметить, что ведь раз пять подводил к перелетающему молодому, и все напрасно.

21 июля. ...Бекас улетел на суходол в кусты. Я пустил Ромку туда, не принимая никаких предосторожностей, и вот, побегав между кустами, он вдруг стал в великолепнейшей позе, какую только можно желать от легавой. «Тубо, тубо, Ромушка!» — уговаривал я его, стараясь приблизиться к нему. И достиг и погладил его рукой, и еще он долго стоял. Потом вылетел бекас в шести шагах и за двумя небольшими кустиками... Ромка смотрел не под ноги себе, как при коростелях, а именно туда, откуда бекас вылетел.

⁵ В другом месте автор разъясняет это слово так: «...на поверхности (поляны) нет воды, можно ходить, а под низ вода льется из разных рек как в лохань» (М. М. Пришвин. Собрание сочинений. 1939, т. IV, стр. 342).

Большого желать нечего, разве только чтобы так повторялось почаще. Это событие очень большое, ведь настоящая длительная стойка по бекасу эта первая («Твердая стойка»).

Ловля ветра. Очень важно было в это утро, что ветер был и Ромка сегодня научился ловить ветер. Схватит, остановится — и пойдет, и пойдет далеко и там остановится... Стойка уже не редкость для Ромки теперь. А волновать его стало такое, что если мы встречаем даже маленькую зеленую бекасиную еланку, он останавливается, задирает как можно выше голову, играет ноздрями и потом очень осторожно с таким значительным видом идет шагом в осоку.

Меня очень порадовал сегодняшний день и привел к раздумью о «собаку съел на своем деле». Смотрю на Ромку, представляю себе его в будущем первоклассной полевой собакой, и великое множество разных бродячих, полудиких русских собак встает в моем представлении, тех собак, которых под предлогом бешенства массами расстреливали в городах и селах. Какие жалкие звери! Посмотрите же на этого красивого Романа Васильича, такого умного, такого ученого, такого доброго, что редкий прохожий не скажет ему ласкового слова,— неужели и такое организованное существо можно назвать таким же именем собаки, которое дается всем тем? Нет, друзья мои, той собаки нет уже в моем Ромке, ту собаку я съел, а Ромка теперь уже не просто собака. Собака в нем преобразена моим творчеством, она — друг человека.

Вспомните, как часто мы слышим — и о человеке говорят: «со-ба-ка». Если это не в сердцах говорится, а по правде, то, я думаю, человек этот принадлежит к тем несчастным, которые в своем творческом уме не съели собаку, а, напротив, собака съела их.

Об идеальной собаке в лесу я имею более ясное представление, чем в болоте. Собака в лесу должна искать, как Кента,— быстро, но на коротких кругах, в двадцать—тридцать шагов в диаметре, виться волчком. При встрече со следом собака должна серьезно его вынюхать, сделать круг, найти выход и вести чрезвычайно осторожно, переступая с лапы на лапу, вздрагивая даже, если треснет сучок.

Притом, однако, собака должна быть напорна и нагонять бегущих тетеревей, а не делать беспрерывно стойки.

Все это явилось у Кенты само собой и вдруг: то носилась, вроде Ромки, как сумасшедшая, а то вдруг после серьезных охот на болоте пошла и по тетеревам.

Но все-таки нельзя рассчитывать на это «вдруг» у Ромки, а следует приучать. Вот почему я и наказываю его плетью.

Племянник хозяина в субботу отправляется в Сергиев⁶. Я поручу ему привести Кенту.

Ромкина стойка до того красивая, до того «классическая», что ничего себе не оставляет: такое видишь на всех охотничьих картинах, на тысячах фотографий.

Зашел в кусты, и Ромка сейчас же поднял тетерку. Я отвел его, чтобы не подавить пискунов... Я уложил Ромку и подсвистал матку, она стояла на опушке в пяти шагах и смотрела долго на Ромку, а когда он заскулил, ушла в кусты и там квохтала. Я думал о слабой жизненности птенцов (тетеревей и бекасов), это столь нежные существа... Когда думаешь о хрупкости птенцов, начинаешь понимать происхождение беззаветной стойкости, героизма их матерей. Да и вообще истоки героизма и мужества надо искать в нежности души. А чувство трагического (то есть чувство человечности) целиком происходит из чувства жалости.

Плеть самая прочная, из цельного ремня, с оборотом на головке конца до половины. В головке вделан карабинчик. Я приспособил еще в головку стальное кольцо, которое продевается в мочку свистка. Плеть со свистком на карабине в один момент прицепляется и отцепляется от пояса. Ошейник с колючками (парфорс), который может быть колючками повернут вверх: на этом ошейнике кольцо, за которое карабином прицеп-

⁶ Город Загорск, где жил в те годы М. М. Пришвин.

ляется ременный поводок с двумя карабинами на двух концах. Обернув поводок вокруг дерева, другим концом я прицепляю к ошейнику — и собака в один момент привязана. Могу иногда увеличить длину поводка, прицепив к нему карабином плетъ. Веревка несколько потоньше мизинца, аршин десять длиной, с карабином, чтобы на стойке, не волнуя собаку, можно было сразу прицепить. Компас.

Сегодня в болоте мелькнула мысль: «Что бы ни было, как бы ~~ни~~ было, без Дон-Кихота я бы умер, как рыба на берегу».

25 июля. На одном небольшом участке болота собралось бекасов, вероятно, больше десятка, многие из них недалеко перемещались, и вот где, кажется, было мое самое большое испытание: собака если не съела меня, то под конец оставила еле-еле живым.

Ромка в большинстве случаев спихивал их не причуывая, а то, причував, опускал нос в траву, хрипел, фыркал — и бекас улетал для него незаметно, то, схватив по воздуху, мчался — и бекас взлетал где-нибудь в стороне от шлепанья. Наконец как будто дождался я мертвой стойки, уговаривая ласковыми словами, я подобрался к нему: его глаза были погружены в кочку. Я разобрал траву и нашел в ней маленького лягушонка, какие бывают всегда в великом множестве после дождя и всегда мне напоминают одну из «египетских казней», когда будто бы падал дождь из гадов. Вероятно, в детстве наш батюшка и указал мне на таких лягушат. Да, это была настоящая египетская казнь охотнику, величайшее испытание терпению человека.

Был самый трудный момент в нарастании моего раздражения, когда Ромка, вглядываясь в улетающих бекасов, обратил свое внимание на ласточек и, как бы разочарованный в возможности достать бекаса, пустился за ласточками. Я его постегал раз и два, а когда ему пришлось подставить бок в третий раз под плетъ, то зевнул с таким выражением, будто он на всю охоту зевнул, что не стоит умным и порядочным людям и собакам заниматься такой ерундой.

Я отупел от повторения слов «тубо», «назад», «тише», до того отупел, что перешел какую-то опасную черту, когда взрывает всего изнутри и человек, обращенный в зверя, забывает ударом плети свое, в сущности, невинное животное.

Много помог, конечно, опыт с матерью Ромки, когда я возвращался весь белый. Ведь непосредственно я тогда ничего не достиг. А она потом сама вдруг поняла...

Сегодня Петя⁷ должен привести Кенту. Я жду ее с величайшим нетерпением. Пусть она покажет сыну подводку, и пусть он сам не причует, но по примеру поймет, как нужно подводить, какой величайшей важности представляет из себя бекас. А второй мой расчет — на стрельбу: пускай посмотрит, как они будут падать от наших с Петей выстрелов, пускай понюхает их мертвых в траве и в сетке, а потом, может быть, и поймет, в чем тут дело.

27 июля. Петя мне говорил, что он эти сорок пять верст шел с частыми перерывами от дождя, пережидал он дождь под елками, и с ним пережидали собаки, и когда он поднимался, они вскакивали и шли с ним, как будто знали, куда и зачем надо идти. Вот это дорогой его занимало, что они шли в совершенно неизвестное им место, неизвестно зачем, и так бы могло быть бесконечно, сколько бы сил хватило, пока бы не умер от усталости и голода, а они бы все шли...

Но вот они ~~подходят~~ к деревне, к дому, и тут их встретил хозяин, воспитатель, учитель, который пропадал уже третью неделю. Мать Кента встречает своего сына, Ярик — врага Ромку. Сколько в их жизни чудесного! Вокруг них собираются все деревенские дети, восхищению нет конца, и было такое замечание: «Это не собаки, это игрушки!» Я же за это время до того сжился с Ромкой, что Кенту как будто уже несколько лет не видал, и все мне казалось, что она стала какой-то не такой.

Мы вышли не рано, под дождем, краем болота. Там, где раньше были бекасы, я пустил Ромку... Но Ромка не пошел, как обычно, к двум березам, а куда-то вбок, по-видимому, попусту. И скоро вылетел прямо с подводки без стойки, как мне показалось, молодой бекас, но Петя узнал горшнэпа. Он сел недалеко, мы хорошо заметили место и пустили туда Кенту, а Ромку придержали. Кента, конечно, сразу причуяла, подвела и стала твердо. Петя прихватил ее на веревку, и я стал подводить Ромку.

⁷ Младший сын Петр Михайлович.

Во время этой подводки мы заметили самого горшнепа, и почти у ног Ромки. Причутья он его не мог, так как нос его выдался далеко вперед. «Сади, сади»,— прошептал Петя. Я подал Ромку назад, и он сразу причуял и впился в горшнепа глазами. Кента, конечно, тоже загнипотизировала маленькую птичку своими страшными глазами.

Горшнеп сидел на грязной плешинке болота между травами хвостом к нам, носом к открытому болоту, нос его был несколько опущен книзу, и великолепно блестели две его золотые полосы, параллельно идущие с головы и дружно огибающие сверху бочонком, как обручами, все его тельце до хвоста: далеко можно его увидеть по этому «рыжему золоту». Горшнеп тяжело дышал, очевидно, испуганный до последней степени.

Я предложил Пете шевельнуть его пальцем. Он тронул хвостовые перья. Горшнеп не летел. «А если взять?» — спросил я. «Можно»,— ответил Петя и взял в руку. Мы дали Ромке хорошенько понюхать, и когда пустили, то он не только полетел с фигурами, но даже и крикнул. По этому полету и криканию мы предположили, что горшнеп был старый.

Второй раз была спущена Кента, и опять скоро нашла, и Ромка, подведенный, тоже учуял издали, и мы опять увидели горшнепа сидящим открыто на островке, в грязи, среди воды. В этот раз Петя просто подкинул его, он пробежал немного и взлетел. Так мы шесть раз его поднимали, из них два раза Ромка нашел его совершенно самостоятельно и один раз учуял его на семь шагов через кусты и стоял твердо.

Вот когда уже не оставалось никакого сомнения и в прекрасном чутье Ромки, и в отличной его подготовке. Ромка сдал свой первый экзамен блестяще.

Нет ничего во всей охоте более блестящего, чем подход собаки к бекасу, когда она его далеко зачует по ветру. Вот откуда, вероятнее всего, возникла непостижимая серому охотнику утонченность вкуса и строгое требование к породе собак. Подумайте, что происходит в таинственной глубине отношений человека и животного: человек — хозяин, учитель, воспитатель и бог. Но нет, бог и раб меняются местами, раб ведет своего господина. Несбычно сладостное состояние, но извне ведь довольно глупое положение, если только собака не настолько красива, что всякий не посмотрит на охотника.

Я упражнял Ромку в подводке следом за матерью. Потом я пустил его в поиск свободно вместе с матерью, и он работал отлично. Ввиду безгорячности матери и его большого послушания, мне кажется, можно его на таких совместных поисках учить с большим успехом.

1 августа. День разрешения охоты... В радостной тревоге я проснулся в 2 часа ночи, было еще темно. И в 3 часа проснулся, вышел с собаками на улицу. На Дубне уже была стрельба, как на фронте. Я выхожу с ружьем в 4 часа 20 минут. Солнце довольно высоко. Роса крепкая, трава от нее как алюминий. На фоне темного леса еще не исчезла легкая полоска синего тумана.

...Свесив на грудь мглистую бороду, легкой юношеской поступью идет царь Берендей тропинкой в кусты, спускается в приболотицу.

Есть ли на свете такое шампанское, от которого так закипает детство в старой груди, как теперь у Берендея? Есть ли невеста на свете, так украшенная цветами и бриллиантами, как украшена в это теплое утро любимая земля?..

Так он проходит, и, ей-богу, мне тоже не стыдно идти ему вслед, у меня еще очень легкая поступь, и глаза мои отдохнули от книг совершенно, ружье надежное, собака вернейшая. И самое главное, что ведь это счастье мне являлось в самых трудных для жизни условиях болота, больше того, что никому оно не нужно, что и ничего чужого не взял.

Мыслитель. Трудно представить себе встречного человека, который, завидев меня с двумя собаками в березовых рубашках, притом пятно в пятно, не стал бы таращить глаза.

Но сегодня мне встретился прохожий пожилой человек с котомкой за спиной, не обративший на меня никакого внимания, не удостоивший даже косого взгляда. Лицо у

него было медно-красное от ветра и солнца, загар скрыл его внутренний мир, не давая никакой возможности догадаться по чертам лица о его происхождении.

...Возможно, это какой-нибудь простолюдин в тягостные годы был озарен мыслью и теперь так дорожит возможностью широкого раздумья в пути, что не хочет тратить драгоценное внимание на случайность явления человека с двумя собаками в березовых рубашках.

Прохожий молчаливый человек не выходит у меня из головы, и от этой встречи завязывается какая-то мысль о людях, владеющих словом и молчаливых. Кто умеет хорошо и метко выражаться словом, для этого ему не нужно так много опыта в жизни: его дело в словах.

Другие люди, много знающие, сосредоточенно правдивые, относятся к таким говорунам редко с завистью, но всегда с презрением. В простом народе одаренный словесник считается пустым человеком.

«Положа руку на сердце» говорю, что никогда не осмеливался думать о беллетристике как о пошлости, хотя все крупные писатели, начиная с Пушкина, занимаясь писанием романов, высказывались о романах как о пошлости.

Некто привел мне множество примеров глумления над романами русских романистов. По его словам, это объясняется тем, что европейское искусство с давних времен заняло иллюзорную позицию в жизни, и читатель всерьез говорит о словесном искусстве как об «отдыхе»: обманулся на несколько часов — и то хорошо.

Таким образом, в наших русских условиях, где литературный обман не нашел еще вполне крупных фабрикантов и прочного сбыта, он не является еще в голом виде, а по-детски наивно тащит за собой из недр земли — жизни — корневище правды, истины, справедливости, красоты.

Нет, мы не всегда правы, когда бываем скептиками, часто желудок просто бывает не совсем в порядке, когда мы презрительно говорим — «животная радость!». Почему, почему плохо животная радость, когда она никому не мешает и является даже в никому не нужных болотах, в непереносимых для множества условиях? И наконец, почему сказать слово «жизнь» не плохо, а сказать «живот» до того неприлично, что в салонах его заменяют и говорят: не «живот» болит, а «желудок»?

Чудесная животная радость охватила все существа, когда растаяли все признаки белой радуги и каждая капля засверкала маленьким солнцем. Весь с головы до ног орошенный, свесив на здоровый живот мглистую бороду, выходит царь Берендей из кустов... Журавли издали приветствуют его громкими криками, и, не замечая нас, семь огромных пронесаются у нас над головами. Конечно, мы не хотим им портить настроение своим бекасинником и пропускаем их с радостным трепетом.

7 августа. ...Скотина еще не прошла, ни один человек еще не прошел, против солнца росистая целина кочек была серебряной, собака сверкала металлом. Почти все взлетающие из-под стойки бекасы падают от моих выстрелов, только иногда попадало в крыло, и я, придерживая за ноги, убивал легким ударом головой о носок сапога: что-то непереносимое, непереступаемое для многих людей легко, как-то «сквозь пальцы» пропускалось в охотничьей страсти.

Дома после удачной охоты, перед засыпанием, мне было видение, какое постоянно бывает мне в глазах, если я мало пишу и много хожу. Мне привиделась стена болотных зарослей, резко оборванная ярко-зеленой отавой болотной осоки. Стена эта была из тростниковых дудок гораздо выше обыкновенных, со множеством темно-зеленых, желтых, отмерших, чем-то еще перевитых. И вот из этой стены скачками выходит на отаву маленький, в спичечную коробку, с носом в спичку, на длинных ногах дупеленок, и вслед за ним из желтой стены зарослей большой свет, только не желтый, как у Рембрандта, а серебряный, и в свете этом на коленях старец со сложенными руками на груди. Он был серебряный, прекрасный, могучий и двигался вперед дивно, не переступая, на коленях вслед за маленьким болотным цыпленком...

Я проверил себе происхождение этого видения и понял, что это в возмещение идеала, живущего во мне и попрянутого разбитыми головками о носок сапога.

Под вечер вышел прогуляться с Ромкой, он подбежал к кустам, понюхал и стал. Я подошел, вылетел петух. Нет, из него будет собака.

10 августа. В жаркие дни по тетеревам невозможно охотиться. Но в такие дни надо вставать на рассвете и охотиться до 9 часов по бекасам и дупелям — вот это охота! И вообще, надо признать, что при возможности охотиться по бекасам и дупелям тетеревиная охота кажется грубой, малоинтересной, главное, потому, что немного как бы унижает собаку: собака ползет, а не плывет против ветра, причувывая из стольких всяких случайных запахов один только необходимый. Так по мере улучшения качества моих охотничьих собак я из лесного охотника переделываюсь в болотного... Только не разрушили бы мой план охоты и натаски, которую я мог себе впервые позволить за двадцать пять лет литературной работы: ведь три месяца прожить, не думая о гонорах, о темах, о нервах...

11 августа. Сегодня мы охотились с Ромкой, иногда совсем даже забывая, что это молодая собака, болтали между собой, вверялись его поиску, и не было ни одного случая, когда бы он спугнул дичь раньше, чем мы подошли к его стойке. Так оправдались мои предположения, что он как-нибудь в один прекрасный день совершенно так же, как его мать, сразу поймет всю науку и пойдет как старая собака.

Вероятно, так и вообще при натаске собак: результаты надо ожидать не прямо во время уроков, а несколько спустя, надо непременно давать время одуматься собаке. Впечатление получается такое же, как от ночного роста трав,— собачье сознание растет тоже как будто ночью во сне. Учишь, учишь, собака становится все хуже и хуже, и вдруг в один прекрасный день она все поймет...

Сегодня Ромка прежде всего завоевал наше доверие к своему кавалерийскому поиску, когда со всего ходу схватил наброд дупеля. После этого наконец я перестал его стеснять постоянной угрозой держаться ближе, постоянным обрыванием его собственных планов.

Считаю сегодняшний день в натаске Ромки днем его выпускного экзамена. Таким образом, вся натаска продолжалась ровно месяц, с 10 июля по 10 августа.

Ясниковое болото интересно тем, что лежит по холмам. Никогда не подумаешь, подходя, что там болото. Это происходит потому, что его питают родники, образующие бассейн Вытаравки. Такое болото подлежит охране.

12 августа. Развелось множество мух. Я засыпаю после обеда, закрываясь весь с головой от мух простыней, и оставляю свободным для дыхания только небольшое отверстие, в которое смотрит кончик моего носа.

И вот когда Ромке хочется до ветру, он подходит к моей постели и долго стоит. Иногда я это чувствую и просыпаюсь, а если этого не чувствую, то лижет — и тут уж я непременно проснусь.

Когда я умываюсь, Кента лежит сзади меня в углу на матрасике. Если быстро обернуться, то заметишь: она, подняв голову, смотрела на меня, но как только я обернулся к ней, быстро уткнула голову в хвост и сделала вид, будто крепко спит; подойти к ней — она так туго свернулась, но отойти и на ходу обернуться, заметишь: она провожает глазами, приподняв голову.

Можно легко представить себе, что звери между собой человеком бранятся и у них поступать по-человечески значит то же самое, что у нас по-зверски.

В голодное время видели мы себя в тех же условиях, как звери, но какие звери были милые тогда в сравнении с нами! После того все, у кого осталась совесть, должны бы смириться до признания своего равенства с животными и единственной радостью считать находки среди зверей того прекрасного, что когда-то давно принято было называть человеческим.

17 августа. Взято было сегодня из-под Ромки шесть дупелей и бекас. Можно еще много желать от него в выработке формы поиска, устойчивости от стоек, но что это исключительно послушная собака, что на болоте можно с ней охотиться уверенно и успешно, что она в эту же осень так же хорошо пойдет и в лесу — в этом нет никакого сомнения. Собака в руках, собаку я съел.

Но как ни послушен Ромка, все равно ему никак не достигнуть грациозности и,

главное, удивительно умной расчетливости его матери. Ее заместительницей вижу только Нерль с ее стеклянными глазами, всегда думающими. Нерль, мне кажется, выражает еще больше собой то особенное, что есть в Кенте. Трудно выразить, что это такое: как будто это холодок, сопровождающий мысль, но что-то еще... Трагическое преобладание разума... Буду искать выражения.

20 августа. Я нашел способ укрывать Кенту от мух. Велю ей лежать, она свертывается калачиком, я же беру целую большую газету и запаковываю калач со всех сторон. Она очень хорошо понимает цель запаковки и лежит под газетой часами не двигаясь.

23 августа. Стрельба по бекасу чрезвычайно трудна: ведь взять уже одно во внимание, помимо провалов в болото, что ружье оттягивает руки и, потом, оно не совсем слушается, когда надо бывает схватить мгновение. Однако охотничья страсть разгорается от препятствий, преследование бекаса волнует немного разве меньше, чем крупного зверя, какого-нибудь бизона. Да, охота на бекасов ближе всех другим охот к искусству: она делает из бекаса бизона и даже больше — из мухи слона, и не какого-нибудь обидного, а лучшего, чем действительный слон.

Изо дня в день охота завлекает и нет возможности думать о чем-нибудь другом. Мы охотимся и спим. Потом говорим о будущем дне — и так проходит время.

24 августа. Прохладное бодрое утро. Восход в прозрачных, тонко окрашенных облаках. Сердце стукнуло, и отозвались годы, многие годы, в которых оно стучало, и я встретил мою радость — всю мою радость.

26—28 августа. ...Вообще в бекаса нельзя целиться, примериваться, а стрелять сразу. Огромное большинство промахов бывает у меня в состоянии, похожем на «засмысленность» в писании или разговоре, когда слово или сравнение не являются и говоришь: «...как... как... как...»

Хороший выстрел по бекасу — и он, падая, белеет брюшком, как блестит удачно сказанное слово.

Успех стрельбы по бекасам зависит от быстрого прицела, чуть стал выгадывать и рассчитывать — промах неперемный. Верный выстрел сопровождается как бы озарением... Бывает, нога стоит не так во время выстрела, поправился, подумал, стал прицеливаться — и промахнулся.

Надо просто бить, смеясь над промахом, не жалея патронов, не досадуя, и тогда будешь попадать без промаха. Я сначала рассчитывал и промахивался, пока наконец плюнул на учет.

31 августа. Солнце еще не встало, в низинах туман. По седой зелени мокрого луга пишет узоры мой быстрый Ромка.

Ходил с Ромкой по болоту и ухитрился не провалиться. Это тоже искусство — ходить по болоту, тоже уверенность явилась: пусть себе качает, я не покачнусь... Когда-то я убивался, учил Ромку ходить по топкому болоту, а теперь смешно думать об этом: тихий ход сам собой определился, когда он понял, для чего это нужно.

1 сентября. ...Ночью бушевал северный ветер. Утром хозяева вышли в полушубках. Так случился мгновенный переход к осени.

Собаки волнуются: кого возьмет хозяин? Кента выбежала, когда я надевал сапоги, вернулась к себе и замерла. Она выйдет опять, когда дойдет у меня до ружья. У Ромки безумное волнение, его перед охотой подавил страх, что его не возьмут. Он положил свой утюг между лапами и смотрит большими глазами.

Запах баговника мне как морская качка: не укачивает меня, но беспокоит постоянная мысль о возможности болезни. Так и во мху от этого пьяного сильного запаха все кажется, что кружится голова и останешься тут в тишине таким же неподвижным, как моховая кочка.

...А Берендей потому мудрый царь, что заставил себе служить все, что люди называют злом: комары, слепни, гнус, и топь, и кочки — все это охраняет Берендеево царство от вторжения недостойных людей. Потому попасть в Берендеево царство все равно что в Невидимый град: надо потрудиться, надо быть сильным и чистым сердцем.

Сию я, отдыхаю в лесу под кустом, и является мне что-то вроде упрека: как можешь ты выносить такое безлюдье?

Мне очень хорошо знаком этот «социальный» голос по старому времени. Я тогда себе так отвечал: «А как же моряки, как путешественники-исследователи, колонизаторы и т. д., мало ли таких людей на свете, все они живут надеждой на свиданье с родиной, с друзьями: когда-нибудь и я увижусь с ними». И мне мой литературный путь кажется путем к близким мне людям. Оно так и оказалось, появились искренние люди, и стало среди них почти как в семье.

Но все это было не совсем так: истинный друг так и остался недоступным, где-то за морями. Вот и теперь стало еще виднее, что друг этот недоступный существует непременно и что этого довольно, чтобы выносить безлюдье пустыни и часто быть счастливым и не одиноким.

Ромка-пылесос. Ромка сидел двое суток без дела и одурел от скуки. Он выдумал превратить свой нос в пылесос, он так это делает: к тонкой щелке между половинцами прижмет ноздрю и остальную часть носа туго приклепнет, так что тянется только из щелки, и тянет, и тянет в себя содержимое подполья; отнюхав одно место, переходит к другому и оставляет на первом мокрый отпечаток своего пятка. Мне надоело слушать этот пылесос, пришлось вечером пройти с ним на болото.

9 сентября. Началось ненастье, дождь, значит, можно садиться за «Кашееву цепь», а между тем прилетят дупеля...

Мне остается только дожидаться дупеля, поохотиться на перелете и потом отправляться домой.

Сегодня я думал о своем серьезном занятии тем, что для всех служит забавой, отдыхом, потехой. Останусь ли я для потомства обычным русским чудаком, каким-то веселым отшельником, или это до смешного малое дело выведет мысль мою на широкий путь и я останусь пионером-предтечей нового пути постижения «мира в себе».

Что, если вдруг окажется, что накопленные человечеством материалы знания столь велики, что их охватить никакому уму невозможно, что в этих накопленных полубогатствах полуума заключается главная причина нашей современной растерянности, разброда и что людям от этого аналитического опыта надо отойти для простейших синтетических исследований; что на этом пути и надо ожидать гениального человека, который охватит весь окончательный опыт человечества?..⁶

10 сентября. После дождя сегодня в предрассветный час в туманной мгле так пронизывающе сыро и холодно, что жуть брала в одной шерстяной толстовке спускаться по тропе Берендея. Но скоро все это обошлось, и начался роскошный рассвет с пурпуровой зарей, светящей через туман.

Перед восходом солнца, как бывает у нас при сильнейшем восторге от красоты, начался в природе обычный озноб... И я чувствовал, что меня знобило не от холода — я согрелся от ходьбы, — меня знобило от радости утра, и мне казалось, что вся природа холодеет тоже от великого счастья.

Много, много у меня прошло дум, таких быстрых, что сказать о них невозможно. То мелькала мне жалость, что вокруг чувствуют не так, как я, а то, наоборот, я себя самого жалел, что не могу вполне быть как все. Но что соединяло меня со всей природой прочно и дружно, это было доверие к грядущему солнцу, готовность моя отдать ся ему, и я двигался быстро на болоте по моему охотничьему делу, как двигаются все.

Отзы в стойки. Я теперь понял, что Кента приходит от стойки в лесу на свисток, если слышит его в решительный момент, когда подвела к тетеревам, им взлететь надо, а хозяина нет. Вот тут если она слышит свисток, то возвращается. А у Ромки бывает — когда его уложишь возле подранка и станешь отходить, опрометью бросятся к тебе, вероятно от страха, что ему одному не выдержать стойки.

Ястреб и тетерка. Все произошло на моих глазах: почти из-под моей собаки он взял ее и я не успел выстрелить. Но мне осталась мысль, что и у всех так, что сама материя не противопоставляется духу пассивно, а располагается надвое: одно дается, другое берет.

⁶ Опубликовано в кн. М. М. Пришвин. Незабудки. М. «Художественная литература». 1969.

В охотничьем хозяйстве нельзя убивать всех ястребов, а то куропатки вырождаются,— надо знать меру: нужен основной состав. Разумная общественность основана на законах меры.

13 сентября. ...Сегодня я взял с собой записную книжку, чтобы записать всю охоту. Трудно жить этой двойной жизнью: страстно охотиться и хладнокровно тут же записывать,— но я привык и могу.

Охота на бекасов совершенно бесполезна, тут исчезает всякая иллюзия добычи.

Если очень захотеть, то не промахнешься в бекаса, все равно как если спичка одна, то и на сильном ветру непременно закуришь.

Бекас, гонимый охотником, даже после двух выстрелов на всем лету определит удобное место и ткнется непременно возле сырого местечка.

19 сентября. Я вообще и в среднем очень посредственный стрелок, вероятно потому, что нервный человек по характеру своему: я часто стреляю блестяще, но так же часто из рук вон плохо. Для хорошей стрельбы мне надо быть в обладании полного своего жизнеощущения или, как часто бывало тоже, при пониженном жизнеощущении вдруг как бы «выйти из себя», сделав случайный хороший выстрел. С этой удачей связывается другая, и так, выйдя из себя, там, в этом повышенном состоянии, находишь свой верный расчет, меру, даже метод. Каждый вылетающий бекас падает, мелькая своим белым брюшком, и кажется — в этом совершенно бываешь уверен,— что так будет всегда.

И вот когда на другой день выходишь с этим найденным методом быстрой решительности при стрельбе, готовишься к выстрелу по виляющему с вызывающим криком бекасу и вместо него вылетает, поднимаясь бесшумно, как мотылек, растрепанная коростель!..

22—23 сентября. Забытая книжка. Помню, схватился за свою записную книжку, чтобы внести в нее названия родников моих мыслей вроде «седой зелени»... Но оказалось, что книжку я забыл дома. Я сожалел об этом одно только мгновение и потом, оглянувшись на раскинутую перед моими глазами долину, одетую низко лежащим белым туманом, махнул рукой и сказал: «Где наша не пропадала!»

И мне представилось тогда, что творец всего этого великолепия в природе проходил здесь тоже, забыл свои предначертания, и все осталось незаконченным. И вот почему, может быть, каждому, кто проникается воздухом сверкающего росисто-морозного утра, хочется тоже принять участие в этом творчестве, продолжить его. Может быть, вся природа — забытая записная книжка творца.

Царь Берендей объявляет переезд в свой зимний дворец. В среднем это будет, если считать мою ходьбу по двадцать пять верст в день, всего восемьдесят дней. Значит, пройдено две тысячи верст — и еще по болотам!

Зимой. Кента часто подходит ко мне, ставит на колени передние лапы и смотрит на меня умными глазами. Ей ничего не надо собачьего: сыта, нагулялась, выспалась,— ей хочется от меня что-то узнать новое, чему-нибудь научиться, но мне некогда, и я говорю ей ласково: «Поди, Кентушка, на место».

Меня не хватает на удовлетворение ее жажды новых знаний, и я чувствую себя перед нею виноватым, потому что без моей воли дремлет без пользы все богатство ее природы. Я думаю, это чувство вины перед животными испытывают многие, имеющие с ними дело. Я знаю и в себе самом эти залежи сил, вспыхивающие неожиданно явлением какой-нибудь мысли или образа.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВИТАЛИЙ ОЗЕРОВ

★

ТРЕВОГИ МИРА И СЕРДЦЕ ПИСАТЕЛЯ

Сложна и многообразна наша сегодняшняя литературная жизнь. Ее невозможно ограничить внутренними заботами — тесные нити связывают советских писателей с их коллегами во многих странах, на всех континентах. Страстно отстаивая идеи мира и прогресса, писатели нашей страны, всего социалистического содружества сплывают вокруг себя передовые силы мировой художественной интеллигенции, ведут жестокие идеологические сражения с реакцией, какое бы обличье она ни принимала. Это сплочение, эта борьба — важный фактор эстетического развития; не принимая его в расчет, нельзя понять писательские судьбы, художественные явления эпохи, сам процесс литературного развития. За писательскими книгами, заявлениями, позициями — современный мир, сложный, мятущийся, много переживший и укрепляющийся в убеждении: путь вперед — путь мира, прогресса, социализма. Сердце честного, убежденного писателя приняло в себя все тревоги мира, всю его боль, все надежды.

А круг наших представлений об искусстве современности, о тех, кто ищет в нем новых путей, расширяется с невиданной быстротой и интенсивностью. Ныне не только горячо оспариваются, но уже осмеиваются как нечто узкое и старомодное любые «европоцентристские» теории. Нельзя считать себя образованным человеком, если ты незнаком — хотя бы в общих чертах — с литературой Латинской Америки, Азии, Африки. Последние десятилетия потребовали от советских писателей и критиков не одного лишь книжного знакомства. Мы стали активными участниками очень плодотворного движения этих десятилетий — афро-азиатского писательского движения. На очереди Пятая конференция пи-

сателей стран Азии и Африки. Она состоится осенью 1973 года. Местом ее проведения избрана столица Советского Казахстана — Алма-Ата. На ней должен развернуться большой и содержательный разговор о литературе двух огромных континентов. И быть может, будет небесполезно поделиться некоторыми впечатлениями об этой стороне международной литературной жизни, о роли в ней советских писателей.

Королевский министр пишет докладную

— Каким дружным мы стали коллективом!

— Добавьте: социалистическим коллективом.

— Ну, это, пожалуй, чересчур! Не всякого к нему можно причислить.

— Почему же? Тут не имеет значения ни страна, ни цвет кожи, ни литературный жанр.

— А министра-капиталиста куда вы денете?

За обменом репликами встает памятный эпизод недавних лет — отчасти юмористический и в какой-то мере поучительный.

В Москве состоялся трехдневный симпозиум писателей афро-азиатских стран. Как и всегда, после заседаний гостям была предложена поездка по стране. Их пригласили погостить в Среднюю Азию. Здесь они увидели и услышали очень много интересного. Личное общение друг с другом, неизбежные дорожные приключения сблизили всех и подружили. И когда прозвучала мысль, что разношерстная писательская братия сплотилась в «единый дружный коллектив», с ней охотно согласились; спор шел лишь о том, можно ли назвать его уже коллективом высшего качества — социалистическим. Да вот еще одна кандидатура вызвала сомнение...

Поездка проходила в на редкость приятной, дружеской атмосфере. Как только селись в автобус, сразу слышался веселый шум, смех, шутки. Монгольский поэт затягивал «Катюшу», ее — по-русски! — подхватывали все остальные. Непрерывно острили. С удовольствием «разыгрывали» друг друга. Разве что мудрый делегат Индии напоминал:

— Как вы расшумелись! Королевский министр будет шокирован.

Правда, это предупреждение вызывало новый приступ веселья: тема королевского министра, министра-капиталиста, у путешественников не сходила с уст.

А шокировать министра — одного из членов нашей группы — было не так уж трудно. Очень известный в родной стране поэт, он отнюдь не забывал и о своем официальном poste — министре его величества. И держался соответственно. С кем придется в разговоры не вступал. Отказался ездить в общем автобусе; ему подавали легковую автомашину. Не стал ночевать в колхозном саду, где на берегу арыка, под чинарами нам поставили койки; его возили в районный город, жаркий, пыльный, в не слишком уютную гостиницу, но зато с отдельным «люксом».

Теперь представьте себе отношения между этой своеобразной личностью и нашим демократичным коллективом. Богатых людей в нем что-то не замечалось, высокие титулы тоже не были в чести у писателей, недавно освободившихся или борющихся за свободу стран. На малейшее проявление высокомерия или того, что казалось им высокомерием, они реагировали чрезвычайно болезненно. И когда увидели, что один из делегатов торжественно пересаживается из автобуса в «Волгу», незамедлительно окрестили его министром-капиталистом. Представитель этой малопопулярной ныне категории по-прежнему держался с холодным безразличием, его — ответно — не склонны были причислять к социалистическому коллективу, а порой подвергали слабо замаскированным насмешкам. Нам приходилось выступать в роли миротворцев, напоминать о законах гостеприимства, о том, что это действительно яркий стихотворец, автор вполне прогрессивных произведений. От прямых обид поэта-министра уберечь кое-как удавалось, но рассеять настороженное отношение к нему было невозможно. Оно достигло своего апогея в день, когда мы приехали в колхоз.

Находились там с утра до позднего вечера. На поле видели, как крестьяне убирают хлопок, в обеденный перерыв расспрашивали их о жизни, работе. Побывали в домах колхозников, познакомились с их семьями. Слушали обстоятельный рассказ председателя артели о развитии хозяйства: миллионные доходы, десятки высокообразованных специалистов, городского типа дома. Присутствовали на концерте художественной самодеятельности в Доме культуры, которому мог бы позавидовать любой областной центр. Закончились встречи глубокой ночью за великолепным столом там же, в колхозном саду. И все время — беседы с десятками людей, знающих, культурных, увлеченных своими делами и планами. Писатели не вышускали из рук блокнотов, фотоаппаратов, кинокамер. Один только королевский министр сохранял неизменное молчание. У него хватало такта, чтобы не отказываться от предложенной программы. Он шел туда, куда нас приглашали, выслушивал все, что нам рассказывали, но сам не задал ни одного вопроса, не переспросил ни одной цифры.

Надо ли говорить, что симпатии к нему не возросли. Молодой африканец отозвал меня в сторону, сочувственно спросил:

— И зачем вы пригласили этого человека? Неприятностей от него не оберетесь, а что еще он напишет о вас?

Да, подобный вопрос напрашивался сам собой: «что напишет?» — главная оценка эффективности любой поездки литераторов. Как тут было не вспомнить о довольно известном австралийском писателе Фрэнке Харди. Он афишировал себя в качестве давнего приверженца нашей страны. Приехав в Москву, говорил о трудностях писательской жизни в капиталистическом обществе. Хвалился своими победами на обычных конкурсах, устраиваемых в Австралии. На этих конкурсах соревнуются самые неутомимые лжецы, побеждает тот, кто сумеет рассказать больше всего неправдоподобных баек. Через несколько месяцев после отъезда Фрэнка Харди из Советского Союза мы убедились, что он заслуженно завоевывал титул чемпиона на конкурсах лжецов: на этот раз он беспардонно оболгал наше государство, радушно принимавших его советских писателей. Что ж, такая метаморфоза происходила и с некоторыми другими из мнимых друзей...

Королевский министр о трудностях своей жизни не говорил, в вечной дружбе не

клялся, хотя на заключительном банкете вдруг попросил слово и велеречиво поблагодарил за теплый прием. Слова словами, а в самом деле: что же он напишет, вернувшись домой?

Об этом долго не было никаких сведений. В газетах и журналах, выходящих в королевстве, его новых произведений не появлялось. Случайно мы узнали, что он все же решил написать о своих впечатлениях. Правда, не для печати.

Оказывается, наш знакомец начал с сочинения докладной записки своему королю.

Нет, мы ни за что не могли бы догадаться о ее содержании. Дело в том, что, ссылаясь на увиденное, на множество фактов, которые сохранила его память (а ведь он ничего не записывал!), на печатные источники (и когда он успел изучить их?), автор докладной завершил ее более чем радикальным предложением: в королевстве нужно организовать... колхозы.

Наивность (благородная, но все же наивность)? Очередной парадокс современности? Скорее закономерность, одна из тех, к которым все чаще приходят сейчас честные, думающие люди. Советский опыт неодолимо влечет к себе самых разных писателей, заставляя забывать порой и о служебном положении, высоких чинах, словных и других предрассудках. Сколько ни старается буржуазная пропаганда, а люди воочию убеждаются: социализм — это свобода, равноправие народов, счастливая и обеспеченная жизнь трудящихся. К счастью, и у того поэта, которого чересчур горячие наши гости объявили министром-капиталистом, взгляды и убеждения оказались куда шире, чем его манеры. Через полгода появились наконец и его очерки, статьи, стихотворения, посвященные Советской стране. Это были вещи, проникнутые огромным интересом к социалистическим преобразованиям в СССР.

Чего стоят анекдоты жлецов рядом с десятками и сотнями взволнованных произведений зарубежных очевидцев нашей жизни! Друзьям из стран Азии и Африки больше всего бросились в глаза перемены в людях. Они увидели, что приносят социалистические преобразования: высокий материальный уровень жизни и расцвет духовно прекрасной, многогранной личности. Поняли и другое: великую силу дружбы народов, сплотившую их в одну нерушимую семью. Убедились: все эти достижения, завоеванные в огне революцион-

ных битв, развиты и приумножены делами, творческим трудом рабочих и крестьян. Это убеждение помогает афро-азиатским писателям в их борьбе и против буржуазной пропаганды и против левого экстремизма, недооценки организационной работы, без которой не построить нового общества.

Верность свободолюбивым идеям и готовность практически их реализовать — именно эти настроения сплотили наш небольшой коллектив, совершавший поездку по Средней Азии. Как сплотили и афро-азиатских писателей, объединившихся пятнадцать лет назад в новую, боевую организацию. Тогда, в 1958 году, в Ташкенте состоялась Первая конференция писателей стран Азии и Африки. Литераторы двух континентов горячо обсуждали пути дальнейшего укрепления солидарности и сотрудничества в политической и культурной областях. Смысл этого сотрудничества нашел четкое выражение в единогласно принятом документе — обращении Ташкентской конференции к писателям мира. В нем говорилось:

«Мы с удовлетворением отмечаем, что писатели наших стран, унаследовавшие великие гуманистические традиции древних культур, вносят свой вклад в культуру современного мира и прогресс человечества... Нас объединила убежденность в том, что дело литературы неразрывно связано с судьбами наших народов, что подлинный расцвет литератур может быть достигнут только в условиях свободы, независимости и суверенитета народов и что ликвидация колониализма и расизма является условием для полного развития литературного творчества...»

Этим своим взглядам деятели литературы так называемого третьего мира остаются неизменно верны. Они создали Ассоциацию писателей стран Азии и Африки. Провели несколько конференций, семинаров, симпозиумов, дискуссий, фестивалей. Одни проходили в очень спокойной, другие в более драматической обстановке, но любая встреча отвечала избранной линии: борьба против империализма и колониализма, за поддержку национально-освободительных движений, за укрепление дружбы со странами социализма. На примере афро-азиатского писательского движения мы вновь убеждаемся в том, как политизировалась ныне общественная, литературная жизнь. Основное требование, громко звучащее на каждой встрече, — это

мобилизация всех писательских сил во имя кардинальной перестройки старой социальной структуры, обновления культуры, которая должна служить трудовому народу.

И что очень показательно: движение шло и идет не только вширь, захватывая новые страны, далекие уголки земного шара, но и вглубь, становясь все содержательнее и целеустремленнее. На встречах последних лет ораторы уже не удовлетворяются декларативными заявлениями, бичующими империалистических захватчиков, но подчеркивают: чтобы успешно вести борьбу с буржуазной идеологией, нужно учиться строительству нового общества, новой культуры. Значит, не обойтись без продуманной программы действий вообще, и в области культуры в частности. Значит, на писательских конференциях и симпозиумах нельзя обходить непосредственно профессиональные вопросы творчества.

Не всем пришлось по душе этот продиктованный самой жизнью курс. Пекинские раскольники пытались подменить его крикливой псевдореволюционной фразой, перессорить членов ассоциации, сделать ее рупором националистической пропаганды, антисоветизма. С ними спелся бывший генеральный секретарь Постоянного бюро ассоциации Р. Д. Сенанаяке, второстепенный цейлонский писатель. Он перестал созывать заседания Бюро, предпочитая щедро финансируемые Пекином поездки из страны в страну для подписания сомнительных «соглашений» и «коммюнике».

Раскольникам не удалось разложить и ликвидировать ассоциацию. По инициативе Союза писателей СССР и писательских организаций Цейлона, Индии и Судана в Каире состоялась внеочередная сессия Постоянного бюро. Обновленное и доизбранное, оно перенесло свое местопребывание в Каир. Под руководством арабского прозаика и драматурга, видного общественного деятеля Юсефа эс-Сибай заметно активизировалась деятельность Бюро.

С каждым годом афро-азиатское движение крепнет и мужает. Достаточно сказать, что на Четвертую конференцию, проходившую осенью 1970 года в Дели, прибыли делегации из пятидесяти стран. Зал заседаний Дворца науки всегда был полон, а у дверей индийские писатели должны были выставить охрану — на заседание ломились группы троцкистов и левых «ультра». Очень немногочисленные, человек по десять — двенадцать, они пользовались ис-

пытанными методами: кричали о «предательстве» дела свободы, распространяли листовки, наполненные ругательствами. Пока эти молодчики неистовствовали в коридоре, зал восторженно встречал речи делегатов Вьетнама, арабских стран и других подлинных борцов за свободу.

Конференция получила приветственное послание от Л. И. Брежнева. Со словами приветия к писателям обратились главы ряда государств, виднейшие общественные деятели мира. Впервые с речью, специально посвященной литературным делам, выступила премьер-министр Индии Индира Ганди. Были приняты принципиально важные документы. Такие, как Общая декларация, в которой говорится о неразрывной связи искусства и литературы с действительностью, с борьбой за создание новой и счастливой жизни; такие, как резолюции, осуждающие американскую агрессию в Индокитае, агрессию израильских милитаристов против арабских стран, расистские реакционные режимы в Южной Африке и португальских колониях. Аплодисментами встретили делегации предложение нашего представителя провести следующую конференцию в Алма-Ате.

В общем, боевой, антиимпериалистический, свободолюбивый дух полностью торжествовал и в Дели. А что нового внесла дейльская конференция в развитие движения? Однажды после заседания, собравшись во дворе отеля, члены советской делегации попробовали коллективно ответить на такой вопрос. Здесь было кому сделать это — в состав делегации вошли крупные мастера слова почти из всех союзных республик. Наш комитет по связям с писателями стран Азии и Африки вот уже пять лет возглавляет узбекский драматург, видный общественный деятель Камиль Яшен, сменивший на этом посту Сарвара Азимова. Здесь же и первый заместитель Яшена — русский писатель Анатолий Софронов, член редколлегии журнала «Лотос», выпускаемого ассоциацией: он давний друг писателей Азии и Африки, встречавшийся с ними и в разных концах мира и на страницах редактируемого им журнала «Огонек». В Дели приехали Григол Абашидзе, Чингиз Айтматов, Ануар Алимжанов, Ра-сул Гамзатов, Семен Данилов, Дамба Жалсараев, Зульфия, Берды Кербабоев, Алим Кешоков, Михаил Луконин, Габит Мусрепов, Мирзо Турсун-заде, Адий Шагипов и другие.

Мнения в основном совпали: новое — в деловитой целеустремленности афро-азиатского писательского движения. Его участники от декларативных обвинений в адрес империализма переходят к критическому анализу социальных процессов современности, «реформаторской» политики иных правительств. Наряду с общеполитическими вопросами на конференции глубже и гораздо предметнее, чем прежде, стали обсуждаться вопросы литературно-творческого характера. Как своим творчеством помогать народу, борющемуся за свободу, строящему новую жизнь? — эта проблема заняла достойное место во многих докладах и выступлениях.

В тот раз, делясь впечатлениями о делийской конференции, советские делегаты вспоминали еще об одной встрече, в которой почти все они участвовали как хозяева. Это был симпозиум, приуроченный к десятилетию Ташкентской встречи. Вновь собравшись в 1968 году в этом городе, писатели многих стран Азии и Африки в течение нескольких дней вели дискуссию на тему «Литература и современный мир».

Намеченная нами повестка дня дала возможность рассмотреть и общественно-политические и литературно-эстетические аспекты темы. Обсуждение пошло по трем направлениям: роль писателя в борьбе за социальный прогресс и свободу народов; классическое наследие и современная литература; национальное и интернациональное в литературе.

Эти три темы связаны друг с другом органически, ибо борьба за свободу и социальный прогресс определяет и политическое положение писателя в современном мире и его художнические обязанности в отображении новых процессов действительности. Последнее невозможно без верного отбора изобразительных средств, без опоры как на свой, национальный, так и на интернациональный опыт. И постоянно приходится считаться с происходящими в мире переменами, глубокими и всеобщими.

Современный мир... Наша эпоха, бурный и драматический век XX... Пройдут десятилетия и столетия, он встанет в длинную шеренгу прожитых человечеством веков, какие-то его приметы сотрутся из памяти, но одно люди будут помнить всегда: этот век был переломным в мировой истории. Мы свидетели и участники времени, когда народы преисполнились решимости положить конец тысячелетиям

национального и социального угнетения, построить светлое царство подлинной свободы и равенства — общество социализма, коммунизма.

Современный мир — это мир нарастающей борьбы за новый строй жизни, новую культуру. Люди доброй воли видят и понимают, что борьба между социализмом и капитализмом захватывает все сферы жизни и что каждое политическое течение обязательно должно определить свою позицию в этой борьбе. Участники афро-азиатского движения писателей, как известно, заняли почетное место в общей борьбе против империализма, колониализма, расизма, неоколониализма.

Современный мир — это мир не только борьбы за социальные и духовные ценности будущего, но и мир практического строительства новых форм жизни, новой культуры. Есть серьезная логика в том, что на Ташкентском симпозиуме первый вопрос для обсуждения был сформулирован так: роль писателя в борьбе за социальный прогресс и свободу народов. Афро-азиатское писательское движение начертало на своем знамени благородную цель — сделать литературу мощным средством борьбы за независимость, национальный суверенитет, свободу и счастье народов, за развитие всех дарований личности, за конструктивный вклад в человеческую цивилизацию.

Среди отличительных черт нынешнего этапа афро-азиатского писательского движения две представляются мне заслуживающими особо пристального внимания.

Во-первых, ясное понимание большинством писателей общественной роли искусства со всей присущей ему спецификой. Они не мучаются по поводу того, надо или не надо им быть «ангажированными», — они полностью отвергли теорию «чистого искусства» и стали борцами за освобождение своих стран и народов. Однако сделанный гражданский выбор — это только первый шаг. Завоевывая самостоятельность, нужно решить, на какие общественные силы опираться в своей патриотической деятельности. Нет сомнений, что афро-азиатское движение приняло единственно правильное решение — ориентироваться в строительстве новой государственности, новой культуры на трудовой народ, его авангардные силы, на тех, кто возглавляет борьбу за социальные преобразования в интересах масс. Но и наличие надежной социальной базы для развития художественной культу-

ры еще не гарантирует немедленного решения новых встающих проблем. Берясь за работу по переустройству общества, приходится при этом думать о борьбе с попытками империалистов всячески помешать укреплению национальной независимости то ли путем проникновения в национальную экономику и политику, то ли подкупами, развращением интеллигенции любыми средствами — посулами и угрозами, льготным изданием книг, выделением стипендий, премиями. И это не единственная опасность, грозящая молодым культурам. Наряду с буржуазными пропагандистами не менее активно оторвать художников от народа пытаются и националисты, экстремисты, авторы теории «новых движущих сил в революции».

Во-вторых, нельзя упускать из виду конструктивный характер задач, возникающих перед литераторами стран, которые уже завоевали независимость и осуществляют программу социальных преобразований. Если когда-то писатели стран Азии и Африки, собравшись вместе, подчеркивали прежде всего и главным образом критический пафос своего творчества, пафос разрушения старых порядков, то сейчас все чаще приходится слышать, что литература должна создавать новые ценности, формировать душу человека — творца этих ценностей, должна свойственным ей языком говорить о значении социальных проблем. Заслуги литературы измеряются ее позитивной работой по созиданию нового общества. Все это дается нелегко, откровенно рассказывали посланцы Азии и Африки. Многие зависят от объективных условий, в которых они начинают строить новую культуру: сопротивление внутренней реакции, разруха в хозяйстве, бедность, предрассудки, темнота масс. Юсеф эс-Сибай имел основание заявить, что в условиях низкой грамотности «писатель чувствует себя подобно пленнику, голос которого не может проникнуть за стены тюрьмы». Неоднократно приходилось слышать жалобы писателей на то, что по существующим в их странах условиям им не удается выполнять свой долг прямым путем — посредством книги, журнала, печатной продукции.

Ликвидация же безграмотности в странах Азии и Африки осложняется, помимо прочего, еще и трудностью приспособления ряда языков к требованиям современного мира, преодоления искусственно созданной этнической пестроты большинства вчераш-

них колоний. Не всегда ясен вопрос, на каком из местных языков (а их в стране могут быть десятки) должна вестись борьба за грамотность. А если к тому же литература данного народа создавалась на языке бывших колонизаторов? Как быть с такими книгами? Вопрос встает за вопросом, будоража ум и сердце честного интеллигента, заставляя жадно искать ответов. Когда их находят, это вызывает горячий отклик.

На том же Ташкентском симпозиуме особый успех выпал на долю Чингиза Айтматова, поставившего некоторые из этих вопросов. Произведения его хорошо известны в Азии и Африке, и каждая встреча с ним превращается в радостное событие для читателей. Это относится и к зарубежным поездкам автора «Джамили» и «Прощай, Гюльсары!». Где бы он ни побывал, отовсюду приходят хорошие отзывы: какой умный и образованный собеседник, блестящий оратор, искусный пропагандист, тонкий мастер; вот что значит советская национальная политика — киргизский народ, не имевший до революции письменности, вырастил столь крупного современного художника и общественного деятеля.

Более близкое знакомство писателей Азии и Африки с такими тесно связанными со многими странами обоих континентов представителями многонациональной советской литературы, как Чингиз Айтматов, С. С. Смирнов, Афанасий Салынский, Расул Гамзатов, Евгений Долматовский, Анатолий Софронов, Кайсын Куляев, Мустай Карим, Алим Кешоков, Давид Кугультинов, Габит Мусрепов, Берды Кербабаяев и другие, на мой взгляд, важно не только с профессиональной точки зрения. Оно много дает непосредственно в человеческом отношении, наглядно демонстрируя духовный рост, нравственные возможности художника — деятельного участника общегосударственной жизни, близкого к народу, активного в своем служении народу и в то же время очень серьезно заботящегося о литературном мастерстве.

Активность художника — гражданская и эстетическая — вот то качество, которое во многом решит судьбу новой культуры Азии и Африки.

Решит в самом широком смысле слова. Как пишут и рассказывают сами афро-азиатские писатели, им приходится задумываться об определенной нравственной и психологической перестройке. Ведь в некоторых странах после боевого штурма на-

чался период будничной, повседневной работы. Это период внутренне очень содержательный, ибо разворачивается многообразная деятельность по совершенствованию социально-политических отношений, развитию экономики и культуры. Но это и очень нелегкий период, ибо возникают новые и новые трудности, которые не преодолеть мгновенно — одним усилием, одним рывком, нужна долгая, упорная, целенаправленная работа, выдержка, неиссякающая энергия. Нужно твердо определиться в этой обстановке, не потеряв перспектив, не поддавшись настроениям усталости и скептицизма. И это не так-то просто и для вчерашних партизан и для молодежи — «первого свободного поколения», остро ощущающего на себе все социальные сдвиги, но не прошедшего школу антиколониальной борьбы, закаляющей характеры.

Вопрос о том, как понять и отобразить такого рода внутреннюю перестройку целых слоев общества, неоднократно возникал и в публичных дискуссиях, и в кулуарных беседах с нашими африканскими друзьями — Алексом Ла Гумой, Джоном Кларком, Жаном Бриером, Бернаром Дадье и другими. И всегда они жадно расспрашивали о советском опыте. Слово бы совсем другие исторические, географические, национальные условия, но выясняется, что на повороте истории проявляются закономерности, которые безразличны и тем, кого от нас отделяют тысячи километров.

Одна из предпосылок наших побед — понимание задач, которые выдвигает век революции. История убеждает: и в нашей и в других странах народы переживают не краткий миг, а целую эпоху бурных социальных преобразований. Революции начинают их — дальше предстоит решать еще много сложных проблем. Осуществлять эти преобразования могут те люди, которые способны не только на мгновенный порыв, но и на героическую, настойчивую работу, становящуюся уделом поколений.

Имея в виду участие литературы в воспитании нового человека, важно учитывать ее умение прививать людям это чувство исторической перспективы. В основе нашего мировосприятия лежит представление о людях труда как истинных героях и творцах нового мира. Еще в 1900 году Ленин указывал на необходимость «подготавливать людей, посвящающих революции не одни только свободные вечера, а всю свою жизнь...». А в годы советской власти

он писал, что задача строительства коммунизма труднее, чем прямая атака против капитализма, ибо эта задача «ни в коем случае не может быть решена героизмом отдельного порыва, а требует самого длительного, самого упорного, самого трудного героизма массовой и будничной работы».

Именно такой героизм увидел и воспел Горький в революционных пролетариях — героях «Мещан», «Матери». Изображенный уже в романе «Жизнь Клима Самгина» большевик Степан Кутузов выражал твердое убеждение, что «революционеры от скуки жизни, из удалства, из романтизма, по евангелию, все это — плохой порох». Они «герои на час», с ними «надобно проститься, потому что необходим героизм на всю жизнь, героизм чернорабочего, мастерового революции».

«Героизм на всю жизнь» — большой смысл вложен в эти слова. Горький нашел «формулу» жизнедеятельности для человека XX столетия — активного борца, неутомимого строителя. Те, кто готов перестраивать мир на новых началах, воспринимают такой героизм как высшую нравственную добродетель. Конечно, она недоступна серенькому обывателю, думающему лишь о своем покое. Конечно, это не идеал для р-р-революционера, готового ради анархистских своих планов взорвать земной шар. Настоящий же революционер, избравший дорогу самоотверженного служения людям, найдет в горьковском афоризме нечто созвучное собственному мировосприятию.

В этом нас убедили встречи с теми писателями, кто сознательно избрал путь борьбы за свободу и независимость родины.

«Интернационал» в далеком Кейптауне

С одним из них доводилось встречаться в самых разных концах земли. Известный южноафриканский писатель Алекс Ла Гума был гостем наших Четвертого и Пятого писательских съездов, участником Ташкентского симпозиума. В канун Четвертой конференции писателей Азии и Африки мы виделись с ним в Лондоне, куда забросила его судьба изгнанника с родины, эмигранта. А спустя несколько месяцев в Дели мы поздравляли его с получением премии «Лотос».

Эта только что учрежденная тогда Ассоциацией писателей стран Азии и Африки премия увенчала самых достойных: То Хо-ая, Махмуда Дервиша, Агостино Нето,

Эульфию, Хариваншрая Баччана и других Алекс Ла Гума завоевал ее своими отличными, глубоко прогрессивными книгами, всей своей жизнью — нелегкой, но славной жизнью борца за свободу трудовой Африки.

За каждым произведением Алекса Ла Гумы — сегодняшняя действительность Южной Африки.

Книги Алекса Ла Гумы — о невыносимом положении африканца в его родной стране, поработенной белыми захватчиками, расистами. Повесть «Скитания в ночи» — как крик отчаяния. «Цветных» избивают и убивают по первому подозрению в несовершенных преступлениях. Спаивают и развращают, втягивая в порожденный Западом гангстеризм. Держат в Шестом районе — гетто — как в концлагере, откуда нет освобождения. Душевная опустошенность — вот что всего страшнее для людей, она обрекает их на вечное рабство.

Но книги Алекса Ла Гумы говорят: все равно не умрет человеческая душа, не будет вечным рабство. Тяжкая доля африканцев описана также в повести «И нитка, второе скрученная...». Жалкие лачуги в столь же жалких нищенских трущобах на окраине южноафриканской столицы. Тщетная борьба африканцев с нуждой и несправедливостью. Отчаяние слабых, доводящее до бессмысленных драк, пьянства, даже убийств. Хроническая безработица. Полицейские облавы. Издевательство со стороны белых расистов. Характерна уже стилистика романа: «И над всем этим висел плотный тяжелый запах плесени...», «Это труп улицы, которая давным-давно умерла...». Словом, все разительно напоминает картины, нарисованные в повести «Скитания в ночи». Но здесь в центре внимания автора люди, которых не сломила та чудовищная система, что обездоливает «цветных», опустошает их души. Такие, как Чарли Паулс, сохраняют чувство достоинства, человеческую гордость, надежду на лучшее будущее. Он не позволяет сломить себя нищете, дает отпор деклассированным элементам, расправляется с оскорбившим его полицейским. А главное, Чарли помнит: есть другая жизнь и другие люди. Он с восхищением рассказывает о своей встрече с рабочим-агитатором, который призывал бедняков объединяться, ибо всего прочнее нитка, скрученная второе. Агитатор говорил, что «человеку не справиться одному, людям надо быть вместе». Многие передумав и переосмыслив. Чарли начинает по-

иному смотреть на жизнь. Психологически обоснована стилистика заключительных глав романа. На свалке, с изумлением замечает герой романа, вдруг выросла гвоздика — алая, «как кровь и жизнь, как надежда, расцветшая в исстрадавшемся сердце». Чарли привык к унылой, дождливой улице, но когда «еще раз взглянул вверх, он увидел, к своему изумлению, птицу, которая поднялась над цветными лоскутами крыш и взмыла высоко-высоко в небо».

С образом рабочего-агитатора читатели вновь встретились в романе Ла Гумы «Каменная страна». Это политический заключенный Джордж Адамс. В тюрьме вокруг него — отбросы уголовного мира, насильники, воры, убийцы. Но и тут он оказывается настоящим человеком. Заставляет администрацию считаться с собой, соблюдать установленные порядки, скудные права заключенных. Проявляет участие к несчастным, кого нечеловеческие условия привели к падению, прививает им чувство солидарности. Не поддается произволу, который устанавливают вожаки преступных шайк. Тюремные стены — не препятствие для убежденного пропагандиста. Джордж Адамс продолжает обличать апартеид, низость и подлость буржуазного, расистского правительства. Прекрасен облик нравственно чистого, негибкого борца, велика взрывчатая сила призывов к политической активности и человеческому единению!

О страшной пропасти, в которой оказываются угнетенные и обездоленные, написано немало романов и повестей из жизни африканцев. В числе персонажей — благородные люди, мечтавшие о свете, равнявшиеся к нему, но не нашедшие верной дороги или лишённые воли, чтобы твердо идти к цели, отбросив сомнения, преодолев душевную пассивность. Герои Алекса Ла Гумы — из разновидности людей другого склада, готовых и способных бороться до конца. О том, что подготовило таких, как Джордж Адамс, к их жизненному подвигу, — рассказ «Портрет в гостиной». В доме героя рассказа висит портрет Ленина. Портрет привез из России его отец, профсоюзный деятель, и подарил сыну в день свадьбы. В Кейптауне портрет Ленина напоминал о Советской России, звал к борьбе и победам. Идеи Ленина вдохновляли эту трудовую семью. Когда сын, тоже ставший революционером, вынужден был эмигрировать с родины, он взял с собой эту самую дорогую реликвию.

Такой же портрет висит в комнате самого Алекса Ла Гумы. Писатель родился в том самом Кейптауне, в котором происходит действие большинства его книг, в семье одного из основателей Южно-Африканской компартии Джимми Ла Гумы. Джимми Ла Гума ездил в Москву на конгресс Коминтерна, оттуда он привез портрет Ленина. Юноша пошел по стопам отца, вступил в комсомол, затем в коммунистическую партию, деятельно включился в борьбу с расистским режимом в ЮАР. Начал работать в прогрессивных органах печати, в организации коммунистической молодежи, в профсоюзах. Столкновения с полицией, аресты, судебные преследования... Тюремные порядки, описанные в «Каменной стране», Алекс Ла Гума испытал на себе.

Однажды проснувшись утром в тюремной камере, Алекс Ла Гума бросил взгляд на стену, где черточками обозначал каждый прожитый день. Его самодельный календарь напомнил: сегодня 7 ноября. Так ведь это славная годовщина Октябрьской революции! Надо отметить ее, надо выразить как-то свои чувства, чем-то укрепить свой дух. Узник бросился к окну, приткнулся к решетке и громко зашел «Интернационал». Не прошло и минуты — звуки пролетарского гимна раздались из другого крыла здания, где было расположено жезловое отделение. Алекс узнал голос — песню подхватила его жена Бланш. Через некоторое время «Интернационал» пела вся тюрьма. Кейптаун услышал великий пролетарский гимн.

А с Бланш они не впервые сидели в одной тюрьме. Оба избрали путь борьбы и разделили многие испытания и преследования. В течение пяти лет Алекс Ла Гума находился под домашним арестом, он никуда не мог выходить из своей квартиры, посетители к нему не допускались. Расисты делали все, чтобы сломить дух патриота, они запретили даже упоминать его имя в печати, не говоря уже о публикации произведений. Своим убеждениям писатель не изменил, преследователям не покорился — им осталось выслать его из страны.

Лондон встретил неприветливо; чтобы семья смогла прожить, Бланш устроилась медсестрой в госпиталь, Алекс поступил бухгалтером в одну английскую фирму. Присуждение премии «Лотос» принесло ему мировую известность, общественное признание, позволило заняться творческим трудом.

Последний раз мы виделись с Алексом Ла Гумой осенью 1972 года, когда он воз-

вращался из Чили с заседания сессии Президиума Всемирного Совета Мира. Энергичный, веселый, Алекс охотно делился впечатлениями о поездке, о творческих планах. Новую его повесть «В конце сезона туманов» опубликовал журнал «Иностранная литература».

Эта повесть характерна для творчества Алекса Ла Гумы. На ее страницах описаны бедственное положение цветного населения ЮАР, зверства палачей. И еще глубже, чем прежде, раскрыты образы организаторов освободительной борьбы. Главные герои повествования — руководители подпольных групп Бейкс и Текване. Текване попал в руки секретной полиции, его подвергли зверским пыткам, но не смогли сделать предателем. Бейкс ускользнул от полицейских ищеек, продолжает борьбу, и она становится все более ожесточенной; по городу распространяются листовки с призывами бастовать, не мириться с произволом, на севере страны начинают действовать партизаны. Борьба трудна, потери ощутимы, риск огромен — об этом автор не умалчивает. Но основной лейтмотив книги — оптимистическая вера в победу борцов, революционеров.

— Без веры жить нельзя, — говорит Алекс Ла Гума. — А эту веру нам дает дело коммунизма, великий пример вашей замечательной социалистической страны. С семнадцатого года ваша революция вдохновляет весь мир. Ваша литература учит жить и бороться, учит стойкому героизму. Такой героизм присущ многим участникам нашего движения, они скромно и самоотверженно ведут повседневную трудную работу, и мы очень ценим их деятельность. Такой тип героизма впервые показал в своих книгах еще Горький.

Алекс Ла Гума не просто приверженец избранной Горьким литературной манеры. Южноафриканского писателя с основоположником советской литературы роднит единство мироощущения, подхода к современной эпохе. Взлет птицы, которую заметил на городской окраине Чарли Паулс, возвещал не только единичный порыв несломленного духа. Упорная и неутомимая деятельность подпольщиков — персонажей последних произведений Алекса Ла Гумы — сближает их с «героями на всю жизнь», изображенными Горьким. К такой, самой надежной, когорте борцов принадлежит и сам Алекс Ла Гума. В нем удивительно соединяются внешне спокойствие и мяг-

кость с напором душевной энергии. Он может сымпровизировать пламенную речь, мгновенно кинуться в острый идеологический бой, вступить в дискуссию. И он же органично включится в раздумчивую беседу, начнет изучать различные варианты предстоящих действий, рассчитывать имеющиеся возможности, взвешивать плюсы и минусы, будет, готова встречающееся наступление, изыскивать резервы «на всякий случай».

Нет, очень примитивно представлять африканца человеком, находящимся во власти бурного темперамента, отвергающим рационалистическое начало. Лучшие сыны своего народа отвергают другое — те качества, которые стремились прививать им колонизаторы, «отучая» порабощенных от активного действия, от личной ответственности за общенародные интересы. Именно проблема воспитания в массах политической, моральной активности стоит перед теми, кто, подобно Алексу Ла Гуме, ведет вперед свои народы.

Решение этой проблемы дается не всем, и дается не без труда, — слышали мы не раз, особенно во время поездки в Африку.

Только спустя несколько дней стал понятен смысл шутки, которой встретил нас в Найроби один из кенийских писателей... В столице Кении не было той жары, которую ожидаешь, направляясь в Африку. Объяснение простое — более двух тысяч метров над уровнем моря. Воздух сухой, прозрачный, правда сильно разреженный, и дышится в Найроби довольно трудно. Географический фактор наш собеседник полусерьезно связал с общественно-политическим и моральным:

— Слишком высоко мы живем, вот и попробуй быть активным, энергичным! — И уже всерьез добавил: — А эти качества так нужны, ведь независимость надо обеспечить практически. Быть пассивным значит проиграть. Многого мы добились, но еще столько сложностей, нерешенных проблем!..

Экономические, политические проблемы — и нравственные качества людей. То и другое, вскоре убедились мы, непосредственно связано и тут, причем связано особыми, очень своеобразными нитями.

Сказки у костра. Печатный станок. Экран телевизора

Да, много, слишком много сложнейших проблем поставила действительность перед этой молодой африканской республикой.

Не столько даже новых, сколько проблем, уходящих корнями в колониальное прошлое, в коварную политику англичан.

Как известно, еще в 1963 году англичане вынуждены были покинуть Кению. В то и дело, говорят здесь, что они ушли, но они и остались. Страна освобождена, проведены реформы. Но иностранный капитал стремится сохранить командные позиции в важных областях экономики, политики. Изрядная толика правды содержится в циничном признании, которое сделал бывший чиновник английской колониальной администрации: «Из маленькой клетки мы выпустили птичку в большую клетку. Улететь от нас она все равно не сможет. Экономические связи своих бывших колоний мы контролируем прочно, наше политическое влияние остается сильным. В то же время мы избавились от административных забот по управлению. Резко сократились наши финансовые расходы».

Со своей собственностью «недоизгнанные» колонизаторы расставаться не любят.

Богата и красива кенийская земля. Слева и справа от дороги — бесконечная плодородная саванна. На ней пасутся стада антилоп, бродят жирафы, зебры, страусы; если где-нибудь встретите скопление машин, знайте, что в этом месте туристы обнаружили льва; царь зверей лениво дремлет на солнышке, а вокруг него столпились «джипы» и микроавтобусы, из окон щелкают фотоаппараты. На шоссе нередко выходят слоны, и тогда движение останавливается на час, два, три. (В скобках приведу одну цифру: в стране с десятиллионным населением около двенадцати миллионов диких зверей.)

Кончается саванна — начинаются покрытые лесами горы, воистину «зеленые холмы Африки». На склонах — плантации чая, кофе, сизаля, пиретрума, они могут давать богатейшие урожаи. Но когда мы говорим об этом богатстве, о просторах страны, нам показывают на изгородь из колючей проволоки, она тянется по обе стороны дороги на сотни и сотни миль. Окрестные земли принадлежат англичанам; свою собственную территорию после ее освобождения африканцы должны выкупать.

Дело не только в незавершенности аграрной реформы — значительная часть экономики в руках иностранцев. Последствия самые неблагоприятные для национальной промышленности, она развивается гораздо медленнее, чем требуют нужды страны. Рост некоторых областей искусственно заторма-

живается. У государства убыточный бюджет. Не хватает валюты. Растут цены на товары первой необходимости. На дверях предприятий и учреждений таблички с надписью: «Хакуна кази» («Работы нет»). Безработица — страшный бич Кении.

После завоевания независимости к власти пришло национальное правительство, и это серьезный фактор в развитии страны. Преодолевая препятствия, промышленное производство повемногу набирает силы. Осуществляются меры по упорядочению землепользования, по замене европейских чиновников кенийцами. Усиливается борьба с неграмотностью. Но за коренной подъем национальной экономики еще предстоит бороться — эту мысль повторяли нам постоянно. И связывали с другой — с духовным раскрепощением народа, с реформой всей системы образования, с перестройкой идеологической работы, печати, радиовещания, литературного дела.

Так бывает всюду: писатели, поэты, взятые гуманитарии, рассуждая о сегодняшнем и завтрашнем дне своей страны, об идеологии, культуре, нравственности, начинают подробно рассматривать экономические и политические проблемы. Какие там нынче «башни из слоновой кости» — молодым деятелям молодых государств надо знать всю подноготную социально-хозяйственных отношений современности! Но если это люди широко мыслящие, они обязательно думают о пропаганде своих планов и убеждений. В Найроби беседы о проблемах экономики, о так называемом курсе «кенизации» — замене старого управленческого аппарата национальными кадрами — перерастали в обсуждение других вопросов: коренная перестройка системы образования, организация издательств и печатных органов, которые покончили бы с идеологической монополией англичан. Радостно было услышать о первых шагах к ликвидации этой монополии. Сейчас радио и телевидение принадлежат государству, появились газеты и журналы на языке суахили. «Бюро восточноафриканских литератур» ежегодно издает 40—45 книг на языках народов, населяющих Кению. Статьи, именно оно выпустило первую книгу советского писателя на суахили — повесть «Прощай, Гюльсары!».

В этих беседах не могла быть обойдена тема межплеменных отношений, столь жгучая для Африки. Очень много интересного мы услышали в доме писательницы Грейс Огот.

Грейс Огот — африканская интеллигентка новой формации. Она избрала очень деятельную жизнь. Окончив среднюю школу, поступила на курсы медсестер. Жила в Англии — работала в больнице, на радиовещании, в авиакомпании. После замужества вернулась в Кению. Ведет большой дом, всегда заполненный родственниками из деревни, воспитывает детей, занимается литературой (дебютировала она в 1966 году романом «Земля обетованная»). Красивая, умная, энергичная, Грейс Огот все успевает, никогда не устает.

Вместе с Юрием Нагибиным и Виктором Рамзесом — членами делегации Союза писателей СССР — мы провели в этом гостеприимном доме целый вечер. Здесь сочетаются национальный и европейский вкусы. Во дворе построена кенийская хижина, что-то вроде сторожки, а рядом припарковался «мерседес». В просторном холле — мягкие удобные кресла, сервант с красивой посудой, а на полу африканские барабаны, употребляемые вместо журнальных столиков. Грейс Огот готовит чай, что-то внушает каждому из четырех своих детей, поочередно приходящих пожелать спокойной ночи, устраивает поудобнее только что приехавшего с работы мужа, занимается нас беседой, умело затевает дискуссию о предназначении художественного творчества.

То ли мы слишком прямолинейно поставили вопрос о гражданственности творчества, то ли остроумная наша хозяйка вообще любит зпатировать слушателей, но ее ответы вначале не могли не удивить: так не вязались они с тем, что мы знали о Грейс Огот. (Эту беседу я воспроизвожу в записи Юрия Нагибина, подробно и точно.)

— У меня была бабушка, — сказала Грейс, — очень, очень старая, очень добрая. Она собирала своих внучат у костра и рассказывала им сказки, прелестные, наивные, захватывающие сказки нашего племени. Вы полагаете, бабушка сильно задумывалась над тем, служит ли она обществу? Она просто старалась, чтоб внучатам не было скучно. Вот и я, как моя бабушка, болтаю у костра, и, надеюсь, не очень скучно.

Слово немедленно взял муж Грейс Огот, профессор истории:

— Когда ты писала рассказ о гибели Тома Мбойи, ты тоже просто болтала у костра?

Том Мбойя, один из политических деятелей Кении, был застрелен в центре города, убийцы остались неизвестными.

— Мне было смертельно жаль Тома, и я ненавидела его убийц,— сказала Грейс Огот.

— Да, и люди плакали, читая твой рассказ. Значит, его эмоциональный заряд имел общественный характер, не правда ли?

— Боже мой, какой ты умный, просто сил нет! Слушайте,— обратилась Грейс к нам,— вы много ездите по свету, найдите мне дурака, прошу вас!

В особой последовательности нашу собеседницу не упрекнешь. Сперва она утверждала, что труд писателя подобен пению птицы: поет он беззаботно, по-своему, поет тогда, когда осенит вдохновение. А потом сама провергла эту мысль: замечательно, если песня нужна, доходит до народа, получает отклик в сердцах читателей. Что-то очень важное Грейс Огот еще не решается четко сформулировать для самой себя. Но такой отклик в народе она воспринимает как высшую оценку собственного творчества.

Забегая вперед, упомянем, что Грейс Огот летом 1971 года по нашему приглашению приезжала в Советский Союз на пушкинский праздник поэзии, где всегда бывает немало иностранных гостей. На митингах в Пскове и Михайловском она взволнованно говорила об интересе советского народа к поэзии, заставляющем художника проникнуться чувством своей ответственности за все написанное и сказанное. На Пискаревском кладбище читала дневник ленинградской школьницы и пообещала рассказать кенийским читателям о подвиге города-героя.

— Никогда и нигде,— заявила писательница,— не должна повториться трагедия маленькой русской девочки.

Нет, не просто о том, чтобы развлекать собравшихся у костра слушателей, думает внучка старой сказочницы! Ее мысли заняты судьбами родного народа — видных деятелей и рядовых тружеников, мужчин и женщин. Задаем трафаретный вопрос:

— Какое из ваших произведений дороже всего для вас лично?

— Наверное, «Элизабет».

Красноречивое признание. Рассказ «Элизабет» — о судьбе молодой секретарши, со-вращенной своим шефом и покончившей самоубийством,— получил широкий резонанс в стране, вызвал дискуссию о положении женщин в кенийском обществе. Действие его развивается в очень современной обстановке: большой город, солидное учреждение, европеизированные отношения.

Но, может быть, это типично городской сюжет, а в далекой лесной деревне, где по-прежнему слушают у костра стародавние сказки, подобные коллизии никого не волнуют? Нет, совсем не так. В другом рассказе Грейс Огот сельские колдуны и вожди собирались принести девушку в жертву богам, чтобы они послали долгожданный дождь. Наперекор вековым обычаям девушка и ее возлюбленный ослушались старейшин и спаслись бегством («В ожидании дождя»). Это оптимистический выход из противоречий, восходящих к стародавним нравам. Писательница рассказала и о цепкой силе этих нравов, с которой еще не совладать даже активным натурам.

Мечтой о тех самых угодьях, с которых кенийцы намерены окончательно изгнать англичан, живут герои романа «Земля обетованная». Молодая чета бросает родные места и переезжает на побережье озера Танганьика, где можно бесплатно получить надел плодородной земли. Все верно: и земля богатейшая, и климат мягкий, и труд легче. Но социальные противоречия остаются, они дополняются и обостряются племенной рознью. Пришельцев встречают настроенно. Богатеи подогревают ненависть к ним. Глава семьи становится жертвой наговора местного колдуна. Он борется, ищет выхода, но все напрасно — обетованную землю приходится покинуть. Надежды на счастье развеялись как дым..

Эмоционально написанное, трагически окрашенное произведение было сразу же замечено читателями и критикой. «Этот роман,— писала газета «Ист африкен стандарт»,— является важной вехой в развитии самобытной литературы в Восточной Африке. Он заслуживает высокой похвалы за ясность стиля и доходчивость. Книга как нельзя лучше передает атмосферу повседневной жизни в глухой африканской деревушке».

К этому надо добавить: роман включает нас в очень сложные межплеменные отношения, сложившиеся в Африке. Герой книги принадлежит к племени луо, второму по численности в стране (первое — кикуйю, чьи представители занимают большинство командных постов в государстве). Об отличительных чертах своего народа, его обычаях и традициях Грейс Огот рассказывала нам подробно и увлеченно. Эта тема очень близка и ее мужу. Бетуэлл — автор первой научной монографии о народе луо. История создания труда драматична и поэтична.

Драматична потому, что воскрешает перипетии жестоких испытаний, которые ждали автора. Университетское начальство поставило перед ним альтернативу: либо он оставит работу над монографией и тогда получит должность профессора, либо разрыв с университетом. Немолодой уже мужчина, на руках у которого большая семья, не мог не задуматься. Но тут произошло то, что дает право назвать эту историю поэтической. На чашу весов Грейс положила свою любовь, бескорыстие, самоотверженность. Роли переменились. Когда-то она, совсем еще юная, влюбилась в своего преподавателя и начала писать ему такие письма, что Бетуэлл уловил в их авторе художника и уговорил Грейс попробовать силы на литературном поприще. Он руководил женой во всем — и в творчестве, и в интеллектуальном развитии, и в семейной жизни. Прошли годы, Грейс стала рядом с ним, как верный и надежный друг, как литератор, общественный деятель. Угрозы университетского руководства вызвали у нее только возмущение. Не хотят, чтобы он завершил монографию? Думают диктовать свою волю? Как бы не так! «Ничего не бойся,— убеждала она мужа,— моя любовь с тобой, я пойду на любую работу, мы продержимся во что бы то ни стало, а ты должен и закончишь свою книгу».

Двое замечательных представителей молодой африканской интеллигенции победили. Бетуэлл выпустил капитальный труд по истории луо, заставил признать свои научные заслуги; ныне он вице-президент Найробийского университета. Грейс с честью выдержала еще один экзамен в борьбе за свои принципы, за верность, за любовь.

А от своих принципов супруги Огот отступать не собираются. Беседа с нами, они решительно осуждали факты племенной вражды, пресловутую политику трэйбализма. Кстати, своей монографией профессор преследовал важные общественные цели: доказать, что до прихода англичан этой вражды в Кении не было, она — отвратительное наследие колонизаторов. В то же время ему абсолютно чужда националистическая чванливость. В этом доме, как и в некоторых других, мы слышали о перспективности общегосударственного языка. Это суахили. С предпочтением языка, на котором в Африке говорят десятки миллионов людей, согласен и Бетуэлл. По поводу лингвистической проблемы он вновь решился поспорить с женой:

— Ты, конечно, понимаешь, что наречие луо не может претендовать на всеобщность, и в то же время отвергаешь суахили. Надо быть выше этого. Язык также идеология. Мы должны учить детей на языке нашей земли, а не на языке угнетателей. Значит, и писатель должен говорить с народом на этом языке. У нас не так много книг, достойных того, чтобы их читали там, где не говорят на суахили. Но есть немало хороших книг местного значения. А выдающиеся произведения можно перевести и на английский, и на французский, и на какой угодно...

Литература — для народа. Язык. Идеология. Дружба и сотрудничество племен. О понятиях исключительной важности думают и говорят наши африканские друзья, пусть и не всегда точно трактуя их суть. Высказанное ими беспокойство относительно племенных взаимоотношений вполне понятно. Во скольких африканских странах вспыхивали инспирированные реакцией столкновения народов и племен, доходя порой до гражданской войны!

Находясь в Кении, нетрудно убедиться, что и здесь племенная проблема является одной из самых острых. В стране около 50 племен, зачастую не умеющих объясниться друг с другом, зато ведущих многолетний счет взаимных обид, всячески подогревавшийся англичанами. Сегодняшние их отношения тоже нельзя считать вполне отрегулированными. Об этом нам опять-таки рассказывали в писательском доме, теперь на импровизированной вечеринке у Кариары.

В скромном домишке на вершине горы, куда почти не доносится шум города, собрались писатели и студенты, мелкие чиновники и издатели, журналист, парламентарий. Разговаривали, расположившись на диване, стульях и прямо на полу. Молодежь танцевала — скромно, изгибно, с чувством собственного достоинства. К Юрию Нагибину подсел директор издательства, а мы с Виктором Рамзесом оказались в компании студентов. Они из различных племен, но за годы учебы подружились и являются сторонниками общенационального единства.

— Мы против того, чтобы разделять народы,— заявил один из юношей.— Каждый народ достоин уважения. Из числа кикую выдвинулось много талантливых организаторов, администраторов, и это очень хорошо. Луо тоже умные, способные люди О

масаях сложены легенды как о смелых и мужественных охотниках и воинах. Все оружие масая — небольшое копье, а он справится с любым зверем. Даже лев, издали почуяв масая, убегает со всех ног в заросли... Все мы должны жить в мире и согласии — это понятно. Плохо, что не всем понятно. Находятся люди, кому выгодно ссорить племена.

— Ну куда это годится, — подает реплику другой студент, — когда какой-нибудь высокопоставленный господин двигает на важные посты лишь тех, кто из его племени. Родственники больших и маленьких начальников хлынули в Найроби. Походите по городу — вы увидите, что ими битком набиты дома на окраинах.

Похоже, что студенты не преувеличивают. Очень привлекательна столица Кении. В центре — самые что ни на есть современные здания, многоэтажные отели с кондиционированным воздухом и плавательными бассейнами, роскошные магазины, зеленые парки, сады. Зато окраинные районы — тесные, грязные, нищие трущобы. Хижины действительно переполнены мужчинами, женщинами, детьми; как сообщают газеты, население Найроби стремительно растет за счет приезжих, не имеющих ни работы, ни своего угла, но считающих на протекцию соплеменников.

В большом бизнесе и в бытовых делах — во всем причудливо переплетается старое и новое, модерн и мифы. В горной деревне нам попалось шествие раскрашенных с ног до головы женщин, под барабанную дробь они хором повторяют однообразный мотив. Ритуальная песня? Ничего подобного — куплеты, восхваляющие кандидата в депутаты парламента. Во всех газетах найдете отчеты о футбольном матче с профессиональным анализом хода игры. А иногда прочтете и о том, что хозяйка команды истратила тысячи фунтов на оплату услуг знахарей и колдунов, призванных «обеспечить» победу.

В сфере идеологии реальную опасность представляет как космополитизм, так и националистические, расовые теории. Спекулируя на тяге народа к самобытности, проповедники этих теорий требуют сохранения и развития единой «африканской культуры», «культурного панафриканизма». Это способ уйти от социальных противоречий современности в некую идеализированную негритянскую цивилизацию. В противовес всему

европейскому, якобы обязательно растленному независимо от классовой сущности, сухо-рациональному, безжизненному, африканский «культурный национализм» объявляется синонимом духовных и художественных начал.

Во многих странах советские писатели сталкивались с проблемой национального самоопределения бывших колоний. Убеждались, что в среде африканской интеллигенции все больше людей, которые трезво и критично оценивают сложную обстановку, резко осуждают и тех, кто мешает независимости страны, и тех, кто тащит ее в болото расизма. Сегодняшняя Африка в поисках. Не будем говорить о странах, ставших оплотом реакции. Радуется, что ряд молодых государств континента встал на социалистический путь развития. Другие напряженно размышляют о выборе своего дальнейшего пути, считают недопустимой политику изоляционизма. И в том и в другом случае приходится делать выбор и деятелям литературы и искусства. Они все больше осознают вред националистических предрассудков.

Не думая о настоящем и будущем страны, невозможно заниматься художественным трудом — так можно суммировать услышанное нами от кенийских писателей. Их пока немного, 18—20 человек, и настроены они не слишком радушно. Ничего удивительного: издательства и журналы за редким исключением контролируются англичанами, тиражи книг незначительные, гонорары низкие. Но прогрессивно настроенные литераторы помнят о своей роли в общественной жизни, они энергично заявляют о значительности национальной кенийской литературы. Еще не так давно на Западе отрицали ее существование. Теперь несколько произведений включено в университетские курсы.

С большим интересом осматривали мы Найробийский университет. Девять или десять красивых многоэтажных зданий. Удобные светлые аудитории. Отличные библиотеки. Уютные холлы. А кто тут учится и преподает? Читается ли курс литературы, в том числе кенийской?

На историко-филологическом факультете застаем двух профессоров. Своеобразные типы! Один уроженец Новой Зеландии. Сюда его привел, как признает он сам, «комплекс вины». Ведь его предки англичане так долго были колонизаторами, на их совести столько всякого! Надо хоть чем-то искупить

содеянное, и он решил заняться обучением африканцев. Вот уже четыре года преподает в Найроби зарубежную литературу, читает курс лекций о Шекспире. Его коллега приехал из ЮАР, руководствуясь, по его утверждению, либеральными соображениями.

От профессоров мы кое-что узнаем об университете. Да, отделение литературы в нем существует. Литературу изучают около ста студентов. Курс трехлетний. Факультативно в течение семестра преподается русская литература. Лекции по зарубежной читаются все три года. Теперь прибавился и курс африканской литературы. В этом курсе с недавнего времени представлены кенийские писатели. Некоторых из них профессора считают достойными всемирного признания, прежде всего Джеймса Нгути:

— Это большой мастер реалистического, психологически емкого повествования.

Оценка ничуть не завышенная. Прочитай-те роман Джеймса Нгути «Пшеничное зерно» (он вышел на русском языке) — и вы убедитесь в творческой зрелости кенийской литературы. Он рассказывает о первых днях обретенной страной свободы. Думая о том, как строить теперь свою жизнь, герои романа не могут отделать ее от предшествующего времени — от материального и духовного наследия колонизаторов, заметного повсюду, от тяжелого периода, когда было введено чрезвычайное положение и вожди народа брошены в тюрьму, от нескольких лет войны в джунглях в рядах партизанского движения «маумау». Это время закалило одних и сломило других. И теперь каждому приходится подводить итог и определять дальнейшую свою дорогу. О том, что происходит в смятенном сознании африканца, — книга Джеймса Нгути.

Сюжет ее несложен, но изобилует психологически заостренными ситуациями. Преуспевающий Муго, о боевых подвигах которого ходят легенды, полон мучительных переживаний: некогда он выдал партизанского командира Кихику. Не из-за корысти или трусости. Это был результат уродливого воспитания, которое он получил в молодости, растлевающего воздействия колонизаторской идеологии, особенно религиозных догм, привитых миссионерами целым поколениям «черных братьев». Муго мечтал быть борцом, ставил себе за образец библейского героя Моисея, а в кровь его незаметно и прочно входил яд миссионерских поучений: созерцательность, пассивность,

непротивление злу. Ушли мечты о роли народного вождя, остались муки совести, пришла страсть искупления вины — о своем преступлении Муго громко заявляет на празднике Свободы, где ему поручили выступить с речью о Кихике.

Очень своеобразна художественная структура романа. В нем много ярких и точных зарисовок племенного быта, африканских обычаев. И тут же, сплетаясь с ними, описание противоречивого духовного состояния героев. Поток сознания — этот термин вполне подходит для характеристики стиля «Пшеничного зерна». О стиле романа можно судить уже по первым его строкам.

«На душе у Муго было нехорошо. Он лежал на кровати навзничь, уставившись в потолок. С кровли свисали закопченные соломинки и папоротниковые листья, целясь ему в сердце. Прямо над головой дрожала прозрачная капля. Капля стала расти, чернеть от копоты и, удлиняясь, тянулась к нему. Он хотел зажмуриться, но веки не опускались. Попробовал пошевелить головой — ее словно приковали к изголовью. Капля росла, сейчас оборвется! Он решил спрятать лицо в ладони — руки не слушались. В отчаянии Муго собрал последние силы и проснулся. Но страх не исчез. Спросонья все чудилось, что ледяная капля вот-вот пронзит его насквозь».

Почему «тяжкий груз страхов, надежд и сомнений лежал на сердце Муго»? Потому что вчерашнее было рядом с ним — жители деревни судили о нем как о герое, бывшие партизаны продолжали искать предателя. А в душе все было по-прежнему неясно, порывы к новому причудливо соединялись с идеями, внушенными католичеством.

Роман не лишен ноток условного морализаторства, может быть, даже известной модернизации сознания африканца. Если это не относится к Муго, то образ другого героя произведения, Гиконьо, кажется внутренне двойственным. Он тоже оказался отступником, потому что страстно захотел вернуться из концлагеря домой, к любимой жене. Верность патриархальному покою, однако, не принесла ему даже семейного счастья: он узнал, что жена неверна ему. Понятно отчаяние, охватившее этого человека. Однако не назовешь правдоподобной его «философскую» эволюцию — Гиконьо «смаковал» «внезапно осенившую его мысль», которая казалась ему «мрачным откровением»: «Человек одинок вечно, в жизни и смерти, — вот в чем высшая истина».

К счастью, не такова «высшая истина» в сознании других кенийцев, нарисованных в романе. Тот же Кихика, с юных лет проникший ненавистью к колонизаторам и выросший в сознательного борца, избрал своим девизом «активность, энергию, коллективизм». Или его друзья и помощники по партизанскому движению. Односельчане Муто — они всякие: и задавленные нуждой, и гордые, свободолюбивые; в их числе великолепно очерченные женские образы. Пути всех этих людей пересекаются с путями бывших колонизаторов и их приспешников. И перед нами оказывается очень пестрая, мозаичная и все же цельная картина страны на перепутье. Все стронулось с мест перепуталось, все сложно и противоречиво, но ведь то же самое происходит в жизни.

А автор, несомненно, видит дальше и глубже своих героев. Видный африканист из ГДР Иоахим Фибих писал в «Ваймарер байтреге», что Джеймс Нгути занимает более четкую позицию по сравнению с другим африканским писателем — Ачебе, гораздо глубже понимает роль масс. «Он представляет революционно-демократические силы интеллигенции, поддерживающей тесный контакт с крестьянскими массами и молодым рабочим классом. Это нашло свое художественное отражение и в его романе «Пшеничное зерно». Проникнутое глубоким пониманием критическое и диалектическое изображение весьма различных позиций и взглядов представителей борющегося народа является новым элементом в современной африканской литературе. Нгути показывает сложность и противоречивость обстановки, в которой развивается национально-политическая активность крестьян и ремесленников. Эта обстановка, если смотреть на нее исторически, совершила качественный переход от распадающихся родовых отношений к активной борьбе против империалистических колонизаторов».

Куда идти кенийцу, на какие моральные устои опираться? — об этом заставляет задуматься, уже на сугубо бытовом материале современности, другое произведение, также включенное в университетский курс, поэма Окота п'Битека «Жалоба, или Песнь Лавино». Большая сатирическая поэма привлекает неповторимостью национальной формы, остротой обличения персонажа — человека, забывшего обо всем родном в слепом подражании самым дурным нравам и обычаям белых.

С полемическим заострением высказывается автор о национальном чувстве и о космополитической опасности. Он предостерегает слово африканке, чей муж увлекся белой девушкой, пытается «европеизироваться» с помощью галстука, черных очков и белой сорочки. Африканка не просто ревнует. Она подвергает едким насмешкам все, что так нравится ее мужу и что совершенно чуждо духу и привычкам народа. Отвергает не только слепое обезьянничанье, но самую измену родному, африканскому.

Мой муж оплевывает черных,
как спятившая насадка,
ключущая собственные яйца,—
такую бы в котел отправить.

Героиня поэмы склонна принимать в се
в своем народе:

Обычаи предков твоих надежны,
привычки — прочны,
заветы — мудры.

Как видим, в литературе находят отзвук проблемы национального развития. Если Окот п'Битек переносит центр тяжести на чистоту прежних нравов, то некоторые другие поэты и прозаики выдвигают требования обновить традиции. Но так или иначе все писатели непременно касаются перемени в жизни: Джон Мванги (у нас вышел его автобиографический роман «Страна солнца»), драматург Ребекка Нджау, автор книг для детей Чэрити Вакиума, уже упоминавшаяся Грейс Огот и Джонатан Кариара.

Многое волнует наших африканских коллег, в особенности вопрос о месте литературы в обществе. Обаятельный собеседник, с мягкими манерами, чуть застенчивой улыбкой, Джонатан Кариара строгае, когда речь заходит об этом. Серьезны его цели, его вклад в общее дело заметен и весом. Одна из главных задач редактируемого Кариарой журнала «Зука» («Пробуждение») — спланировать передовых литераторов страны. А они, эти литераторы, должны сделать окончательный выбор. Или, как и при англичанах, быть причисленными к элите, пользоваться кое-какими привилегиями, получать стипендии для поездок в Англию, США, ФРГ... Или не бояться потерять привилегии ради того, чтобы жить интересами и нуждами трудовых масс. Эту дилемму поставила сама жизнь; не решив ее правильно, не станешь нужным родине! По мнению Кариары и его товарищей, главное, что нуж-

но сейчас, это активизировать сознание масс. Кариаре принадлежит приведенное выше полушутливое замечание, что слишком высоко расположена страна: воздух разреженный, вот и люди пассивны...

Однажды он взялся поставить национальную пьесу. И до чего же измучили элементарные организационные дела! Без многократных напоминаний исполнители не являлись на репетиции. Письма и телефонные звонки не всегда оказывали необходимое воздействие. Оставалось одно: самому объезжать всех поодиночке и доставлять в театральный зал.

— Нет, не подумайте, что попались плохие люди. Не привыкли они еще к ответственности, четкости, не говоря уж об инициативе. А как необходимы эти качества!

Не знаю, стугил или нет краски Кариара. Но слушая его, мы вспоминали о завете Горького другому народу — монголам. Великий пролетарский писатель советовал им развивать прежде всего общественную активность. Даже с учетом всех исторических, национальных и других различий горьковское пожелание (о нем ниже будет повод поговорить подробнее) сохраняет свой смысл и поныне, особенно для стран, недавно пробудившихся к деятельной современной жизни и борьбе.

Конечно же, пассивность не является некой национальной болезнью африканцев. Что касается чисто развлекательного содержания «бабушкиных сказок» народа луо, такую их трактовку опровергла сама Грейс. Ныне уже печатный станок, радиоприемник, экран телевизора помогают африканским писателям донести свои идеи до народа. Современные средства информации дают вторую жизнь и произведениям фольклора. Недавно была напечатана хранящаяся в занзибарском архиве сказка на языке суахили. Публикаторы резонно сопоставляют ее с горьковскими «Песней о Соколе» и «Песней о Буревестнике».

Человек отправился на охоту за птицами и поймал крохотного орленка. Дома Человек поместил его с выводком цыплят, давал ему тот же корм, что и цыплятам.

Прошло пять лет. Как-то забрел в те края Мудрец и увидел птицу. «Да ведь это же Орел, а не цыпленок!» — воскликнул он, на что хозяин Орла ответил: «Да, это Орел, но я приручил его. Теперь он для меня не Орел, а обыкновенный цыпленок, хотя размах его крыльев почти 15 футов». «Нет, — возразил Мудрец, — он все еще

Орел. У него сердце Орла. Потерпи немного, и я заставлю его взлететь в поднебесье». «Для него это невозможно, — сказал хозяин. — Сейчас он как курица, он не сможет летать». Хозяин и Мудрец решили проверить, кто из них прав. Мудрец взял Орла и сказал ему страстно: «Птица! Ты — Орел! Твой мир там, в поднебесье. Расправь крылья и леги!»

Но Орел огляделся, увидел, как цыплята клюют корм, и присоединился к их трапезе.

Так же получилось и при вторичной попытке. На третий раз Мудрец понес Орла на высокую гору. Здесь они встретили восход солнца.

«Мудрец взял Орла на руки и сказал ему: «Птица! Ты — Орел! Твой мир там, в поднебесье, а не здесь, внизу! Расправь свои могучие крылья и лети!» Орел огляделся и вдруг задрожал всем телом, но не взлетел. Тогда Мудрец заставил Орла взглянуть на восходящее светило. И вдруг могучие крылья стали расправляться. Орел стремительно взмыл ввысь, все больше и больше набирая высоту. Он никогда не вернулся назад, потому что всегда был Орлом, хотя его заточили в неволю и воспитали как цыпленка.

Друзья! Ведь мы тоже орлы, хотя некоторые считают нас цыплятами. Нет, мы не цыплята, мы — орлы. Так расправляйте свои могучие крылья! Не довольствуйтесь кормом цыплят!»

Гордитесь своим народом и любите его требовательной любовью, развивающей в народе все лучшее, передовое и отвергающей старое, косное, и значит быть патриотом в высшем значении этого слова. О такой национальной гордости говорил Ленин, обращаясь к русской нации и ссылаясь на Чернышевского, который не хотел видеть родной народ рабом. И очень симптоматично, что ныне на всех континентах гуманистические, а то и революционные критерии становятся основными для проверки и оценки творческих потенций культурного развития. Этой цели служат и книги советских писателей.

...Неизвестно, как реагировал король далекой азиатской страны на докладную записку министра-поэта о создании колхозов. Но идея кооперирования, как и многие другие наши начинания, завоевывает все больше последователей в разных концах мира. Во время поездки в Абердер (это миль сто от Найроби) нам показали созданный несколь-

ко лет назад сельскохозяйственный кооператив и сообщили, что его организаторы думали о советских колхозниках и советской культуре. Начали они с того, что перечитали «Поднятую целину» Михаила Шолохова. Как учебник жизни. Как художественную летопись народных свершений и побед.

Во Вьетнаме, например, несколько человек рассказывали нам о знаменитой «шолоховской операции». Дело было еще в годы борьбы с французскими оккупантами. Партизаны заполучили один экземпляр «Поднятой целины». Даже не книжки, а рукописи, сброшюрованной самодельным способом. Роман читали вечерами вслух, передавая от взвода к взводу. Потом был неудачный бой. В руки врагу попали штабные документы и книга Шолохова. В этот же день состоялся митинг, на котором было принято решение во что бы то ни стало отбить у врага книгу. В жестокой внезапной схватке бойцы наголову разгромили противника. Среди трофеев этой операции, получившей название «шолоховской», был и экземпляр «Поднятой целины».

Одно из самых ярких впечатлений о поездке в Индию — поэтический вечер, где группе писателей, в том числе Мирзо Турсунзаде, вручалась премия имени Неру. Советского поэта народ чествовал как своего любимца, национального героя. И так происходит во многих странах. Позволю себе воспроизвести рассказ Николая Тихонова об одной из поездок в Пакистан.

«Когда впервые наша делегация, представителем которой был и я, состоявшая из Софронова, Айбека и Мирзо Турсунзаде, на машине переехала границу Пакистана — глухое место в горах, — то нам навстречу вышел пожилой пакистанец, пограничный начальник. Он даже не спросил наши паспорта, а сказал:

— Приветствую на земле Пакистана великого советского поэта Мирзо Турсунзаде!

Потом он провел нас в свою прохладную комнату, хлопнул в ладоши, и нам принесли чай. Затем он хлопнул в ладоши еще раз, и нам принесли книгу известного пакистан-

ского поэта Икбала. Начальник и Мирзо Турсунзаде начали вслух читать стихи.

Это было редкое зрелище. Стихи открывали нам путь. Стихи звучали как высшее доверие человека человеку».

Прекрасно сказано! Стихи, литература открывают советским писателям путь к миллионам сердец честных людей во всем мире. Мирзо Турсунзаде — один из выдающихся деятелей афро-азиатского писательского движения. Проблемы «третьего мира» давно стали близкими и родными для него. Поэт начал изучать их еще в юности, жадно интересуясь легендами Индии, читая множество книг о Востоке. В 1947 году он приехал в Дели в качестве делегата Первой конференции стран Азии. А год спустя получил Государственную премию за созданный по впечатлениям поездки цикл стихов «Индийская баллада». «Я много работаю над темой Востока, — писал Мирзо Турсунзаде в автобиографии. — Она очень интересует меня, особенно теперь, в дни, когда народы Азии и Африки все уверенней становятся на путь освобождения от колониализма и один за другим отстаивают свою независимость».

Все, что можно сделать для борцов за независимость, таджикский поэт делает своими стихами, публицистикой, усилиями опытного организатора. Он является председателем Советского комитета солидарности стран Азии и Африки и членом бюро Советского комитета по связям с писателями стран Азии и Африки. Мирзо Турсунзаде ведет огромную работу и в нашей стране и за ее рубежами. В нем сочетается неукротимая энергия и мудрое спокойствие, зажигательный ораторский дар и искусство пропагандиста, умеющего доходчиво донести свои мысли до любой аудитории.

Но это относится не только к Мирзо Турсунзаде. Имена Николая Тихонова, Алексея Суркова тоже могут служить за границей своеобразным паролем: назовешь их — и сразу объявляются друзья обоих, и сразу открываются перед тобой двери, дружелюбно протягиваются навстречу руки. Так повсюду узнают друг друга борцы за глубоко народную, прогрессивную культуру.

(Окончание следует)



СЕРГЕЙ АНТОНОВ

★

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА...

(Рассказы о писателях, книгах и словах)

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ*

ИВАН БУНИН. «ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА»

Из всех читанных мною книг эта, пожалуй, самая печальная. Она пронизана грустью вся, начиная с первых, возвышенно-скорбных слов: «Вещи и дела, еще не написанные бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написанные же яко одушевленнии...» — и кончая пометой в самом конце: «1927—1929, 1933. Приморские Альпы».

Но если не считать этой щемящей душу пометы, грусть, которой веет со страниц «Жизни Арсеньева», какая-то особая, бунинская. Она покойна, даже приятна.

Внешний облик И. А. Бунина неуловим. Фотографии изображают разных, не похожих друг на друга людей. Но когда я читаю «Жизнь Арсеньева», то представляю не юношу в глухом сюртучке, напоминающего Шопена, не «маркиза Букишона» (как его в шутку прозвал Чехов) с парикмахерской бородкой, не тщательно выбритого господина с породистыми чертами белогвардейского офицера, не надменного туриста в английском пробковом шлеме, не нобелевского лауреата во фраке с официальным пластроном. Я вспоминаю один из последних снимков: пасмурной осенью где-то в Париже на садовой скамейке сидит сухощавый одинокий пенсионер и равнодушно смотрит на объектив.

«Жизнь Арсеньева» имеет подзаголовок

* Две первых статьи Сергея Антонова из этой серии были напечатаны в журнале в 1972 году: в № 10 («И. Тургенев. «Записки охотника») и в № 11 («Александр Грин. Рассказ «Возвращенный ад»).

«Юность». Книга начата с таким разбегом, что думаешь: не замышлял ли автор увековечить не только юность, но и всего себя, всю свою жизнь — и зрелые годы, и женитьбу, и писательское подвижничество, и бегство на чужбину — все вплоть до собственной смерти?

Роман написан от «я». Автор просит иметь в виду, что этот «я» не он сам, а некий Алеша Арсеньев, что читателю предлагается не автобиография, а художественное произведение и вымысел занимает в книге правомерное место. Тем не менее известно, что роман основан на точных автобиографических фактах. Все события вплоть до покупки ваксы имели место в действительности и произошли не с Алешей Арсеньевым, а с Ваней Буниным в последней трети прошлого века.

Эти сведения дают основание считать Алешу Арсеньева Буниным. Думаю, что читатель простит мне эту вольность. Сам Бунин при необходимости поступал так же. Упомянув «Детство» Льва Толстого, он писал: «Я говорю о той главе в «Детстве», которая называется «Горе»: это смерть матери Николаевки, то есть самого Левочки Толстого».

Стихи Бунина менее популярны, чем проза. Не увеличился к ним интерес и после восторженных цитаций в неожиданной книге Валентина Катаева «Грава забвенья». Но одна строчка из поэтического наследия Бунина известна каждому, кто

любит литературу. Строчку о том, что неплохо бы купить собаку, знают даже те, кто стихотворения не читал и не подозревает, о чем оно.

Стихотворение это написано в 1903 году и называется «Одиночество».

Среди чувств, обуревавших юного Бунина, одним из самых стойких было чувство глубокого одиночества. «Одиноким везде и всегда», — заявлял о себе в одном из стихотворений двадцатилетний Бунин. Через десять лет, в 1901 году, он подтверждал: «Я одинок и ныне — как всегда».

Одним из тяжелых симптомов одиночества было то, что Бунину, по-видимому, с большим трудом давался обыкновенный общедоступный дар простых смертных — дар доброжелательности, любви к людям. «Хотел бы я любить людей, и есть во мне любовь к человеку, но в отдельности, ты знаешь, я мало кого люблю»¹.

Если учесть, что эти строки адресованы жене через три месяца после свадьбы, то слова «мало кого люблю» вполне можно считать деликатной заменой «никого не люблю». Трудно понять «всеобщую» любовь к человечеству без любви к определенной личности. Так же трудно понять чувство к женщине, которое с каким-то нетерпеливым раздражением пытается растолковать Бунин в своих «Записях», касаясь отношений с В. Пащенко: «Так же внутренне одиноко, обособленно и незрело, вне всякого общества, жил я и в пору моей жизни с ней. Я по-прежнему чувствовал, что я чужой всем званиям и состояниям (равно как и всем женщинам: ведь это даже как бы и не люди, а какие-то совсем особые существа, живущие рядом с людьми, еще никогда никем точно не определенные, непонятные, хотя от начала веков люди только и делают, что думают о них). Я жил, на всех и на все смотря со стороны, до конца ни с кем не соединяясь, — даже с нею и с братом».

Одной этой выписки достаточно, чтобы увидеть, каким нелегким человеком был знаменитый писатель Бунин, как трудно было жить рядом с ним и почему от него бежали женщины, которым выпала доля его любить.

На формирование такого характера влияли, очевидно, и особенности душевной и те-

лесной восприимчивости писателя. Бунин отличался невероятно высокой нервной чувствительностью к окружающему миру, к вещам, к людям, к явлениям природы, к словам, к книгам... В молодости, по его утверждению, он видел все звезды Плеяд, за версту слышал свист сурка в степи, а обоняние было такое, что запах росистого лопуха он издали отличал от запаха сырой травы. Любая незначительная мелочь вроде остатков селедки на тарелке заставляла вибрировать тончайший нервно-чувственный аппарат писателя. Взгляд его против собственной воли впитывал человека целиком: «Вот я вчера долго шел по Болховской сзади широкоплечего, плотного полицейского пристава, не спуская глаз с его толстой спины и шинели, с икр в блестящих, крепко выпуклых голенищах: ах, как пожирал я эти голенища, их сапожный запах, сукно этой серой добротной шинели, пуговицы на ее хлястике и все это сильное сорокалетнее животное во всей его воинской сбрuele!»

Эта сверхъестественная возбудимость, чем-то сходная с состоянием наркотически-изнуряющего подъема, была, как водится в таких случаях, раньше, чем другими, замечена матерью Вани. Звериный слух и нюх любимого сына, его чуткость и чувствительность испугали ее. Часами простаивала Людмила Александровна на коленях по ночам перед иконами, молила бога поубавить дары, которыми он осыпал ее младшенького...

И если бы бог послушался, не было бы великого русского писателя Ивана Бунина, сумевшего простейшими сочетаниями простейших слов показать миллионам самых разных людей какого-нибудь золотисто-бархатного шмеля с большей яркостью, чем если бы они увидели этого шмеля собственными глазами. По обнаружению продуктивных возможностей родного языка, по умению выявить и использовать их Иван Бунин — писатель непревзойденный.

Появление этого человека на свет 10 октября 1870 года в старом воронежском доме было еще одним драгоценным подарком русской культуре от щедрой среднерусской земли.

Хладнокровно-уравновешенный гражданин вряд ли поймет, как изнурительна непрерывная работа души, обреченной откликаться на каждое едва заметное движение природы, и как трудно бывало Бунину столкнуться с собеседником, найти общие точки отношения к событию, к предмету, к слову. Его не понимала даже любимая.

¹ Здесь и дальше разрядка принадлежит цитируемым авторам. — С. А.

«Я страстно желал делиться с ней наслаждением своей наблюдательности, изощрением в этой наблюдательности, хотел заразить ее своим беспощадным отношением к окружающему и с отчаянием видел, что выходит нечто совершенно противоположное моему желанию сделать ее соучастницей своих чувств и мыслей».

В этих строках — закономерный парадокс. То самое свойство души, которое дало Бунину возможность точно и ярко передавать в печатной строке неуловимые оттенки ощущений, делать их понятными всем, само собой разумеющимся, — это свойство привело писателя к полному отъединению от людей в обычном, бытовом общении, к острым конфликтам с близкими.

В «Жизни Арсеньева» незаметно, что Бунин тяготится этим. Писатель словно лелеет свою одинокость. свое, как он любил выражаться, «иночество». Даже на чужбине он отдаляется от соплеменников-эмигрантов. Гржебин в 1924 году писал М. Горькому, что «Бунин, по-видимому, уходит от них и держится более одиноко».

Мне кажется, что одиночество доставляло писателю какую-то непонятную сладость. Иначе он вряд ли написал бы:

Как хороша, как одинока жизни!

Бунин не мог не задумываться о причинах необычайной остроты восприятия, отличавшей его от простых смертных. Постепенно у него сложилась на этот счет самодельная гипотеза.

По Бунину, нынешний цивилизованный человек хранит в черепной коробке, кроме личного опыта и личных переживаний, и опыт предков, тех, которые жили на деревьях, и даже еще более ранних. Нынешний человек — одно из звеньев длинной, тянущейся с незапамятных времен родовой цепи. В этом смысле у него нет рождения. И. Бунин пишет: «Я родился там-то и тогда-то...» Но, боже, как это сухо, ничтожно — и неверно! Я ведь чувствую совсем не то! Это стыдно, неловко сказать, но это так: я родился во вселенной, в бесконечности времени и пространства...»

Незадолго до первой мировой войны он побывал на Цейлоне. Очевидно, там, в Коломбо, писатель ощутил аромат буддийской веры, в которой не последнюю роль играет идея метампсихоза — перевоплощения бессмертной души, — и узнал слова Будды: «Я помню, что мириады лет тому назад я был козленком».

В сутрах и законах Ману, в Карме, он увидел подобие своих смутных представлений о длинной цепи существований, о передаче памяти по наследству. Впервые попав в Севастополь, где его отец участвовал в Крымской войне, Бунин уверяет, что не просто увидел этот южный город, но — никогда не бывши в нем — узнал его. «Именно — вспомнил. узнал!»

Он, по его убеждению, ясно помнит средневековые замки, где пировали его предки-рыцари; уверен, что в нем живет память его самых далеких пращуров.

Почему же большинство людей не ощущает заметных следов «памяти предков» и не испытывает неизбежных, связанных с такой памятью неудобств? На это Бунин отвечает: весь род человеческий делится на две категории. Одна, огромная, часть — «люди своего, определенного момента житейского строительства, делания, люди как бы почти без прошлого, без предков, верные звенья той Цепи, о которой говорит мудрость Индии...». Другие же, которых бесконечно меньше, — «одаренные великим богатством восприятий, полученных ими от своих бесчисленных предшественников, чувствующие бесконечно далекие звенья Цепи, существа, дивно (и не в последний ли раз?) воскресившие в своем лице силу и свежесть своего райского праотца, его телесности».

Первые — люди обыкновенные, вторые — художники, обладающие даром образной (чувственной) Памяти. Эта память с большой буквы, коллективная память предков, придает впечатлениям особую свежесть. Предмет прорабатывается в сознании сразу и современными и первобытными ассоциациями, мысль становится многосторонней, стереоскопичной.

Бунину-поэту представляется:

Дикою пахнет травой,
Запахом древних времен.

Бунин-прозаик дает нам почувствовать, как «тучи, угрюмые и грузные, как в ночи Потопа, все ниже спускаются над океаном».

Излагая соображения Бунина о «памяти предков», я вовсе не склонен иронизировать². Наши познания о работе головного

² Многие современные ученые не признают передачу памяти по наследству (см., например, статью академика Н. П. Дубинина «Социальное и биологическое в современной проблеме человека». «Вопросы философии», 1972, №№ 10 и 11). Мне все же кажется, что при обсуждении сложных

мозга далеки от полной ясности, и мы не можем ни подтвердить, ни категорически отвергнуть утверждений Бунина о том, что «богатство способностей, гений, талант — что это, как не богатство этих впечатков (и наследственных и приобретенных)...».

Писатель иного склада, чем Бунин, легко подверстал бы под подобные рассуждения идеалистическую базу. Но Бунина не прельстили ни популярные в годы писания «Жизни Арсеньева» фрейдистские конструкции о родовом бессознательном, ни ницшеанско-фашистское деление человечества на стадо и сверхчеловека, ни теории Бергсона о реликтовой памяти художника и артиста, ни Юнговы архетипы.

Реалистические страницы «Жизни Арсеньева», наполненные щедрыми красками, звуками и ароматами жизни, каждой строчкой своей вопиют против всяческого иррационализма.

Проявившаяся в мозгу счастливого — или несчастного — избранника память предков, несущая необычную чувственную новизну ощущения, оплачивается дорогой ценой.

Если простой смертный — только одно из звеньев цепи жизни, начало и конец которой теряются во мраке прошлого и будущего, то гений, талант — конец цепи, ее последнее звено. Для такого человека жизнь уже не представляет ценности, для него наступает, по терминологии буддизма, «освобождение». (Книгу об уходе и смерти Льва Толстого Бунин назвал: «Освобождение Толстого».)

«Ты зачал и повел безмерную Цепь воплощений,— приводит Бунин в рассказе «Ночь» древнее стенание,— из коих каждому надлежало быть все бесплотнее, все ближе к блаженному Началу. Ныне все громче звучит мне твой зов: «Выйди из Цепи! Выйди без следа, без наследства, без наследника!»

Рассуждая с этой точки зрения о творческой памяти, Бунин приходит к малоутешительному выводу: «Что же это такое? Нечто такое, с чем рождаются только уже совсем «вырождающиеся» люди?..»

Оттого и грустны страницы, любовно-подробно воскрешающие юность степного барчука Алеши Арсеньева, что каждая из них отмечена печатью вырождения. Даже в проблем психики не следует пренебрегать свидетельствами, которые пона что расходятся с данными электронных микроскопов. Если отвергать наследственную память, становится загадочным, например, быстрое обучение ребенка речи.

главах, посвященных первой любви и безоглачному юношескому счастью, незримо присутствует ощущение мимолетности, брэнности, незавершенности.

Эта книга — книга о беднеющем отпрыске «знатного, но захудалого» рода, о неподвижном существовании в степном захолустье, о неподвижной скуке уездных городов — один из самых ярких документов истории развала помещичьих усадеб и деревенских укладов, павших жертвой схватки молодого российского капитализма с капитализмом зарубежным. В те годы, когда купец Балавин говорил Алеше, что цены на хлеб слабы, заграничный хлеб вытеснял с мирового рынка русскую пшеницу, нищета «мелкопоместных» доходила до того, что родители Алеши сняли ризы с образов и повезли закладывать.

Читатель помнит, конечно, ентовую шубу Алешиного отца, бывшую когда-то, в прежние времена, признаком роскошества, а может быть, даже в какой-то степени дворянского благородства. Какую жалкую роль играет теперь этот единственный опознавательный знак барства! Вот разорившийся, почти нищий отец Алеши появляется в этой самой шубе, как бы замаскированный под богача, беспечно задает пир на весь мир. Вот эта же шуба временно накинута на плечи арестованного Алешиного брата, ожидающего отправки на суд за революционную деятельность, вот ее ссудили Алеше, покидающему родное гнездо в поисках работы. На железнодорожной станции он снимает шубу и возвращает с работником назад, в Батурино.

Как много говорит эта используемая не по прямому назначению шуба о беднеющем, но не умеющем и не способном отвыкнуть от роскоши барстве.

Бунин не собирался воспроизводить исторический фон, сложные общественные отношения своего времени. «Злоба дня» не привлекала его. Но под пером талантливого писателя личный факт часто помимо его намерений выступает как факт социальный.

Бунин пишет:

«Венец каждой человеческой жизни есть память о ней,— высшее, что обещают человеку над его гробом, это память вечную. И нет той души, которая не томилась бы тайне мечтой об этом венце. А моя душа? Как истомлена она этой мечтой — зачем, почему? — мечтой оставить в мире до скончания веков себя, свои чувства, видения, же-

лания, одолеть то, что называется моей смертью, то, что непреложно настанет для меня в свой срок и во что я все-таки не верю, не хочу и не могу верить! Неустанно кричу я без слов, всем существом своим: «Стой, солнце!»

И правда, если принять логику Бунина, противостоит: в течение сотен, а может, и тысяч поколений благодаря бесконечным, непостижимым случайностям совокуплений создается редчайшее, неповторимое, «отмеченное богом» существо, носящее имя Иван, а фамилию Бунин, существо, сосредоточившее в своем мозгу драгоценное богатство чувственного опыта пращуров, проникающее ощущением в самую сокровенную глубь вещей.

И вот совсем скоро, через десять, двадцать лет (такие сроки назначил сам Бунин), это множество веков создаваемое чудо должно исчезнуть. Исчезнуть навсегда. Такая мысль не укладывалась в голову.

Правда, «бывание» Бунина на земле запечатлено в его рассказах, стихах, повестях. Но это небольшое утешение. К тому же прежние рассказы — с завязками, развязками, с выдуманными героями — предназначались для иного. Создавая их, Бунин еще недостаточно думал о главной, грандиозной задаче своего писания — о единоборстве с собственной смертью.

«А зачем выдумывать? Зачем героини и герои? Зачем роман, повесть, с завязкой и развязкой? Вечная боязнь показаться недостаточно книжным, недостаточно похожим на тех, что прославлены! И вечная мука — вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболее законно выражения, то есть следа, воплощения и сохранения хотя бы в слове!»

Наваждение смерти никогда не покидало Бунина. По его словам, он весь свой век прожил под ее знаком. В самые цветущие годы, в годы признания и славы он сочинял стихи, в которых была такая строчка:

Жизнь зовет, а смерть в глаза глядит...

Насколько же сильней стали мучить его эти думы, когда он оказался на чужбине, на красных скалах какого-то Грасса, где росли чужие пальмы и агавы и дуло что-то чужое, что называлось не ветром, а мистралем, и когда рядом не было никого, кроме преданной, но бездетной Веры Николаевны.

Каждый человек смертен, но каждый горит от себя мысли о смерти. Но если тобою

владеет навязчивая мысль, что ты не просто одно из случайных порождений природы, а бесценный ларец, в котором хранятся чувства, переживания и опыт твоего отца, деда, прадеда и всех прочих предков, то сознавать, что все это веками накопленное богатство навсегда исчезнет, станет ничем, — во сто крат тяжелей.

И вот 22 июня 1927 года Бунин начал сочинение, задачей которого было — одолеть смерть. Это был роман-летопись «Жизнь Арсеньева». Бунин начал роман так, будто принялся за писательство впервые, будто до этого не писал ничего вовсе, выбирая самое заветное и из своей памяти и из прежних рассказов и стихов, стараясь «запечатлеть это обманное и все же несказанно сладкое «бывание» хотя бы в слове, если уже не во плоти!».

Потому-то первая глава первой книги и начиналась древними словами: «Вещи и дела, аще не написании бывають, тмою покрываються и гробу беспамятства предаются, написании же яко одушевлении...»

Задуманное предприятие наталкивается на серьезную трудность.

Задача состоит не в том, чтобы увековечить и одушевить «вещи и дела», а в том, чтобы увековечить свою собственную душу.

Но как это сделать? Может быть, начать с детства? Но ведь и до Бунина многие писали о своем детстве. И получалось так, что, например, из «Детства» М. Горького сперва вспоминаются дед, Цыганок, удивительная бабушка, а уже потом горемыка Аleshка.

Вознамерившись описывать себя, любой писатель воссоздает не себя, а окружающий его мир. Может быть, это неизбежно?

В книге Эрнста Маха «Анализ ощущений» нарисована картинка. Она изображает часть мира, какой ее видит профессор Мах, лежащий на кушетке и закрывший правый глаз. Сверху картинка ограничена бровью профессора, справа — частью его носа, снизу — холемым австрийским усом. Дальше изображено туловище профессора, его непропорционально длинные, будто сфотографированные с близкого расстояния, ноги, затем окно, книжный шкаф.

Эта шуточная картинка была нарисована для господина, который задал профессору вопрос: «Как осуществить самосозерцание «своего я»?»

Своим рисунком Мах хотел показать, что внутри его «я» находятся только ощу-

щения, что его «я» не более чем «комплекс ощущений».

Если бы Бунин думал так же, задачи своей он бы не выполнил. Самое дотошное перечисление любых «комплексов ощущений» не даст представления о внутреннем мире человека.

Внутренний мир Бунина состоит не только из восприятий, но и из своего особенного отношения к этим восприятиям, из своих, особенных, мыслей и сопоставлений.

Вместе с тем Бунин хорошо понимал, что изобразить внутренний мир человека можно только через посредство объективного мира, и на вопрос, можно ли обойтись без изобразительности, категорически отвечал: «Нельзя».

Получается что-то вроде закодированного круга. Бунин как никто другой мог бы воссоздать словом предмет внешнего мира, мог бы описать какую-нибудь ласточку «как живую» — но зачем? Такие же ласточки будут летать и после его смерти, и каждый может любоваться ими без его описания.

Однако «закодированность» мнима. Ласточку видит каждый, но видит по-своему, а так, как видит и чувствует ее Бунин, никто другой не видит и не чувствует.

И если, описывая предмет, явление, не ограничиваться только внешним, передавать не просто внешний мир, а контакты внешнего мира с душой художника, передавать в первую очередь чувства, предметом или явлением вызываемые, — вот тогда постепенно, как из некой уплотняющейся туманности возникнет и навеки сохранится явление, именуемое Иван Бунин. Тогда и осуществится дерзкая мечта «оставить себя навеки в мире».

Чувствование мира не возникает внезапно. Что бы там ни было заложено в душе от памяти предков, чувства растут и воспитываются с детства, с младенчества, от истока дней.

Поэтому, работая над книгой, придется вспоминать не просто эпизоды детства. Вспомнить реальный предмет, например какие-нибудь первые детские сапожки, — далеко не все и даже не главное, несмотря на то, что эти сапожки выплывут в памяти словно в цветном фильме — с кисточками и с сафьяновыми ободками на голенищах. Главное — вспомнить чувства, которые были вызваны этими сапожками когда-то.

Бунин обладал необыкновенно развитой памятью чувств. Это видно и по его ран-

ним произведениям. Для «Жизни Арсеньева», для той задачи, которую решал в ней автор, эта особенность его дарования — воспоминание чувств — имела важнейшее значение.

Впрочем, слово «воспоминание» здесь не совсем к месту. Бытовое значение этого слова связывается с мозговой работой, вызывающей в воображении прошлое. Воспоминание — это привлечение прошлого в настоящее.

Бунин, вспоминая, как бы направлялся из настоящего в прошлое. Он старался воспроизвести былое окружение, былые пейзажи не для того, чтобы их просто вспомнить, а для того, чтобы войти в те же самые отношения с миром, какие были у него много лет назад, чтобы превратиться в «себя прежнего».

Вся изобразительная мощь родного языка мобилизуется писателем, чтобы заново вызвать, выразить и навеки запечатлеть эти былые мимолетные чувства.

«Помню этот гром, легкую коляску, уносившую меня на вокзал с Авиловой, чувство гордости от коляски и от этого соседства, странное чувство первой разлуки с той, в свою выдуманную любовь к которой я уже совсем верил, и то чувство, которое преобладало надо всеми прочими, — чувство какого-то особенно счастливого приобретения, будто бы сделанного мной в Орле».

Воспоминания чувств — конечный и высший пункт воспроизведения былого: такое воспоминание Бунин считает воскрешением давно исчезнувшего существа, мальчика, подростка, юноши, когда-то испытывавшего эти чувства.

Начиная автобиографические заметки, А. Эйнштейн предупреждал: «Когда человеку 67 лет, то он не тот, каким был в 50, 30 и 20 лет. Всякое воспоминание подкрашено тем, что есть человек сейчас, а нынешняя точка зрения может ввести в заблуждение».

Ученый считал, что давние воспоминания неизбежно деформируются «нынешней точкой зрения» — накопленным в течение последующих лет опытом.

Изредка — не часто, но изредка — бунинский текст подтверждает эту истину.

Иногда кажется, что Бунин, вспоминая что-нибудь особенно ему неприятное, органически чуждое, помимо воли направляет в даль времен, так сказать задним ходом, свои последующие, «беспощадные» пристра-

ствия и оценки, отягощая восприятие ребенка и юноши прошлого века слишком современными чувствованиями.

Можно представить, что мальчику, особенно такому чуткому, каким изображен Алеша, годы пребывания в гимназии казались чем-то вроде каторжной ссылки. Но трудно поверить, что еще до отъезда в гимназию, еще не имея понятия ни о надзирателях, ни о кондуктах, восьмилетний мальчуган размышлял о себе таким образом:

«Я думал о стригуне, которого я видел в бороне на пашне. Я смутно думал так: да, вот как все обманчиво на свете,— я воображал, что стригун-то мой, а им распорядились, не спросив меня, как своей собственностью... Есть трехлеток, стригун — и где его прежняя воля, свобода? Вот он уже ходит в хомуте по пашне, таскает за собой борону... И разве не случилось и со мной того же, что с этим жеребенком?.. И я закрывал глаза и смутно чувствовал: все сон, непонятный сон! И город, который где-то там, за далекими полями, и в котором мне быть не миновать, и мое будущее в нем, и мое прошлое в Каменке, и этот светлый предосенний день, уже склоняющийся к вечеру, и я сам, мои мысли, мечты, чувства — все сон!»

Восклицание про сон выглядит особенно недетским. С большой долей вероятности можно предположить, что про сон думал взрослый Бунин во Франции, когда писал:

«И все же зачем я здесь, почему я здесь? Галлия, цезари, сарацины, Прованс...

Точно ли, что существовала когда-то какая-то Каменка? Ужели это солнце, которое печет сейчас мой сад, то же, что было в Каменке?

Сон, сон!»

Также «задним ходом» доставлены в воспоминания из последующих лет эмиграции враждебные эпитеты, которыми с ног до головы увешан один из друзей старшего брата — Мельник:

«...весь какой-то дохлый, чахлый, песочно-рыжий, золотушный, подслепый и гнусавый, но необыкновенно резкий и самонадеянный в суждениях,— много лет спустя оказавшийся, к моему крайнему изумлению, большим лицом у большевиков, каким-то «хлебным диктатором»...»

Впрочем, отдаленность воспоминаний имеет и свои положительные стороны.

После того как была опубликована «Жизнь Арсеньева», Бунин написал: «При-

нято приписывать слабости известного возраста то, что люди этого возраста помнят далекое и почти не помнят недавнего. Но это не слабость, это значит только то, что недавнее еще недостойно памяти — еще не преобразено, не облечено в некую легендарную поэзию. Потому-то и для творчества потребно только отжившее, прошлое. *Restitutio in integrum*³ — нечто ненужное (помимо того, что невозможное). «Сеется в глени — восстает в нетлении». И далеко не все: лишь достойное того».

В этой емкой записи можно найти и мысли А. Эйнштейна, и еще кое-что, относящееся к вопросу о творческой памяти...

Итак, перед нами не репродукция прошлого, но прошлое преобразенное, облеченное в некую легендарную поэзию.

Мы медленно читаем страницу за страницей («Жизнь Арсеньева» быстро читать нельзя), знакомимся с отцом Алеши, его учителем Баскаковым, с хлебным торговцем Ростовцевым, по пути в гостинице знакомимся с какой-то дамой с мопсом, натываемся в церкви на детский гробик, встречаем вместе с Алешей степные зори, бродим с ним по сквозному осеннему саду, ездим на поездах... Все это воссоздано необыкновенно отчетливо.

Но в отличие от ранних рассказов изображение событий, предметов, людей в «Жизни Арсеньева» — не самоцель, а повод. Мир, противостоящий Алеше,— партнер, дающий возможность бенефицианту наиболее полно выразить себя. Степной хутор, заснеженная улица уездного города, железнодорожное купе нужны Бунину для того, чтобы вызвать заново и запечатлеть навеки бесконечно богатое чувствование мира мальчиком, юношей, который когда-то, давным-давно, занимал некую часть пространства на этом степном хуторе, а потом в Орле, в Харькове.

Профессия, связанная со словесным искусством, неизбежно делает писателя сознательным или бессознательным материалистом. После первых же попыток в области сочинительства начинаешь понимать, что влияние на читателя возможно только через посредство воссоздания явлений внешнего мира. Другого способа нет. Самый абстрактный мыслитель и тот для ударных мест прибегает к примеру из жизни.

³ Восстановление в первоизданном виде (лат.).

Иногда достаточно выписать какой-нибудь предмет правдиво и точно, без примеси подсказывающих эмоций, чтобы возбудить у читателя индукцию сопереживания. Нужно только не забывать основной закон индукции: для возбуждения чувства у других надо самому ощущать это чувство.

В «Детстве Никиты» А. Толстой простыми средствами вызывает ощущение праздничной атмосферы рождественского сочельника:

«Мальчики принесли кожаный чемодан Анны Аполлосовны и поставили на стол. Матушка раскрыла его и начала вынимать листы золотой бумаги, гладкой и с тиснением, листы серебряной, синей, зеленой и оранжевой бумаги, бристолевский картон, коробочки со свечками, с елочными подсвечниками, с золотыми рыбками и петушками, коробку с дутыми стеклянными шариками, которые нанизывались на нитку, и коробку с шариками, у которых сверху была серебряная петелька,— с четырех сторон они были вдавлены и другого цвета, затем коробку с хлопучками, пучки золотой и серебряной канители, фонарики с цветными слюдяными окошечками и большую звезду».

Здесь нет ни метафор, ни подсказывающих эпитетов типа «празднично блестящая золотая бумага», а нужное чувство вызвано.

В «Жизни Арсеньева» описаний такого рода мы не найдем. Бунин ни на минуту не оставляет читателя один на один с предметом изображения.

Ведь он поставил целью передать всем, всему свету свое, особенное, бунинское ощущение мира.

Даже в тех редких случаях, когда вызванное предметом чувство является обманчивым, когда оно искажает объективную действительность, Бунин без колебания утверждает приоритет чувства и пишет:

Вот мост железный над рекой
Промчался с грохотом под нами...

Не внешнюю, нейтральную изобразительность, а качество чувства считал Бунин главным достоинством. Изредка встречающиеся в «Жизни Арсеньева» старики Данилы «с коричневой шеей, похожей на потрескавшуюся пробку», — пройденный этап. Похвалу молодой писательнице Бунин выразил такими словами: «Вы умница и многое отлично чувствуете...»

Могучий дар изобразительности позволял

Бунину выражать самые сложные оттенки своих душевных волнений.

Вот во что превратилась монотонная поездка по зимней степной дороге влюбленного Алеши. Он едет на железнодорожную станцию, к Лике, охваченный смутным предчувствием того самого важного, что между ними должно произойти...

«Как вижу, как чувствую эту сказочно-дивную ночь! Вижу себя на полпути между Батурином и Васильевским, в ровном снежном поле. Паря летит, коренник точно на одном месте трясет дугой, дробит крупной рысью, пристяжная ровно взвивает и взвивает зад, мечет и мечет вверх из-под задних белосверкающих подков снежными комьями... порой вдруг сорвется с дороги, ухнет в глубокий снег, зашпешит, зачастит, путаясь в нем вместе с опавшими постромками, потом опять цепко выскочит и опять несет, крепко рвет валеки... Все летит, шпешит — и вместе с тем точно стоит и ждет: неподвижно серебрится вдали, под луной, чешуйчатый наст снегов, неподвижно бежит низкая и мутная с морозу луна, широко и мистически-печально охваченная радужно-гуманным кольцом, и всего неподвижней я, застывший в этой скачке и неподвижности, покорившийся ей до поры, до времени, оцепеневший в ожидании, а наряду с этим тихо глядящий в какое-то воспоминание: вот такая же ночь и такой же путь в Васильевское, только это моя первая зима в Батурине, и я еще чист, невинен, радостен — радостью первых дней юности, первыми поэтическими упоениями в мире этих старинных томиков, привозимых из Васильевского, их стансов, элегий, баллад:

Скачут. Пусто все вокруг.
Степь в очах Светланы...

«Где все это теперь!» — думаю я, не торопясь, однако, ни на минуту своего главного состояния — оцепенелого, ждущего».

В неподвижности оцепенелого ожидания как бы вмерзли и жажда встречи и горячность молодой души... Тут же рядом опять так неожиданно, но поразительно точно выписано, как почти незаметно, словно под сурдинку, звучит нотка грусти, жалости к себе прежнему перед решающим поворотом судьбы. У Алеши она выразилась в тоске о невозвратности того времени, когда важным казалось не обладание любимой, а мечта о ней. Эта грусть едва заметная, но достаточная, чтобы вспомнить строчки Жуковского,

а за ними — старинные томики его сочинений, озаряет зимнюю, заснеженную равнину волшебным, таинственным светом, и кажется, что луна действительно охвачена «мистически-печальным» кольцом.

Здесь не одно чувство, не чувство стремления к любимой «в общем и целом», не одна нота. Здесь целый квартет чувств, неожиданных, противоречивых и парадоксальных. Нетерпение, достигнув предела, обернулось вдруг изнеможением, тупой неподвижностью, грустью, и вся эта многоголосица сливается в согласную мелодию.

Еще больших высот достигает Бунин, изображая сложности и разновидности чувства. Он смело вступил в области, для него неведомые, описал подробности, «составные части» душевных движений, до него скрытые, и выявил бесконечное разнообразие, казалось бы, всем известных чувствований.

До чего, оказывается, многогранным может быть несложное, в общем-то, ощущение одиночества. Вот как передает Бунин (опять-таки средствами предметности материального мира) особый оттенок «гостиничного» одиночества: «...в тишине еще спящей гостиницы слышно было только нечто очень раннее — как где-то в конце коридора шаркает платяной щеткой коридорный, стучает по пуговицам».

Правда, и Бунин не всемогущ. Иногда многослойность и глубина впечатлений становилась невыразимой, и он писал:

«...как передать те чувства, с которыми я смотрю порой на наш родовой герб?»

«Как же передать те чувства, с которыми смотрел я, мысленно видя там, в этой комнате, Лизу...»

«Как выразить чувства, с которыми мы вышли утром из вагона...»

Иногда такие фразы пишутся для усиления впечатления. Но вероятно и то, что в некоторых случаях даже Бунину не хватало мастерства, чтобы безошибочно выразить тончайшую механику духовного движения.

Еще более неблагоприятны для пересказа неутошное горе, отчаяние, слепой гнев. Эти грубые, универсальные моночувства описаны тысячи раз и романтиками и реалистами, и в таких случаях Бунин иногда действует очень просто: общеизвестные чувства он просто не упоминает.

Рассмотрим, как передан «душевный недуг», постигший тринадцатилетнего Алешу после ареста брата.

Родители возвращались в Каменку. Алеша проводил их немного (он учился в ту

пору в гимназии и жил в городе «на хлебах»), слез с тарантаса. От горя они не смогли и проститься как следует.

«Тарантас с полуподнятым верхом тотчас же загремел, могучий бурый коренник задрагал голову и затряс залившийся под дугой колокольчик, гнедые пристяжные дружно и вольно взяли вскачь, подкидывая крупы, а я еще долго стоял на шоссе, провожая глазами этот верх, глядя на убегающие задние колеса, на косматые бабки коренника, быстро пляшущие между ними под кузовом тарантаса, и на высоко и легко взвивающиеся по его бокам подковы пристяжных,— долго с мукой слушал удаляющийся поддужный плач».

Здесь та же перечислительность, что и в примере из «Детства Никиты». «Поддужный плач» подсказывает, какое неизбывное горе затопило все существо Алешы, но и без этой подсказки все ясно. Глаза его видят, уши слышат, но смысл и связь происходящего исчезли. Он превратился на время в бесчувственное отражающее зеркало. Подчеркнутые, до болезненной остроты четкие, взятые крупным планом детали: задние колеса, косматые бабки, подковы — все это постепенно стягивается в картину, насквозь пропитанную горем, сиротливостью, одиночеством...

Впрочем, «бесчувственных» пассажей, как бы прикрывающих сильные переживания героя, уводящих эти переживания «в подтекст», в «Жизни Арсеньева» не так много. Да и применялся этот прием не одним Буниным.

А для Бунина понять что-либо означало — почувствовать:

«Только много лет спустя проснулось во мне чувство Костромы, Суздаля, Углича, Ростова Великого...», «...я вдруг почувствовал эту Россию...» Такие фразы означали окончательное постижение предмета, утверждение того, что «вещь в себе» стала «вещью для Алешы».

Свойства и качества вещей, обстановки, человека пропущены сквозь двойную линзу — зрелого и молодого Бунина — и выдаются читателю в виде субъективной переработки этих свойств и качеств. Удивительно, что при такой трансформации и неизбежном в связи с ней искажении окутанный маревом чувства предмет предстает перед читателем более ярко, живо и истинно, чем если бы он был выписан с флюбелювским беспристрастием.

«Дама эта имела крупного, широкоспинного мопса, раскормленного до жирных складок на загривке, с вычурными стеклянными-крыжовенными глазами, с развратно переломленным носом, с чванной, презрительно выдвинутой нижней челюстью и прикушенным между двумя клыками жабьим языком. У него обычно было одно и то же выражение морды — ничего не выражающее, кроме внимательной наглости,— однако он был до крайности нервен».

Гёте заметил однажды, что изображение мопса, как две капли воды схожего с настоящим, ничего не прибавит, кроме того, что в мире появится еще одна собака.

Так и кажется, что Бунин увековечил своего мопса как бы в пику немецкому олимпийцу. Гёте осуждал холодное, натуралистическое копирование природы. Бунинский мопс — создание совсем другого рода.

В приведенном отрывке ясно видны некоторые особенности бунинского стиля. В первых, безусловно точный отбор слов: «раскормленный» (не откормленный, а именно раскормленный), «переломленный» нос, «выдвинутая» челюсть. В тексте такие слова выглядят сами собой разумеющимися, на самом же деле найти эти золотые иголки в огромных стогах родных речений совсем не просто. Во-вторых, свойственная Бунину смолоду неожиданность пластических сравнений («стеклянными-крыжовенными глазами»). В-третьих, то, о чем мы только что говорили,— живопись чувством. Возможно, что найдутся люди, которые станут оспаривать, что нос мопса переломлен именно развратно, что челюсть выдвинута чванно и презрительно. Но именно такие субъективные характеристики делают мопса живым, одушевляют его. В-четвертых, и здесь дает себя чувствовать бесцеремонная, с точки зрения литературных пуристов, фразеология («...выражение морды... ничего не выражающее...») и составленное специально для данной фразы слов «широкоспинный». Подобное творческое своеволие — особенность зрелого Бунина. Когда выразительность приходит в противоречие с буквализмом литературной речи или с узаконенной грамматикой, Бунин предпочитает беззаконие.

Любое явление воспринимается чувственно окрашенным: паровозный гудок можно описать как громкий, тихий, резкий, протяжный и т. д. Бунину такого полуфабриката недостаточно. Он передает не первичное ощущение, а глубинные ассоциации: «...от-

чаянный крик паровоза куда-то во тьму». Ощущение — вне ассоциации — ценности не имеет. Само по себе оно не лично, общедоступно. Ассоциация же открывает волшебный мир индивидуального восприятия.

Естественно, что направление ассоциаций и, следовательно, чувственная окраска предмета во многом определяется настроением, состоянием души в данный момент:

«Дул жаркий ветерок, над пашней блестяло августовское солнце, еще как будто легче, но уже какое-то бесцельное...»

«Бесцельное» солнце упомянуто неспроста. Писатель смотрит на это солнце, вызвав в своей памяти мальчугана, которому скоро придется расставаться с родным гнездом, и поясняет: «...я еще ничего не видал на свете, в этой тихой обители, где так мирно и одиноко цвело мое никому в мире неведомое и никому не нужное младенчество, детство...»

Бытует мнение, что трудней всего дается изображение так называемого «процесса труда». Не верю я в это. Скорей всего такое мнение распространяют люди, которые не умеют трудиться. Да и в термине «процесс труда» звучит что-то противоестественное. Не называем же мы любовь «процессом любви». Трудиться так же потребно, как и дышать. Каждый человек трудится. На что употребляет он свой труд — это другой вопрос.

Вспомните возвышенно-поэтические строки, которыми Бунин не описал — освятил труд земледельца:

«Пахарь, босиком, шел за сохой, качаясь, оступаясь белыми косыми ступнями в мягкую борозду, лошадь разворачивала ее, крепко натуживаясь, горбясь, за сохой вилял по борозде синий грач, то и дело хватая в ней малиновых червей, за грачом большим, ровным шагом шагал старик без шапки, с севалькой через плечо, широко и благородно-щедро поводя правой рукой, правильными полукругами осыпая землю зерном».

В «Жизни Арсеньева» жизнь воспринимается поэтически, предмет описан не сам по себе, не безразлично, но так, как его чувствует лицо, ведущее повествование.

В памяти выплывает не все прошедшее, а «лишь достойное того», только то, что в контакте с душой вызывает искру чувства. Отбор материала определяется не фабулой, не последовательностью сюжета, даже не

хронологией. Чувство — верховный судья. Оно решает, что запечатлеть, что предать забвению. Чувство — моральная категория; выбором предмета и его окраской оно предопределяет нравственную оценку.

В отношениях с людьми Бунин, как говорится, был человек тяжелый. Он болезненно реагировал на малейшую фальшь, на любую неестественность в поведении и в разговоре. Можно часами слушать скучную беседу, даже участвовать в ней, мысль может работать, а чувства дремать. И вдруг незначительная вычурная фраза, плоская шутка, какое-нибудь выражение, припасенное заранее, чтобы покрасоваться, так и выставят человека во всей его характерности. Изображая человека, Бунин редко передавал его длинные разговоры. О секретаре управы упомянуто только, что он называл монастырь «застывшим аккордом», — и секретарь управы уже наш знакомец. Портрет помещика — нахала ноздревского пошиба, самозванного «родственника» Буниных — выписан одной его фразой: «Но неужели ты, дядя, серьезно думаешь, что я способен на такую подлость?»

Писатель не пощадил и свою самую сильную любовь — Лику. Он привел ее банальную фразу: «Ну, дети мои, я исчезаю!» — и добавил, что заметил эту особенность ее языка «с неловкостью за нее».

Если бы Бунин писал о Лике в дни своей любви к ней, вряд ли он стал бы упоминать о конфузе, который испытал от ее фразы.

Спустя много лет он вспоминает об этом спокойно. И фраза «...я исчезаю!» и неловкость за нее поэтически преобразились временем.

Удаляясь за воспоминаниями в молодость, возбуждая их заново в памяти, Бунин тем не менее доставляет их читателю в превращенном виде: он передает и свое прежнее чувство, и свое теперешнее ощущение этого чувства.

Поэтому в «Жизни Арсеньева» присутствуют два временных пласта.

Писатель не просто изображает прошлое — он вспоминает, сопоставляет, объясняет, предвидит, что случится дальше, вступает в спор с книгами, с идеями, с людьми.

В первой книге, где речь идет о впечатлениях, произведенном на отрока Алешу сочинениями Гоголя, сказано:

«„Страшная месть“ пробудила в моей душе то высокое чувство, которое вложено в

каждую душу и будет жить вовеки, — чувство священнейшей законности возмездия, священнейшей необходимости конечного торжества добра над злом и предельной беспощадности, с которой в свой срок зло карается. Это чувство есть несомненная жажда бога, есть вера в него».

Эти слова — прямое возражение Льву Толстому на его дневниковую запись 1910 года: «Люди возвели свою злобу, мстительность в чувство законное, в справедливость и ее-то, свою пакость, приписывают Богу. Какая нелепость!»

Нет, это только на первый, поверхностный взгляд повествование ведет мальчик по имени Алеша. На самом деле «я» — не юный Алеша Арсеньев, а много передумавший автор «Деревни» и «Суходола».

Одной из бунинских цитат в монографии А. Волкова «Проза Ивана Бунина» предпослано следующее соображение: «Красота природы, прелесть всего созданного ею, все нескончаемое разнообразие жизни приносят ребенку еще не ужасающую, как в старости, но грустную мысль о неизбежном конце...» Да неужели Бунин и впрямь считал, что ребенок лет пяти от роду способен грустить о «неизбежном конце», а что старца смерть ужасает? Не наоборот ли?

Начало абзаца о самом первом воспоминании Алеши поясняется в этой книге так:

«И далее автор устами ребенка задает ряд недоуменных вопросов: почему вдруг на какое-то мгновение вспыхнуло сознание, столь ярко зафиксировавшее детскую комнату, блеск солнечных лучей? Отчего память навсегда сохранила это видение? Почему после этого надолго погасла память?»

Если эти вопросы не пересказывать, а прочесть, как они изложены в «Жизни Арсеньева», становится ясно, что задаются они не ребенком, а самим писателем.

«Я помню большую, освещенную предосенним солнцем комнату, его сухой блеск над косогором, видимым в окно на юг... Только и всего, только одно мгновение! Почему именно в этот день и час, именно в эту минуту и по такому пустому поводу впервые в жизни вспыхнуло мое сознание столь ярко, что уже явилась возможность действия памяти? И почему тотчас же после этого снова надолго погасло оно?»

Такого рода ошибки будут неизбежны, если согласиться с А. Волковым, будто Бунин вмешивался в повествование ребенка значительно меньше, чем это делал в подобных сочинениях Л. Толстой.

Если уж говорить о вмешательстве, да и то в шутку, то изредка со своим «я» вторгается в воспоминания взрослого писателя Алеша. А всего верней, ни о каком вмешательстве не может быть и речи. От начала до конца ведет повествование взрослый писатель Иван Бунин.

Правда, местами от «я» говорят двое: и маленький Алеша и пожилой Бунин. И словно предчувствуя недоразумения, которые может вызвать это двойное «я», писатель упорно подчеркивает, что все рассказанное Алешей есть воспоминание:

«Я помню большую, освещенную пред-осенним солнцем комнату...»

«Помню: однажды осенней ночью...»

«Помню: солнце пекло все горячее...»

«Помню: однажды, вбежав в спальню матери...»

Все это выписано из первой книги. Но такая конструкция характерна для всего сочинения. Например, в пятой, последней, книге сказано даже так:

«Вот вспоминаю, как вспомнил однажды лет через двадцать после той ночи».

«Воспоминательная» манера повествования, принятая Буниным, определяется, конечно, не только частыми повторами слова «помню».

Резкость воспоминания подчеркивается и тем, что автор смотрит на себя мальчика как бы со стороны, как на чуждое существо:

«Какие далекие дни! Я теперь уже с усилением чувствую их своими собственными при всей той близости их мне, с которой я все думаю о них за этими записями, и все зачем-то пытаюсь воскресить чей-то далекий юный образ. Чей это образ? Он как бы некое подобие моего вымышленного младшего брата, уже давно исчезнувшего из мира вместе со всем своим бесконечно далеким временем».

Этим свойством — оценивать себя со стороны, как бы из будущего — можно, пожалуй, лучше всего объяснить непрерывную и настойчивую мелодию, наполняющую бунинскую фразу каким-то особенным смыслом, особенными оттенками, помечающими самые обыкновенные слова тавром: «Жизнь Арсеньева».

Лейтмотив, пронизывающий и самые печальные и самые радостные, счастливые страницы этого произведения, можно с достаточной степенью точности определить пушкинским «печаль моя светла».

Бунин изображает Алешу «от истока дней», воспроизводит рождение и движение его чувств, ощущений, мыслей.

Вот пятилетний малыш, которого первый раз в жизни везут в город, пугается «разбойника»: «Помню, что ехали мы целую вечность, что полям, каким-то лощинам, проселкам, перекресткам не было счета и что в дороге случилось вот что: в одной лощине,— а дело было уже к вечеру и места были очень глухие,— густо рос дубовый кустарник, темно-зеленый и кудрявый, и по ее противоположному склону пробирался среди кустарника «разбойник», с топором, засунутым за пояс,— самый, может быть, таинственный и страшный из всех мужиков, виденных мной не только до той поры, но и вообще за всю мою жизнь».

Алеша-гимназист, проезжая под Становой, представляет «разбойничков» уже иначе, с некоторой долей игривости, уснащенной былинной фразеологией: «Все представлялось: глядь, а они и вот они — не спеша идут наперерез тебе, с топориками в руках, туго и низко, по самым кострцам, подтянутые...»

А вот шестнадцатилетний барчук подъезжает ночью один верхом, «вспоминая старые разбойничьи предания Становой и втайне даже желая какой-нибудь страшной встречи...».

И — наконец — очумевший от любви девятнадцатилетний парень рвется в Смоленск, навстречу «Брынским» лесам и «брынским» разбойникам.

Бунин воскрешает себя юношу, полного молодых надежд и смутных стремлений, заново переживает целомудренную свежесть чувств, наслаждается своими воспоминаниями. Вместе с тем он ни на минуту не забывает, что давно перестал быть этим юношей, давно примирился с неразрешимой загадкой «милой и бесцельной» жизни.

И может быть, именно благодаря этой не выдуманной, не «романтической», а земной, правдашной, автобиографической мимолетности чувства Алеша приобретает особенную прелесть.

Прочтите приведенный ниже отрывок, но не просто как рассказанное «устаи юноши» о сборах на бал, где этот юноша должен встретиться с Ликой, а как описание события писателем Буниным, которому давно известно, чем кончится дело: что любовь ненадежна, что Алеша и Лика не пара и им вскоре суждено расстаться.

Несмотря на то, что строчки так и горят нетерпеливым молодым счастьем, вы сразу почувствуете ту «светлую печаль», о которой было упомянуто.

«Если я знал, что какой-нибудь вечер, на который мы собирались с ней, не принесет мне ни обиды, ни боли, как празднично я собирался, как нравился сам себе, глядясь в зеркало, любуясь своими глазами, темными пятнами молодого румянца, белоснежной рубашкой, подкрахмаленные складки которой расклеивались, разрывались с восхитительным треском! Каким счастьем были для меня балы, если на них не страдала моя ревность!»

Фраза «Жизни Арсеньева» одним концом касается далекого прошлого, а другим — нынешнего, настоящего.

Читая роман, все время ощущаешь эту двойственность. Иногда в одном и том же слове улавливаешь одновременно и счастливый голос маленького Алеши, и грустный голос умудренного жизнью писателя.

Слово в «Жизни Арсеньева» часто применяется не в общем, народном, а в интимном, по терминологии А. Потехина, личном значении.

Для выполнения задачи, поставленной Буниным, иного выхода не было. Ведь он задался грандиозной целью: запечатлеть себя в мире на вечные времена, запечатлеть свое отношение к жизни, к добру и злу, к возмездью, свое, личное, только ему данное чувство людей и явлений.

Бунин не упускал случая подчеркнуть, что он «сам по себе». И сердился, когда его беззаботно сопрягали то со Львом Толстым, то с Чеховым. «Я подражаю ему? — удивлялся Бунин, имея в виду Л. Толстого. — Нет, конечно. Похож на него? Ни в малейшей степени». Чеховым он восхищался, хотя манера Чехова иногда не удовлетворяла его: «Он писал бегло, жидко»⁴.

Страницы «Жизни Арсеньева» — исповедь, откровенная и доверительная. До чего же одинок — и органически, от рождения, и по сложившимся обстоятельствам истории — был этот человек, если ему не оставалось ничего другого как исповедоваться всему миру...

⁴ А Чехову, при всем уважении его к Бунину, стиль Букишона казался слишком «густым». Рассказ Бунина «Сосны» он похвалил такими словами: «...очень ново, очень свежо и очень хорошо, только слишком компактно, вроде сгущенного бульона».

Бунин не страшился, если личное, заветное значение его слова отличается от обычного и даже противоречит ему. Писатель был уверен, что его поймут, и поймут правильно. Эта уверенность определялась его здоровым, материалистическим ощущением мира, ощущением, усвоенным так же стихийно, как усваивали его хугорские мужики. Не колеблясь, он особым доверительным языком записывал: «...кучер барственно обгоняет мужиков и баб...» Он был уверен, что нужный оттенок смысла, заложенный в ключевом слове «барственно», будет уловлен верно и точно, что это слово поможет увидеть и тройку, и кучера, и сторонящиеся на узкой дороге мужицкие телеги, и белые платья баб, почувствовать и атмосферу церковного праздника, и даже то, что невозможно выразить речью.

У большинства из нас недостаточно живого опыта, чтобы представить «барственно обгоняющего кучера». А мы его все-таки представляем. Для бунинского кучера праздничная атмосфера необходима так же, как для этой атмосферы необходим бунинский кучер. Чувственно постигая «барственно обгоняющего кучера», современный читатель воображением создает и необходимую для него среду. Если по имеющейся форме можно отлить ключ, то по ключу можно создать форму. Если фразу Бунина невозможно понять вне соответствующей эмоциональной атмосферы, читатель творит эту атмосферу сам.

Бунин верит в творческие способности читателя. Он верит в безграничную мощь родного языка, верит в его «изумительную изобразительность» и «словесную чувственность». И, уверенный, что его поймут так, как он желает, Бунин пишет:

«На скотном дворе по-утреннему ново скрипят в это время ворота...»

«...театральный лай Волчка...»

И мы радостно подтверждаем верность этих ощущений действительности: «Да, да, это бывает именно так! Волчок лает театрально, ворота скрипят по-утреннему ново!» Иногда Бунин передает ощущения настолько сокровенные, что, кажется, уловить их постороннему невозможно. Без колебания, словно для одного себя, он пишет, например: «Возок тянул к себе своей старинной неуклюжестью и тайным присутствием чего-то оставшегося в мире от дедушки...»

И мы ощущаем этот возок в унисон с

Бунинным, если даже у нас никогда не было ни возка, ни дедушки, который в этом возке катался.

Правильно чувствовать фразы такого рода помогает аналогия. Возка, в котором катался дедушка, у меня не было, но я, может быть, храню какой-то предмет, безделушку. Безделушка навеивает воспоминания, возбуждает определенное чувство, настроение. Такого рода аналогии и приходят на помощь, когда я осваиваю бунинскую фразу.

Уверенность в том, что образы внешнего мира — верные, в общем, копии действительности, уверенность в том, что связи предметного мира закономерны и общи для всех людей, помогает Бунину писать смело и откровенно, помогает его перу выйти из шаблонной колеи. Он настолько уверен, что каждый поймет сходство луны с лицом, с ликом, что спокойно пишет: «Ночь, оказывается, лунная: за мутно идущими злыми тучами мелькает, белеет, светится бледное лицо».

«Жизнь Арсеньева» не меньше философских трактатов убеждает, что мир материален и что люди помогают друг другу познавать его во всем его безграничном многообразии.

Может быть, некоторых покоробит то, что я бесцеремонно отношу к материалистам верующего христианина Ивана Бунина. Но что же в этом особенного? Философ-мистик Бердяев и тот ужасался, что подавляющая масса людей, в том числе и христиан, стала материалистами. Да и сам Бунин писал и говорил, что не придерживается никакой ортодоксальной религии.

Отроческие годы Бунин провел в Средней России, в тех местах, где «слилось и претворилось столько наречий и говоров чуть не со всех концов Руси». Все вокруг него было «очень русское». Любить родной язык мальчика учила мать, потом отец. Потом появились любимые книги — Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Но верить в силу родной речи, ощущать ее красоту научил Бунина русский мужик.

Нищавший мелкопоместный дворянин конца прошлого века был не похож на самовластного тургеневского барина. Крестьяне его не страшились, не очень с ним церемонились. В «Суходоле» показано, как кровь мелкопоместных «спокон веку» мешалась с кровью деревни, и, по утверждению Бунина, в бытовой психике барина и мужика не было особенной разницы.

Не удивительно, что картинная, сочная, изгибистая и лукавая мужицкая речь пропитала его до мозга костей и помогла выработке литературного стиля.

Если нынешний каждодневный язык, рассчитанный на будничное употребление, сравнить с современной рабочей спецовкой, то язык Бунина — язык среднерусского подступа начала века — похож на вышедшее из моды, но все еще добротное, красивое праздничное платье. Не зараженный случайными искажениями и тарбарщиной штампа, не замутненный уличным жаргоном, язык этот, отстаиваясь в тишине одинокого жилища, приобретал с годами чистоту и лепоту, особенно пригодные для воспоминательных сочинений. Державную основу этого языка составляли не слова вроде «прелестно», «пленительно», «жить на мелок», «полонез Огинского», рассыпанные там и сям в бунинских текстах и чуть отдающие дворянским тленом, а активное, деятельное, обнаженно-языческое слово народа, слово трудового крестьянина, которому не было ни времени, ни охоты попусту точить лясы. Основа эта не имеет иноземной замены. На другом языке не скажешь «спокон веку», «красный товар», не так зазвучит слово «ржи» во множественном числе, а фразу про лошадей «Все они были пегие, все крепкие и небольшие, масть в масть, лад в лад» перевести вообще невозможно. Крепкая, как махорка, народная речь слышится в авторском тексте «Жизни Арсеньева» на каждой странице — и в лаконичном замечании: «Праздник кончился, гости схлынули...»; и в пейзажных описаниях; и в том, как обозначен бывший крепостной Михеич: «Всего когда-то отдавший на своем веку — и Парижа, и Рима, и Петербурга, и Москвы...»

Расхожий литературный прием Бунин решительно отвергает. Первые книги романа, посвященные жизни мальчика и подростка, начисто лишены детской сюсюкающей речи. А ведь приемом письма «с точки зрения ребенка» соблазнялись и большие писатели. Вспомним хотя бы «Детство Никиты»: «Сбоку Никиты передвигала ногами длинная большеголовая тень». У Бунина просто: «Потом я шел вместе со своей тенью по росистой, радужной траве поляны...»

«...талантливость большинства актеров и актрис есть только их наилучшее по сравнению с другими умение быть пошлыми, наилучше притворяться по самым пошлым

образцам творцами, художниками», — заявляет Алеша и дальше на протяжении страницы в назидание Лике блестяще издается над театральным штампом.

А Лика оспаривает Алешу. Она уже не в состоянии непосредственно судить об искусстве, искренне оценивать его.

«Эти феи одно из самых ненавистных мне слов! Хуже газетного «чреватый!» — кричит Алеша — Бунин.

Его возмущение смешит Лику. И спор кончается ничем. Свое отношение к спору Бунин выражает экономно. Он просто выписывает заключительную фразу Лики:

«Не понимаю я тебя вообще. Ты весь из каких-то удивительных противоположностей!»

Окрашенная горькой (почти неприметной) авторской иронией, фраза эта чрезвычайно выразительна. Неживая, не своя, книжная конструкция ее лучше всяких обличений дает понятие о непробиваемости Лики, об ее эстетическом бесчувствии.

Этот пример еще раз показывает, что фразу Бунина невозможно освоить до конца, вычитывая лишь ее буквальный смысл, даже если эта фраза — прямая речь героя.

На первом плане — не смысл, а эмоциональный заряд фразы.

Прочтем, например, про ту же Лику:

«...в ответ на мои телеграммы и письма пришло в конце концов только два слова: «Дочь моя уехала и местопребывание свое запретила сообщать кому бы то ни было».

Эмоциональный заряд приведенного отрывка настолько силен, что не сразу замечаешь нарочитое отсутствие буквализма в сочетании «два слова».

При научном определении явление подводится под более широкое понятие. Задача художника, видимо, обратна: чтобы четко определить предмет, сделать его видимым, нужно извлечь обозначающее предмет слово из разряда общих понятий, придать ему наиболее узкое, личное, наиболее конкретное значение. Вместо того чтобы написать «зеленое море», Бунин пишет — «купоросно-зеленый кусок моря», серое лицо — лицо «цвета замазки», еще лицо — «красно-сафьяновое». А если цвет просто называется, то опять-таки чтобы не подтвердить, а изменить приблизительное представление о предмете.

«По сухой фиолетовой дороге, пролегающей между гумном и садом, возвращается с погоста мужик. На плече белая же-

лезная лопата с прилипшим к ней синим черноземом».

Такая точность изображения в сочетании с простотой требует от писателя, помимо таланта, отличного знания материала, знания не внешнего, экскурсионного, а пережитого.

К литературной небрежности Бунин был беспощаден: «...один известный поэт, — он еще жив, и мне не хочется называть его, — рассказывал в своих стихах, что он шел, «колосья пшена разбирая», тогда как такого растения в природе никак не существует: существует, как известно, просо, зерно которого и есть пшено, а колосья (точнее, метелки) растут так низко, что разбирать их руками на ходу невозможно...»

Строгость Бунина к языку не имела ничего общего с низкопоклонством перед школьными грамматическими узаконениями или фигурами формальной логики. Он одобрял и неожиданную фразу, и то истинное новаторство, которое способствует пониманию предмета. Удивляясь гению Льва Толстого, Бунин писал: «...он первый употребляет совсем новые для литературы того времени слова: «Вдруг нас поразил необыкновенный, счастливый, белый весенний запах...»

Особенно по душе были Бунину слова, имеющие отношение к прошлому родине, к родной старине. «Святополки и Игорки, печенег и половцы — меня даже одни эти слова очаровывали», — признавался он в «Жизни Арсеньева».

С каждым годом Бунин обращался с фразой уверенней и свободней. Он не пренебрегал ни цитатами, ни устойчивыми стилистическими оборотами, ни тончайшей имитацией стиля. В «Жизни Арсеньева» можно найти и мудрые фразы древних летописей, и молитвы, и близкую распевность, и разбойничий зашифрованный говорок. Все это употреблено без рисовки, только там, где необходимо. Бунин позволял себе образовывать и неожиданные словесные конструкции: «В десять часов гости поднялись, налюбозничали и ушли».

Своему непосредственному чувству Бунин умел подчинять и привычный канон грамматической конструкции. В обычной речи было бы, пожалуй, натяжкой сказать, что «мужики широко и солнечно блещут косами». А Бунин спокойно пишет:

«...густой и высокой стеной стоит на серой от зноя синеве безоблачного неба море пересохшей желто-песчаной ржи с покорно-

склоненными, полными колосьями, а на него, друг за другом, наступают, враскорячку идут и медленно ровно уходят вперед мужики распояской, широко и солнечно блещут шуршащими косами, кладут влево от себя ряд за рядом...»

Легко отличить речь яркую, образную от трафаретной, искреннее слово — от фальшивого, довольно легко различить общее значение слова и его личное, частное или значение, принятое каким-то общественным слоем, классом, нетрудно ощутить недолговечный, модный оттенок слова. Все это не выходит за пределы пассивного усвоения языка. Поэтому хороший редактор редко бывает хорошим писателем.

Гораздо труднее научиться обращаться с языком активно: вместе с движением своей мысли двигать язык вперед, расширять границы его применения, умножать его силу, вскрывать затаенные возможности или обновлять забытые значения слова. Постигать дух языка — дело тяжелое. Оно требует непрерывной работы сердца и мысли, постоянной муки писания.

«Это истинное мучение! Я прихожу в отчаяние, что не могу этого запомнить. Я испытываю мутность мысли, тяжесть и слабость в теле. Пишу, а от усталости текут слезы. Какая мука наше писательское ремесло...» — так передает жалобу Бунина один из его друзей.

Примечательно, что неуклонное совершенствование реалистического стиля Бунина совершалось в те годы, когда внешние обстоятельства этому не благоприятствовали. Чехова и Льва Толстого уже не было в живых. Горький был вынужден жить за границей. Окружавшие Бунина воинствующие пророки и штукари бежали в символизм. В течение всех лет предреволюционной реакции ясный и чистый русский язык брался под подозрение.

«...бросьте внешнее велелепие искусства вашего, ведь мука творчества — иго неудобносимое, оставьте бесплодную задачу утончения формы до прозрачности, до совпадения с содержанием, ибо это какой-то соблазн, от чуждого вам, а не от Бога... Не надо слов, они придут сами, пускай бессвязные, непонятные, темные», — увещевал мистик Н. Рувов в 1910 году. А в 1928 году, когда Бунин работал над «Жизнью Арсеньева», парижский критик, тоже русский эмигрант, корил его рассказы, «как бы изнывающие под тяжестью собственного совершенства...»

А Бунин мужественно шел по своему пути. Родной язык всегда оставался для него святыней.

Алеша Арсеньев родился в 1871 году, Бунин — в 1870-м.

Дату рождения своего героя-двойника автор сдвинул на год, возможно, потому, что иначе в последней книге романа (в то время, когда Лика оставила Алешу) Алеше должен был исполниться двадцать один год и наступал срок воинской повинности. Пришлось бы писать о казенщине, бюрократии, о государственных обязанностях — обо всем том непоэтическом, чего Бунин не понимал и терпеть не мог.

Пять книг романа заключают в себе двадцать лет жизни Алеша: 1871—1891 годы. За эти двадцать лет в России произошли многозначительные события: война с Турцией, покушения на Александра II, его убийство народолюбцами, Морозовская стачка, суд над революционерами, готовившими покушение на Александра III, холерные и голодные бунты.

Однако и Алеша и другие персонажи романа, в том числе и те, которые служили рядом с ним в газете «Голос», ведут себя так, будто за стенами их квартир не происходит ничего существенного.

Как уже было сказано, это не означает, что Бунин был абсолютно бесчувственным к социальным явлениям. В годы его юности, например, бурно развивался железнодорожный транспорт. Молодой предприимчивый русский капитализм протягивал стальные пути к богатствам Юга и Дальнего Востока. И в «Жизни Арсеньева» к числу самых живописных картин относятся описания железной дороги, уютных купе, станционных буфетов, залов ожиданий... Трудно удержаться, чтобы не выписать несколько таких строк хотя бы для того, чтобы почтить любовь, с которой относился к железной дороге вечный странник.

Он не просто обоняет, он чувствует «свой» запах паровозного дыма:

«Тепло дует солнечный ветер, паровозный дым южно пахнет каменным углем».

Он не просто регистрирует взором суголоку вокзального зала, а чувствует «безобразно, беспорядочно людный, шумный зал».

Он не просто слышит, а чувствует, как гудят паровозы:

«...требовательно и призывно, грустно и вольно переключаются в студенном, звонком воздухе паровозы...»;

«...радостно и как будто испуганно, звонко крикнул паровоз, трогаясь в путь»;

«Поезд предостерегающе и печально кричит куда-то в пустоту...»;

«...с адской мрачностью взрывает вдали паровоз, угрожая мне дальнейшим путем...».

Железная дорога в те времена была одной из самых характерных примет наступающего капитализма. Но одно дело изобразить, а другое — осмыслить. Понять, что происходило в России, великий писатель не смог до конца дней своих. По определению М. Горького, он был человеком «не от мира сего». В тех редких случаях, когда приходилось воспроизводить споры на политические темы, перо Бунина теряло все свое волшебство.

«По мере того как я привыкал и приглядывался к нему (к кругу революционеров.— С. А.), я все чаще возмущался в нем то тем, то другим и даже порой не скрывал своего возмущения, пускался в горячий и, конечно, напрасный спор то по одному, то по другому поводу...»

Ко всему тому, что мы называем политикой, а Бунин «то тем, то другим», и писатель и молодой герой испытывали одинаково устойчивое отвращение.

На этот раз нам придется на время забыть Алешу и прислушаться только к писателю Бунину. Юного Алешу вряд ли кто-нибудь стал бы упрекать за парение «над схваткой», а солидарному с ним писателю Бунину такую позицию надо как-то оправдать. Это тем более необходимо, что критики уже порицали его за недостаток мысли и спрашивали в упор: «Ну, еще раз будет описана лунная ночь, а дальше что?»

Такие вопросы Бунина раздражали. Следы этого раздражения можно найти в «Жизни Арсеньева»:

«„Социальные контрасты!“ — думал я едко, в пику кому-то, проходя в свете и блеске витрины... На Московской я заходил в извозничью чайную, сидел в ее говоре, тесноте и парном тепле, смотрел на мясистые, алые лица, на рыжие бороды, на ржавый шелушащийся поднос, на котором стояли передо мной два белых чайника с мокрыми веревочками, привязанными к их крышечкам и ручкам... Наблюдение народного быта? Ошибаетесь — только вот этого подноса, этой мокрой веревочки!»

Было бы поспешным заключать, что Бунин проповедовал «искусство для искусства». Приверженцем «чистого искусства» он никогда не был. Он считал изображение внешнего, предметного мира непрременной, необходимой целью словесного искусства, непрременной, но не окончательной. На упреки о лунной ночи он ответил так:

«Если лунная ночь описана скверно или банально, не будет, конечно, ровно ничего «дальше». А если хорошо, то есть настоящим художником, который, конечно, не фотографией лунной ночи занимается и всегда говорит прежде всего о своей душе, эту ночь так или иначе воспринимающей, то уж «дальше» непременно что-нибудь будет».

Под этим «что-нибудь» не может подразумеваться ничего, кроме внутренней мысли произведения, его идеи.

Однако раздраженный пример с мокрой веревочкой наводит на мысль, что Бунин в глубине души не на все сто процентов был уверен в том, что «дальше» непременно «что-нибудь будет» само собой, без сознательной воли автора. И, видимо, не раз задумывался над упреками своих порицателей. Тем более что среди порицателей был глубоко почитаемый им Лев Толстой.

«Сначала превосходное описание природы, — идет дождик, — передает А. Гольденвейзер отзыв Л. Толстого о рассказе Бунина, который теперь называется «Заря всю ночь», — и так написано, что и Тургенев не написал бы так, а уж обо мне и говорить нечего. А потом девица — мечтает о нем (Л. Н. рассказал вкратце содержание рассказа), и все это: и глупое чувство девицы, и дождик, все нужно только для того, чтобы Б. написал рассказ. Как обыкновенно, когда не о чем говорить, говорят о погоде, так и писатели, когда писать нечего, о погоде пишут, а это пора оставить».

Лев Толстой упрекал Бунина в отсутствии отчетливой нравственно-философской концепции. А судя по декларации о мокрой веревочке, концепция у Бунина была, и состояла она, как это ни кажется похожим на дешевый каламбур, именно в отсутствии концепции. Всяческие стремления к общему благу, все «проклятые вопросы», над которыми бьются реформаторы и революционеры, умствование и проповедничество, вся эта ученая, мудрая деятельность обращается, по мысли Бунина, вздором и чепухой перед загадкой смерти. «...все в

жизни все равно проходит и не стоит слез...»

Так, негативно, определилась мысль романа; ее при желании можно обозначить, например, как парадокс жизни перед лицом смерти. Я не вижу смысла обсуждать, насколько ново и глубоко такое воззрение. Важно, что Бунин отнесся к этой теме с полной серьезностью.

Почти все книги (части) романа завершаются картинами смерти. Вторая книга кончается смертью Писарева, четвертая — смертью великого князя Николая Николаевича, пятая — смертью Лики. В первой книге последние три главки повествуют о том, как Алеша отходит после своего первого серьезного погребения — красиво описанной смерти его маленькой сестренки.

Тоска по любимой Лике — и детский гробик в церкви, влечение к рыжей девке — и дешевый гроб в товарном вагоне — такие однотипные сцены слишком навязчивы.

Нет ничего удивительного в том, что Алеша, испытавший распад и гибель родного гнезда, задумывается над этой вечной темой. Любому юноше когда-нибудь да приходит на ум Аleshин вопрос: «Что же такое моя жизнь в этом непонятном, вечном и огромном мире, окружающем меня?» Такие вопросы не делают из Алеши философа хотя бы потому, что философы с подобных вопросов свои построения начинают, а Алеша на них застревает.

Однако в тех местах, где речь заходит о парадоксе жизни перед лицом смерти, вмешательство взрослого писателя Бунина становится особенно бесцеремонным: он как бы высылает Алешу из комнаты, как делают взрослые, когда беседа касается детских предметов, и приходит к прямому разговору с читателем — то о матери, череп которой покоится где-то на заброшенном русском кладбище, то о черепе Моцарта, удивительно маленьком, почти детском...

В таких местах искреннее недоумение перед загадкой вселенной, перед жизнью человека, благодаря цепи случайностей оказавшегося на краткий миг в этом радужном мире, звучит особенно сильно.

«Облако из-за берез блистало, белело, все меняя свои очертанья... Могло ли оно не меняться? Светлый лес струился, трепетал, с дремотным лепетом и шорохом убегал куда-то... Куда, зачем?» — спрашивает Алеша.

«В лицо мне резко бьет холодом, над

головой разверзается черно-вороненое, в белых, синих и красных пылающих звездах небо. Все несется куда-то вперед, вперед...» — вторит Алеше стареющий писатель Бунин.

Все это, повторяю, свойственно любому здоровому человеку. Но как только эпизоды с любовью и гробами наполняются мистической многозначительностью, возводятся в круг философских проблем, сразу обнаруживается их пустопорожность.

И тем не менее характеристика «Жизни Арсеньева» как «философской поэмы» правомерна. Упрекнуть в нарочитом сочинительстве можно, пожалуй, только редкие эпизоды, отдающие мистикой. Все остальное начисто лишено придуманных эффектов. Каждая, даже самая маленькая, глава наполнена трепещущей жизнью и мыслью. Эта мысль, постепенно возникающая по мере чтения, современна, свежа и глубока. Автор, видимо, не придавал ей особенного значения, но читатель, который почувствовал ее, не может не вспомнить замечания Бунина по поводу лунной ночи: «...непреренно что-нибудь будет».

В поисках этой живой, злободневной мысли надо идти за Буниным не под своды церковью и склепов, а в другом направлении...

В то время, когда будущий лауреат Нобелевской премии по литературе Бунин трудился в Грассе и Париже над «Жизнью Арсеньева», в том же Париже другой будущий лауреат той же премии, молодой ирландец Сэмюэль Беккет, заканчивал книгу о творчестве Пруста.

В этой вышедшей в 1931 году книге под слоем литературного анализа можно найти и соображения, которыми оперируют нынешние деятели искусства абсурда. Образцы этого вида искусства известны нашим читателям в переводах на русский язык («В ожидании Годо» С. Беккета, «Носорог» Э. Ионеско).

В чем смысл этого искусства? Что оно пытается выразить? По словам благожелательного ценителя Мартина Эслина, абсурд «выступает как часть антилитературного движения нашего времени, которое нашло свое выражение в абстрактной живописи, отвергающей «литературный» элемент в картинах, во французском «новом романе» с его расчетом на голое изображение объектов и отказом от выразительности и антропоморфизма».

Слово «антропоморфизм» употреблено здесь, как мне кажется, в весьма широком значении, включающем и религиозные воззрения, олицетворяющие бога в человеческом облике. Проще говоря, Мартин Эсслин осторожно намекает на то, что искусство абсурда не признает религии. Впрочем, излишне деликатничать здесь ни к чему. Растолковывая одну из своих пьес, Йонеско прямо объявляет, что пустые стулья на сцене означают «отсутствие людей, отсутствие императора, отсутствие бога, отсутствие материи, нереальность мира, метафизическую пустоту. Тема этой пьесы — н и ч т о».

Если оценивать искусство абсурда с точки зрения практической, то оно представится одной из разновидностей «бунта волосатых» против капиталистических порядков. С точки зрения идеологической это явление выглядит своеобразней.

Вот уже в течение трех столетий, начиная с «века гениев» (XVII), абстрактный рационализм потчует смертных аксиомами автоматической неизбежности божьего царства на земле. Лейбниц, например, уверял, что это царство «достигается именно вследствие естественного хода вещей, в силу предустановленной на все времена гармонии между царством природы и царством благодати, между Богом как архитектором и Богом как монархом». Успокоительная вера эта выступала в разных обличьях. Сегодня она ярче всего, пожалуй, выражена на Западе в сциентизме (наука — всесильный благодетель и исцелитель от всех зол).

Деятельность абсурдистов — реакция против спекуляций автоматического прогресса. Абсурдисты не создают философских систем. Их задача — разрушить до основания расслабляющее души представление о том, что все идет к лучшему в этом лучшем мире. Это, по словам одного немецкого исследователя, «скорее восстание против привычного мировоззрения, чем против привычной формы». Тряхнуть человечество, пробудить его от блаженной дремоты, выбить ложные иллюзии, показать бессмыслицу существования, втолковать, что жизнь — отчаяние, — вот задача абсурдистов. А потом, когда человек почувствует ужас бытия, когда окажется лицом к лицу с собственным отчаянием, — вот тогда он будет готов, чтобы действовать.

Таким образом, абсурд начинается с послышки: человек живет не в упорядоченном мире, а в мире хаотическом, принципиально

недоступном порядку, в мире, сумасшедшем с самого начала.

Этой же послышкой абсурд и кончается.

Эрих Фромм, преобразивший концепцию Фрейда в духе экзистенциализма, описывает положение человека в современном капиталистическом обществе такими словами: «Колоссальные города, в которых затерялась личность, высоченные, как горы, дома, непрерывная словесная и музыкальная бомбардировка по радио, кричащие заголовки, меняющиеся три раза на день и не дающие никакой возможности отделить важное от не важного, ревью, где сотни девушек с точностью часового механизма, исключаяющей все индивидуальное, показывают свое мастерство, словно подражая гигантской машине, подстегивающие ритмы джаза — все это и многое другое создает атмосферу, в которой отдельный человек кружится в безмерном пространстве безвольной и бессильной крошечной пылинкой». В результате у человека возникает «все растущее чувство одиночества, неуверенности, возникает сомнение в смысле существования, положения человека в мире, и в конце концов берет верх чувство бессилия и собственного ничтожества».

Э. Фромм не скрывает, что эти особенности современной психики характеризуют не личность вообще, а личность, обитающую в капиталистическом обществе.

Абсурдисты тоже описывают смятение отчужденного человека. Однако в отличие от Э. Фромма они не принимают во внимание общественный строй, общественные порядки. «Ни одно общество не способно устранить человеческое несчастье, никакая политическая система не может избавить нас от отчаяния жизни, от страха смерти, от нашей жажды абсолюта». Абсурдисты считают само человеческое бытие, каким бы оно ни было, абсурдом. Перед лицом неминуемой смерти отдельная человеческая личность — ничто. Прибывший из небытия и скрывающийся в небытии человек — не больше чем «мертвец в отпуске». Перед лицом смерти верить в какие-то утешительные, освященные вековой традицией цели, идеалы, верить в бога — во всякого, как бы он ни назывался, в любого бога с маленькой или с большой буквы, в Вечный разум, в Абсолютный дух и в прочие воплощения высшего божества — бессмысленно. Во что ни верь, факт остается фактом: человек заброшен в мир, который ему чужд. И аб-

суда заключается «в противопоставлении человека, который спрашивает, и мира, который против здравого смысла молчит».

Искусство абсурда со всеми его крайностями — порождение капиталистического образа жизни. Однако мне кажется чрезмерным утверждение о том, что чувство одиночества «характерно для мироощущения тех слоев мелкой буржуазии, которые, неуклонно вытесняемые крупным монополистическим капиталом, теряют почву под ногами» (А. Михеева, «Когда по сцене ходят носороги...». М. 1967, стр. 160).

И чувство одиночества и чувство глубокого отчаяния могут испытывать не только слои мелкой буржуазии, вытесняемые крупным монополистическим капиталом. Однажды таким «абсурдистом» оказался Лев Толстой. Вскоре после смерти брата он писал: «К чему всё, когда завтра начнутся муки смерти со всею мерзостью подлости, лжи, самообманыванья и кончатся ничтожеством, нулем для себя... правда, которую я вынес из 32 лет, есть та, что положение, в которое нас поставил кто-то, есть самый ужасный обман и злодеяние, для которого бы мы не нашли слов (мы либералы), ежели бы человек поставил бы другого человека в это положение. Хвалите Аллаха, Бога, Брамму. Такой благодетель. «Берите жизнь, какая она есть», «Не Бог, а вы сами поставили себя в это положение». Как же! Я и беру жизнь, какова она есть, как самое пошлое, отвратительное и ложное состояние».

Разница здесь простая: абсурдисты находятся в состоянии устойчивого безысходного отчаяния. А черное отчаяние Льва Толстого улетучилось и побудило его еще настойчивей пробиваться к смыслу жизни. В своих поисках великий писатель земли русской набрел на того самого бога, в лицо которого бросал когда-то свое ядовитое «как же!». Тем не менее веками его духовных исканий остались художественные произведения, по сей день восхищающие мир.

«Вечные вопросы» вставали и перед Буниным. Но отношение к ним обоих писателей было разным. Лев Толстой всю свою жизнь разгадывал, что такое бытие, смерть, бог, добро и зло, что такое бесконечность, бессмертие. Бунин, по самой сути своей чистого художественной природы чуждый всяческого умствования, перечислял эти вопросы в том виде, как они возникали перед ним и перед его юным героем, и смирялся перед их неразрешимостью. «В загадочно-

сти и безучастности всего окружающего было что-то даже страшное», — думал Алеша. Под этим его наблюдением, наверное, расписались бы и Беккет и Ионеско.

И тем не менее получилось так, что роман «Жизнь Арсеньева», написанный писателем, не помышлявшим о полемике с Камю или Беккетом, оказался одним из тех удивительных сочинений, которые опрокидывают мрачные построения абсурдистов, и не мудреными рассуждениями, а фактами жизни.

Абсурд здесь опровергается как бы проходя и тем не менее вполне убедительно.

Изображая трагизм отчуждения, абсурдисты не пытаются объяснить это отчуждение социальными причинами. Противопоставляя человека миру, они подчеркивают фатальную отдельность личности. Общество для них — нечто безликое, бесформенное, не более чем «миллионы одиночек».

Абсурдист отсекает человека от мира, извлекает его из общественных связей, заставляя как бы извне взирать на мир, в котором помимо его воли разыгрываются нелепые трагикомедии.

Бунин изображает и себя и своего Алешу иначе. Алеша воспринимает мир не снаружи, а изнутри, воспринимает как свой мир. Он не сторонний зритель, а необходимая частица бытия, неотделимая от его структуры и стремительного потока.

«А поздним вечером, когда сад уже чернел за окнами всей своей таинственной ночной чернотой, а я лежал в темной спальне в своей детской кроватке, все глядела на меня в окно, с высоты, какая-то тихая звезда... Что надо было ей от меня? Что она мне без слов говорила, куда звала, о чем напоминала?»

Во многих других местах романа местоположение Алеша определено с такой же отчетливостью. Алеша — как бы сердцевина вселенной, и бесчисленные нити ее как в фокусе пересекаются в его душе. Он страстно пускается доказывать Лике, «что нет никакой отдельной от нас природы, что каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни».

Жить в этом мире нелегко. Бунин не скрывает ни безобразия смерти, ни тяжести одиночества. Но что бы там ни было, человек соединен с миром родственной связью: «Солнце уже за домом, за садом, пустой, широкий двор в тени, а я (совсем, совсем один в мире) лежу на его зеленой

холодеющей траве, глядя в бездонное синее небо, как в чьи-то дивные и родные глаза, в отчее лоно свое».

Хронологически эти чувства принадлежат трехлетнему мальчугану, растущему на заброшенном степном хуторе. Но здесь особенно важно вспомнить, что фраза в «Жизни Арсеньева» непростая, что чувства и думы Алеши надо воспринимать сквозь повествование писателя Бунина. Торжественную искренность близких и понятных каждому строк об отчет лоне опять-таки нужно отнести в большей степени к многоопытному, стареющему Бунину, чем к маленькому Алеше.

Двухголосье фразы, доносящейся сразу из прошлого и из настоящего, от героя и от рассказчика, придает этой мысли особенную, пророчески-убеждающую силу. Видно, есть все-таки «вечные чувства» (например, чувство родины), которые, возникнув на заре осмысленного детства, сохраняют до самого конца устойчивую, незыблемую чистоту.

Неразрывная связь с миром — одно из самых живительных чувствований. Даже абсурдисты в качестве лекарства от одиночества предлагают насильственное восстановление этой связи.

У Камю есть маленький рассказ под названием «Бракосочетание в Типаса».

Герой рассказа попадает на пустынный берег моря. Вокруг — дикие цветы, руины старых, древних строений. Герой сообщает: «Я знаю, что даже здесь я никогда до конца не сблизюсь с миром. Мне нужно раздеться донага и броситься в море, растворить в нем пропитавшие меня земные запахи и своим телом сомкнуть объятия, о которых издавна, прильнув устами к устам, вздыхают земля и море».

Герой Камю опутан невидимыми путями, которые уже неведомо терпеть, от которых во что бы то ни стало надо освободиться. Видимо, это нелегко. Во всех действиях прорывается что-то отчаянное, насильственное.

«Сейчас я брошусь наземь и, валяясь по поляни, чтобы пропитаться ее запахом, буду сознавать, что поступаю согласно истинной природе вещей, в силу которой солнце светит, а я когда-нибудь умру».

Отчаянность оправдана условиями, которые Камю полагает обязательными для «бракосочетания». Природа согласна «сочетаться» с человеком, если он «смоет» с себя все человеческое, приобретенное за мно-

гие тысячелетия эволюции, то есть повторит судьбу древних развалин. «Сочетавшись с весной, руины опять стали камнями и, утратив наведенную людьми полировку, вновь приобщились к природе».

Камю предлагает либо вечные муки отчуждения, либо «задний ход» — возвращение к пещерным временам, утрату «полировки» цивилизации.

Любой человек, по Камю, — несчастное существо, лишенное памяти прошлого, «памяти родины».

Человек, изображенный в романе Бунина, опровергает эту мрачную конструкцию. Почти каждая страница «Жизни Арсеньева» пропитана благородной памятью прошлого. Она, эта память, живет в мальчугане Алеше, в его сознании и подсознании, она помогает оценивать «дела и дни», определять отношение к миру.

Отвозя Алешу в гимназию, отец, указывая на ворона, заметил, что эти птицы живут по нескольку сот лет, и ворон, может быть, жил еще при татарах: «В чем заключалось очарование того, что он сказал и что я почувствовал тогда? В ощущенье России и того, что она моя родина? В ощущенье связи с былым, далеким, общим, всегда расширяющим нашу душу, наше личное существование, напоминающим нашу причастность к этому общему?»

С такой же силой выражает Бунин благотворное, образывающее влияние, которое оказывает на душу культура народа, бесценное достоинство, накопленное человечеством, — предания, летописи, книги, сохранившие историю в слове.

Читанное, книжное неразрывно сплавлено в душе Бунина с личным, пережитым: «Помню крещенские морозы, наводящие мысль на глубокую древнюю Русь, на те стужи, от которых «земля на сажень трескалась»: тогда над белоснежным городом, совершенно потонувшим в сугробах, по ночам грозно горело на черно-вороненом небе белое созвездие Ориона, а утром зеркально, зловеще блистало два тусклых солнца и в тугой и звонкой недвижности жгучего воздуха весь город медленно и дико дымился алхими дыми из труб и весь скрипел и влижал от шагов прохожих и санных полозьев...».

Все, о чем пишет Бунин, ощутимо, осязаемо, материально. Недаром один американский философ заметил (безотносительно к Бунину): «Сам (русский) язык мешает вам

или, во всяком случае, отбивает у вас охоту быть экзистенциалистом».

Ни Алеше, ни Бунину не дано понять, в каком направлении движется история. Но то, что ход истории зависит от человека и движение мира не абсурдный круговорот, а стремление к совершенству, — это они ощущали очень хорошо.

Бунин открывает перед нами радостные, прекрасные картины движущегося мира: «Прекрасна — и особенно в эту зиму — была Батуриная усадьба», «Прекрасны были и те новые чувства, с которыми я провел мою первую зиму в этом доме», «И прекрасна была моя первая влюбленность...», «А потом пришла весна, самая необыкновенная во всей моей жизни». И дымка грусти веет над страницами книги не оттого, что часто Алешу постигают разлуки и разочарования, а от сознания, что всему суждено кончиться — даже разлукам и расставаниям.

Загадочность бытия не обескураживает Бунина. Отчаявшийся абсурдист отмахивается от любых позитивных решений, изображая жизнь бессмысленным вздором. Бунин возражает:

«Может быть, и впрямь все вздор, но ведь этот вздор моя жизнь, и зачем же

я чувствую ее данной вовсе не для вздора?..» Загадочность мира, так же как и пение птиц и запах мокрых трав, необходима, чтобы ощущать прелесть существования. Она не гнетет, она зовет человека к размышлению, к деятельности, к творчеству.

Вчитываясь в двойные эпитеты, которыми определяется «бессмысленно-радостный», «обманчиво-возвышенный» мир, невозможно отделаться от чувства, что маленький Алеша смутно угадывал диалектическое двуединство бытия. Когда читаешь: «...во всем была смерть, смерть, смешанная с вечной, милой и бесцельной жизнью!» — так и кажется, что Алеша предчувствовал фразу, начертанную Нильсом Бором в книге почетных посетителей в Дубне: «Противоположности не противоречивы, а дополнители».

Работая над «Жизнью Арсеньева», одолевая смерть словом, творчеством, Бунин пришел к такому заключению: «...как ни грустно в этом непонятном мире, он все же прекрасен...»

И когда любимая упрекнула его за слишком частое употребление слова «восхищение», он возразил убежденно: «Жизнь и должна быть восхищением!»



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Владимир Соловьев. О поэте, о его стихах и о его читателях.—**Л. Скорино.** Живые традиции.—**И. Роднянская.** Два лица Станислава Лема.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Маслов. Элтон Мэйо и другие.—**А. Преображенский.** О Русской Америке.—**С. Троицкий.** Лоция в книжном море.

Литература и искусство

О ПОЭТЕ, О ЕГО СТИХАХ И О ЕГО ЧИТАТЕЛЯХ

Евгений Евтушенко. Я сибирской породы. Иркутск. Восточно-Сибирское книжное издательство. 1971. 216 стр.

Евгений Евтушенко. Поющая дамба. Стихи и поэмы. М. «Советский писатель». 1972. 176 стр.

Поэзия Евгения Евтушенко — одно из самых ярких литературных и общественных явлений последних лет. Можно по-разному относиться к поэту, можно менять это отношение, но невозможно пройти мимо поэзии Евтушенко, не заметив ее.

Контакт поэзии Евгения Евтушенко с читателем и тесен и достаточно драматичен. Иные его критики сегодня любят повторять афоризмы насчет «свержения поэтических кумиров». Есть закон пружины: чем больше она сжата, тем сильнее ее отдача — обратное движение. Сегодняшние новые вкусы читателей, новые критерии — это все-таки следствие движения литературы, а никак не его причина. Но обретая новые критерии, мы не забываем и о прежних, не забываем и о том, что нельзя одной меркой мерить разных поэтов. Здесь можно напомнить об уроках русской критики — не только о ее достоинствах, но и о ее заблуждениях. Нельзя, скажем, о Пушкине судить, исходя из поэтики Некрасова; к чему это привело, мы помним из досадного опыта Писарева.

И вообще, обозначая отличия одного поэтического периода от другого, не стоит за счет нового отрицать прежнее. Хорошо известно — и об этом уже написано, я только повторю, — что при смене литературных форм каждое приобретение сопровождается утратой, и, подобно тому как существует две геометрии — Эвклида и Лобачевского, возможны две истории литературы, написанные в двух ключах: одна говорила бы только о приобретениях, другая только об утратах, и обе говорили бы об одном и том же. Попытайтесь совместить в подходе к поэзии оба эти ключа — не это ли задача сегодняшней критики?

Нет слов, больше всего от критиков, а порой и читателей, достается сейчас Евгению Евтушенко. Если вспомнить многие его поэтические декларации прошлых лет, можно сказать: ты сам этого хотел, Жорж Данден! О таком исходе Евтушенко должен был догадываться — перечитайте многочисленные у него в последнюю пору стихи о старости, о неизбежной смене и забвении: «Мы з старости как в полосе, где мы

за былое в ответе, где мы попадаемся все в свои же забытые сети. Ты был из горланов, гуляк. Теперь не до драчки. Болячки. Качайся, соленый гамак, создай хоть подобие качки! Но море не бьет о борта, и небо предательски ясно. Нарощная качка не та — уж слишком она безопасна.

Меняется время, меняются и пристрастия поэтов. Достаточно сравнить, скажем, «бродяжки» (в общем русле поэзии начала 60-х годов) стихи Юнны Мориц в первом ее сборнике с ее теперешним принципиальным домоседством, которое она утверждает на страницах второй своей книги¹. Евгений Евтушенко, казалось бы, самый конъюнктурный (не в уничижительном, а в сложном смысле слова) из всех поэтов, сейчас ратует за постоянство поэтической позиции («Флюгер слишком усердно скриплев»).

Поэзия Евгения Евтушенко похожа на огромную квартиру, на которую у хозяина не хватило настоящей мебели, оттого разнотильность: есть тут мебель заурядная, есть и первоклассная. Лев Озеров в своем «Кратком трактате о яблоке» привел четырнадцать примеров поэтических перевоплощений Евгения Евтушенко в других поэтов. Евтушенко действительно широко пользуется заемной стиховой интонацией, причем делает он это откровенно, не скрывая адреса своих поэтических кредиторов. Достаточно бегло полистать его «Поющую дамбу», чтобы в этом убедиться: «Трамвай поэзии» написан митинговым стихом Маяковского, «Хочу того, чего сказать нельзя...» — с явными отзвуками пастернаковской интонации, «Баллада о гренадской земле» — чистосердечная реминисценция светловской «Гренады»; часто встречается есенинская интонация, очевидно влияние современников — того же Вознесенского: «Невыносимо милосердие, когда единственное — что мы можем сделать — помощь смерти».

Я думаю, однако, что Лев Озеров напрасно остановился в своем перечислении, потому что, если бы он дошел до «перевплощения» Евтушенко в переводных поэтов (от Франсуа Вийона до Уолта Уитмена и Федерико Гарсиа Лорки), вывод трактата был бы, возможно, иным — более справедливым и близким к истине. Мало сказать, что многое из того, чем так щедро пользуется Евтушенко, уже перестало принадлежать индивидуальным поэтам, но стало достоя-

нием русской поэзии, стиховой традиции. Дело в том, что все эти перевоплощения дают поэту возможность до бесконечности расширять диапазон своего собственного творчества, быть необыкновенно мобильным, реактивным, быстро, если это необходимо, менять стиховую интонацию. Перевоплощения перевоплощениями, но стихи Евтушенко не спугаешь со стихами других поэтов: широко пользуясь чужим стихом, он остается самим собой, и его индивидуальность не в ритмике, не в интонации, не в рифме, но в человеческой, а значит, и поэтической позиции.

Почти все стихи Евтушенко — о б р а щ е н и е к читателю: врагу или другу, к любимой или ко всему человечеству — все равно. Самое важное: «Граждане, послушайте меня...» Жест оратора определяет энергию публицистического стиха, в стихотворной новелле он заменен жестом рассказчика, в интимной лирике — шепотом исповедующегося человека. Трибуна, эстрада, исповедальня — но чтобы обязательно был слушатель, который словно бы даже не вне поэзии Евтушенко, а внутри ее, обуславливает содержание стиха, его интонацию, его смысл.

Все свои просчеты Евтушенко знает сам. Так, поверхностность своей поэзии он называет «болезнью души» и в прологе к «Братской ГЭС» пишет: «Метался я... Швыряло взад-вперед меня от чьих-то вскрипов или стонов то в надувную бесполезность од, то в ложную полезность фельетонов». Однако в самой поэме Евтушенко и не подумал отказаться от «од» и от «фельетонов», он ими пользуется в соответствии со своей поэтической системой.

Есть в нас, его читателей, стремление дойти до самых основ. Действительно, спрашиваем мы, почему нет в Евтушенко строгой последовательности, почему его так «швыряет», почему он не постоянно мудр, не постоянно тонок, не постоянно постоянен? Но случись так на самом деле, кто знает, не потерял бы Евтушенко свою аудиторию и не перестал бы быть тем, что он есть? «Я так люблю, чтоб все перемежалось! И столько всякого во мне перемешалось — от запада и до востока, от зависти и до восторга! Я знаю — вы мне скажете: «Где цельность?» О, в этом всем огромная есть ценность! Я вам необходим...»

Кстати, о цельности. Напомню читателю слова Александра Блока, которыми он охарактеризовал своего любимого поэта Апол-

¹ Ю н н а М о р и ц. Лоза. Книга стихов. 1962—1969. М. «Советский писатель». 1970.

лона Григорьева: «Григорьев петербургского периода — в сущности, лишь прозвище целой несогласной компании: мечтательный романтик, начитавшийся немецкой философии; бедный и робкий мальчик, не сумевший понравиться женщине; журнальный писакса, весьма небрежно обращающийся с русским языком, — сродни будущему «нигилисту», «интеллигенту»; человек русский, втайне набожный (ибо грешный), пребывающий в постоянном трепете перед грозой воспитателя своего, М. П. Погодина; пьяница и безобразник, которому море по колено; и, наконец, мудрец, поющий гимны Розе и Радости. Вот какая это была компания».

«Несогласная компания», собранная лирическим героем Евгения Евтушенко, не менее многочисленна. Если мы вчитаемся еще раз со всей серьезностью в стихи-обращения Евгения Евтушенко, то вдруг поймем: для поэта важен даже не слушатель, а слушатели, он обращается сразу ко всем и ни к кому в отдельности, адрес его стихов — коллективный, всеобщий, расплывчатый, как письмо Ваньки Жукова на деревню дедушке. Евтушенко это понимает: «Голос мой в залах гремел, как набат, площади тряс его мощный раскат, а дотянуться до этой избушки и пробудить ее — он слабоват».

Я не пытаюсь заняться здесь социологическим исследованием читательской аудитории Евгения Евтушенко, хотя, возможно, это было бы лучшим способом анализа его поэзии, так как несомненно не только влияние Евтушенко на аудиторию, но и обратное влияние — самой аудитории на поэта.

В последнем сборнике Евтушенко дал свое «толкование» кинозрителя; не погрешив против истины, перенесем эту характеристику на читателя его стихов: «Настоящий зритель понимает фильмы как соавтор — не судья. Кожей фильма он переснимает, чтоб потом крутить внутри себя. В жизни честно роль свою играя, жизнь он режиссирует потом. Зритель — это серия вторая фильма, где-то спрятанного в нем».

Стих, написанный по горячим следам взволновавшего всех события, бывает и торопливым, и небрежным, и поверхностным. Но есть среди читателей стихов Евтушенко такие, которым это не важно, потому что они, кроме стихов самого Евтушенко, других стихов почти не читают. Они привлечены в поэзию помимо поэзии, и часто помимо поэзии обращаются к таким читателям поэт. Как справедливо написала о та-

ких читателей Белла Ахмадулина: «А в публике — доверье и смущенье. Как добрая душа ее проста. Великого и малого смещение не различает эта доброта».

Необходимость стихов Евтушенко для читателя часто больше, чем поэтическая, — человеческая. В одном из последних своих стихотворений он написал: «В непоззии — столько поэзии! Непозэты — поэты вдвойне. Разделяют людей не профессии — отношение к эпохе, к стране». И еще более определенно в «Уроках Братска»: «Я останусь не только стихами. Золотая загадка моя в том, что землю любила потрохами, и земля полюбила меня».

Евтушенко хорошо знает о своей популярности, поэтому он то «учительствует», то выступает вровень с аудиторией, а то порой «поигрывает» перед ней, и тогда тема всплывает над его стихом и освобождается от поэзии. Опасность для творчества Евтушенко здесь роковая: читатель может уйти от поэзии и Евтушенко тоже — в погоне за читателем — в эстраду, в конференс...

В необъятном мире поэзии Евтушенко есть и прекрасные стихи, есть и провалы, и пустоты, и общая разреженность пространства, когда не хватает воздуха, когда реальный мир воплощается в поэзию только частично.

Но столь же очевидно и то, как поэт своими стихами пытается «охватить всю Россию», все ее характеры, все ее пристрастия: он пишет о машинистках, бухгалтерях, болевых, геологах, рыбаках, о старухах, о молодых, о молодости, о старости, о войне, о бабьей доле... В этом смысле он поэт русский, и сравнить его тематический охват России можно разве что с чеховским. Обращаясь к потомку и предлагая ему найти «в почерке поэта разгадку времени», Евтушенко тесно связывает свою поэзию с Россией и даже о литературных своих противоречиях говорит как об отраженных и исторически неизбежных: «Мой почерк не каллиграфичен. За красотою не следя, как будто бы от зуботычин, кренясь, шатаются слова. Но ты, потомок, мой текстолог, идя за прошлым по пятам, учти условия тех штормов, в какие предок попадал. Он шел на карбасе драчливым, кичливым несколько, но ты увидь за почерком качливым не только автора черты... Тут — пальцы попросту немели. Тут — зыбь замучила хитро. Тут — от какой-то подлой мели неверно дернулось перо»...

Короче говоря, резюмируя сказанное:

где-то Евтушенко становится много щедрее, чем позволяют его поэтические возможности. Впрочем, где найти такие возможности, которые удовлетворяли бы чуть ли не космической жажде общения у Евтушенко — разговаривать со всеми и обо всем? Поэтому многие мысли, сюжеты, призывы и даже признания Евтушенко в поэзию недооволощались: у него есть рифмованные статьи, рифмованные фельетоны, рифмованные новеллы. Ему необходима диета, как сейчас говорят, разгрузочные дни, чтобы набраться сил, набрать воздуха в легкие.

Или так изменились времена, что жечь сердца людей можно и поэтически несовершенным глаголом, и Евгению Евтушенко с его активным контактом с аудиторией, может быть, виднее, чем нам?

Литературная аудитория определенно изменилась: часть читателей Евтушенко ушла — к другим поэтам-современникам или еще дальше, к Пушкину, а то и в сторону — от поэзии. Но Евтушенко сделал важнейшее дело: во многом благодаря именно ему и произошла сейчас уже очевидная инфильтрация жизни в поэзию — это относится к расширению и тематике, и аудитории, и словаря. Границы поэзии были расширены до таких пределов, что где-то ее реализм сливался с реальностью, отождествляясь с нею и теряя собственные очертания. Вот тогда-то иной читатель переставал чувствовать необходимость поэзии, которая ничем не отличалась от жизни, — ему достаточно было самой жизни. Вспомним еще раз закон сжатой пружины. Такой читатель мог и отхлынуть от поэзии, оставляя поэта наедине с самим собой. Почувствовал ли драматизм этой ситуации Евгений Евтушенко?

Когда я пишу о разумной диете, о накоплении сил, то вспоминаю старую мысль, что есть время бросать камни, а есть время их собирать. Хотя, судя по всему предшествующему поэтическому опыту поэта, долго накапливать он не может — отдает сразу. Да и паузы, молчание, на которое он способен, — особое. Он молчит вслух: «Душа синя-синя, своя, а недотрога... Псехать бы в себя, да дальняя дорога».

Но как раз такие мгновения «молчания вслух» для требовательного читателя и наиболее ценны, потому что наряду с разреженностью поэтического пространства у Евтушенко есть поэтическая сосредоточенность, и тогда с новой силой и безусловной точностью звучат его стихи. Причем это

относится ко всем жанрам, которые разрабатывает Евтушенко: при всей жанровой полифоничности поэзии Евтушенко, нет жанров, ему противопоказанных. В каждом у него есть и удача и просчеты. Даже среди ранних стихотворений, где много неудачных, есть свежее, легкое и словно бы открытое навстречу миру стихотворение «На велосипеде» с прелестными деталями: «Я ломаю черемуху в звоне лесном, и, к рулю привязав ее ивовой веткой, я лечу и букет раздвигаю лицом». В развернуто-сюжетных, «передвижнических», откровенно повествовательных стихах рядом с такими, в которых жизненный факт притянут к выводу или вывод искусственно притянут к факту, есть новеллы с найденным гармоничным разрешением факта и авторской позиции. Даже отталкиваясь от газетного сообщения о промысловом лове рыбы сетями с зауженными ячейками, Евтушенко пишет страстную, волнующую читателя «Балладу о браконьерстве»... Да и многословие, постоянная болезнь поэта (и не только в «Братской ГЭС»), совсем не чувствуется в его ранней поэме «Станция Зима», не чувствуется оно и в его «Казанском университете» — на мой взгляд, самом высоком достижении поэтической публицистики Евгения Евтушенко.

Вообще, поэма Евтушенко — уменьшенная копия с его сборников, где соседствуют высокие удачи с огорчительными провалами. Сошлюсь на поэму «Под кожей статуи Свободы» — в ней и связь-то такая, что свойственна скорее тематическому циклу, чем жанрово единой поэме.

В последних стихах Евтушенко, в его «Уроках Братска» есть строки: «Сорока-летье — страшная пора, когда измотан с жизнью в поединке и на ладони две-три золотинки, а вырытой пустой земли — гора». Думаю, Евтушенко преуменьшает количество золотинок, я бы с удовольствием взялся составить из них его «Избранное», в которое вошли бы лучшие стихи и которое, уверен в этом, удовлетворило бы самых строгих ценителей поэзии.

Поэт сам вступает в спор со своими поверхностными стихами, собственной же своей настоящей поэзией их опровергает. Каким образом это происходит?

И просчеты и достоинства поэтической системы Евтушенко яснее понимаешь на пограничных участках его поэзии: просчеты — в том случае, когда метод исчерпывается тем, что доводится до предела; до-

стоинства — когда Евтушенко «прорывает» собственный метод, обязательный для среднего арифметического его поэзии, и поступает наперекор ему. Прорывы и сдвиги в поэзии Евтушенко возникают на основе преодоления самого себя, отрыва от себя. В прекрасном стихотворении «Осень» Евтушенко пишет: «Внутри меня осенняя пора. Внутри меня прозрачно и прохладно, и мне печально, но не безотрадно, и полон я смирения и добра... А главная нужда — чтоб удалось себя и мир борьбы и потрясений увидеть в обнаженности осенней, когда и ты и мир видны насквозь. Прозренья — это дети тишины. Не страшно, если шумно не бушем. Спокойно сбросить все, что было шумом, во имя новых листьев мы должны».

При сдвигах его собственной поэтической системы в стихах Евгения Евтушенко открывается новый, более глубокий пласт его душевных переживаний и отношений с миром. И удачи в его поэзии находятся как бы в диалогической, полемической связи с ее средним и привычным уровнем. И опять — в этом нет хронологически последовательного набирания поэтической высоты, взлеты в его поэзии внезапны. Конечно же, Евтушенко стремится к ним, но происходит то же, что и при кино съемке, когда очередной дубль может оказаться лучше, а может и хуже предыдущего. Проверка поэзии Евтушенко происходит на конкретном, ему близком материале. Позволю себе трюизм: поэзия как дерево — ветви ее уходят в небо, а корни в землю...

В новых его книгах много настоящих стихотворений — «Трамвай поэзии», «Паруса», «Баллада о гренадской земле», «Соленый гамак», «Возрастная болезнь», «В Петровском домике». Борис Слуцкий, автор предисловия к «сибирской» книжке, замечает: «Евтушенко работает едва ли не больше, едва ли не усерднее любого другого поэта. Своим магнитофонным ухом он фиксирует все говоры, все наречия, все акценты страны. Он растет вместе со своим читателем».

Я бы сказал иначе: сейчас, с некоторым ограничением круга своих читателей, Евтушенко растет быстрее, чем прежде, — за последние годы он многое накопил. (Часто говорят о поэтической инерции, но существует и критическая инерция: Евгения Евтушенко порой в статьях по привычке «тыкают» как молодого стихотворца, между

тем с читателем говорит уже мастер и уж никак не анфан террибль.) В лучших последних стихах Евтушенко — не частый в современной поэзии интеллектуальный пафос, напряженная лирическая стихия. Среди них отличное стихотворение «Не возгордись», по форме императивное, требовательное, дидактическое, только на этот раз поэт говорит с самим собой:

...Не возгордись ни тем, что ты борец,
ни тем, что ты в борьбе посередине,
и даже тем, что ты смирил гордыню,
не возгордись —
тогда тебе конец.

Евгений Евтушенко, при том, что он всегда остается самим собой, все-таки меняется, уже изменился, потаенное, лирическое начало все сильнее звучит в его стихах, грех не заметить это.

Есть нечто объединяющее и плохие и хорошие его стихи. Это «свойство очаровываться миром», испепеляющая его любовь к человеку и к человечеству, к России (подбор «сибирского» сборника ярко свидетельствует это), его реактивность на все события — от войны во Вьетнаме до переживаний старого бухгалтера, на человеческую боль: «Несчастья мира — тот провод, который нельзя обрубить». Евтушенко не только стоит перед микрофоном, но и принимает чужие волны, сигналы человеческих судеб и, обращаясь ко всем, он стремится и говорить от имени всех. Его поэзия — как золотая арфа, которая, как известно, звучала даже от малейшего дуновения ветра. Сам поэт называет ее «катером связи», чтобы нарушить «чужих людей соединенность и разобщенность близких душ», чтобы помочь, посочувствовать, ободрить. Собственно, в этом человеческом свойстве его таланта — главная причина заслуженной популярности его стихов.

В стихотворении «Вам, кто руки не подал Блоку» Евгений Евтушенко написал:

Поэт — политик поневоле.
Он тот, кто руку подал боли,
он тот, кто понял голос голи,
вложив его в свои уста,
и там, где огонь гудит, развихрясь,
где стольким видится Антихрист,
он видит все-таки Христа.

Владимир СОЛОВЬЕВ.

Ленинград.

ЖИВЫЕ ТРАДИЦИИ

Виктор Панков. Традиции в движении. О современной советской литературе. М. «Советский писатель». 1971. 320 стр.

Литературный критик, подобно всякому подлинному писателю, — это всегда творческая индивидуальность. Каждый критик имеет излюбленную тему, свой стиль, манеру письма, свой круг художественных интересов. Отсюда широта и многогранность охвата литературного процесса, свойственные нашей критике. Ведь одни в своей работе соединяют публицистическую остроту, открытую полемичность с научным исследованием; другие выступают как эссеисты: для них явление искусства — желанный повод для философско-эстетических и социальных размышлений; третьи умеют воссоздать реальное движение современной истории, соотнося процессы жизни с их творческим преображением в литературных произведениях.

К литературным критикам, серьезно и неустанно следящим за развитием современного литературного процесса, принадлежит и Виктор Панков, об этом свидетельствует и его книга «Традиции в движении». Автор ряда трудов — «Главный герой», «На страже жизни», «Воспитание гражданина», — критик последовательно воссоздает картину нашего литературного движения за весьма значительный период — за все послевоенные годы, подводя свое исследование вплотную к нашим дням.

Главным достоинством В. Панкова как критика, бесспорно, является именно его неизменный интерес к сегодняшнему дню литературной жизни. Важно отметить, что работы критика обычно являются не ретроспективным взглядом на литературные события и факты, а как бы свидетельством современника, размышляющего над всем тем новым, что возникает перед ним сегодня. Перечисленные качества — современность, наибольшее и даже принципиально заданное приближение к сегодняшнему дню в сочетании с широтой охвата материала и серьезностью его анализа — все это присутствует и в новой книге В. Панкова. Она состоит из четырех больших глав. Главы связаны воедино общей темой, эмоциональным, взволнованным рассказом о жизненной силе лучших наших идейных традиций, об их утверждении и развитии в сегодняшнем дне литературы.

«Искусство преображать мир» является главой тематически и по материалу как бы

заглавной, или, пользуясь деловым техническим термином, «первополосной», для всей книги: в ней ставится вопрос о принципе партийности в литературе. Автор перечитывает работы Ленина, размышляет над ними, особенно над теми, которые прямо связаны с этой основной проблемой нашей литературы («Над ленинскими страницами»). «Касаемся ли мы вопросов борьбы с буржуазной идеологией, рассматриваем ли проблемы правды жизни, самой природы эстетических обобщений, ленинские строки остаются для нас путеводными», — пишет В. Панков.

Критик говорит о том, какое решающее значение для всей деятельности М. Горького имело следование ленинским принципам в искусстве, какое благотворное влияние на художника оказало воздействие самой личности Ленина, встреч и бесед с ним, счастливо выпавших на долю Алексея Максимовича («Художественные открытия М. Горького»). Недаром, обращаясь к произведениям Горького, раздумывая над самим процессом творчества, замечательный горьковский современник Ромен Роллан писал: «...Мало еще пережить века. Это может сделать грубый кусок гранита. Нужно, чтобы в этом куске материала заключалась мысль. Нужно, чтобы стрела, пущенная вдаль, несла будущему человечеству послание живой души». И он указывал, что вся деятельность Максима Горького не только несет весть о страданиях революционной России в ее героической борьбе за будущее мира, но и утверждение «неистребимой жизнеспособности» революции, ее новой литературы — «юного видения старого мира». Приведя эти слова, В. Панков подчеркивает основное — одухотворенность произведений Горького ленинскими идеями, великим примером ленинской исторической деятельности. Именно потому, считает критик, «на материале России Горький отразил характернейшие процессы эпохи борьбы между капитализмом и коммунизмом. Прежде всего в этом заключается мировое значение горьковского творчества».

В. Панков раскрывает прочную связь принципа партийности в литературе с силой и глубиной художественного отражения реальных жизненных процессов совре-

менного мира; с правдой творческого воплощения коренных революционных изменений, происшедших в народном бытии. У истоков литературы социалистического реализма критику видится героический и романтический образ Николая Островского. О самом писателе и о его герое В. Панков говорит с лирическим волнением. Для все новых и новых поколений «Корчагин остается живым, необходимым человеком». В нем воплощен дух революции.

Традиции партийности, действенного революционного гуманизма, дух социалистического созидания — вот что является жизнеутверждающим началом советской литературы. В последующих трех главах своей книги критик рассматривает, как преломляются эти традиции в сегодняшнем литературном процессе. Он стремится проследить полет той поэтической «стрель», направленной в будущее, о которой так взволнованно говорил Р. Роллан, «стрель», что несет «человечеству послание живой души» нашего современника.

В книге В. Панкова речь идет не только о возникновении, утверждении и развитии новаторских традиций социалистического реализма, но и об отступлении от этих традиций, о том уровне, какой подобное отступление, осознанное или неосознанное, наносит нашей литературе. Он вступает в спор со сторонниками «дегероизации» литературы, с теми, кто испуганно хлопочет вокруг тезиса о «сверхидеальном герое», подменив им закономерное понятие героя положительного. Вводя читателя в атмосферу теоретических споров конца 60-х годов, В. Панков возражает критику Нафи Джусойты, который в статье «Два крыла «героя» утверждал невозможность возникновения героических характеров «в условиях мирного жизнетворчества». В. Панков обстоятельно обосновывает иную точку зрения: он говорит о том, что наш повседневный труд, наши «будни» «тоже требуют социальной активности, духовного напряжения, мужества и ума...». Критик напоминает меткие слова поэта А. Недогонова: «...из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». Приводя реальные жизненные, а также, естественно, и литературные факты, В. Панков утверждает, что «...положительный герой не только не исчерпал своих возможностей, а находится в стадии живого развития».

Новое подкрепление этим положениям критик дает в главе, завершающей кни-

гу, — «Минувшее мы вновь переживаем», где рассмотрены проблемы историзма нашей литературы, ее жизненной, «документальной» основы, связи реальных событий эпохи с их литературным отражением. Об этом говорит В. Панков, исследуя мемуарные произведения последних лет, сопоставляя с ними такие примечательные произведения о Великой Отечественной войне, как «Блокада» А. Чаковского, «Горячий снег» Ю. Бондарева, «Петр Рябинкин» и «Особое подразделение» В. Кожевникова. На этой реальной основе критик утверждает свой основной вывод: героические характеры приходят в нашу литературу из недр самой жизни. Именно поэтому «писателю приходится брать на себя и роль исследователя», ему требуется «глубокое, многогранное, высокоразвитое чувство историзма. А это значит — понимание не отдельных фактов, а их связей, соотнесение лавины событий с их предшествованием и наследием, с их истоками и итогами, с их влиянием на будущее».

Критик анализирует произведения заметные, захватившие внимание читателей, вызвавшие споры и дискуссии. Он вскрывает идейный смысл и тенденции этих споров. Им в основном посвящена третья глава книги «К верному познанию жизни». Здесь В. Панков ведет острую полемику с В. Чалмаевым по вопросу об оценке горьковского творчества, выступает против идеализации патриархальщины, против неверного взгляда на проблему национального своеобразия и народного характера. Он говорит, что когда из истории народа исключается революционная традиция, сама мысль об «отпоре из нашей среды» угнетателям, как писал В. И. Ленин в статье «О национальной гордости великороссов», тогда неизбежно искажается действительная картина исторического процесса, рождаются неверные идейные выводы, ослабевает творческая сила художника. Об этом же идет речь в том разделе названной выше главы, где В. Панков оспаривает ложные оценки образа Григория Мелехова, когда этот центральный герой шолоховской эпопеи рассматривался чуть ли не как безвинная жертва истории. Критик требовательно спрашивает: а «правильно ли вообще снимать вопрос о личной воле, личной ответственности» героя, о «личном выборе идейного лагеря?»

Обстоятельно проанализирована В. Панковым и дискуссионная, спорная повесть Вл.

Тендрякова «Кончина». Критик показал, как художник обеднил себя, обеднил картину жизни, создав тенденциозно-замкнутую схему развития колхозной деревни. Не оспаривая разумного отказа от «благостных, идиллических повествований» о деревне, критик, однако, показывает, что же привело Вл. Тендрякова к «растерянности» перед реальным ходом жизненных процессов. И здесь В. Панков находит то важное, упущенное писателем «звено», которое могло бы дать простор жизненной правде: «...очень важно видеть, чувствовать, понимать усложнившиеся связи деревни со всем современным миром, ее движение, укрепление в ней коллективистских традиций». Спор о повести «Кончина» входит важным звеном во вторую главу книги «История и современность», но и примыкает к рассказу о литературных дискуссиях, которым во многом посвящена третья глава. В. Панков ведет спор с критиками-неославянофилами и с теми художниками слова, которые ограничивают свое видение кругом «малых сих», неких «скромных тружеников», якобы являющихся лишь пассивными, «вынужденными» участниками исторического процесса. Отвергая подобные позиции, В. Панков говорит о революционных традициях народов нашей великой страны, о традициях истинно гуманистических, боевых и творческих, приносящих людям радость активного участия в движении жизни и,

конечно, обогащающих литературу яркими красками, новизной истории.

Имеются ли недостатки в книге В. Панкова? Да, имеются. Обилие материала, стремление как можно шире охватить события рассматриваемого периода — все это приводит кое-где к чрезмерной краткости изложения, к перечислению имен и подмене анализа ряда произведений поспешным изложением их сути. И в этом отношении наиболее уязвима, на мой взгляд, вторая глава книги. Так, например, здесь очень уж бегло сказано о романе Зальцина «Соленая Падь», о новых работах Кайсына Кулиева и Ахмедхана Абу-Бакара. На этих же страницах как-то незаметно тема национально-своеобразия переходит в тему «зарубежную», хотя обе заслуживают серьезного, обстоятельного рассмотрения.

Широкие и увлекательные задачи стоят перед советской критикой, задачи, столь ясно сформулированные в постановлении ЦК КПСС.

Это задачи, которые предстоит действительно и творчески решать боевому отряду советских критиков — в дискуссиях и спорах, в статьях и книгах. «Традиции в движении» В. Панкова — одно из свидетельств того, что у нас уже накоплен творческий опыт, сформировались кадры критиков, серьезно и вдумчиво работающих в этой трудной области литературы.

Л. СКОРИНО.



ДВА ЛИЦА СТАНИСЛАВА ЛЕМА

Станислав Лем. Навигатор Пиркс. Голос Неба. Перевод с польского. М. «Мир». 1971. 592 стр.

В издательстве «Мир» вышел сборник произведений польского фантаста С. Лема. Помимо цикла рассказов о космических странствиях навигатора Пиркса, в большинстве своем уже хорошо известных нашим читателям, в книгу включен роман «Голос Неба» — одно из самых сложных произведений умного, сложного и противоречивого писателя, каким является Станислав Лем. Здесь пойдет речь об этом романе и в связи с ним — о споре между, условно говоря, «поэтом», твердо верующим, по точному слову Блока, «в начала и концы», и «антипоэтом», убежденным, что «нас всех подстерегает случай», споре, который у Лема все более превращается из направленной вовне полемики (см. его ста-

тью о «Докторе Фаустусе» Томаса Манна, опубликованную на страницах шестого номера «Нового мира» за 1970 год) в неразрешимый внутренний диалог.

Сюжетное построение «Голоса Неба» ставит роман в знакомый ряд фантастических памфлетов (очередное предостережение неблагоприятному человечеству), и в этом ряду роман по остроумной логике и квазидокументальной дотошности вымысла может занять одно из самых почетных мест, «втайне» принадлежа к совершенно иной сфере литературы.

Преподнесенный в виде рукописи из архива некоего американского ученого, связанный с социальной злобой дня и вместе с тем вписанный в широкое философиче-

ское поле, роман нарочито балансирует на грани научно-публицистического трактата. Может даже создаться впечатление, что интригующий сюжет (напряженность которого несколько обманчива) — это всего лишь дидактический прием для изложения смелых выкладок ума, приманка, вместе с которой читатель охотнее поглотит суховатую материю планетарно-футурологическо-космологических обобщений.

Однако в том-то и заключается кунштюк этого необычного произведения, что дело обстоит как раз наоборот: разум, с привычным как будто самозабвением витающий в сфере больших чисел и вероятностно-статистических усредненностей, на самом деле занят собственной судьбой в мире и обращает любую надиндивидуальную проблему в орудие трагического самовыражения. Всю «романическую» музыку здесь делает едва слышный аккомпанемент; десятки как бы случайно вырвавшихся признаний, произвольных ассоциаций, замечаний, брошенных рассказчиком вскользь, к слову, в начале — для разбега, или в конце — чтобы на чем-нибудь да и поставить точку, сами собою стягиваются к единому и единичному жизненному центру — мятущемуся человеческому сознанию.

Соединенные Штаты 60-х годов нашего века. Знаменитый математик профессор Хоггарт приглашен для участия в засекреченном «Проекте ГОН» («Голос Неба»). Научная элита трудится — нет, не над созданием нового сверхоружия, от подобной работы эти в большинстве своем порядочные люди постарались бы отвертеться, а над расшифровкой звездного («Послания», нейтринного сигнала, которым пронизывает вселенную гигантский пульсар. Однако «Письмо», исходящее, по-видимому, от космического «Разума», от высшей звездной цивилизации, прочесть так и не удастся, ибо человечество, образующее политически расколотый, не изживший ненависти и подозрительности мир, еще не досрочно до «Контакта»; ибо, как резюмирует профессор Хоггарт, взявшийся рассказать нам подлинную и неприкрашенную историю «Проекта», «безумна была попытка засекретить и упрятать в сейфы то, что миллионы лет заполняет бездну Вселенной, попытка извлечь из звездного сигнала информацию, обладающую смертоносной ценностью».

Ученым удастся выяснить, что «Сигнал» является не только «словом», но и «делом», не только шифром какого-то сообщения, но

и катализатором, помогающим образованию живой материи. И однако же из преисподней лабораторий, где пытались смоделировать «Сигнал», вышли не «кирпичи жизни», а плазменное вещество, способное испепелить Землю. (Это вещество, прозванное «Лягушачьей Икрой» и «Повелителем Мух» — клочки, в которых скрестились фамильярные «шутки физиков» и «сатаническая» обрядность древнего Вавилона, — описано в романе с кошмарной осязательностью, свойственной «научно»-фантастической демонологии Лема, автора «Соляриса», «Формулы Лимфатера» и «Эдема».)

Горьким фарсом выглядит попытка Хоггарта и двух его друзей саботировать «Проект» на этой критической стадии. Им только и удастся, что первыми втайне убедиться в неизбежности светопреставления, а потом справить тризну по будущему покойнику миру, упившись виски в своей комфортабельной клетке...

Имея в виду эту первичную и элементарную коллизию «Голоса Неба», сам Лем назвал в одном из интервью свой роман «реалистическим», а не фантастическим. И не только потому, что проблема контакта с вневременным разумом представляется Лему, убежденному стороннику гипотезы о заселенности космоса, вполне реалистической актуальной проблемой науки (в отличие, например, от Р. Бредбери, у которого она фигурирует всего лишь как условное допущение в фантастических гротесках).

Действие «Голоса Неба» разворачивается не в будущем или в неопределенно-обобщенном настоящем (как это характерно для большинства «антиутопий»), а в конкретном «сегодня»; время событий приурочено ко времени написания романа (оконченного в 1967 году). Обстановка романа не менее тесно и тщательно увязана с американской его почвой. Перед нами сфера современной американской военно-научной индустрии, имеющей за своими плечами общеизвестный опыт Манхэттенского проекта по созданию атомной бомбы, печальный опыт «дела Оппенгеймера». С этой своей стороны роман написан как вымышленная, но реалистически возможная параллель к истории атомного оружия. В сцене встречи участников «Проекта ГОН» с сенатором, прибывшим «прощупать» ученых, выходит на поверхность все время подразумеваемая социально-политическая сторона конфликта. Становится ясно, что этот хозяин и «покровитель» «Проекта» — пусть он

даже и не «ястреб», мечтающий о том, как бы поскорее пустить в ход «тотальное оружие», — мыслит исключительно в рамках социального статус-кво и «стихийно» отождествляет свой административный уклад с незыблемой нормой миропорядка.

От романа Лема — хотя бы уже в силу самого выбора героя-повествователя («Я был одним из многих. Это рассказ муравья») — не следует ждать четких и прямолинейных социально-политических констатаций. Но одно Хоггарт и его коллеги понимают ясно: «Люди... принимают земной шар... за шахматную доску для состязаний и сведения счетов... между тем нам давно бы уже следовало начертать на знаменах: «За благо рода человеческого!» В современных условиях самое название проекта — «Голос Неба» — звучит для Хоггарта иронически-двусмысленно: «К какому голосу должны мы, собственно, прислушиваться — к тому, что со звезда, или к тому, что из Вашингтона?»

Однако вопрос об «ответственности ученого» в романе Лема осложнен вводом фантастического мотива, связанного с особой и неожиданной (даже по сравнению с расщеплением атома) природой нового открытия. Политический памфлет переключается в «эпистемологический» (по определению автора), то есть теоретико-познавательный план, и здесь выясняется, что трагическая неудача и вина ученых не вполне укладываются в такие упрощенные квалификации, как «конформизм» или «политическая близорукость». Участники «Проекта» не ставили перед собой задачу — извлечь из космического «Письма» смертоносную информацию (и в этом отличие вымышленного «Проекта ГОН» от реального Манхэттенского). Но перед ними возникла необычная для естествоиспытателей проблема: они должны были расшифровать не код природы, а код разума, то есть ответить не на традиционный вопрос «почему?», вопрос об анонимной и нравственно безразличной причине явления, а на «противоположенный» позитивной науке вопрос «зачем?» — вопрос о цели. За целью стоит целепологающая воля, и, чтобы раскрыть ее содержание, ученым приходится обратиться к самим себе, так как у «человека разумного» нет в этом случае иного эталона для сравнения, нежели его собственное сознание. И вот пытаешь прочесть «Сигнал», ученые невольно привнесли в исследование собственный человеческий мир: свои страсти,

тревоги, опасения, вражду, страдания, тщеславие, предрассудки, даже волю своих хозяев, которым они не хотели служить, — все миазмы окружающей их политической и духовной атмосферы. Даже сознательное усилие совести на заключительном этапе «Проекта» уже не в состоянии исправить нравственное искажение познающей мысли, как бы невольно порождающей чудовищ.

Конец мира не состоялся лишь благодаря «всесторонней предусмотрительности» космического «Разума»: «Лягушачью Икру» все-таки не удалось превратить в оружие уничтожения. Как предполагает профессор Хоггарт, «Послание» было надежно застраховано от злоупотреблений со стороны «несовершенных» цивилизаций. Невозможность расшифровать, равно как и исказить «Сигнал» убеждает его в том, что «Сигнал» не относится к числу явлений «равнодушной природы» (ибо до сих пор человечество умело обращать себе во зло любую безответную стихию), и этой верой в космическую опеку Хоггарт компенсирует свою грустную мизантропию. В природе и в человеческой истории жизнь и смерть всегда идут рука об руку, но «Отправители Письма» сумели отделить жизнь от смерти и одной лишь жизнью напоить безмолвие Вселенной. Хоггарт жаждет склониться перед возвышенным и, отчаявшись найти его на земле, ищет его в скоплениях звездного вещества. Он упрямо хранит в одиночестве своего внутреннего мира эту веру в «Отправителей» с их безупречной космической этикой. Вместе с тем его вера «не имеет никаких практических последствий»; он «остался таким же, как до вступления в Проект. Ничто не изменилось».

Действительно, что-то осталось неизменным, непоколебленным в душе Хоггарта, несмотря на его утешительную «ненаучную» прихоть: ощущение неизбывной горечи личного бытия. С последней страницы романа слышится человеческий голос, одиноко звучащий в каком-то не соизмеримом со «звездными» проблемами пространстве. «Я никогда не умел преодолевать межчеловеческое пространство... Что случилось бы с нами, умей мы на самом деле сочувствовать другим, переживать то же, что они, страдать вместе с ними?.. Если б от каждого несчастного, замученного человека оставался хоть один атом его чувств, если б таким образом росло наследие поколений, если б хоть искорка могла пробежать от человека к человеку, — мир переполнился

бы криком, в муках исторгнутым из груди».

На этой пронзительной ноте голос Хоггарта переламывается и ныряет в античный фатализм строфы Суинберна: «Устав от вечных упований, устав от радостных пиров, не зная страхов и желаний, благословляем мы богов за то, что сердце в человеке не вечно будет трепетать, за то, что все вольются реки когда-нибудь в морскую гладь». Таков неожиданный — после кратковременного взлета космического оптимизма, исповедания веры в высшую мудрость «Отправителей Послания» — итог романа.

Но не так уж она внезапна, эта никому не адресованная жалоба, облеченная в форму стоического благодарения «эволюции». Заключительный вскрик Хоггарта медленно и неуклонно подготавливается чем-то, что не вместились ни в публицистический сюжет, ни в строй космологических гипотез и, однако же, неустраимо присутствует в повествовании и корректирует его ход. Так, недобрая приметливость Хоггарта, привычка иронизировать над тщетой человеческих инстинктов (к примеру, над неистребимым инстинктом самосохранения его друга, тоже выдающегося ученого Раппопорта, бывшего смертника и беженца) — все это «работает» на некую подспудную тему.

Здесь уместно упомянуть об отличии «Голоса Неба» от других образцов фантастики Лема. В этом романе Лем, должно быть, впервые находит собственные средства, собственную — не слишком приятную — манеру для передачи внутреннего содержания человеческой жизни. Человек в романах Лема, даже в великолепном «Солярисе», был существом подсобным, сотворенным достаточно умело, но всегда в пределах заданного амплуа: интеллектуал с «хемингвеевской» прививкой, «рыцарь космоса» и пр. Между тем Лем создавал свой лично-человеческий, так сказать, стиль не на дороге фантастического романа, а в дерзких экспериментальных гротесках «Звездных дневников Ийона Тихого», в трактатах и эссе «Сумы технологии», в лирико-философских мемуарах «Высокого Замка». Это стиль, контрастно сочетающий медлительную старомодность с грубоватой, почти фривольной насмешливостью, стиль мнимо-терминологический (на самом деле каждый измышленный к случаю, новенький, с иголки, щегольской термин являет собой маленький миф), стиль порою жестокий и кощунствен-

ный — именующий, скажем, с каким-то злорадным удовольствием поцелуи «оральными коинциденциями» — и вместе с тем докзывающий, что обаяние ума, горькая соль ума сами по себе являются завлекательным искусством.

В «Голосе Неба» Лем воссоединил этот доподлинно свой стиль с романической задачей, выбрав героя-рассказчика, который по своему возрасту, жизненному статусу и интеллекту сам под стать автору. Конечно, профессор Хоггарт не представляется картонной фигурой, условным псевдонимом Лема — философа, публициста и тем более социального мыслителя. Однако по мере приближения к лирическому ядру романа голос Хоггарта все теснее слетается с голосом самого Лема.

Для нас здесь важно одно устойчивое настроение, одна философская тема, которая в силу ее прямого отношения к мироощущению человеческой личности пронизывает роман лирическим, музыкальным мотивом. Вслед за самим Лемом назовем эту область размышлений «философией случайности».

В упомянутой выше статье о «Докторе Фаустусе» С. Лем уличает едва ли не всякое искусство в том, что оно вносит в картину мира «избыток порядка», в этой картине на самом деле отсутствующий. В «Голосе Неба» Лем как бы собственными силами пытается оплатить счет, предъявленный им искусству: именно случай является здесь истинным отцом важнейших событий повествования. У порога открытия «Сигнала» стоят жалкие имена полужулика и маньяка: один из них пытался использовать запись «Сигнала» для банальной лотереи, другой был случайно раздавлен случайно вызванной им сенсацией, подлинного значения которой ему не дано было понять. Дальнейшую судьбу открытия решила бульварная газетка с опубликованным в ней низкопробным репортажем об «инопланетном» «Голосе», веявшаяся на сиденье в метро: она случайно попала на глаза крупному ученому, который, раздавившись опять-таки случайным спором с приятелем, «на пари» занялся скомпрометированной и «околонаучной» темой». Повествователь тщательно очищает конкретную историю открытия и участь людей, вовлеченных в эту историю, от всего патетически-знаменательного, судьбоносного, рокового. «Статистический каприз», «случайный поворот событий», «цепочка случайностей» — такими комментариями Хоггарт с упрямой регуля-

ностью сопровождает свой рассказ. Если довершить этот перечень указаний на господство случая характерным замечанием относительно кончины лучшего, честнейшего участника «Проекта» Дональда Протеро: «...ему на долю выпала статистическая флуктуация процесса клеточных делений — рак», — становится ясно, что имеет в виду Станислав Лем, когда в «Высоком Замке» говорит о «трагифарсе бытия».

Про этот «трагифарс» неверно даже будет сказать, что необходимое — хоть по вероятностному закону больших чисел, хоть через голову всего индивидуального и «единичного» — все-таки пробивает себе в нем путь. Ибо в сравнении с перебором несуществующих вариантов, на фоне множества абстрактно возможных миров, роящихся в голове «чистого» математика Хоггарта, не только индивидуальное человеческое бытие, но и всякая данная, уже осуществившаяся реальность — реальность биологической эволюции, культуры, истории — выглядит сугубо частной комбинацией факторов, случайно выпавшей из колоды раскладной карт (могли бы выпасть и любые другие). Так, Хоггарт с сочувствием отзывается о книге своего коллеги, где возникновение разума и культуры приписано случайному стечению обстоятельств, постфактум освященному скудоумным человеческим мифотворчеством. И только когда Хоггарт говорит о благожелательности космического «Послания», он с готовностью изменяет своим предпосылкам: «И то, что нам это (то есть использование «Голоса» для создания оружия.— *И. Р.*) не удалось, не может быть случайностью (рядка моя.— *И. Р.*)». Ибо, отдав во власть случая Землю, непоследовательный Хоггарт не в силах уступить ему звездную область своей «веры», своей сладостной «непрактической» причуды...

Случайность, сама по себе нейтральная, равнодушная, преломляясь в человеческом сознании, в душе Хоггарта, неизбежно приобретает отрицательную этическую окраску, зловещий колорит смерти, разрушения, распада. Этот мотив образует как бы второй, лирический сюжет книги и имеет свое развитие, свои пики, не совпадающие с вершинами «внешнего» сюжета — с выяснением житнетворных свойств космического «Голоса». Звучащая под сурдинку тема случайности-смерти выходит на поверхность в трех узловых эпизодах (два из них почему-

то отсутствуют в произвольно сокращенном русском переводе романа).

В оригинале роман начинается с размышлений Хоггарта над незабываемым детским впечатлением: он, маленький мальчик, исподтишка наблюдает за мучительной агонией матери, медленно умирающей от разрушительной болезни, потом убегает в свою комнату и там неожиданно для себя начинает гримасничать, хихикать и скакать перед зеркалом. Взрослый Хоггарт объясняет этот дикий казус, прочно засевший в памяти, тем, что ребенок, безоружный перед глухой, неумолимой, нелепой силой смерти, сдался и стал на сторону этой силы, так как ему были еще недоступны уловки, с помощью которых взрослые «заговаривают», рационализируют, освящают ее, как-то включают ее в разумный строй своего сознания. Этот эпизод стоит, по признанию Хоггарта, у колыбели его увлечения математикой: теория вероятности помогает ему «приручить» разнужданную случайность, «вычислить» ее, смягчив ее беспардонность хотя бы в пределах умозрительной математической вселенной.

Но «приручение» оказывается неполным. Нематематизированная действительность то и дело вторгается в мир Хоггарта. Одно из самых блестящих его исследований появилось на свет в результате долгого спора-соревнования с замечательным ученым, неким Диллом-старшим, который всегда рисовался воображению Хоггарта в виде величественного образа идеального и высшего соперника. И вот Хоггарт однажды встречает этого человека в каком-то захудалом магазине самообслуживания — перед ним старик с остановившимся взглядом и шаркающей походкой. Чары рассеиваются, идеальная схема творческого соревнования, азарт творческих усилий представляются Хоггарту жалкой забавой.

Третий эпизод этого ряда — рассказ Саула Раппопорта, постоянного собеседника и отчасти духовного двойника Хоггарта, о том, как он едва не был расстрелян нацистами в оккупированной Польше. Согласно хронологии повествования, рассказ Раппопорта должен совпадать с критическим моментом сюжета, когда под угрозу ставится существование всего человеческого рода; но Лем намеренно переносит этот эпизод в начало романа, слегка отщепляя лично-человеческое от глобального. Как вспоминает Раппопорт, немецкий офицер, равнодушно, без признаков ненависти руководивший эк-

зекуцией, выступал для своих жертв подобием наглого, слепого случая. Чтобы как-то «продержаться», сохранить остатки достоинства под дулом пистолета, Раппопрту тогда пришлось — буквально «к случаю» — придумать нелепый миф о посмертном переселении его души в тело этого офицера. Математика, составлявшая содержание его жизни, в смертный миг отступилась от него, и сознание перед лицом собственной гибели готово было зацепиться за что угодно, только не за голый закон случая...

Умирающая мать, расстреливаемый Раппопрт, уродливо одряхлевший соперник Дилл — призраки, которых память Хоггарта поселяет как бы в ином измерении, чем то, где обнадёживающе функционирует космический «Сигнал», повышающий шансы жизни во Вселенной. Именно от этих призраков — подсчетом «шансов» их не заговоришь! — Хоггарт отгораживается стихотворной магией суинберновского «Сада Прозерпины» — весьма элементарным мифом об усыпительном очаровании небытия, мифом, играющим для Хоггарта ту же роль, что и кустарный миф о метампсихозе, выдуманный Раппопртом за миг до ожидаемой смерти.

Сознание Хоггарта раздвоено и вовлечено в интеллектуальную попытку, которую сам повествователь называет «карусельным» мышлением. Здание «философии случайности» кренится и шатается под инстинктивным напором человеческого чувства, которое, в свою очередь, трепещет перед разоблачающим его «иллюзии» судом научного разума.

Хоггарт много размышляет об этических основах своего бытия. Здесь-то «карусель» запускается полным ходом. Всем поведением подтверждающий свою прочную репутацию доброго, отзывчивого человека, Хоггарт не без скандального удовольствия исповедуется, что «на самом деле» он зол, что он всегда испытывает легкий укол удовлетворения при известии о чужой беде. От загадки необъяснимо гнездящегося в нем зла он, по своему обыкновению, убегает в математику, чтобы с помощью изящных и лаконичных выкладок доказать, что отклонение «в обе стороны» от некоей этической «золотой середины» является статистически наиболее вероятным состоянием человеческой психики. При этом он наивно гневается на «гуманитариев» — на этих претенциозных неучей, которые игнорируют всеобъясняющую силу его математических

формул и продолжают цепляться за пресловутую «Тайну Человека».

Однако ему нисколько не удастся приблизиться к загадке собственной личности: почему, не довольствуясь местом, отведенным ему на этической шкале законами статистики, он всю жизнь стремился освободить себя от зла, почему он, ребенок сплывавший танец смерти у постели умирающей матери, так хорошо понимает «тех, кто решил помогать жизни», с таким доверием приписывает далекой космической цивилизации созидательные планы?

Поскольку этический идеал, жажда возвышенного, реально присутствующие в душе Хоггарта, остаются как бы за скобками его вычислений, он готов отказать этому идеалу в каком-либо объективном значении. Свою веру в идеальную благожелательность «Сигнала» он примирительно объясняет пережитками своего пуританского воспитания, а противоположную гипотезу Раппопрта о «космическом геноциде» «Отправителей Письма» тоже без труда выводит из психологического опыта этого беженца и изгоя. «Вот так кончается всякая попытка трансцендентальных рассуждений», — с усталой иронией подводит черту Хоггарт. И усталость «карусельной мысли», при нехватке «фактов» теряющей всякий позитивный ориентир, упирается, наконец, в цитату из Суинберна — в наиболее бесплодное из всех «трансцендентальных» рассуждений...

С. Лем ни в коей мере не разделяет социального уныния своего героя, который переживает несостоявшуюся гибель человечества как лишь кратковременную отсрочку конца. Полемизируя с западными футурологами, Лем пишет в предисловии к «Сумме технологии»: «Если так много творческого труда тратится на предсказание нашей коллективной смерти, то я не вижу причин, почему хотя бы часть аналогичных усилий не посвящать размышлениям о будущей нашей — тоже ведь еще имеющей кой-какие шансы — жизни». В своем романе Лем символизирует «шансы жизни» в грандиозном космическом «Сигнале», придавая своему «земному» оптимизму вселенский размах. Но в то же время Лему не менее, чем его герою Хоггарту, свойственно томительное кружение мысли вокруг «философии случайности».

В сфере методологии познания и сам Лем (судя по «Сумме технологии») и его герой Хоггарт стремятся удержаться на позиции *homo faber* — человека научно-технического

действия. С этой позиции и в этой ограниченной области «философия случайности» кажется им выигрышным подходом к миру, упрощающим задачи познающего разума. Этому разуму отныне воспеваются бесплодные раздумья над «проклятыми вопросами» о смысле жизни и законах мироздания (все это не более чем мифологическое упорядочение хаоса) и предписывается прагматически-инструментальный подход к этому мировому хаосу как единственно трезвый и плодотворный.

Но в «Голосе Неба» — именно потому, что это все-таки не трактат, а роман, то есть история человеческой индивидуальности в ее социальных связях и обостренно-личностном жизнеощущении, — над философией случайности поневоле произведен «острый опыт»: выясняется ее ценность уже не в качестве философии науки, а в качестве «философии жизни». И тут-то, лишаясь научного, кибернетического, вероятностно-статистического и пр. и пр. ореола, она становится тем самым (уже отлично знакомым

читателю современной литературы) «абсурдом», который своим взглядом Медузы наводит столбняк на всякое нравственно-личное и социально-объединенное усилие («Мы все, как улитки, прилепились каждый к своему листку»). В лирическом целом романа реакция героя на абсурд случайности — это трагическая реакция несогласия и смутного упования, стихающая, однако, в заключительной скептической ноте.

Создается впечатление, что Лем-поэт устал контрабандой протаскивать в «случайную» картину мира невесть откуда берущиеся добро и красоту, этот «голос неба», без которого он все-таки не может обойтись, а Лем-философ устал расставлять контрабандисту хитрые ловушки. И роман оказывается чрезвычайно интересным не только своей актуальной публицистической проблематикой, но и художественно-честным выяснением противоречий авторской мысли.

И. РОДНЯНСКАЯ.

★

Политика и наука

ЭЛТОН МЭЙО И ДРУГИЕ

С. Эпштейн. Индустриальная социология в США. М. Политиздат. 1972. 232 стр.

Вопросы управления производством приобретают сейчас если не первостепенное, то, во всяком случае, весьма важное значение. Поэтому немало работ написано и пишется о том, как нам лучше, эффективнее хозяйствовать. Задача эта трудная. Необходим кропотливый анализ как своего, так и зарубежного опыта. Вот почему знакомство с практикой США — ведущей капиталистической державы — представляет в этом плане определенный интерес. Понятно, почему у нас привлекают читательское внимание работы, позволяющие лучше понять современную деловую Америку, проблемы управления производством в этой стране.

«Индустриальная социология в США» С. Эпштейна — одна из таких книг. Шаг за шагом прослеживает автор развитие теории и практики управления персоналом в Соединенных Штатах на протяжении последних семидесяти лет. Подобный подход позволил исследователю всесторонне проанализировать эволюцию индустриальной социологии в США — составной части науки управления.

Теорию управления породила практическая необходимость. Уже в конце XIX века буржуазия — прежде всего американская — весьма остро почувствовала невозможность и дальше управлять по старинке, опираясь на опыт и традиции. Крупное производство создало нового рабочего. Требовалось теоретически осмыслить, как обращаться с ним, чтобы, удерживая рабочего в повиновении капиталу, побудить его трудиться более производительно. Учение Ф. Тейлора явилось первым систематическим изложением идей новой науки — науки управления производством.

Изучение движений рабочего для того, чтобы установить наиболее рациональный способ выполнения им операций, денежное стимулирование его и, наконец, превращение рабочего в слепого исполнителя инструкций — вот что рекомендовал Ф. Тейлор.

Некоторое время система Тейлора вполне устраивала предпринимателей. Но уже в начале XX века буржуазия поняла, что такой откровенно обезчеловеченный подход к рабочему на производстве не позволяет

полностью использовать его возможности. Тогда и зарождается в США индустриальная социология. Она изучает социальную организацию в процессе производства. Начало индустриальной социологии было положено известным «хоторнским экспериментом» Элтона Мэйо и его коллег, который продолжался двенадцать лет — с 1927 по 1939 год. Мэйо и его помощники стремились предупредить конфликты, добиваясь «психологического согласия рабочего на программу администрации».

И несомненно прав автор рецензируемой книги, когда говорит о том, что «теория и практика» индустриальных социологов, возникнув как своего рода отрицание тейлоризма, «не заменила, а дополнила систему Тейлора».

В самом деле, повышенное (по сравнению с Ф. Тейлором) внимание у Э. Мэйо к рабочим было продиктовано вовсе не заботой о них. Буржуазия заботилась о себе («И Тейлора и Мэйо, — напоминает С. Эпштейн, — финансировали предприниматели»). Механизация, а тем более автоматизация производства привели к появлению рабочих нового типа. Главным требованием, предъявляемым к ним, становится уже не их личное умение. Хозяева пытаются пробудить, стимулировать в них чувство ответственности. А это предполагает, что рабочие не слепы, как того требовал Тейлор, выполняют предписание, но думают. Однако признав за рабочим право на мышление, буржуазия стремилась направить мышление рабочего «в надлежащее русло». Вот почему и потребовалось пересмотреть прежнюю концепцию управления персоналом. Этим и занялись индустриальные социологи. Они пошли дальше, проанализировав процесс управления производством в целом. Итогом их работы явилась доктрина «человеческих отношений».

С появлением теории «человеческих отношений» в США начался второй этап в развитии науки управления производством. Однако здесь необходимо уточнить сами термины. Ведь речь идет об этапах буржуазной науки управления производством, хотя многие и отрицают... само существование таковой науки в США или в какой-либо другой капиталистической стране. Почему это происходит? Главным образом, пожалуй, из-за различного смысла, который вкладывается в понятие «буржуазная наука управления». На практике, как известно, экономические, инженерно-технические, со-

циологические, психологические аспекты управления выступают в органическом единстве, поэтому и наука управления должна быть комплексной. При этом условии она и может изучать закономерности управления людьми и закономерности управления ресурсами. Следовательно, можно говорить о буржуазной науке управления производством как о комплексной науке, занятой оптимальным (с точки зрения предпринимателей) использованием людских и материальных ресурсов для получения максимальной прибыли. Существует ли такая наука в США? Да и нет! Науки об оптимальном использовании всех ресурсов вообще не создано. Но теория об оптимальном использовании всех ресурсов — людских и материальных, — теория деловой организации существует и развивается. Можно назвать ее (и это правомерно) наукой управления в узком смысле слова. Такая наука в США есть также, как существуют буржуазная политическая экономия, философия и другие общественные науки. Другой вопрос: сколько в этих науках действительно научного, а сколько апологетически-предвзятого?

Уточнив само понятие науки управления производством в США, можно отметить, что второй этап в ее развитии характеризовался повышенным вниманием к социологическому и психологическому факторам. Буржуазия стремилась подчинить себе не только мускулы работника, но и его психику.

Этим и объясняется интерес к тому, как проводят рабочие свой досуг. Предприниматели пытаются взять под контроль свободное время рабочего. С этой целью около 700 американских компаний объединились в Национальную промышленную ассоциацию по организации развлечений. Вся «индустрия развлечений» в США преследует одну цель — привить трудящимся идеологию обывателя.

Обывателями буржуазии легче управлять. Однако не все ими становятся. Буржуазные социологи с тревогой пишут о том, что все большее количество людей утрачивает былую веру в капитализм как общество «равных возможностей». Учитывая это, американские социологи в 1941 году выдвинули теорию «менеджеризма». Создатели ее (в отличие от Э. Мэйо и других авторов) признают, что их общество развивается. Разумеется, менеджеризм не был бы буржуазной теорией, если бы не попытался обосновать принцип неизбежности частной собст-

венности. Но, по этому учению, капитализм видоизменяется. Причем движение это, утверждают авторы теории, происходит не в сторону социализма, а к «обществу управляющих».

В эпоху идеологической борьбы двух миров такая концепция представляет для буржуазии большую ценность. Эта концепция была принята на вооружение.

Известный американский экономист Дж. Гэлбрейт, развивая теорию менеджизма, пытается доказать, что в США произошел переход власти к «организованному интеллекту» в лице управленческой и инженерной элиты. В итоге, резюмирует Гэлбрейт, в США — «капитализм без контроля капиталистов», что якобы не так уж отличается от социализма.

Конечно, в этих условиях к теоретикам науки управления предъявляются новые требования. Тем более что теория «человеческих отношений» явно обанкротилась (это вынуждены признать даже некоторые буржуазные исследователи). Так, П. Дракер заметил, что теория «человеческих отношений», освободив науку управления от господствовавших в ней порочных идей, не сумела предложить взамен новых, всесторонне обоснованных концепций¹.

Третий этап в развитии буржуазной науки управления характеризуется поиском синтеза рациональных идей двух предшествующих этапов с учетом новых знаний о закономерностях управления производством. Пока что эта попытка привела к появлению многочисленных школ и течений (особенно в США), но не обеспечила качественных сдвигов в развитии науки управления. В частности, в работе С. Эпштейна подробно рассмотрена теория Дугласа Макгрегора, которая является последним словом западной индустриальной социологии. Его учение

называют теорией скалькулированного демократизма. Но, как показывает С. Эпштейн, она пока существует лишь в пожеланиях индустриальных социологов. На практике же «промышленность теперь еще менее демократична, чем лет двадцать назад», — приводит автор книги вынужденное признание одного из американских исследователей.

Итак, никакие поправки к теории Тейлора — Мэйо не достигают цели. И хотя буржуазная наука управления добивается определенных успехов в решении частных проблем, ей, несмотря на все ее усилия, так и не удается добиться классового мира. «Никогда в истории американского рабочего движения не было столько стачек и стачечников», — резюмирует С. Эпштейн свой рассказ об индустриальной социологии в США, — как в эпоху, наступившую после второй мировой войны». Многие буржуазные социологи (американские также) вынуждены признать обострение классовой борьбы. «Враждебность против компаний есть общая черта американских рабочих», — пишет известный американский журналист Арт Шилдс.

Разумеется, провал теории Э. Мэйо, его предшественников и последователей не должен давать повода к нигилистическому отношению к буржуазной науке управления в целом и к индустриальной социологии в частности. Работа С. Эпштейна убедительно свидетельствует, что критическое освоение некоторых достижений буржуазной теории позволяет выявить в ней то рациональное, что может быть использовано марксистской наукой и поставлено на службу социализму.

В. МАСЛОВ,

кандидат экономических наук.

★

О РУССКОЙ АМЕРИКЕ

С. Г. Федорова. Русское население Аляски и Калифорнии. Конец XVIII века — 1867 г. М. «Наука», 1971. 276 стр.

Словосочетание «Русская Америка» не должно удивлять читателя. Оно лишь напоминает о том, что почти столетие (с конца XVIII века до 1867 года) владения России располагались не только в Европе и Азии, но также в Америке. Огромный полуостров Аляска, раскинувшаяся на многие

сотни километров цепь Алеутских островов, Северная Калифорния — эти территории составляли некогда Русскую Америку. Пройдя через всю Сибирь, достигнув края Старого Света на востоке, отважные русские первооткрыватели двинулись дальше. Освоение морских зверобойных промыслов в северной части Тихого океана привело их к исходу XVIII века на материк Север-

¹ Р. Ф. Друкер. The Practice of Management. N. Y. 1954. p. 278.

ная Америка. Здесь и на прилегающих островах возникают постоянные русские поселения, коими с 1799 года управляла Российско-Американская компания — купеческое объединение, действовавшее под знаком «высочайшего» покровительства. У Российско-Американской компании имелось монопольное право эксплуатации природных ресурсов и аборигенного населения американских владений России. Но еще до образования ее частные купеческие компании, несмотря на существовавшую между ними острую конкурентную борьбу, немало сделали для обследования, первичного освоения и заселения суровой Северо-Западной Америки. Известный мореплаватель Джеймс Кук в 1778 году обнаружил на острове Уналашка русское поселение. Наличие русских жителей на Уналашке и Кадьяке отметили испанские моряки, которые побывали там в 1788 году. Известия о русских открытиях в этой неизведанной доле части земного шара с интересом, удивлением, а временами и беспокойством воспринимались правительствами, коммерсантами и учеными европейских государств. Однако заслуги русских в этой области были столь очевидны, что английский историк У. Кокс, хорошо знакомый с различными русскими источниками, за 1780—1803 годы четырежды переиздавал с дополнениями свой «Отчет о русских открытиях между Азией и Америкой...».

До момента продажи Аляски США в 1867 году (крепость Росс в Калифорнии была уступлена еще в 1841 году) на территории Северо-Западной Америки с прилегающими островами существовало несколько десятков русских постоянных поселений, где проживали около 600 человек. Среди них выделялись Ново-Архангельск на Ситхе, Павловская гавань на Кадьяке, Ново-Александровская крепость, Михайловский и Колмаковский редуты, русская духовная миссия в селии Икогмют, торговый пост Нулато и другие.

Интереснейшей истории возникновения и повседневной жизни этих очагов русской культуры на американском континенте и посвящено ценное, богато документированное исследование С. Федоровой. Автор тщательно и глубоко обследовал и изучил разнообразные материалы в четырнадцати архивах Москвы, Ленинграда и Тарту. В своей работе С. Федорова широко использовала многочисленные печатные источники на русском, английском, немецком, ис-

панском языках, равно как и труды русских и иностранных ученых, в первую очередь США и Канады. Развитие научных контактов советских, американских и канадских историков позволило автору привлечь ранее недоступные для наших исследователей документальные свидетельства.

Сложная и многогранная проблематика книги раскрывается автором достаточно аргументированно и глубоко. Подкупает лаконичная, спокойная манера изложения, явственно чувствуется стремление С. Федоровой к объективному, разностороннему освещению изучаемых вопросов. Богатство содержания монографии примиряет с некоторой сухостью подачи материала, что, вероятно, является следствием высокой насыщенности этого исследования фактами, которыми автор хотел поделиться с читателем. Вне всякого сомнения, работа вносит немало нового в изучение истории Русской Америки. Она позволяет расширить и уточнить наши знания о первоначальных русских обитателях Америки, об этапах освоения этих территорий в связи с динамикой численности и социального состава населения «российских колоний» в Новом Свете. Обобщая данные предшествующей литературы и привлекая новый фактический материал, С. Федорова последовательно рассматривает проблему раннего проникновения русских в Америку.

Автор, по нашему мнению, прав, когда склоняется к мысли о легендарном характере известий относительно появления первых русских на Аляске еще в XVI веке. В книге с большой осторожностью проведено критическое сопоставление разноречивых и разновременных упоминаний источников о каких-то русских людях, очутившихся на Аляске до плавания Беринга — Чирикова. Автор тщательно анализирует все вероятные версии происхождения устойчиво бытовавших среди аборигенного населения Аляски преданий о «белых бородатых людях», похожих на русских. С. Федорова удерживается на подлинно научной почве проверенных фактов, отказываясь (и вполне оправданно) от соблазнительности эффектных исторических гипотез, выдвигавшихся на этот счет. Тем значительнее выглядит вывод исследовательницы о возможности существования на американском континенте до начала XVIII столетия русского поселения, основателями которого могли быть занесенные туда морской непогодой и пропавшие без

вести участники ледового похода С. Дежнева (1648) или мореходы одной из предполагаемых полярных экспедиций второй половины XVII века (ориентировочно 1665—1672 годы). В специальной литературе уже высказывались мнения о повторении открытий С. Дежнева еще в XVII веке. К известному на этот счет материалу можно добавить, что в одном рукописном географическом словаре, датированном не позже чем 1771 годом, приводятся некоторые дополнительные сведения о русских полярных экспедициях прошлого, позволяющие верить в основательность такого предположения.

С. Федорова не ограничивается критикой существовавших в литературе гипотез о ранних русских поселениях на Аляске. Ее подход к делу вполне конструктивен. Мы имеем в виду заслуживающую внимания точку зрения автора о целесообразности поисков русского населенного пункта на легендарной реке Хеуверен, но не там, где его пытались обнаружить в XVIII—XIX веках (река Кузитрин), а юго-восточнее, на побережье залива Нортон, в долине реки Коюк.

Чрезвычайно интересны страницы книги, обобщающие известия о так называемой кенайской находке 1937 года. Находка остатков жилищ, тип которых без должной критической проверки был объявлен близким русскому, а возраст почти трехсотлетним, послужила в американской, а затем и советской историографии базой для увлекательных, но весьма гипотетических построений. Последующее более внимательное исследование сообщений об этом открытии поставило под сомнение версию о русском (и вообще европейском) происхождении жилых сооружений на Кенайском полуострове, равно как и о столь седой древности их.

В книге прослежено и картографически локализовано русское заселение Северной Америки в изучаемое время. Статистические выкладки автора свидетельствуют о более или менее постоянном (хотя количественно и незначительном) притоке населения в Русскую Америку.

Отдавая должное автору, сумевшему привлечь в этой связи широкий и разнообразный материал, приходится пожалеть, что еще не введены в научный оборот материалы церковных метрических книг — этого ценного демографического источника. Собранные ею сведения о составе русского насе-

ления Америки местами недостаточно разъяснены. Для конца XVIII — первых лет XIX века С. Федорова убедительно говорит о явном преобладании среди русских жителей Америки выходцев из северных губерний европейской части России. В основном это крестьяне. Однако по каким причинам география мест выхода в последующее время изменяется, не вполне ясно. С. Федорова указывает, что большинство прибывших в Америку позже переселенцев — сибиряки, а в количественном отношении среди них явно преобладают горожане. Конечно, тема эта нуждается в дальнейших изысканиях. Но если даже и принять конечный вывод автора, возникает вопрос о причинах такой социально-географической переориентации. Видимо, известное влияние на эти перемены оказало возникновение монопольной Российско-Американской компании, организации более широкой, чем предшествовавшие ей частные купеческие фирмы. Последние генетически чаще всего были связаны с русским Севером, чем определялся и состав промышленников. Образование Российско-Американской компании, вероятно, нарушило принцип северного «землячества» предпринимателей и работников, что и могло привести к указанным переменам.

Крепостнический курс правительственной политики не способствовал свободному переселению в Америку, да и суровые природно-климатические условия Аляски, отдаленность ее от родины также препятствовали этому. Тем не менее здесь возникли устойчивые очаги русской культуры, оказавшие заметное влияние на местное население (эскимосов и индейцев). На Аляске существовали школы для русских и коренных жителей. В Ново-Архангельске действовала библиотека. Богатством коллекций отличался местный музей. Регулярные наблюдения велись в обсерватории.

Основываясь на весьма разрозненных источниках, С. Федорова достаточно полно характеризует условия жизни русских людей в Америке, типы поселений и жилищ, их хозяйственные занятия (зверобойный промысел, земледелие, судостроение, начало разработок угольных копей) и т. д. Не обойдена ею и важная сторона быта русских поселенцев — семья. В Новый Свет, как правило, отправлялись одни мужчины — служащие и рабочие Российско-Американской компании. Поэтому браки с женщинами-аборигенками не возбра-

нялись властями. Довольно быстро увеличивалось число «креолов», как именовали в Русской Америке детей от смешанных браков. Таким путем Российско-Американская компания обеспечивала себе постоянные кадры работников, в которых всегда нуждалась. По данным С. Федоровой, количество креолов за 1822—1863 годы выросло в 3,6 раза и превысило примерно втрое собственно русское население. Характерно, что после продажи Аляски ни царское правительство, ни Российско-Американская компания не сочли возможным переселить креолов в Россию.

В монографии приведены интересные данные о судьбе русских жителей, после того как в Ново-Архангельске состоялась церемония спуска флага Российско-Американской компании в связи с передачей Аляски США. Оказывается, подавляющее большинство русских покинуло Америку и отправилось на родину, хотя условия договора предусматривали свободу выбора — уехать или остаться. Это существенно расходится с той картиной, которую не раз рисовали в американской историографии, — упоминания о сотнях русских, якобы не пожелавших покинуть Америку после 1867 года. Более того, по наблюдениям беспристрастно относящихся к историчес-

ким фактам американских исследователей, влияние русской культуры оказалось весьма долговременным. Даже после того как на Аляске почти не осталось русских, аборигены края продолжали использовать приемы строительства русских жилищ, их бытовые предметы. Множество слов русского происхождения вошло в лексикон местных жителей. Поэтому С. Федорова с должным основанием заключает: «...несмотря на то, что сложный узел этнических проблем, складывавшихся в течение 126 лет, был «разрушен» в 1867 г. актом продажи Россией русских территорий в Америке, русское влияние оказалось столь сильным, что отголоски его наблюдаются на Аляске даже в наши дни».

Книга С. Федоровой хорошо издана и оформлена, ее сопровождают статистические таблицы, карты, иллюстрации (фото с впервые публикуемых акварелей первой половины XIX века), указатели. Можно с уверенностью сказать, что у этой монографии — высокая познавательная ценность и что она вызовет у каждого любознательного читателя интерес к одной из ярких и своеобразных страниц отечественной истории.

А. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
доктор исторических наук.



ЛОЦИЯ В КНИЖНОМ МОРЕ

Справочники по истории дореволюционной России. Библиография. Научное руководство, редакция и вступительная статья проф. П. А. Зайончковского. М. «Книга». 1971. 516 стр.

Для современного состояния науки в Советском Союзе и за рубежом характерно чрезвычайно быстрое развитие всех отраслей знаний об окружающем нас мире и человеческом обществе. Научный прогресс сопровождается невиданным ранее ростом печатной продукции. На современного читателя буквально обрушиваются целые потоки информации. К этому следует добавить огромные кладовые знаний, которые человечество накопило со времени появления письменности и печатного станка.

В результате, по образному выражению академика С. И. Вавилова, «современный человек находится перед гималаями библиотек в положении золотоискателя, которому надо отыскать крупинки золота в массе песка».

Чтобы ориентироваться в этих кладовых

знаний и творчески использовать всю сумму сведений по тому или иному вопросу, каждый исследователь невольно обращается к библиографическим справочникам — этим своеобразным лодкам книжных морей.

...Перед нами опубликованный недавно коллективный труд «Справочники по истории дореволюционной России», в составлении которого участвовал большой авторский коллектив: 15 библиографов из 6 крупнейших библиотек Советского Союза (Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, Научная библиотека имени А. М. Горького Московского государственного университета, Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, Государственная публичная историческая библиотека РСФСР, Библиотека Центрального государственного военно-ис-

торического архива, Библиотека Центрального государственного архива Военно-Морского Флота СССР¹. Этот труд создан на основе изучения богатейших фондов главных книгохранилищ страны. Нельзя не пожалеть, однако, что составители обошли вниманием такие наши книжные собрания, как, например, Фундаментальная библиотека общественных наук АН СССР в Москве и другие книгохранилища и архивы, никак не мотивировав это в предисловии.

Рецензируемое издание — единственное в своем роде справочное пособие, не имеющее предшественников ни в дореволюционной, ни в советской библиографии. В нем учтены не только библиографические работы дореволюционных и советских авторов по самым различным аспектам истории России в эпоху феодализма и капитализма, но и разного рода иные справочники: историко-статистические и экономические описания России и ее отдельных частей, многочисленные ведомственные издания, указатели фабрик, заводов, банков, акционерных компаний; списки полков и дивизий, монастырей и церквей; адреса-календари, охватывающие всю Россию и отдельные ее губернии, и многие другие источники справочного характера, которые невозможно даже перечислить в журнальной рецензии.

Трудно переоценить значение нового справочного пособия. Достаточно сказать, что рецензируемое издание содержит 3979 названий библиографических указателей и различных справочников по истории дореволюционной России. На самом же деле их в этом труде гораздо больше — свыше 4500 наименований, так как часто под одним номером фигурирует несколько десятков книг серийных и многотомных изданий. Каждая книга проверена *de visu* библиографами и тщательно ими описана.

В справочнике наиболее полно представлены издания по истории России главным образом с XV века до Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года. Стремясь полнее охватить разные стороны исторического процесса на территории России (особенно его ранние периоды, по которым справочная литература невелика), ав-

торы-составители в ряде случаев использовали «прикнижные» справочники, помещаемые в виде приложений к отдельным монографиям, статьям, авторефератам диссертаций, юбилейным ведомственным изданиям. Такой подход составителей, несмотря на неизбежный субъективизм в отборе «прикнижных» справочников, в целом обогатил все издание.

«Справочники по истории дореволюционной России» — это вовсе не исчерпывающая библиография по истории нашей страны в эпоху феодализма и капитализма. Составители произвели определенный отбор литературы, руководствуясь принципом наибольшей полноты, а следовательно, и научной значимости справочных изданий. С этим подходом авторского коллектива следует согласиться: им удалось включить в книгу наиболее ценные пособия, в ряде случаев избежав дублирования (особенно это касается некоторых статистических сборников по отдельным губерниям и городам России, а также различных ведомственных изданий).

Материал систематизирован составителями по следующему принципу. Издание делится на две части: 1) справочники общероссийского масштаба; 2) справочные пособия, относящиеся к отдельным губерниям и административно-территориальным районам (Север, Юг, Поволжье и пр.), которые охватывают территорию нескольких губерний.

Справочники общероссийского характера разбиты на семь больших рубрик: «Общий отдел», «К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин о дореволюционной России», «Социально-экономический отдел», «Политический строй», «Классовая борьба. Общественно-политические движения в России в XIX — начале XX в.», «Наука и просвещение», «Армия. Флот. Войны», которые, в свою очередь, делятся на более мелкие подрубрики.

Содержание справочника свидетельствует, что советская историческая наука обогатилась ценным библиографическим пособием. Разнообразием тематики, широтой хронологических рамок, обилием информации нынешний труд, несомненно, привлечет внимание не только специалистов-историков, но и представителей многих смежных наук и широких кругов советских и зарубежных читателей, интересующихся историей России.

Но положительно оценивая «Справочники по истории дореволюционной России», сле-

¹ Составители: Г. А. Главатских, И. И. Осипенникова, К. С. Куйбышева, Л. И. Петряк, И. И. Крылова, Т. Г. Петрова, Т. В. Шувалова, А. Ф. Шевцова, В. В. Филагина, Н. Г. Маркова, Н. Г. Сергеева, М. Л. Борушина, С. М. Мейлер, Л. М. Маслова, Т. Е. Ксензова. Библиографический редактор — Г. А. Главатских.

дует указать и на некоторые недостатки этого издания.

Одной из главных трудностей при создании комплексного справочника, охватывающего различные стороны исторического процесса на территории России на протяжении огромного хронологического периода, является принцип отбора материалов для указателя. Выше уже отмечалось, что составители стремились с наибольшей полнотой представить в справочнике исторические источники. И все-таки не обошлось без некоторых пропусков.

Так, составители весьма широко дали статистические описания XIX — начала XX века, но почему-то начисто обошли такой важный историко-статистический, экономический и географический источник, как топографические описания наместничеств и губерний, которые составлялись в последней четверти XVIII — первой четверти XIX века. Они сохранились по большинству губерний; многие из них тогда же и были опубликованы.

В рецензируемом издании названы ценные справочники по истории отдельных губерний дореволюционной России, памятные книжки, адреса-календари и т. д., но по непонятным причинам не упомянуты губернские ученые архивные комиссии, которые сыграли определенную положительную роль в сборе и публикации документов, в изучении местной истории. В начале 1917 года ученые архивные комиссии имелись почти в 40 губерниях России. Их печатная продукция исчисляется сотнями томов.

Вызывает возражения и то, как материалы располагаются по отделам и рубрикам. Непонятно, например, почему библиография трудов классиков марксизма, содержащая методологические указания по важнейшим проблемам отечественной истории, помещена не в начале издания, а после «Общего отдела».

Думается, что составители приняли излишне усложненный порядок размещения материалов по отдельным рубрикам, пытаясь сочетать различные принципы группировки данных (тематический, географический, ведомственный и др.). Это привело к тому, что нет единообразия. Видимо, сознавая уязвимость избранного принципа, составители попытались оговорить во введении наличие разных принципов классификации справочников в подразделах, что, однако, не облегчает положение читателя.

Так, материалы о развитии просвещения и науки в России рассредоточены в разделах «Наука и просвещение», «Политический строй» и под рубрикой «Министерство народного просвещения» (например, списки педагогов и воспитателей по тому или иному ведомству в целом или по учебным округам).

Нет необходимости подробнее останавливаться на некоторых других, более частных, недочетах этого справочного пособия, которое, как правильно отмечено в предисловии, рассматривается составителями в качестве необходимой ступени для создания более полного библиографического свода.

В заключение коснемся еще одной проблемы, связанной с книгой «Справочники по истории дореволюционной России».

Характеризуя значение библиографии для развития различных отраслей науки, Валерий Брюсов писал: «...каждая наука основывается на библиографии. Труд библиографа, если угодно, черновой, но совершенно необходимый для развития знаний. Его можно сравнить с фундаментом здания: зрительно видны лишь великолепные стены и куполы дворца, но они могут выситься лишь потому, что под них подведен прочный фундамент»². Рассматривая «справочно-библиографический фундамент», на котором в значительной мере основывается изучение истории России, нетрудно заметить, что большая часть его «кирпичей» заложена еще до Октябрьской революции. Свыше 90 процентов библиографических пособий и справочников, включенных в рецензируемое издание, подготовлено и опубликовано до 1917 года. В советское время продолжалась работа по составлению библиографий, но почти не выпускались специальные справочники по истории дореволюционной России.

Нельзя не пожалеть, что рецензируемое библиографическое издание выпущено малым тиражом (4500 экземпляров). Но, главное, хотелось бы, чтобы этот ценный библиографический труд не был единственным. Надо надеяться, что пробелы в нашей библиографии по истории России не только дореволюционного, но и советского периода будут постепенно устраняться совместным трудом библиографов, историков и представителей других гуманитарных наук.

С. ТРОИЦКИЙ.

² Валерий Брюсов. О значении библиографии для науки. «Библиографические известия», 1929, № 1—4, стр. 6.

КОРОТКО О КНИГАХ

★

Э. ЦЮРУПА. С правдой вдвоем. М. «Советская Россия». 1972. 238 стр.

Главы книги писательницы Э. Цюрупы носят подзаголовки: «Разговор первый», «Разговор второй»... Это действительно доверительный разговор с молодым читателем, которому книга и адресована. А предмет разговора увлекателен необыкновенно: дневники, записные книжки, письма многих выдающихся людей — писателей, революционеров, мыслителей, героев Великой Отечественной войны, наших современников. Строго фактически документы раскрывают нам облик их авторов, позволяют понять, какими чувствами руководствовались они, борясь за народное счастье, как создавали свои произведения, которые навеки вошли в нашу жизнь.

Книга заставляет молодого читателя размышлять, думать, исследовать вместе с писательницей. Вот запись в «месяцеслове» (календаре) Пушкина: «Цензура не пропустила следующие стихи в сказке моей о золотом петушке: «Царствуй лежа на боку» и «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». Обратите внимание на эту краткую запись, говорит Э. Цюрупа, ведь в ней «информация о том, что ранит сердце: царская цензура душит в поэзии гражданскую мысль!».

Записи Чехова... «Возможно, ответ на то, почему Чехов избрал жанр именно короткого рассказа, — размышляет писательница, — дают переписанные Антоном Павловичем к себе в записную книжку слова французского писателя Альфонса Додэ: «— Почему твои песни так коротки? — спросили раз птицу. — Или у тебя не хватает дыхания? — У меня очень много песен, и я хотела бы поведать их все».

Приводя дневниковую запись Юрия Олеши: «Нет ничего приятнее, чем делиться с кем-либо красотой...» — Э. Цюрупа говорит: «Слышите, как это перекликается с пришвинским «открыть мир сокровищ для людей»? И приобщает молодого читателя к внутреннему миру этого писателя, учит его пришвинскому «сочувственному вниманию» к природе, ко всему живому, любви к родной земле.

Страницы дневников доносят до молодого читателя живые голоса их сверстников, комсомольцев 30—40-х годов... Сергей Чекарев, один из тех, кто начинал проводить коллективизацию деревни, записал в своем

дневнике мысли Писарева: величайшее счастье состоит в том, чтобы влюбиться в такую идею, которой можно без колебаний безраздельно посвятить себя. Московская школьница Нина Костерина как глубоко личное воспринимала все, чем жила в те дни страна: принятие новой Конституции, первые выборы в Верховный Совет СССР. «...потому я и на фронт иду, что так радостно жить, так хочется жить...» — записала она в своем дневнике в ноябре 1941 года. Полгода спустя голландская школьница Анна Франк в своем одиноком убежище поверяла тетрадке сокровенные детские мысли о котенке Маврике и совсем недетские о том, что «нельзя же заставлять одних русских воевать за всех!..». Писательница обращает наше внимание на душевную чистоту и высокую гражданственность этой молодежи прошлых лет.

Последние части книги — «Разговор шестой» и «Разговор седьмой» — посвящены записям В. И. Ленина. «О ленинских философских тетрадях моим друзьям — завтрашним взрослым — расскажут книги, университетские курсы. А сегодня пусть для них — юных — заговорят только короткие заметки, — пишет она. — Их своей рукой вынес Ленин на поля тетрадей. И поля тетрадей стали полями битв».

Книга «С правдой вдвоем» очень емкая. Обилие мыслей, фактов, событий делает ее интересной не только для молодого читателя. Но не превращает ли это обилие познавательного материала книгу Э. Цюрупы в некий калейдоскоп? Отнюдь нет. Каждый ее «Разговор» с читателем посвящен определенной теме. А объединяет их одно: устами незримо присутствующих здесь своих героев писательница говорит о высоких идеалах дружбы, верности, любви к природе и человеку, преданности родине. И еще о том, как это хорошо и полезно — иметь маленькую записную книжку — спутницу, собеседницу и помощницу.

К. Бродер.

★

С. ФРЕЙЛИХ. Чувство экрана. М. «Искусство». 1972. 270 стр.

Книжку С. Фрейлиха читаешь с неослабным вниманием, ибо она выполнена как от-

личное эссе и насыщена зрелой теоретической мыслью. Подобное счастливое сочетание не такое уж частое явление в нашей критике. Между тем давно и справедливо замечено, что хорошо писать значит хорошо думать.

С. Фрейлих выступает как теоретик и критик-публицист современного кинематографа. Для него не существует академического исследования вне темперамента и чувства, вне литературного стиля. Поэтому в книге постоянно присутствует образная атмосфера искусства, даже тогда, когда гармония необходимо поверяется алгеброй анализа.

В этом анализе критик стремится не упустить главное—движение, процесс, историческую диалектику смены форм, героев, стилей. «Кино — живое явление,— пишет автор,— оно меняется вместе с исторической действительностью. Изображая человеческие драмы, исследуя жизнь, кино само оказывается объектом исследования — его развитие можно представить как многоактную драму, каждая часть, каждый этап которой имеет свое начало, свою кульминацию, свой финал. Главные действующие лица этой драмы — герой фильма и создатель фильма». Им и посвящена работа С. Фрейлиха.

Мне кажется весьма плодотворным положение, которое автор кладет в основу своих рассуждений. Проблема стиля, содержательности киноформы для него прежде всего проблема нового героя. В соответствии с этим С. Фрейлих отмечает три основных этапа в развитии образительных средств советского кинематографа.

Первый этап — это немое кино, «Броненосец «Потемкин», который впервые изобразил жизнь народа в ее непосредственном течении. Индивидуальный характер еще не вычленен из толпы, герой — революционная масса, основные образительные средства — типаж, пластика, монтаж.

Второй этап дал экрану слово и актера. Пластическая выразительность временно уходит на второй план. Возникла задача показать не только массу, но и отдельного человека. В советское кино приходят Максим и Чапаев. Личность и история находят друг друга в драматическом сюжете.

Третий, современный период синтезирует завоевания немого и звукового кино. (С. Фрейлих называет сегодняшний экран «звукозрительным» — не очень благозвучно, но по сути верно.) Стали возможны такие произведения, как «Судьба человека», «Дом, в котором я живу», «Баллада о солдате», «Летят журавли», «Поэма о море», «Девять

дней одного года», где действие и изображение в эстетическом отношении равноценны. Метафора, монтаж, пластика, обогащенные характером и драмой, создают площадку для нового духовного и эстетического взлета.

Конечно, это схема, но ее можно назвать и типологией, обобщением. Здесь ухвачена общая идея развития нашего киноискусства, и ее справедливость хорошо подкрепляется в книге конкретным анализом наиболее значительных произведений.

Разборы С. Фрейлиха, как правило, не повторяют мотивы, уже знакомые нам по многим рецензиям и статьям. Критик движется по своему избранному руслу, и его доказательства приобретают центростремительную энергию, стягиваясь в узлы теоретических выводов. Эти выводы диктует не умозрение, а живая практика искусства. В конкретных анализах особенно проявляется гражданский темперамент автора и его точный эстетический вкус.

К лучшим страницам книги можно отнести тонкую сравнительную характеристику творчества С. Герасимова и М. Хуциева, главу о трагикомедии, статью о М. Ромме. Правда, эссеистская манера, при всей своей привлекательности, имеет и «подводные камни», которые не всегда успешно преодолеваются исследователем. Некоторые эффектные формулы С. Фрейлиха нуждаются, на мой взгляд, в уточнении. Вот один из возможных примеров: «Ромма не интересуют полутона. Свет он сталкивает с тенью непосредственно. Реализм Ромма экспрессионистичен». Если это так, то что делать с «Мечтой», «Девятью днями одного года», где полутона играют существенную и необходимую роль в структуре произведения?

Рядом с современными авторами и героями в книге возникают силуэты ушедших мастеров. И не только «основоположников», не только Эйзенштейна, Пудовкина, Довженко, Вертова, Кулешова, но и О. Н. Абдулова, большого актера на маленькое кино, талантливого режиссера Евгения Червякова, погибшего в годы Великой Отечественной войны, белорусского писателя и кинематографиста Миколы Садковича, молодого режиссера Владимира Скуйбина, человека поразительного мужества, который не покорился смертельной болезни и до последнего часа не покидал павильона, снимая свой последний фильм. Эти главы вошли в книгу естественно и органично, и они очень важны для ее общего нравственного климата...

Евгений Сидоров.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин и КПСС об экономическом образовании трудящихся. 152 стр. Цена 21 к.

В. И. Ленин. Петербургские годы. По воспоминаниям современников и документам. 424 стр. Цена 1 р. 29 к.

Н. Кондратьев. Сквозь револьверный лай... О подвиге советских диктаторов Т. Нетте и И. Махмасталя. («Герои советской Родины») 80 стр. Цена 13 к.

В. Понизовский. Дай руку, товарищ! Документальная повесть о В. Карпинском. 280 стр. Цена 56 к.

С. Сираждинов. Узбекская Советская Социалистическая Республика. («Союзные республики») 88 стр. Цена 12 к.

М. Хохлов. Таджикская Советская Социалистическая Республика. («Союзные республики») 63 стр. Цена 8 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Г. Баширов. Родимый край—зеленая моя колыбель. Повесть. Перевод с татарского Р. Фаизовой. 343 стр. Цена 68 к.

А. Вергелис. Путь. Стихи. Перевод с еврейского. 174 стр. Цена 55 к.

Г. Гулиа. Сулла. Исторический роман. 374 стр. Цена 89 к.

День поэзии. 1972. 288 стр. Цена 1 р. 87 к.

Т. Зуманулова. Молчание. Стихи. Перевод с балкарского Н. Гребнева и Ю. Нейман. 199 стр. Цена 53 к.

Р. Казанова. Снежная баба. Новая книга стихов. 95 стр. Цена 27 к.

С. Капутикян. Весна на вершинах. Стихи. Перевод с армянского. 96 стр. Цена 29 к.

В. Кардин. Пристрастие. Очерки о писателях и литературе. 310 стр. Цена 87 к.

В. Ковалевский. Единственное мое оружие — любовь. Повесть. 391 стр. Цена 71 к.

А. Кривницкий. Человек и событие. Повесть-хроника. Очерк и почти рассказы. Pamфлеты. 655 стр. Цена 1 р. 7 к.

А. Марченко. Поэтический мир Есенина. 310 стр. Цена 86 к.

И. Шилляревский. Воля. Новая книга стихов. 144 стр. Цена 46 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Андреев. Георгий Караславов. Критико-биографический очерк. 200 стр. Цена 36 к.

Н. Гарин-Михайловский. Студенты.— Инженеры. 478 стр. Цена 95 к.

И. Гольдберг. Избранные произведения. Повести и рассказы. 560 стр. Цена 1 р. 25 к.

Я. Колас. Мой дом. Избранная лирика. Перевод с белорусского. Составление и вступительная статья М. Лужанина. 207 стр. Цена 84 к.

Ф. Левин. И. Бабель. Очерк творчества. 206 стр. Цена 54 к.

М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. Составление и вступительная статья М. Гилельсона и В. Мануйлова. 568 стр. Цена 1 р. 32 к.

Е. Мальцев. Избранные произведения. В 2-х тт. Т. 1. Горячие ключи. Роман. 431 стр. Цена 98 к. Т. 2. Войди в каждый дом. Роман. 751 стр. Цена 1 р. 56 к.

В. Незвал. Стихи. Поэмы. Перевод с чешского. Предисловие К. Симонова. 543 стр. Цена 2 р. 25 к.

Поэты Чили. Перевод с испанского. Предисловие Г. Полонской. 336 стр. Цена 89 к.

Б. Прус. Фараон. Роман. Перевод с польского. Предисловие Е. Цыбенко. 704 стр. Цена 1 р. 39 к.

Г. Санников. Стихотворения и поэмы. Вступительная статья Л. Озерова. 304 стр. Цена 1 р. 2 к.

Ю. Суворов. В лабиринте ревизионизма. Эрнст Фишер, его идеология и эстетика. 334 стр. Цена 1 р.

Тао Юань-мин. Стихотворения. Перевод с китайского и вступительная статья Л. Эйлина. 238 стр. Цена 36 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 1/XII 1972 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 14/II 1973 г. Формат бумаги 70 x 108¹/₁₆. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл.-печ. л.) А 02034 Тираж 170.000 экз. Зак. 3949.

Набрано и отматрицировано в типографии «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Отпечатано с матриц в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», г. Киев-47. Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 0969.

Цена 70 коп.

70636